Мельгунов, С.
Дела и люди
Александровского времени

НА РУБЕЖЕ XIX ВЕКА

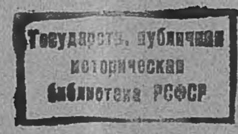
С. МЕЛЬГУНОВ

ДЕЛА И ЛЮДИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ВРЕМЕНИ

I

БЕРЛИН 1923





ТИПОГРАФИЯ КУММЕР И КО.
BERLIN C. 2
Neue Promenade 6

ОГЛАВЛЕНИЕ

В годы мистицизма

Приложение

От Автора

Настоящий сборник составился из статей, напечатанных в старой еще России в разных изданиях за истекшие 10—15 лет.

Многие из статей появляются здесь в значительно переработанном и дополненном виде с привлечением некоторых еще неизданных материалов. К сожалению, одна из статей пропала у автора и восстановить ее в Берлине не представлялось возможности, почему очерк о вождях русской армии в период отечественной войны, долженствовавший заключать параллельную характеристику Барклая де Толли и Кутузова, охватывает лишь образ Барклая и рисует его взаимные отношения с главным его антагонистом кн. Багратионом. Автор тем не менее ввел в сборник эту как бы незаконченную главу в виду того, что она набрасывает общие черты состояния русской армии и психологии некоторых слоев общества описываемой эпохи.

Разрозненные статьи, написанные по случайным поводам, в совокупности дают некоторую общую канву для характеристики эпохи Александра I, столь близкой нам по своим настроениям в некоторых общественных кругах. Мистика и реакция александровского времени являлась непосредственным результатом мировых событий, пережитых русским обществом первой четверти прошлого столетия. Не в той же ли атмосфере нарождающихся общественных настроений живем мы под влиянием событий, ареной которых была наша родина за истекшее десятилетие? Нет нужды проводить аналогию, но история не так уже разнообразна в выборе своих мотивов, и подчас причины и следствия бывают однородны в эпохи, далекие друг от друга.

В первый свой сборник, посвященный александровскому времени, автор ввел статьи, преимущественно характеризующие консервативные течения русской общественности начала XIX века. Может быть некоторым диссонансом будет звучать лишь заключительная статья, посвященная исторической кри-

тике романа Мережковского «Александр I», где речь идет отчасти уже о родоначальниках так называемого освободительного движения в России — декабристах. Но этой статьей заканчивается первый сборник, за которым последует второй, посвященный уже в значительной степени проявлениям прогрессивной мысли: перед читателем пройдут люди иной идеологии, иного общественного настроения.

Первые две статьи в сборнике («Дворянин и раб» и «Павел I») захватывают и период предшествующий — эпоху Екатерины II и Павла, но то, что было на рубеже столетия, в значительной степени предопределяло характер и социального строя, и правительственной политики и общественных симпатий. Сын Павла, вопреки обычному представлению, имел много схожих черт со своим отцом. Автор полагает, что обе указанные статьи могут служить как бы введением к последующему изложению.

В отдельном издании устранены в большинстве случаев определенные ссылки на литературу и источники, имевшиеся в статьях. Автором использовано большое количество мемуаров, и ссылок, пожалуй, было бы слишком много. Список этих мемуаров с почти исчерпывающей полнотой можно найти в указателе Минцлова.

Берлин 1 Июня 1923 г.

ДВОРЯНИН И РАБ [1])

«Великий век» Екатерины, воспетый придворными пиитами и составителями официальных вирш! Век уничтожения рабства! «Россия, ты свободна ныне!» патетически восклицал Капнист в оде на истребление в России «звания раба». Великая Фелица Державина дала «свободу мыслить» и в «ноги челом не бить». Счастливое время! Анекдотическая курица Генриха IV «всегда» была в горшке русского крестьянина. Наступала золотая эпоха, когда уже нечего было «опасаться бегства русских за границу», ибо, по словам, гремевшим с трона, «любимицы самих богов», как наименовал Екатерину в оде на взятие Варшавы Дмитриев, русским будет «сделано любезным их отечество». На престоле великая царица, желающая видеть свой «народ счастливым и довольным, сколь далеко человеческое счастье и довольство может на сей земле простираться» (указ 1766 г.). Наступили для России «дни золотые» — цветут «науки и художества»...

Но тут же в устах современника звучит и пессимистическая нота: «Законы в России! законы в стране, где та, которая царствует, остается на троне потому только, что топчет их своими ногами»... Но зачем «глупо» стараться «унизить» эту блестящую страницу русской истории, — негодует гр. Рибопьер: «Ах, славное то было время!» Окруженная блестящей плеядой горделивых орлов, новая любимица богов и друг философов могла с полным правом сказать, что ее двор затмил былое величие короля—солнце. Там царило божество, выросшее на почве деспотизма; здесь в роскоши утопала вольнолюбивая философия.

Двор Екатерины — это настоящая «обетованная земля». Его «богатство и пышность», по словам Кокса в 1778 г., превосходит «самые вычурные описания». «Я был приготовлен, — пишет в том же году лорд Мальмсбюри, — к торжественности и великолепию здешнего двора, но действительность превзошла все мои ожидания». «Сластолюбие и роскошь», заимствованные у западно-европейских дворов, подражавших этикету Версаля, нашли себе благодарную почву: европейская изысканность соединилась с азиатским великолепием. Екатерина считала «неприличным» «грошевую экономию», как свидетельствует в своих записках Головкин, рассказывающий об изумительной расточительности придворного быта конца XVIII в. Перед ней, пожалуй, бледнеют те сотни тысяч «душ», которые раздаются «для увеселения» многочисленных фаворитов, те миллионы, которые идут на одно их платье (как изве-

[1]) Напечатано (1911 г.) в издании „Великая Реформа“ под редакцией А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичеты.

стно, кн. Гр. Орлов при от'езде в Фокшаны получил, между прочим, кафтан, стоящий 1.000.000 р.).

И современный статистик, таким образом, с гордостью мог сравнить Петергоф со «славною Версалиею» (Географ. Слов., 1788 г.).

«Знатные» подражают двору. По дороге в славную Версалию они строят для себя «увеселительные дома» — их крепостные, их челядь и рабы возводят роскошные дворцы с лабиринтом комнат, с оранжереями, подстриженными французскими аллеями, с причудливыми водоемами и пр. «затеями». По Шлиссельбургскому тракту высятся загородные палаццо Апраксина, Потемкина, Шереметьева и т. д. Петербугское общество «являлось точным отражением двора, — пишет Чарторижский — его можно сравнить с преддверием обширного храма, в котором все присутствующие устремляют свое исключительное внимание на божество, сидящее на престоле, которому приносят жертвы и воскуривают фимиам». Вкусы «Версалии» распространяются и на всю помещичью Россию: дворянство охвачено «бешеной страстью наслаждаться».

За высшим столичным дворянством тянется провинциальное общество: и здесь в 1769 г., по словам современника Винского, «хотя и неповсеместно, но уже водворялась» роскошь. Еще в начале царствования Екатерины праздное и пьянствующее деревенское дворянское общество, в достаточно ярких чертах описанное в знаменитых записках Болотова, в столице казалось «сущими шутами и простаками». Но вскоре и оно начнет разоряться, лишь бы подражать великосветским нравам, и захолустные помещичьи усадьбы обогатятся крепостными «храмами Мельпомены» или, говоря без метафор, гаремами рабовладельцев. Напрасны заботы «премудрой матери отечества» о нравственности общества, напрасны торжественные манифесты и указы, боровшиеся с прихотливыми модами [1]), экипажами и ливреями (маниф. 1775 г.) — «расточительная роскошь молодых людей», на что жаловался еще указ 1761 г., растет и расползается по всей крепостной России. Елизавета имела 15.000 платьев, фельдмаршал Апраксин имел их несколько сот. Это было лишь слабое подражание «славной Версалии», превратившее конец XVIII столетия в «героический» период жизни русского дворянства.

Но между концом XVIII в. и началом XIX в. не будет большой разницы, и с полным правом мы можем набросать одну общую картину.

Привольно течет повседневная жизнь первенствующего сословия, окруженного кадрами дворовых слуг. 400—500 дворовых у вельможи отнюдь не редкий случай, по свидетельству Сегюра. У гр. Орлова английский путешественник Кларк насчитывает пятьсот слуг. У ген. Измайлова в начале XIX в. насчитывается 800 дворовых, у павловского фельдмаршала гр. Каменского 400, дворец последнего занимает «целый квартал» и т. д. Что делала эта огромная дворня? Это прежде всего «вывеска» — говорит гр. Орлова: чем дворни у вас больше, тем больше уважения. На показное внешнее великолепие обращено все внимание. У ген. Измайлова в передней сидит 17 лакеев, и у каждого из них определенное назначение: один подает трубку, другой — ста-

---

[1]) Например, указъ 23 октября 1782 г. предписывал придворным дамам головные уборы „носить не выше двух вершков, разумея от лба".

кан воды и т. д. Тот же генерал, командуя в 1812 г. рязанским ополчением, предоставил своим офицерам 150 собственных троек с кучерами для катанья. У Измайлова одних псарей несколько сот и две тысячи борзых. Помещик Б., отправляясь из одного имения в другое, берет с собой 20 кибиток с наложницами и актерами, которые должны увеселять его во время стоянок. У Головина, имевшего 300 человек дворни, ежедневный обед состоит из 40 кушаний; для каждого кушанья имеется особый повар. 12 официантов прислуживают господину, обед которого — целое священнодействие со сложным ритуалом.

Знатный помещик — это грансеньер, копирующий в своем поместье «славную Версалию». У помещика все свое — свой театр (у кн. Шаховского в труппе более ста человек, графу Каменскому постановка «Халифа Багдадского» обходится в 30.000 руб.), свои музыканты, свои живописцы, свои астрономы, свои композиторы и даже свои «богословы». Шуты и дураки, арапы и арапки — также неизбежная принадлежность маленького удельного владельца «милостью Божьей». Ведь при царском дворе едят на посуде, украшенной драгоценными камнями (Гаррис о Екатерине), там имеются «чернокожие африканские невольники»... И каждый стремится перещеголять другого «баснословной расточительностью». У гр. Шерметьева, в Кускове, свой гусарский эскадрон из 12 человек с командиром. В числе «верноподданных» имеются свои гофмаршалы, камер-юнкеры, фрейлины, невербованные из крепостной прислуги. Придворный штат кн. Голицына взамен ордена носит на груди портрет князя. У каждого из грансеньеров свои причуды: если гр. Каменский (сын фельдмаршала) — покровитель муз и славится своим крепостным театром, если кусковский театр гр. Шереметьевых соперничает с дворцовым, то у гр. Орлова подают спаржу толщиной с дубину, у Всеволжного в манеже происходят целые турниры с настоящими рыцарями в латах. Лев Нарышкин известен своими маскарадами. В честь окончания турецкой войны Нарышкин устраивает великолепное торжество: тут представлена вся турецкая война, здесь воздвигнуты раздвигающиеся горы, храмы и т. п.; отнюдь не уступают придворным торжествам празднества кн. Потемкина, представляющие «чудо роскоши», «чудную смесь азиатской роскоши с европейским изяществом»: тут пирамиды, оправленные в золото, и золоченые слоны с бахромой из драгоценных камней; здесь 3.000 приглашенных гостей и одного воска для освещения сжигается 28 апреля 1791 г. на 70.000 р. В крепостном театре Юсупова танцовщицы являются перед зрителями в природном виде. Другой помещик знаменит «островом любви»; у гр. Скавронского, мнящего себя «великим композитором», прислуга говорит речитативом; к ген. Измайлову с'езжаются сотни гостей, к услугам которых многочисленные крестьянские девушки, и т. д.

Великие мира сего с высокомерной снисходительностью обращались с захудалым дворянством, которое, однако, гордое своим происхождением, старалось подражать знати: помещик средней руки насчитывает у себя дворни более 100 человек, даже мелкопоместный дворянин, который еще недавно сам пахал землю, теперь держит 2—3 слуг. «Самый плохо обставленный дворянин ездит четвериком» — по свидетельству Колленкура. Мелкопоместные дворяне живут, если и не «роскошно», так, по крайней мере, барственно. Дворянству подражает духовенство: небезызвестный, напр., в 70 гг. XVIII в. еп.

Кирилл Флиоронский требовал обязательно, чтобы окружающие его молодые люди были причесаны с пуклями под пудрою, как подобает придворным.

Крепостное право, даровой труд развращали и деморализировали все слои общества. Помещик и церковь одинаково смотрят на «душу», как на доходную статью. Внешний европеизм прекрасно уживался с замашками и приемами крепостнического барства. Новые идеи, по меткому замечанию В. О. Ключевского, привились, как «рисунки соблазнительного романа». Воспринималась лишь «приправа» просветительной философии, и таким образом «скотинины» и «вольтерьянцы» прекрасно уживались в одном и том же лице. Русский роман XVIII в. в лице гг. Негодяевых запечатлел довольно яркое изображение дворянина, воспитанного monsieur le Pendar'ом «для наслаждения приятною жизнью». Сентиментальная дама охотно прерывала чтение французской любовной книжки, чтобы итти на конюшню для собственноручной расправы над своими крестьянами и крестьянками.

За «век просвещения», дворянство изменилось мало. Если в начале царствования Екатерины иностранец пишет, что «русское дворянство самое необразованое», то в первый год следующего столетия Строганов дает такую характеристику: «это сословие самое невежественное, самое ничтожное и по своему духу самое тупое!» Иначе и не могло быть там, где рабовладение свило себе прочное гнездо.

«Повелевая рабами, оно, дворянство, само было рабами», запишет в 1857 г. в своем дневнике проф. Никитенко. И так было всегда. Освобожденный от «рабского званья», русский дворянин, тем не менее, всегда «с рабским подобострастием припадал к священным стопам великой Фелицы». Он с гордостью под наказом подписывался чином «придворного лакея» и изучал искусство «ловкого прохождения скользких придворных паркетов». Екатерина, по ее словам, презирала «подлецов и ласкателей, коих бесконечно много около двора». Этот двор действительно был полон холопов и рабов. Но вспомним, в каких мрачных красках описывает его кн. М. М. Щербатов в записке «О повреждении нравов в России», и тогда поймем, что без этой лести нельзя было совершить трудное прохождение «скользких придворных паркетов» и в Екатерининское время. Пройдет несколько десятков лет, и царедворцы будут считать «за счастье» лобзать руки свирепой любовницы гр. Аракчеева и быть у нее на роли шпионов. Пройдет еще немного лет, и русский публицист с отчаянием воскликнет: «Россия, Россия! Долго ли ты будешь жертвою гнусных рабов?..»

И у этого «раба» были свои рабы, свои верноподданные, отданные ему в полное распоряжение. Для «подлого» народа официальный титул раба не был отменен. Крепостной — раб без всяких ограничений и оговорок. В конце 1762 г. Екатерина в инструкции кн. Вяземскому, посылаемому для усмирения бунтующих заводских крестьян, предписывает последних привести «в должное рабское послушание». Просвещенный для своего времени человек, автор известных мемуаров, Болотов, не иначе именует своих крепостных, как «рабами». Эта двуногая скотина «без рогов», как вещь, продается на ярмарках, рынках и базарах. Рабов привозят целыми баржами, живой товар экспортируют на Восток; дамы высшего света, по свидетельству Массона, «воспитывают» своих крестьянских девушек специально для разврата, рабов

выигрывают и проигрывают за карточным столом[1]). Между рабом и вещью нет разницы в век просвещения, век гуманных принципов и либеральных идей. За борзого щенка платят 3000 р., в то время как крестьянская девушка продается за 2½—33 р. За ребенка платят даже 10 коп. Конечно, не все крепостные идут по такой расценке: все зависит от качества и способностей раба; хороший повар, музыкант ценится 800 и более рублей; за актеров гр. Каменский уступает целую деревню в 250 душ; двадцать музыкантов, по словам И. Д. Якушкина, он продает за 10.000 р. В отделе газетых публикаций печатают о продаже рабов и домашних принадлежностей: «продается малосольная осетрина, 7 сивых меринов и муж с женою»; продается «парикмахер да, сверх того, 4 кровати, перина и прочий домашний скарб» — такие публикации в «Сенат. Вед.» и «Моск. Вед.» нередки.

Вот, например, еще несколько публикаций за 1797 г. в Петербурге:

Сентября 22 — «продается 16 лет девка весьма доброго поведения и немного поезженная карета».

Октября 2 — «банкетные скатерти... тут же две девки ученые и мужик»

Октября 2 — парикмахер и «английской лучшей породы корова».

Ноября 13 — «Лучшие моськи»... хороший сапожник.

Декабря 11 — «повар и кучер»... да «попугай».

В 1805 г. тамбовский помещик Чертков продает 44 крепостных музыканта с «мелочью», а всего 98 человек, «в том числе старики, дети, музыкальные инструменты, пиесы и прочие принадлежности». Известно, что после Комиссии 1767 г. продажа рабов пошла особенно оживленным темпом.

Да, между крепостным правом и невольничеством не было разницы!.. Грибоедову казалось, что иностранец, незнакомый с русской историей, конечно, заключил бы, что «у нас господа и крестьяне происходят от друх различных племен». Нет, это было не так: раб действительно был лишь двуногой скотиной «без рогов» — матерей отнимали от детей, чтобы они откармливали своею грудью щенков с помещичьей псарни. Большего унижения человеческого достоинства, казалось бы, и нельзя было придумать!

Труд рабов, конечно, ни во что не ценился. Захотелось гр. А. К. Разумовскому послушать соловья во время разлива рек. И тотчас сгоняются тысячи его верноподданных, которые строят дамбы и насыпи для графского проезда.

Естественно, что и отношение господина к своим верноподданным соответствовало тому бесправному положению, которое занимал крепостной в дворянской монархии. Можно ли говорить о патриархальных отношениях между господином и рабом? Конечно, были люди порядочные, которые по-

---

[1]) Массон рассказывает, между прочим, об одном гвардейском офицере, проигравшем в карты свое состояние и отправившемся в деревню для поправки дел. Свое благосостояние он основывал на такой „гнусной спекуляции", по выражению Массона: „...Мне только двадцать пять лет, я очень крепок, еду я туда, как в гарем, и займусь заселением земли своей и созиданием неиссякаемого источника дохода на старости... Через каких-нибудь десять лет я буду подлинным отцом нескольких сот своих крепостных (перед тем юноша продал всех мужчин в своей деревне), а через пятнадцать пущу их в продажу".

Француз де-Саран, пленник 1812 г., рассказывает нечто аналогичное в целях „улучшения породы" крепостных.

человечески относились к своим верноподданным; были такие, которые действительно желали «быть для своих людей более отцом, нежели господином». И нашлись писатели, готовые восхвалить эту идиллическую картину патриархальных отношений. Но бесчисленное количество фактов показывает, что в огромном большинстве при низком культурном уровне эта барственная патриархальность была очень далека от элементарной человечности. «Закон, запрещающий дворянским людям ни в каком случае иметь голоса против своих господ, — рассказывает нам Винский, — делает их истинными безответственными скотами, покорность которых по сему дальше всякой вероятности, как и зверство их властелинов». Среди крепостников, как мы знаем, были изверги, доходившие в патологическом экстазе до инквизиторской изысканности в мучительстве своих крепостных. Но и при самых добрых патриархальных отношениях раб всегда оставался рабом. Раба можно было учить только палкой, ибо, по словам уже цитированного Болотова, «глупость и крайнее безрассудство нашего подлого народа — были нам слишком известны». Это является «единственным способом» держать крепостных в руках. Благодушный Болотов считал, что наказанье плетью и заключение в кандалы идет на «благо» рабов, «подобно тому, как Бог наказывает нас для нашего исправления». Болотов относился, однако, с осуждением к «варварству». «Вот какой зверский и постыдный пример жестокосердия человеческого!» — восклицает автор записок, рассказывая о том, как один из его соседей заставлял крепостных девушек плести кружева в кандалах и рогатках, и тут же с сентенцией добавляет: «Не на то даны нам люди и подданные, чтобы поступать с ними так бесчеловечно». Надо поступать так, как Бог поступает с своими детьми — дворянами; посему Болотов «секал очень умеренно и отнюдь не тираническим образом, как другие». Болотов не видел жестокости в том, что приказал вора, не хотевшего указать товарища, подвергнуть пытке: накормив самой соленой селедкой, запереть в теплую баню!

В жизненном обиходе палки, розги, батоги, плети, езжалый кнут, заковка в железо, надевание ошейника, рогатины, колодок — были обычными «исправительными средствами», по свидетельству иностранца. Это было для помещиков почти «потребностью жизни»; Болотов рассказывает, как иногда все дворовые подвергались телесному наказанию. Одна помещица высекла за раз 80 крестьян за то, что они, вопреки велению, не набрали земляники. По словам аббата Шаппа помещики употребляют батоги так, что «на деле получают возможность казнить их (т. е. крепостных) смертью». Здесь нет преувеличения: не даром Сиверс должен был просить императрицу ограничить власть помещика в праве наказывать крепостных кнутом, что в действительности почти равнялось смертной казни. И если припомнить дошедшие до нас мрачные картины барственной расправы помещиков с крепостными, описания зверств и истязаний, то придется признать, что с подлыми верноподданными обращались подчас гораздо «хуже, чем со скотами».

Эта картина не изменится на протяжении пятидесяти лет «героического» периода жизни русского дворянства. Она откроется эстляндским губернатором Дугласом, который сечет людей в своем присутствии и приказывает истерзанные спины посыпать порохом и затем зажечь. Она может быть завершена Аракчеевым, поровшим крестьян при пении хором «красивых девиц» во время экзекуции: «Со святыми упокой, Господи». Мы не знаем, как в теории отно-

сился Дуглас к своим крепостным, но Аракчеев любил «добрых» крестьян своих, «как детей», о чем свидетельствует его письмо в 1812 г. новгородскому губернатору Сумарокову. Для наказания «добрых крестьян» у Аракчеева существовала сложная система. Так, на женщин надевались на шею рогатки и в таком виде заставляли в праздник молиться в соборе. В Грузине в графском арсенале всегда стояли в то же время и кадки с рассолом, в которых мокли розги и палки. За первую вину граф сек своих дворовых на конюшне, за вторую отправлял преступников в Преображенский полк, где их наказывали особыми толстыми палками — аракчеевскими; при третьей вине экзекуция совершалась при помощи специалистов-палачей из Преображенского полка уже в доме, перед кабинетом графа или в библиотеке. После экзекуции виновные должны были явиться к графу и показать вспухшую и исполосованную крепкими ударами кнута или палок спину. Наказанные, боясь, что граф останется недоволен и повторит наказание, кровью животных покрывали рубцы, чтобы удовлетворить бесчеловеческое чувство властелина. В усадьбе графа была своя домашняя тюрьма, известная под названием Эдикул. Она представляла из себя темное, сырое, холодное и узкое помещение, в котором виновные сидели неделями и месяцами. Особенно отличалась мучительством знаменитая домоправительница Аракчеева, Настасья Минкина[1]), обуздывавшая «своевольство» крепостных. Дворовых девушек два раза в день наказывали батогами и розгами, дабы наказанные не прельщали падкого до дворовых девушек Аракчеева. Она обжигала горячим железом лица крепостных девушек, вырывала у них мясо кусками. И когда крепостные зарезали Минкину, известный юрьевский архимандрит Фотий в надгробной речи по любовнице всесильного временщика не преминул убиенную зачислить в «сонм великомучениц».

Сколько Дугласов и Аракчеевых из высших слоев русского общества, сколько мучителей крепостных встречаем мы за полвека! И, конечно, никто и не думал никогда привлекать их к ответственности за жестокость! Часто нельзя об'яснить ни горячечным бредом, ни психозом, ни паталогией тот сладострастный садизм, с которым помещик и помещица предавалась истязаниям. Секли беременных, секли детей, кн. Козловская — одна из русских мессалин — сечет по грудям и половым частям, собаками травит привязанных к столбам нагих крепостных, собственноручно разрывает горничной, которую приревновала к своему любовнику, губы до ушей, втыкает булавки в плечи и руки. Рязанский помещик Измайлов (в начале XIX в.), «Нестор негодяев знатных», по характеристике Грибоедова в «Горе от ума»[2]), имея гарем из 30 дворовых девушек, поступавших к нему с детства, требовал к себе и крестьянских девушек. Этот гостеприимный дворянин предоставлял девушек и всем гостям. За ослушание воле у крестьян жгли дома и секли из крестьян

[1]) Про Настасью Минкину крепостные говорили: „нельзя сказать, чтобы была из лица больно красовита, а смуглая такая из себя, быстроглазая: глаза-то большие, черные были, что у цыганки; больше проворством и расторопностью брала“. Крепостной художник, написавший извѣстный портрет Минкиной, очевидно, сильно прикрасил образ своей госпожи. В грузинской церкви находилась, между прочим, Мадонна в изображении Болотниковой. „Икона“ эта в 1916 г. снята была по распоряжению местных церковных властей: явилось подозрение, что под видом Мадонны изображена аракчеевская фаворитка.

[2]) Он же изображен и Пушкиным в лице Троекурова в „Дубровском“.

третьего, а из баб — десятую... Ярославский помещик Шестаков рубит руки ножом, смоленский — Высоцкий жжет раскаленным железом, ссылаясь на помрачение в голове; третий жжет углем подошвы дворового, утопившего барских щенят, которых приказано было жене его откормить своею грудью.[1]) Рогатки на шею, т.-е. широкий железный ошейник, запертый замком, весом смотря по вине, с железными рогами до 1 арш. «дабы не иметь покоя»; колодки, склепленные железными болтами до 1½—2 арш. длиной, — в помещичьих застенках были, пожалуй, одним из легких наказаний, хотя Болотову и казалось это мучительством. У Измайлова в «тюрьме» находится 186 рогаток весом от 5—20 фунтов и цепи, которые провинившиеся рабы носят в течение целого года. Особые «казаки» производят экзекуции подчас даже в спальне грансеньера. Поистине зверь-помещик фельдмаршал Каменский, убитый двумя крепостными, отправленными учиться за границу музыке, не снял кандалов с девушки, зарезавшейся и прожившей в таком виде еще месяц; гр. Салтыкова, жена воспитателя Александра I, держала целых три года своего парикмахера в клетке, чтобы он не проговорился, что она носит парик. С. Т. Аксаков в своих воспоминаниях, рассказывает о помещике, который «кошечками», т.-е. ременными семихвостными с узлами плетьми, «царапал» своих слуг, что было «и больно и не опасно», ибо истязуемых заворачивали потом в «теплые только что снятые шкуры баранов».

Так было в среде обычных помещиков.

Но находились особые любители отеческого попечения, которые регламентировали «пунктами» разновидности наказаний. Ничего не может быть характернее пунктов из «журнала домашнего управления» 1763—65 гг., приводимых В. И. Семевским. Автор этих пунктов, согласно всем правилам полицейского государства, озабочивался и спасением душ своих верноподданных. От крепостных требуется тщательное выполнение религиозных обрядов: «а ежели кто который год не будет говеть, того — плетьми, а которые не причастятся, тех сечь розгами, давая по 5.000 нещадно». Этому барину захотелось, чтобы его крепостную, впавшую в немилость, именовали не по отчеству, а звали бы «трусихой и лживицей»: «Кто Феклу именем и отчеством назовет, того сечь розгами по 5.000 нещадно». Помещик устанавливает и продолжительность болезни после «нещадного» наказания. Тому, кто получит 100 ударов плетьми на дровнях или 17.000 розог, не дозволяется лежать более недели; получившему 50 плетей и 10.000 розог — более полунедели и т. д., соответственно числу полученных розог и плетей. И это была не теория, не праздные измышления на свободе барственного помещика для устрашения слуг — мы знаем, что «пункты» были применены и на практике.

Находились, с другой стороны, и просвещенные вольтерьянцы, совмещавшие свои теоретические взгляды с азиатским деспотизмом. И вовсе не надо было «поскоблить русского», чтобы явился татарин, ибо «головы, покрытые .. французскими париками, — те же самые, закутанные сто лет тому назад в шапки из кожи диких зверей» (Макортей, 1766).

Перед нами знаменитый Струйский, бывший владимирский губернатор и владетель богатых поместий в Пензенской губернии. Это — «высокообразованный юрист», устроивший в своей деревне «правильно организованный по-

[1]) Рассказ французского пленного в 1812 г., доктора Руа.

европейски суд над крестьянами». Крестьян приводили в кабинет барина, носящий громкое именование Парнаса, сам барин «произносил обвинительные речи по всем правилам западной юриспруденции». Только «эпилог этих судебных заседаний был в чисто-русском вкусе: обвиненного крестьянина он пытал по древне-русскому, для чего имелся у него в подполье огромный арсенал орудий пытки».

В летописях мучительств и истязаний приобрел особенную известность подпрапорщик Шеншин, устроивший в 1767 г. целую тюрьму в с. Шумове, Орловской губ. В тюрьме были все самые усовершенствованные приспособления к пытке: дыбы, клещи и т. д. При помещике, самолично отправлявшем суд, был целый штат палачей из 30 человек, был свой священник, напутствующий умирающих от истязаний. Шеншин, однако, превзошел меру и попал на скамью подсудимых, когда вздумал в 1769 г. поиграть в «застенок» с московским купцом. Шеншин был отправлен в пожизненную каторгу. За два года истязаний за ним официально следствие насчитало до 59 убийств. Помещик Борзенков, Орловской губ., попросту выбрасывал трупы измученных «в яму».

Ни у одного Шеншина были подземные тюрьмы для крепостных. Народная память указывает много таких каменных мешков по всей России. В Казанской губ. в середине XVIII в. возвышался мрачный замок помещика Кармацкого. Замок с башнями, тайниками и подземельями, как и подобает средневековому владельцу. Здесь находились тюрьмы с цепями, кольцами, чугунными стульями, колодками, рогатками и пр. орудиями. В Звенигородском у., Московской губ., стоит еще и в наши дни четырех-этажный дом, принадлежавший помещикам Казариновым. И там в мрачных венецианских подземельях заключены были, по преданию, крепостные. Молва говорит, что помещики замораживали людей, ровно как по легенде, по приказанию заводчиков на Урале, живых людей бросали в доменные печи. И разве нельзя поверить этой молве, когда сами крестьяне запечатлели в челобитной Демидову: отданы заводчикам, «чтобы нас им мучительством мучить»? Кн. Щербатов в своей записке о повреждении нравов в России констатирует, что крупнейший уральский заводчик, отличавшийся неслыханной жестокостью, гр. П. И. Шувалов, «обагрил российские области кровью пытанных и сеченных кнутом, и пустыни сибирские и рудники наполняли сосланными в ссылку на каторгу». Мы, кажется, можем поверить этому публицисту XVIII в., насчитывающему 15.000 потерпевших от мучительства гр. Шувалова. Если припомнить все такие факты, то знаменитая Салтыкова, обвинявшаяся в убийстве 75 человек, вовсе уже не будет редким исключением. Фигура Салтычихи резко врезалась в память народную, ибо ее дело было одним из немногих, закончившихся обвинением. Присужденная вначале к отсечению головы, она была заключена пожизненно в подземную тюрьму женского монастыря. Целый час она стояла с назидательной надписью: «мучительница и душегубица». Эта казнь была запечатлена даже особой лубочной картиной, изображающей «Казнь» Салтычихи.

Но многим ли лучше ее гр. Шуваловы, Каменские, Аракчеевы, кн. Козловские и мн. др.?

Ведь мы привели лишь несколько наиболее, пожалуй, известных и в то же время ярких фактов из мрачного нашего прошлого. Но эти факты могли быть умножены во много раз — стоит лишь просмотреть соответствующие стра-

ницы замечательной и почти исчерпывающей работы Вас. Ив. Семевского: «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II».

Здесь мы встретим длинный мартиролог убитых и замученных, умерших под плетью и батогом.

Нет! Сто крат прав историк нашего крестьянства, писавший: «Просматривая этот мартиролог до-смерти замученных помещиками, мы невольно поражаемся умственным и нравственным убожеством некоторых представителей господствующего сословия». Было ли, однако, это большинство или меньшинство? И этот вопрос занимал ученых. Научная критика в лице некоторых историков усмотрела тенденціозность в характеристике дворянского общества «героического» периода его истории, которую можно было сделать на основании фактов, собранных Семевским, а также в работах покойного Гольцева «Законодательство и нравы XVIII в.» и Дубровина «Пугачев и его сообщники», «Русская жизнь в начале XIX в.».

Наивно, конечно, все дворянское общество на рубеже XIX века характеризовать в столь мрачных красках. Бесспорно, Салтычихи и Шеншины всегда были некоторым исключением, однакоже, как мы видели, вовсе не столь редким. Но самый факт существования Салтычих, полная почти безнаказанность бесконечного числа ей подобных — все же достаточный показатель нравов дворянского общества в золотой век «великой Екатерины» и даже последующих царствований, когда помещик Муромцев кричал крепостным: «Тела вашего наемся, крови вашей напьюсь!» При запрещении подавать жалобы на своих господ, много ли действительно жалоб могло дойти до назначения? Когда против Салтычихи возбудили дело, по жалобе крепостных, челобитчиков, тем не менее, за нарушение закона подвергли публичному наказанию плетьми. За жалобу крестьян Демидова 12 человек были засечены до-смерти. Можно ли было жаловаться при таких условиях? И понятно, что Салтычиха имела полное основание говорить: «Вы мне ничего не сделаете». Даже в ее громком деле юстиц-коллегия вела процесс «с явным в пользу Салтычихи потворством». Полиция скрывала жестокости; помещики выгораживали своих односословников. Против Салтычихи 21 раз возбуждались дела, и только в 1763 г. впервые дан был ход жалобе ее крепостных. И что же? — За все царствование Екатерины лишь 20 помещиков были приговорены за свои убийства и жестокости к различным наказаниям: от ссылки на каторжные работы до церковного покаяния. Если упомянутый выше Кармацкий мог безнаказанно в своих застенках пытать крепостных, его сын, выступавший против «божеского узаконения» крепостного права и говоривший своим крестьянам, что Бог создал всех людей свободными, по жалобе местных помещиков Екатерине, был признан сумасшедшим. Знаменательный факт! . . . Нельзя забывать, что огромное большинство дел об истязаниях не доходило, конечно, до суда: то дело, которое в свое время так возмутило Болотова, было «скрыто», и «остались господа без всякого за то наказания» . . . А если и доходило, то «пригоршней звонкой монеты можно было откупиться от наказания». Так свидетельствовал позже в эпоху Отечественной уже войны доктор Руа. Так было повсеместно в первые годы царствования Александра. Когда нижегородский помещик поручик Авдеев в 1802 г. засек розгами крепостную девку, нижегородская уголовная палата нашла, что «Авдеев не есть убийца сей девки, но токмо преступивший меру в наказании», и Авдеев был присужден лишь к церковному покаянию.

Екатерина, возражая аббату Шаппу, не могла отрицать дурного обращения с крепостными. Но, по ее мнению, это обращение зависело «от хорошей или дурной нравственности», а не «от законов страны». «Философ» на троне взял на себя смелость констатировать, что «ко благу человечества наши нравы не ухудшаются». Не дает ли история, однако, другого ответа? Историк, несогласный с тенденциозным освещением нравов Екатерининского общества, сослался на свидетельство современника в сатирическом журнале Новикова «Трутень»: «Хулят все и всех только вредные люди». Историк, очевидно, не понял, что это в значительной степени лишь публицистический прием, чтобы избежать «шлагбаумов мысли», которые и тогда уже ставила зарождавшаяся цензура. И «вредные люди» в наши дни, пожалуй, уже без боязни могут дать правдивую оценку отдаленного прошлого России, когда, по характеристике де Корберона, весь русский народ состоял только из «придворных, военных и рабов», когда в империи «милостью дворянства» для закрепощенной массы не было и «сносности человеческой», а не то что широко возвещенного «всеобщего блаженства».

Конечно, не все дворянское общество, выросшее на крепостной культуре, было грубо. Не одни темные стороны отметим мы в Екатерининском обществе. И здесь раздался голос Алек. Ник. Радищева. Тогда еще зарождалась русская интеллигенция, отбросившая сословные перегородки и поднявшая знамя народного благоденствия. Но если мы будем рисовать общую картину эпохи на фоне рабовладения, то и без тенденции придется признать, что «вольность» действительно рождалась в крестьянских «муках» и подтачивала, хотя и медленно, «божеское узаконение» крепостного права, на которое ссылался манифест 1762 г.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА

(Император Павел I)

Не «герои» двигают историю. Отдельная личность не может нарушить закономерности исторического процесса, а потому в истории она занимает второстепенное место. Но в этой личности конкретно воплощается та или другая идея времени, отчетливо вырисовываются подчас недостатки государственной системы, а потому в ней раскрывается нередко смысл очередной исторической задачи — в этом несомненно лежит глубокий интерес для истории психологического изучения известной личности.

Такой интерес и представляет изучение «загадочной» личности Императора Павла I, которой так посчастливилось за последнее время на страницах исторической литературы. Нет, пожалуй, в истории лица, которое вызывало бы более противоречивые характеристики. Однако, все эти разноречия, превратившие личность Павла в какую то «историческую загадку», основаны до некоторой степени на недоразумениях.

I. ПАТОЛОГИЯ ЦЕЗАРЯ [1])

Общий колорит правления Павла достаточно известен: «парадомания», сопровождающаяся бессмысленной жестокостью, муштровка общества и бред величия — таковы внешние отличительные черты того кратковременного периода, который для большинства современников являлся как бы «затмением света». «Четырехлетнее страдание отечества» — называет годы царствования Павла А. М. Тургенев: «ужаснейший ураган, все ниспровергший и обративший все дном вверх». Царство террора, — по характеристике Чарторижского. Отзывы и мнения этих современников, впрочем, далеко не сходны. Если для одних Павел — сумасбродный тиран, душевно больной («Род временного сумасшествия у Павла» — отмечает де-Санглен), в своем «исступленном безумии» делавшийся кровожадным деспотом, то для других в нем рисуется благородный образ рыцаря без страха и упрека (о рыцарском характере и врожденном благородстве говорит, напр., ген. Саблуков), для них Павел «не был тем сумасбродом и подозрительным тираном, каким его умышленно представляют»; если для одних время Павла было источником дезорганизации и хаоса и «оставалась одна альтернатива — избавить мир от чудовища», то

---

[1]) Напечатано было в сокращенном виде в „Киевских Вестях“ в 1907 г.

для других его царствование являлось как бы воплощением идеи справедливости; для одних Павел — человек с ограниченными способностями; для других с острым и живым умом. И защитники Павла пытаются найти разнообразные об'яснения поступкам властителя, не вяжущимся с нарисованным ими образом.

Конечно, данныя из «откровенных писем» современников приходится черпать с большой осторожностью, — они слишком суб'ективны; их следует подвергнуть строгому анализу и только тогда они могут служить в качестве исторического материала. С различных точек зрения придется подойти к показаниям бывшего брадобрея лакея Кутайсова, непосредственных участников события 11 марта 1801 г. в царской спальне, принца Виртембергского — в то время возможного кандидата на русский престол, и сардинского посланника Бальбо; к показаниям, наконец, известного Болотова, говорящего о доброте, справедливости и великодушии Павла, к показаниям, которые относятся только к первым двум месяцам царствования «грозного монарха» по выражению И. В. Лопухина.

Психологи, сопоставив разноречивые отзывы современников о Павле, приходят к заключению, что «характер этого государя был мало понятен».

Равным образом и для историков его личность возбуждала «недоумения и разногласия». Для Герцена Павел был «сентиментальным тигром», для Шильдера — «коронованным Гамлетом», для Шимана — душевно-больным, таким же, по крайней мере, в конце царствования для Брикнера и Семевского.

Однако, в отзывах некоторых историков сквозят определенные симпатии к Павлу. Являлась попытка идеализировать его личность и окружать романтическим покровом его царствование: «над порабощенным безгласным народом», вознесенный на недосягаемую высоту, император пребывал в трагическом одиночестве; «шайка крепостников-тунеядцев плотной стеной окружала его». Эти симпатии к Павлу проскальзывали в трудах Шумигорского; приобрели более определенный оттенок в работе Кобеко. Военные реформы Павла нашли себе лестную оценку у военного историка Панчулидзева и т. д.

Наконец, вся «патологическая» система Павла нашла себе горячего защитника в лице харьковского профессора Буцинского. «Царь-демократ, человек редкий в нравственном отношении, с недюжинным умом, феноменальной памятью, высокообразованный, энергичный, трудолюбивый и мудрый правитель государства, как в делах внешней политики, так и внутренней» — характеризует автор Павла на основании «беспристрастных отзывов» современников. Но В. И. Семевский в своем предисловии к книге Брикнера «Смерть Павла I» наглядно показал, что «харьковский профессор русской истории недостаточно знаком с источником, частью слишком тенденциозно пользуется ими», т. е. прибегает к элементарному приему пользования цитатами с пропусками, соответствующими предвзятой идее [1]).

---

[1]) Через десять лет после написания этой статьи и пятнадцать после появления книги Буцинского явился новый историк — адвокат Павла в лице г. Клочкова. У меня не было охоты ломать конструкцию своей статьи, так как по существу вся она и является возражением продолжателям концепции Буцинского. Но пройти молчанием книгу г. Клочкова, в которой мы находим, как бы самое последнее слово „науки", нельзя было. Поэтому посвящаю его книге, его методологическим приемам и его подчас своеобразным воззрениям несколько специальных страниц в качестве как бы второй главы этой статьи.

Оставляя в стороне пока вопрос о душевной болезни Павла, можно с уверенностью сказать, что характеру Павла вообще не свойственна была какая либо определенная программа или система — все его мероприятия при катастрофической смене настроений были случайны, несистематичны, являлись продуктом чувства, известного аффекта, каприза, произвола. Это слишком очевидно и поэтому А. Н. Пыпин с полным правом до некоторой степени мог сказать, что у Павла «нельзя указать даже никакой хотя бы ложной, но продуманной системы». В силу такой очевидности новейший историк царствования Павла г. Покровский, автор статьи о нем в «Истории России» изд. т-ва Гранат[1]), пытающийся также оттенить демократические тенденции Павла, несколько уже по иному ставит вопрос: Павел — борец против дворянских привилегий. Но автор чужд того, чтобы придавать романтический облик «цезарскому безумию» Павла. Демократизм Павла является как бы против его воли. Сам он руководствуется «исключительно минутным капризом или инстинктивным отвращением ко всякому стеснению своей воли». И тем не менее «помимо и даже против своей воли, все перековеркав, Павел не мог изменить законов истории — и, сделавшись врагом господствующего класса, стал воплощением надежд и чаяний классов угнетенных».

Но где же однако можно усмотреть в законодательстве Павла демократическую тенденцию?

Антидворянския мероприятия, уничтожение некоторых дворянских привилегий, являвшиеся исключительно результатом болезненного самовластия императора, чужды были признаков демократизма. Нельзя же в одном только факте преследования дворян видеть уже демократическую тенденцию. Подобный историзм слишком уже отзывается уличной демагогией. Не в том же заключается демократический дух павловского законодательства, что и дворян стали при нем подвергать телесному наказанию? При том каких? — разжалованных по суду, т. е. уже переставших быть и официально и с точки зрения личной Павла дворянами.

Антидворянские мероприятия Павла вытекали не из социального равенства, а из идеи торжества абсолютизма. Таким образом в стремлении ограничить дворянское самоуправление и насадить повсюду единоличный принцип не было никакой общественной нивеллировки. Самовластие Павла не желало терпеть организованного дворянства, не желало видеть никакой общественной силы вне чиновничьей бюрократии и требовало, чтобы дворянин по старому подписывался «верноподданный и раб». Павел даже обедал подчас в короне — так высоко было его представление о власти, данной ему Божественным Провидением. На людях Павел пытался и своей маленькой фигурке придавать даже величественные и торжественные позы, как утверждает Чарторижский: ходил с высоко поднятой головой, яко бы орлиным взглядом окидывал присутствующих. Отмечающие демократическую сторону деятельности «антидворянского» царя обычно останавливаются в данном случае на крестьянском вопросе, где должна была сказаться положительная сторона хотя бы и бессознательного демократизма Павла. Харьковский же исследователь г. Трефильев утверждает, что Павел «близко принимал к сердцу нужды крепостного крестьянства» и что он в продолжение всего своего

[1]) Это был последний обзор царствования Павла к моменту написания статьи.

царствования «оставался неизменно благожелательным» по отношению к крепостным. В. И. Семевский снял уже с Павла этот «романтический ореол радетеля о крестьянских интересах». Он показал, как наряду с мероприятиями, ограничивающими крепостное право, принимались и меры иного характера: крестьянам разрешаются жалобы государю на помещиков, но за эти просьбы об избавлении от тиранства господ жалобщики, по личному приказанию Павла, публично затем наказываются плетьми «сколько захотят сами их помещики». Наконец, запрещение коллективных жалоб по указу 4 мая 1797 года («ни от кого и ни в коих местах прошений, многими подписанных, не принимать») и предписание наказывать за «ложные» жалобы делали совершенно фиктивной яко-бы благожелательность Павла к крестьянам, явившуюся в свое время результатом той же катастрофической смены настроений. «Расхватка земель» — безумная раздача населенных имений тоже говорит не в пользу демократической «системы». Нельзя забывать, что в период своего кратковременного правления Павел роздал 530 тысяч крестьян, в то время как Екатерина за 34 года раздарила 800 тысяч...

По мнению г. Покровского, Павел «стал воплощением надежд и чаяний классов угнетенных». «В этом случае, — говорит автор — особенно характерна привязанность к Павлу солдат, тех самых гвардейских солдат, которых он так мучил своей шагистикой».

На эту любовь «простонародья», отмеченную некоторыми современниками, любят ссылаться и все защитники Павла. «Масса простого народа, — пишет Шумигорский, — в несколько месяцев получившая большее облегчение в тягостной своей доле, чем за все царствование Екатерины, и солдаты, освободившиеся от гнета произвольной командирской власти и почувствовавшие себя на «государевой службе» с надеждой смотрели на будущее: их мало трогали «господские и командирские тревоги». Приведя показания современников (Бенигсена, Ланжерона, небезызвестного Коцебу и др.), свидетельствующие, что солдаты гвардии любили и были привязаны к Павлу, что народ считал императора своим «отцом», автор предисловия к суворинскому изданию «Цареубийство 11 марта 1801 г.» приходит к заключению, что во время Павла недовольства «всей нации» не было, недовольство было лишь в высших классах и сравнительно в незначительных кружках. «Все мероприятия Павла источником имели благороднейшие побуждения, и если он возбуждал недовольство и ненависть, то главным образом в худших элементах гвардии и дворянства, развращенных «долгим женским правлением».

Однако, эта любовь простонародья весьма проблематична, что и выясняется достаточно В. И. Семевским в цитированном выше предисловии к книге Брикнера. Правда, некоторые современники указывают, что солдаты-гвардейцы любили Павла, что солдат хорошо одевали, хорошо кормили, даже дарили им деньги после изнурительных экзерсиций. Конечно, последнее вовсе не было обычным явлением — награды давались тогда, когда Павел был доволен парадом или разводом. К этим свидетельствам о любви солдат к Павлу надо относиться с осторожностью. В сущности Чарторижский в своих воспоминаниях подчеркнул, что солдаты чувствовали как бы удовольствие, когда Павел плохо обращался с офицерами — что было возмездием за те удары, которые они получали. Но не мало было, однако, случаев, когда и солдатам



приходилось быть жертвами крайней требовательности и взбалмошности государя.

Если Павел, собственноручно наказывая офицеров, наказания солдат поручал другим, это не мешало солдатам, и в мундирах сохранявшим человеческий образ, прекрасно понимать, кто истинный виновник жестоких истязаний. Лишние рубли, как свидетельствуют те же современники, не могли заставить забыть о страданиях: «сии царские милости — пишет Шишков — принимались больше с негодованием, нежели с благодарностью; ибо рубль денег или фунт говядины, почитаемые как бы некоторою платой за ежедневное беспокойство и труды, не могли быть достаточным и утешительным за оное вознаграждением».

В доказательство любви солдат г. Покровский приводит их поведение в роковую ночь катастрофы: «офицерам только с большим трудом удалось помешать преображенским гренадерам броситься в царскую спальню и перебить заговорщиков». Не играла ли здесь большую роль особая психология солдата, та психология, то исполнение «долга присяги», которая во имя дисциплины так легко примирила солдат с совершившимся фактом? Подобные аргументы не всегда служат в пользу «защитников» Павла. Им почему то особенно убедительными для доказательства любви солдат к Павлу кажутся слова, произнесенные одним солдатом у гроба Павла; увидев труп с явным следом жестоких насилий, он сказал, что теперь присягнет Александру «хотя лучше покойного ему, конечно, не быть... А впрочем все одно: кто ни поп, тот батька». Как раз это скорее указывает на пессимизм, об'ясняющий психологию солдата.

Для вывода среднего из показаний современников необходимо сопоставлять друг с другом, и в таком случае известный отзыв инвалида-солдата: «вот наш Пугачев едет», произнесенный с тем оттенком, с которым говорят о Пугачеве высшие классы, — во всяком случае не свидетельствует о большой любви простонародья к Павлу. Вот отзыв петербургского извозчика: «я его плешивого и курносого застрелил бы». Делать выводы на основании отдельных отзывов, случайно подслушанных и случайно зарегистрированных тайной полицией более, чем опасно. Но едва ли есть какое либо основание историкам следовать за самим императором, который, по словам современника А. Н. Вельяминова-Зернова, находился в заблуждении, что привязал к себе «чернь».

Автор предисловия к суворинскому изданию, отмечая любовь к Павлу низших слоев, указывает на старообрядцев, признательных Павлу за его благодеяния. Но легенда о религиозной терпимости Павла должна быть разрушена. Действительно, Павел относился более или менее доброжелательно к единоверцам и поповцам, а к беспоповцам, т. е. к тому толку, который отвергал императорскую власть, относился крайне беспощадно. Сектантов, «отвергающих внешнюю власть на земле, пределом Божиим поставленную», истязали в полном смысле слова. И понятно, — «гордость» императора не допускала соперничества. Павел был убежденный теократ, мнивший себя «царем-священником», — он «глава церкви, папа и все, что угодно», как выразился один из его приближенных. Поэтому он так и добивался титула великого магистра мальтийского ордена. Он создал даже мальтийскую капеллу в Петербурге, восстановил орденский ритуал и публично появлялся со всеми полусвященни-

ческими атрибутами великого магистра. Это тешило к тому же его рыцарскую совесть. Некоторое покровительство Павла католикам об'яснется также, как довольно правдоподобно утверждает Сестренцевич, первый митрополит католиков в России, своеобразной политикой страха. Император делается милостивым к католической церкви, так как видит, что глава первенствующей церкви начинает протестовать...

Вообще же о справедливости и мягкосердии Павла говорить трудно — все зависело от аффекта: чего стоит один такой факт, как ссылка в Сибирь под чужим именем кап.-лейт. флота Акимова, обвиненного в эпиграмме по поводу достройки кирпичем Исаакиевского собора — ему был отрезан язык.

Защитники Павла представляют дело так, что Павел погиб за свой демократизм: «Тиранноубийство», которым начинается XIX век в русской истории, — пишет автор теории «бессознательного демократизма» — «к сожалению не было делом возмущенной народной совести. Это была месть господствующего и привилегированного класса за попытку коснуться грубой рукой его интересов и привилегий». «Образовавшийся заговор был одним из самых элементарных, какие знает история. Принципиальная сторона в нем совершенно отсутствовала, говорило исключительно задетое шкурное чувство». «Разрыв с Англией, — писал декабрист фон-Визин, — нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу, и без того возбужденную его жестоким деспотизмом».

Спора нет, принципиальная сторона в заговоре отсутствовала, но ведь это еще не значит, что Павел погиб за свой, хотя и бессознательный, демократизм.

«Крепостной мужик в гвардейском мундире едва не сорвал всего дела!» Так ли это?

Почему катастрофа 11 марта, по свидетельству ф.-Визина, встречена была восторгом одним лишь дворянством, «прочие сословия приняли эту весть довольно равнодушно»? Потому именно, что режим не изменился и с утерей царя демократа, и все обстояло по старому. Нет нужды доказывать, что социальное законодательство Русской империи XVIII в. и начала XIX в. было последовательно дворянским и, конечно, не было окрашено в демократический цвет ни при ближайшем предшественнике, ни при приемниках Павла. Низшие классы были посторонними наблюдателями дворцовых трагедий; инстинктивный протест крепостному режиму всегда выражался в массовых народных волнениях, но, конечно, в народной массе не могла еще в то время родиться мысль о государственном переустройстве.

Естественно деспотизм Павла особенно больно затрагивал привилегированные классы, привыкшие к почету и благосостоянию.

Русское общество времени Екатерины II сохраняло в себе достаточно «патриархальности»: самой императрице, этой «республиканке в душе», возводимой Вольтером в сан богинь, как известно, случалось бивать своих фрейлин по щекам. Но такие вещи делались у себя дома, в будничной обстановке, — публично же «московитский Олимп», как Чарторижский называет двор Екатерины, старался подражать нравам парижского салона и очень гордился этим.

Тем резче должно было быть впечатление от вступления на престол Павла, когда, по выражению А. М. Тургенева, «изящный великолепный двор Екатерины был преобразован в огромную кордегардию»; когда, по словам другого современника, Саблукова, Петербург сразу принял «скучный вид маленького немецкого города XVII ст.»

В эту кордегардию попали все без исключения. Достаточно вспомнить те многочисленные сцены на улицах Петербурга, которые описываются многими современниками, когда женщины с детьми должны были вылезать из карет в снег или грязь безразлично, чтобы сделать полагающийся глубокий реверанс при встрече с властелином и когда во время танцев во дворце при контрдансе опасно было встать, повернуться или вообще принять позу, неучтивую по отношению к императору.

«Капральский режим», выработанный в Гатчинском уединении, был поэтому слишком тяжел. Если от всех привычек и поступков Петра III шел острый запах мелкого немецкого двора, где «цезарским» наклонностям приходилось упражняться на разных миниатюрных об'ектах в роде крыс, собак, или самое большее крепостных лакеев, то Павел — замечает Покровский, как мы знаем, один из теоретиков демократической тенденции Павла — «уже больше привык к русской обстановке и мог размахнуться шире — крыс и ливреток сменили придворные гвардейские офицеры».

Без «коварной провокации» Палена — говорят — недовольство не разрослось бы в такой степени. Павел был игрушкой в руках коварного царедворца; «систематически пользуясь всякими вспышками государя, Пален грубо и безжалостно приводил немедленно в исполнение приказания, чтобы создать недовольство всюду и размножить врагов Павла». Именем государя правил Пален и правил так, что и за границей и внутри России создавалось представление, что правит сумасшедший деспот.

И царь, от природы наделенный «многими высокими качествами духа», исполненный «честного и благородного стремления ко благу своего народа», погиб ужасно и жалко, не вызвав к своей участи никакого сожаления в европейском обществе. Имя его — защитника низших классов — заглохло «даже не отразившись в какой нибудь плачевной песне» [1]). Он на целое столетие остался в «сознании всех пугающим образом тирана и безумца».

Вот в чем трагедия Павла, по мнению его защитников. Монарх, лишенный опоры свободного и сознательного народа, не мог защитить себя от придворной камарильи, от «нескольких низких интриганов, искушенных в подлости и пройдошестве.» Конечно, это трагедия абсолютизма.

Павел погиб от руки офицеров-преторианцев, совершивших уже привычный им дворцовый переворот. Но при отсутствии принципиальной стороны здесь не было и речи о мести за демократизм. С этой вновь всплывшей легендой следует уже окончательно проститься.

Убийцы ославили свою жертву кровожадным, сумасшедшим — говорят защитники Павла — это им было необходимо для оправдания своего поступка. В действительности Павел не был таковым, и этим признанием защитики Павла делают плохую услугу несчастной жертве 11 марта. Конечно, лишь

---

[1]) Вот такая легенда создалась в XX веке. И нашелся ученый историк XX столетия, именно г. Клочков, который сознательно или бессознательно, но в нее уверовал.

болезнь служит оправданием Павлу и, по справедливому замечанию Семевского, не ставит его на одну доску с такими злодеями, каким является без лести преданный Аракчеев.

Был ли Павел душевно-больным?

Ходячие мнения, основывающиеся, по мнению защитников Павла, на показаниях современников памфлетического характера, дают утвердительный ответ на этот вопрос. Так же отвечают, как мы видели, и некоторые историки: мания преследования, навязчивая идея неограниченного самовластия, эротомания — вот основы душвной болезни императора. Г. Покровский не сомневается, что патологический характер «системы» Павла современный психиатр не задумался бы отнести под рубрику «истерии».

Как же решают вопрос психиатры? Первая попытка в этом отношении со стороны г. Ковалевского, в свою очередь, давала утвердительный ответ — Павел «дегенерат высшей, второй степени с наклонностью к переходу в душевную болезнь в форме бреда преследования». Отец алкоголик — сын эпилептик. Но эта наследственность взята была под подозрение в виду вопроса о происхождении императора Павла. Известные сомнения в этом отношении не основываются на прочном базисе, и вопрос в науке остается открытым. В. И. Семевский, считающий, по нашему мнению без достаточных оснований, Павла сыном Сергея Салтыкова, советовал психиатрам пересмотреть вопрос о душевной болезни Павла.

Совет выполнен проф. Чижом в большом этюде «Император Павел I», напечатанном в журнале «Вопросы психологии и философии» в 1907 году.

Автор пришел к выводу, что нет основания считать Павла душевно больным. «Современных психиатров, — говорит он, — часто обвиняют в том, что они всех выделяющихся из среднего уровня считают душевно-больными, все непонятные психические явления об'ясняют болезнью». Это обвинение ни на чем не основано. «Профаны действительно считают душевно больными лиц, характер и поведение которых им непонятны; так же они судили в XVIII в.» «Весьма поучительно, — продолжает г. Чиж — что все мнения о душевной болезни (Павла) или не мотивированы, или обоснованы на заведомо ложных или, по меньшей мере, сомнительных данных. Это, конечно, указывает на неосновательность этих мнений, на отсутствие проявлений (у Павла) душевной болезни». У Павла не было ни эпилепсии, ни истерии.

К таким выводам проф. Чиж приходит на основании тщательного анализа жизни Павла и показаний современников: «мы не имеем ни одного указания на душевную болезнь Павла, если, конечно, не считать его безрассудных поступков и той жестокой строгости, с которой он наказывал самые ничтожные проступки».

В последнее время психологи много занимались классификацией характеров, но характер Павла, по словам г. Чижа, «не может быть введен в какой либо из известных классов». С некоторой натяжкой можно отнести этот характер в класс характеров названных Малапертом «les emotifs irritables ou impulsifs» (впечатлительное, импульсивное, легко-волнующееся, раздражительное или порывистое). «Эти лица всегда возбуждены, одно волненіе быстро переходит в другое; они очень беспокойны, боязливы; их симпатии и антипатии очень

живы и изменчивы; увлечения разнообразны, но быстро меняются: возбуждение скоро сменяется истощением; эти лица раздражительны, часто меняют свои планы, аггрессивны, даже злы, легко гневаются; гнев иногда ведет к насилиям; крайняя веселость сменяется мрачной печалью. В умственной деятельности этих лиц замечается отсутствие равновесия, системы и глубины; они увлекаются новыми идеями, любят парадоксы, нерассудительны и непрактичны». Характер, каким наделен был Павел, мало изучен, поэтому «нет ничего удивительного, что редкий и непонятный характер Павла I возбуждал недоумение и различные мнения у лиц его знавших и у историков».

Таков приговор специалиста в области психиатрии.

Конечно, «профанам» приходится умолкнуть перед этими компетентными мнениями. Однако, некоторые возражения невольно напрашиваются, особенно в тех случаях, когда психиатр затрагивает область истории. Но последнее не входит в нашу задачу. Укажем лишь на некоторые недоумения, остающиеся у профанов после приговора психиатра.

Допустим, что с точки зрения психиатрии, Павел не может быть признан душевно-больным; это означает, что врач не мог бы заключить несчастного императора в больницу; такое признание нисколько не мешало бы Павлу в общежитии быть в полном смысле ненормальным человеком, по ходячей терминологии. Появление на царском престоле такого человека, облеченного полнотою неограниченной власти, должно было повлечь трагическую развязку! . . . Допустим, что поступки Павла об'ясняются его оригинальным характером: «преобладанием катаболических процессов над анаболическими» и т. д. Неужели, однако, может считаться в общежитии нормальным тот человек, который серьезнейшим образом рассуждал о вызове на рыцарский турнир всех государей Европы, намеревался на рубеже XIX в. защищать Соловецкий монастырь дегтем и предпринимал безрассудный поход в Индию? [1]) Психиатр, признавший Павла здоровым, и тот должен согласиться, что последние поступки можно об'яснить лишь тяжелой душевной болезнью. Можно ли считать нормальным того человека, который ставит на докладах, содержащих несколько различных или спорных мнений, резолюцию «быть по сему» (свидетельство Державина), что А. М. Тургенев мог поистине назвать «несообразными с здравым рассудком повелениями». Эти резолюции относятся к последнему году, когда «душевная болезнь» становится слишком уже очевидною; ранее она была слабее, но была на лицо.

С большой осторожностью приходится говорить о психическом здоровьи Павла до воцарения.

Из анализа того же профессора Чижа мы можем заключить, что у Павла были «признаки вырождения», «аномалии в форме и развитии черепа»; он с детства проявлял слабость воли и задерживающих центров, удивительную боязливость, злобность, цинизм, в то же время крайнюю гордость, достигающую степени «бреда величия». Далее мы узнали о «гастрических страданиях», сопровождающихся судорогами; у него «аномалия печени»; вспомним

[1]) Известно, что Павел, примирившись с Наполеоном, отдал распоряжение двинуть всех без исключения донских казаков маршевым путем в Индию. Поход предпринят был без всякой подготовки; распоряжение вызвало полное недоумение и войскового начальства. Но, конечно, ослушаться не смели. Казаки двинулись и только неожиданная смерть Павла вернула их уже с пути.

об «истерии», о «маловероятных галлюцинациях», о находящейся под подозрением «наследственности», о болезненных аффектах, об отравлении большими дозами опия и т. д.

Но особенности физические не дают права считать больным; бывают и опиофаги «психически вполне здоровые». Для проф. Чижа — Павел человек воздержанный в употреблении спиртных напитков, в любовных отношениях и т. д. Однако, ведь есть свидетельства, не опровергнутые проф. Чижом, говорящие об алкоголизме и даже эротомании Павла. И если взять все эти черты в совокупности, вывод получается далеко не благоприятный для отрицающих душевную болезнь Павла, еще с детства страдавшего конвульсиями, от которых впадал в беспамятство. [1])

Проф. Чиж любит полемизировать с историками, при чем иногда пользуется аргументами не особенно вескими. Проф. Чиж, рьяный поклонник Екатерины, и не допускает мысли, чтобы мудрая правительница не сумела бы устранить от престола больного сына. Она видела все зло, которое принесет будущий император, но он был здоров, и она таким образом была лишена возможности избежать этого зла. «История и психиатрия — говорит проф. Чиж — нас учат, что душевно-больные государи были опасны для лиц, их окружающих, но страной они управлять не могли, почему властью завладевали или их родственники или их сановники».

Все это служит не в пользу теории проф. Чижа; профаны останутся при старом мнении, что Павел, по крайней мере в конце царствования, когда его патологическая система выливалась уже в слишком уродливых формах, был явно душевно-больным.

В сущности у самого Чижа мы найдем прямое опровержение его основных положений. Ассоциальность (одиночество), которая считается основным признаком душевной болезни, — у Павла на лицо. Отмечая странный характер Павла, Чиж в параллель приводит явления, наблюдаемые у душевнобольных, у которых патологический процесс поразил передние доли мозга: блестящие сочетания представлений сменяются галиматьей, которую нельзя запомнить—такую галиматью при обсуждении плана войны с Англией и не мог запомнить адмирал Чичагов. Французский историк Моран, написавший книгу о Павле до воцарения, следуя классификации психиатра Маньяна, относит Павла к так называемым дегенератам высшего порядка, отличительной чертой которых являются именно та непоследовательность мысли и те навязчивые идеи, которые столь характерны для Павла.

Думается, и еще раз психиатрам не мешает пересмотреть вопрос о душевной болезни Павла.

«Мир праху твоему, честный человек, рыцарь без страха и упрека, рыцарь времен прошедших» — заканчивает проф. Буцинский. Быть может вернее будет сказать: «мир праху твоему, больной человек». Проф. Брикнер считает, что Павел погиб вследствие отсутствия закона, предусматривающего душевную болезнь у государя.

---

[1]) Рассказ, например, Ржевусского, о своем испуге, когда Павел, сидевший у него на коленях, упал в таких конвульсиях.

«Царь-демократ», презиравший «развращенный народ», указал русскому обществу уже на рубеже XIX столетия очередную задачу. «Деспотическая жестокость правления Павла, по словам Семевского, должна была наводить на мысль о необходимости ограничения самодержавия».

И полковник Измайловского полка Бибиков уже в то время высказывает мысли, которые разделялись впоследствии в карбонарийских кругах декабристов.

II. АДВОКАТ ПАВЛА

„Я думаю, что сумасшествие и духовное помрачение черезчур легко считаются у нас смягчающими вину обстоятельствами."
Лорд Релэ (англ. физ)

«Историческая загадка» казалось бы раз'яснена! Но нет, нашелся ученый историк, взявший на себя крайне неудачную и невыгодную миссию реабилитировать Павла в самые последние годы. В 1916 году появилась под заглавием «Очерки правительственной деятельности времен Павла I» «докторская» диссертация г. Клочкова, занявшего профессорскую кафедру в Харьковском университете. Так уже очевидно повелось, чтобы занимающие кафедру русской истории в Харьковском университете от времени до времени выступали в ролях адвоката на защиту императора, оклеветанного и большинством современников и большинством историков. Напомним, что Буцинский был также профессором Харьковского университета.

В сущности, основные страницы книги, посвященные характеристике правительственной деятельности Павла и ставящие своей задачей выяснить ту правительственную систему, которую якобы вполне планомерно и вдумчиво проводил русский самодержец, до нельзя сухи, бледны и бесцветны. Это какой то перечень мелких действий высших правительственных учреждений эпохи Павла, имеющих весьма малое приближение к планомерному проведению правительственной системы, которую г. Клочков усвояет Павлу, — бюрократической монархии.

И по прочтении нового исследования о Павловских временах разошедшегося с «общепринятой точкой зрения» и пытающегося доказать, что «в исторической литературе время Павла освещено односторонне», остаешься не только при старом убеждении, но еще более укрепляешься в нем: книга г. Клочкова — заметил один из первых ее рецензентов, покойной Н. П. Павлов-Сильванский («Историк», Речь 1916 г., № 244) — «новый обвинительный акт против Павла».

В самом деле, если сам адвокат, с большим пылом и задором в предисловии своей книги полемизирующий с современниками и историками, может

только сказать в конце концов, что в мероприятиях Павла он «заметил известного рода систему, которая проводилась в жизнь более или менее планомерно», сделал вдруг неожиданное заключение на стр. 527: «мероприятия павловского времени не отличались выдержанностью и систематичностью» (с чего же было в таком случае огород городить!!) — то все это еще слишком мало для того, чтобы значительной части павловской историографии прилепить марку тенденциозности.

В том, что Павлом, поклонником Фридриха II, могли быть в молодости усвоены идеи определенной правительственной системы, едва ли надо сомневаться — в конце концов и абсолютистский произвол тоже своего рода система. Можно даже не спорить с Клочковым и в том, что Павел вступил на престол с благими намерениями и что он самым искренним образом рассуждал в 1772 г. (т. е. почти за двадцать пять лет до царской порфиры, что совершенно игнорирует павловский адвокат) на тему о том, что закон — основа всему; что законность и порядок в теории были лозунгами нового царствования. Дело в том, что при характере и специфических душевных свойствах Павла его мысли о высоте и святости царского сана[1]), представления о том, что народ должен слепо повиноваться самодержцу[2]), его «отвращение», наконец, к республике и желание пресечь «распущенность в службе и нравах, в целях уничтожения всех мерещущихся ему призраков революции — выливались в систему патологическую», как говорит Ключевский.

В силу этой именно патологии царствование Павла, со многими, быть может, чертами своего рода донкихотства, действительно превратилось как бы в сплошной анекдот. Дело не в том, что Павел, положивший в основу своей социальной политики якобы равновесие между сословиями и пытавшийся опереться на общественные низы (!), как то утверждает г. Клочков, правил «железной лозой» под влиянием внушений со стороны французского эмигранта гр. Эстергази; дело не в том, что при Павле воцарилась в полном смысле военная диктатура, а в том, как говорит Ключевский, что вся его яко-бы «демократическая» программа разбивалась на бессвязные и капризные мелочи.

В сущности, предшествующие страницы дали уже ответ на положения, выдвинутые Клочковым, малооригинальные и почти целиком примыкающие к той консервативной школе, представителем которой был Буцинский. Тезисы г. Клочкова, характеризующие в положительных чертах социальную политику Павла, продолжают еще требовать фактической аргументации. Пока что автор прибег к оригинальному методу, хотя крайне старому и шаблонному, — проходить просто молчанием неудобные ему факты, основные между тем для обрисовки социальной политики империи эпохи Павла.

Едва ли есть сомнение в том, что вопрос о массовой и бессистемной раздаче крестьян является характернейшей чертой нескольких лет пра-

---

[1]) Странно кстати, что новейший исследователь правительственной деятельности Павла даже не обмолвился о теократических вожделениях, столь характерных для его героя; не обмолвился потому, что, желая быть оригинальным, в действительности он повсюду держится шаблона.

[2]) Русский народ по „счастливому сложению физическому и моральному“ как раз и обнаруживал это „слепое повиновение“, как утверждает Павел наследником в переписке с Паниным.

вления Павла. Наш ученый историк ограничивается по этому поводу лишь небольшим замечанием всего в несколько строк: «сверх указанного следовало бы рассмотреть вопрос о раздаче крестьян, но этот вопрос еще не выяснен мною окончательно». Но выяснен довольно отчетливо В. И. Семевским еще в 1882 году. Дальше идти некуда в научной тенденциозности, если не сказать более откровенно — в научном цинизме. Вопрос, который следовало рассмотреть в первую очередь, а не «сверх указанного», откладывается до того времени, как автор диссертации, за которую ему, как это ни странно, присудили научную степень, выяснит вопрос «окончательно». Разве не прав был А. А. Кизеветтер, заметивший по этому поводу в «Русских Ведомостях» (1916, № 207): «не лучше было бы обождать с выпуском книги впредь до его выяснения?».

Книга г. Клочкова по заданиям, которые он себе поставил, должна быть отнесена, по нашему мнению, к числу не научных произведений, а к публицистике sui generis. Она в сущности примыкает к тем попыткам изобразить Павла чуть ли не святым и мучеником со стороны клира Петропавловского Собора или его администрации, которые в свое время после 1905 г. усиленно раздували «Московские Ведомости» и органы типа «Нового Времени». Может быть даже бессознательно, но книга эта пробует подвести как бы «научный» фундамент под легенду, которая творится в XX веке ad majorem gloriam упадающего авторитета царизма .... Легенда эта действительно нашла себе место в научном произведении г. Клочкова, восполняя тем самым пробел, о котором горевали, как мы уже видим, некоторые из его предшественников.

Г. Клочков желает бездоказательно, как всегда[1]), показать, что народ инстинктивно понимал благорасположение к нему императора и ценил его антидворянскую политику. «От самих крестьян записок, дневников и писем, по которым можно было судить об отношении к Павлу и его деятельности, конечно, не дошло, но сохранилась (!!!) одна легенда, которая распространена (?!) среди простого народа и до настоящего времени. После (?!) трагической кончины Павла распространялась молва, что императора Павла удавили генералы да господа за его справедливость и за сочувствие простому народу, что он — мученик «святой», молитва на его могиле спасительна: она помогает при неудачах по службе, когда обходят назначениями, повышениями и наградами, в судебных делах, помогая каждому добиться правды в судах, в неудачной любви и несчастливой семейной жизни. Такая молва через столетие (?) дошла до наших дней и на могиле Павла больше, чем на чьей либо другой в Петропавловском Соборе горят приносимые свечи и служатся почти ежедневно многочисленные панихиды».

Эта цитата целиком взята из научной диссертации г. Клочкова. Пожалуй, нет надобности в серьез заниматься разбором этой легенды весьма недавнего происхождения, существованию которой г. Клочков совершенно произвольно насчитывает более столетия. Откуда почерпнул такие сведения автор — об этом он не говорит; между тем легенда всплыла впервые на страницах оффициозной печати уже в наши дни: факт — пока не опро-

---

[1]) Один, два примера, приводимых автором, конечно, ничего не доказывают, тем более, что некоторые его примеры, как нередко это случается со всем изложением автора, свидетельствуют о противоположном.

вергнутый какими либо историческими розысканиями. Надо быть, кроме того, чрезвычайно наивным, чтобы в легенде, подхваченной петербургским чиновничеством, усмотреть народный характер: думаю, что русскому крестьянину совершенно безразлично, кто кого обходил чином и, вероятно, ни одной крестьянской свечи не теплится перед гробницей «императора-мученика». Быть может в известных слоях мещанской обывательской среды, столичные неудачники и неудачницы в любви и идут на гробницу Павла, как идут в Москве в Иверскую часовню. Но при чем же здесь крестьянский радетель император Павел I?

Любопытно, что сам г. Клочков в немногих сравнительно серьезных страницах своего исследования, посвященных, напр., вопросу о применении на практике указа Павла о трехдневной барщине, т. е. вопросу о реальном ограничении крепостного права, пришел к весьма скромному выводу, ограничивающему точку зрения прежней историографии, что закон в сущности имел в виду лишь запрещение барщины в праздничные дни. Таким образом и этот знаменитый указ никаких облегчений в действительности в крестьянскую жизнь не вносил и по истине был лишь — «сентиментальным жестом, не имевшим юридического значения».

Наконец, еще одно замечание о крестьянской политике Павла. Его адвокат ставит в заслугу, что при усмирении крестьянских беспорядков не было проявлено «особой жестокости». Но уже Павлов-Сильванский в своей рецензии напомнил г. Клочкову хотя бы общеизвестный факт о целом сражении, которое произошло при усмирении помещиков Апраксина и кн. Голицына. Причем Репнин на коле, поставленном на могиле убитых, которые были зарыты по его приказанию вне церковной ограды, приказал написать «Тут лежат преступники перед Богом, государем и помещиком, справедливо наказанные по Закону Божию» .... Эта могильная эпитафия служит лучшей характеристикой подлинных основ социальной политики императора Павла I. Нельзя было ярче и отчетливее их выразить.

Историки тенденциозно изобразили личность и деятельность Павла. Они подпали под влияние мемуарной литературы, между тем — говорит г. Клочков — «беспристрастное изучение принципов и действий этого монарха приводят к выводу, что современники в характеристике императора Павла I были неправы».

Чтобы доказать это, автор критически разбирает главнейшие мемуары современников. Работа могла бы быть чрезвычайно полезна, если бы только критический разбор историка не был столь же тенденциозен, как и воспоминания, им рассматриваемые. Нет — даже во много раз тенденциознее, ибо суб'ективизм мемуариста часто вовсе не проистекает из злой воли — он записывает то, что видел, и записывает так, как он воспринимал эту современность. Конечно, каждый современник, впрочем, так же как и каждый исследователь, оценивает события под определенным углом зрения своего личного миросозерцания. Только однородность многих свидетельств и людей разных кругов и разных лагерей приближает нас к истине, как это и имеется в наличии в отношении к Павлу I. И подчас то, что Клочков считает почти фальсификацией, является в действительности подлинным изображением явления, что косвенно подтверждает, вопреки своему желанию сам г. Клочков, как мы увидим из его собственного изложения. Единствен-

ный правильный вывод, который делает исследователь, это тот, что невозможно пользоваться мемуарными сведениями без какой либо критики. Но неужели стоило с таким шумом ломиться в открытую дверь, чтобы возвестить ученым, или не знаю кому, столь элементарный трафарет?

Противоречия, в которые впадает г. Клочков при критике мемуаристов, а равно и историков, удивительны, но в сущности неизбежны. Как ни тенденциозен сам по себе реабилитатор Павла, готовый заподозрить правильность всех сообщений, идущих в разрез с обликом, который пытается он обрисовать, и ему нельзя одним взмахом пера в работе, все же претендующей на научность, вычеркнуть из истории Павла неподлежащее опорочиванию в смысле своей достоверности. У автора только эти противоречия слишком уже грубы и элементарны.

Ученый особенно строг к воспоминаниям А. М. Тургенева, к тем самым, которые в очень искаженном виде с большими купюрами в свое время были напечатаны в «Русской Старине» и в полном тексте стали появляться уже в 1919 г. на страницах «Былого». За Тургеневским изложением Клочков не желает признавать почти никакой достоверности. Для Тургенева, как я говорил, царствование Павла является «четырехлетним страданием отечества». Такая характеристика, понятно, не нравится Клочкову и он начинает все опровергать у Тургенева, вплоть до отзывов его относительно обычной грубости Павла. «Павел — заявляет Клочков — был корректен даже в минуты раздражения и за редким исключением (это все-таки признается!) не позволял себе говорить резкости». И тут же сам рассказывает, как Павел обозвал генерала дураком, как бросился с поднятой тростью на офицера, случайно забрызгавшего его грязью на вахпараде. Павел — добавляет неожиданно исследователь в оправдание таких поступков — был «нрава своевольного». Но об этом только у Тургенева и идет речь! «Гнев его — продолжает повествователь — доходил *до бешенства* (курсив мой) и он казался вне себя *от исступления*. Горе тому, кто попадался Павлу под такую руку! В такие моменты — заключает строгий критик других — в голове Павла порывалась нитка и помещенная в ней машинка начинала беспорядочно вертеться и жужжать». В этих случаях Павел мог совершить «величайшие несправедливости». «На беду такие моменты не были редки . . .» Просто диву даешься, читая такие строки у автора, делающего из них выводы, противные другим историкам, которые, по его мнению, исказили облик императора для потомства. Лучше образного сравнения с машинкой, беспорядочно жужжащей, пожалуй, трудно и придумать!!

Вся реабилитация Павла построена в значительной степени на таких противоречиях. Например, Клочков сам рассказывает случей со статс-секретарем Нелединским-Мелецким при путешествии Павла в Казань и верит в данном случае мемуаристу. Доехав до полосы лесов, Нелединский, сидя вместе с Павлом в карете, имел неосторожность заметить: «Вот первые представители лесов, которые далеко простираются за Урал». — «Очень поэтично сказано, но совершенно неуместно», — заявил Павел, возмущенный тем, что в его присутствии было упомянуто революционное слово «представитель», — «извольте сейчас выйти из коляски» . . . .

Для Тургенева и других такие до чрезвычайности многочисленные эпизоды, сделавшие из царствования Павла для потомства сплошной анекдот,

а для современников кошмарное время, относятся к области «несообразных с здравым рассудком поступков». Для историка XX столетия подобные эпизоды лежат в иной плоскости. Живой ум Павла, видите ли, имел «большую склонность к парадоксальности». «При таком складе ума Павел часто придумывал то, что обыкновенному среднему человеку в лучшем случае казалось забавным и оригинальным, в худшем — непонятным, странным и сумасбродным».

Как эти «средние» люди не понимали Павла, так, повидимому, мы, люди также «обыкновенные», не поймем Клочкова и останемся при старых убеждениях, несогласных с идеологией павловского адвоката, возвышавшейся, очевидно, над средним уровнем сознания русской интеллигенции. Взгляды Клочкова нам по просту кажутся странными. Перечисляя меры, которые принимал Павел для борьбы с занесением в Россию революционной заразы, как, напр., полное запрещение ввоза из-за границы не только книг, но и музыкальных произведений, запрещение русским выезжать заграницу, запрещение всякого рода обществ, введение широкой перлюстрации писем, Клочков заключает такой тирадой: «Эти взгляды рисуют нам Павла человеком вполне умным с высоким (!!) и разумно обоснованным (!) принципом». До октябрьской революции 1917 г. мы привыкли такие взгляды называть ретроградными. Может быть теперь г. Клочков и нашел бы созвучие в тех русских «якобинских» кругах, которые во имя диктатуры пролетариата, понятого в виде пресловутого raison d'Etat старого режима, свели на нет все так называемые гражданские свободы. Мы называем такую правительственную систему реакционной; так же назвали ее и большинство современников Павла...

Вследствие парадоксальности ума, доводящей всякую мысль до логической крайности, что и является в сущности признаком душевной ненормальности или так называемых навязчивых идей, правительственная система Павла и приобрела характер патологический. Когда маньяк, каким и был в действительности Павел в период по крайней мере своего царствования, начинает заниматься общественной нивеллировкой, то его реформы сводятся к превращению своих подчиненных в автоматов: и Павел, говоря вновь словами г. Клочкова для большей убедительности, желал, чтобы дома строились по воле начальства в указанном порядке, окрашивались в определенный цвет; чтобы люди ходили по определенным правилам, употребляли определенные жесты, одевались как прикажут, то есть желал превратить страну действительно в какую то огромную кордегардию.

Реабилитацией для Павла может быть только одно, именно то, что формулировано было еще военным историком Петрушевским: для времени Павла требуется исследование «не столько историческое, сколько патологическое». К этой точке зрения примыкает, как мы видим, значительная часть павловской историографии, как более ранней, так и позднейшей. И если ряд современников, показания которых заслуживают внимания, характеризуют нам личность Павла иногда в привлекательных чертах, то вовсе нет надобности скептически отрицать наличность таких качеств, которые легко соединялись с самым возмутительным произволом и насилием, отмечавшим кратковременное царствование «грозного императора». Грозный император был по просту больным императором.

«Император хотел быть справедливым» — говорит нам Чарторижский. — «В душе его наряду с капризами и беспорядочными вспышками, жило глубокое чувство справедливости». Но, когда в действительности все шло «вверх дном», по выражению сенатора бар. Гейкинга, благорасположенного к Павлу; когда рыцарски настроенный и справедливый по природе человек приходил в слепую «ярость при малейшей оплошности» и энтузиазм дружбы «сменял на ненависть» (слова того же Гейкинга), тогда сторонник законности совершал слошные беззакония. Благодушие Павла — временные перерывы безумия, по словам его раннего историка Головина (1859). Отсюда те «контрасты света и тени», о которых рассказывает бар. Гейкинг. На свидетельство Чарторижского г. Клочков ссылается только по недоразумению. Его прельстила процитированная фраза. Но тем важнее показания этого мемуариста, раз Клочков считает источник этот об'ективным и достоверным. Чарторижский дает образ Павла в полном соответствии с традицией. Для него он «маниак» и «сумасшедший», человек, не признававший никаких соображений, кроме своей воли, немедленно приводивший в исполнение всякую фантазию, которая приходила в голову, ужасный в своей жестокости, и чрезмерно милостивый в момент хорошего расположения духа.

Напрасно игнорирует Клочков дневник горячего поклонника Павла Сестренцевича. «Наш справедливый и мудрый государь» — говорит в своем дневнике этот тонкий церковный дипломат. И тут же дает яркие черты для характеристики «неаполитанского короля», т. е. Павла. Он часто «впадает в бешенство... Это бешенство продолжается то минуту, то целый день; иногда он встает по утрам в таком гневе, что, повидимому, ничего не видит перед собой, наносит побои и очень часто потом не помнит ничего этого или умышленно не желает загладить своей вины». «Это болезнь» — утверждает Сестренцевич.

И для того, чтобы понять и об'яснить капризы Павла, — нет надобности в тех антиисторических манипуляциях, к которым попытался прибегнуть его новейший историк.[1] Попытка изобразить правительственную деятельность Павла разумной и последовательной приводит лишь к безысходным противо-

---

[1]) Для характеристики научных приемов автора можно привести еще один характерный образец. Павла упрекают в непоследовательности во внешней политике. Ответ готов, как готов он был в свое время и у предшественника Клочкова Буцинского: и при Александре внешняя политика шла зигзагообразно — то против Франции, то за. Александр — торжествующе заключает автор, — продолжал дело отца.

Пример в высшей степени неудачен. Автор повидимому совсем не знаком с дипломатией Александра, в конце концов чрезвычайно последовательной; Александр определенно всегда был против Наполеона. Притворство и игра, вынужденная обстоятельствами и заранее обдуманным планом (см. ниже статью „Александр I“) совсем не то, что противоречия, вытекающие из фантазии, как у Павла. Александр своим притворством обманывал современников. Но не след уже историкам ловить призрачные образы. Павел не обманывал, а просто поддавался импульсии. Поэтому так легко его было сбить с позиции, что и сделал блестяще Наполеон, воспользовавшись охлаждением Павла к Австрии. Ему достаточно было вернуть по собственной инициативе русских пленных, хорошо экипированных, чтобы прельстить Павла. А поход в Индию? Не вызван ли он главным образом пресловутым мальтийским вопросом, тем препятствием, которое ставила Англия русскому царю, одевавшему средневековые рыцарские доспехи и об'явившему себя не только покровителем, но и великим магистром Ордена?

речиям, как это вышло с разбираемой книгой. Девиз царствования Павла — законность. Но как закрыть глаза на многочисленные факты жесточайших наказаний «без суда», то есть проявление тираннического произвола, о которых говорят уже не мемуаристы, а личные предписания Павла!

При всем своем желании г. Клочков не сумел, конечно, раз'яснить эти противоречия. Для личности Павла его книга действительно лишь обвинительный акт. Пока им представлено еще слишком мало материала, слишком мало доказательств, чтобы изменять той точке зрения, которую уже можно считать установившейся в научной литературе.

Только примыкая к де-Санглену и признавая «жалкое расстройство ума» у Павла, можно оправдать поэта «диалектики самовластия», по выражению Герцена, перед историей и не превращать его в радищевское «чудовище, обло, озорно».

И тем трагичнее становится драма, разыгравшаяся в Михайловском дворце при участии сына больного, ненормального императора.

13/IV 1920
Особый Отдел
В. Ч. К.

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I

СФИНКС НА ПРЕСТОЛЕ

(Черты для характеристики Александра I)

I

История давно уже сделала из императора Александра I своего рода историческую загадку: «Сфинкс, не разгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь», — сказал еще кн. П. А. Вяземский об Александре. И в самом деле, как об'яснить «противоречия», которыми так богата вся деятельность Александра? Как об'яснить удивительное совмещение «благородных» принципов ранних лет с позднейшей жестокой аракчеевской практикой? Дано не мало уже об'яснений этой непонятной и сложной психики соперника Наполеона, вызывавшего самые противоречивые характеристики со стороны современников.

Прежняя даже критическая историография [1]) как бы реабилитировала перед потомством личность Александра. «Мы примиряемся с его личностью потому, — писал Пыпин в своих очерках «Общественное движение», — что в источнике его недостатков находим не дурные наклонности, а недостаток воспитания воли и недостаток понимания отношений, что в глубине побуждений его лежали часто наилучшие стремления, которым недоставало только школы и благоприятных условий». Александр был «одним из наиболее характеристических представителей» своего времени: «он сам лично делил различные настроения этого времени, и то брожение общественных идей, которое начинало тогда проникать в русскую жизнь, как будто отражалось в нем самом таким же нерешительным брожением. Так, сперва он мечтал о самых широких преобразованиях, о каких только думали самые смелые умы тогдашнего русского общества: он был либералом, приверженцем конституционных учреждений... в другое время, смущаясь перед действительными трудностями и воображаемыми опасностями, он становился консерватором, реакционером, пиэтистом». Теми «трудными положениями», которые ставила Александру сама жизнь, Пыпин в значительной степени готов был об'яснять двойственность и неуверенность в характере Александра. Он был всегда искренен, когда в одно и то же время колебался между двумя совершенно различными настроениями. Та «периодичность воззрений», которую отмечает Меттерних,

---

[1]) Мы не говорим, конечно, о той ранней истории царствования Александра, которая, по одному меткому выражению, представляла собой „только восторженные восклицания". Типичным образцом такой оценки может служить, например, апофеоз наивного Федора Глинки в „письмах русского офицера": Когда поколебаются царства и потрясутся престолы, тогда Государь, над главою которого зашумят бури, взглянет с доверенностью в бытия прошедших времен, увидит лучезарное имя Александра I, возьмет с него пример твердой непоколебимости".

не являлась выражением какого-то сознательного лицемерия. Его внутренние тревоги даже в период реакционной политики показывают в нем не бессердечного лицемера или тирана, каким его нередко изображали, а человека заблуждавшегося, но способного вызвать к себе сочувствие, потому что во всяком случае это был человек с нравственными идеалами.

Еще более теплую характеристику Александра дал Ключевский в своем знаменитом литографированном курсе: «Александр был прекрасный цветок, но тепличный, не успевший акклиматизироваться на русской почве: он рос и цвел роскошно, пока стояла хорошая погода, наполняя окружающую среду благоуханием, а как подула северная буря, как настало наше русское осеннее ненастье, этот цветок завял и опустился». Александр был воспитан в политических идиллиях, у него не было необходимого «чутья действительности», и те «слишком широкие мечты», с которыми он вступил в правительственную деятельность, разбились о встречённые препятствия, о незнание практической жизни. Неудачи вызывали утомление и раздражение.

Таков был «коронованный Гамлет», как назвал Александра Герцен. В духе этой прежней историографии характеризует Александра и автор новейшей его биографии проф. Фирсов. Александра нельзя изображать, как «двуличного деятеля, как хладнокровного хитреца». Это была сложная, хрупкая психическая организация. Александр явился «моральной жертвой русской истории XVIII века, точнее — истории русского престола». Это — жертва среды; это — монарх, «морально не вынесший самодержавной власти, унаследованной им при помощи дворцовой революции с смертельным исходом для царствующего государя». Физическая гибель Павла повлекла за собой моральную гибель Александра. «Вечное терзание совести» надломило хрупкую психическую организацию. Поэтому судьба Александра полна самого «трогательного драматизма». «Я должен страдать, ибо ничто не в силах уврачевать мои душевные муки»—говорил Александр Чарторижскому. И Александр страдал, но изверившись, все-таки не перестал видеть в «благородных принципах» идейную красоту, и они продолжали сохранять в его глазах известное эстетическое значение. Он «сохранил их в глубине своей души, лелея и оберегая от постороннего влияния, как тайную страсть, которую он не решался раскрыть перед обществом, не способным понимать его»...

Однако как проникнуть взором историка в то, что оберегается, как тайная страсть, в сферу «мистических созерцаний и покаянных молитв»? Слишком уж суб'ективен будет при таких условиях психологический анализ исторических деятелей. Быть-может, современная скептическая историография в своем «иконоборстве», как выразился кн. Вяземский, понижает «величавость истории и стирает с нее блеск поэтической действительности», но зато она оперирует только над реальными фактами. И число таких фактов, входящих в оборот исторических изысканий, с каждым годом увеличивается. Когда Пыпин писал свой очерк, он должен был сделать оговорку, что «подробности истории Александра еще слишком мало известны» для того, чтобы определенно об'яснить резкие «противоречия», с которыми мы постоянно встречаемся и в характере Александра, и в его деятельности, и в отзывах о нем современников. История Александра еще далека, конечно, и теперь от полноты. Но многое из того, что прежде было неясным, достаточно вырисовывается уже на фоне новых изысканий. И, быть-может, прежде всего та искренность Алек-

сандра, в которую веровала прежняя историография, значительно потускнела под скальпелем современного исторического анализа; и все рельефнее под ним выступает та оборотная сторона медали, которая омрачала на первых же порах «дней александровых прекрасное начало». Многие из отрицательных черт Александра, отмеченные современниками, найдут себе конкретное подтверждение в действительности, очень далекой от осуществления «благородных принципов» и идеальных мечтаний в юной молодости.

Современный историк ныне уже без труда ответит на то недоумение, которое выражал декабрист Штейнгель в записке Николаю I: блеск царствования Александра сделал «особу его любезною и священною для Россиян современников. Но по непостижимому для нас противоречию, которое к изумлению грядущих веков может быть об'яснит одна только беспристрастная история, «царствование его» . . . «было тягостно даже до последнего изнеможения». [1])

Мы не будем останавливаться на подробностях воспитания Александра, в достаточной степени выясненного в литературе. Это «заботливое» воспитание согласно всем правилам тогдашней философской педагогии действительно чрезвычайно мало содействовало выработке сознательного и вдумчивого отношения к гражданским обязанностям правителя: Александра, по меткому вы-

---

[1]) Настоящая статья была напечатана в 1912 г. в юбилейном издании „Отечественная война и русское общество", выходившем под редакцией А. К. Дживелегова, В. И. Пичета и моей. Приходится оговориться, что мое упрощенное понимание „загадочного сфикса" начала XIX в. вызвало возражение в печати. Напр., в рецензии А. А. Кизеветтера в „Русской Мысли", согласного в общем однако с точкой зрения автора; в рецензии Б. И. Сыромятникова в „Вестнике Воспитания", повидимому, склоняющагося к старому пониманию и мало считающегося с новыми данными. Наконец, совершенно отрицательно отнесся к моей характеристике рецензент „Современника" г. Бороздин (с чем, впрочем, не согласилась сама редакция). Не знаю компетентность г. Бороздина в данном вопросе, но не могу не отметить одного курьеза: рецензент торжественно говорит, что мои взгляды являются шагом назад после работы великого князя Николая Михайловича. Может быть, но только почтенный рецензент забыл сделать существенную оговорку, что моя статья появилась в свет за год слишком до указанной работы. Насколько суб'ективна оценка личности показывает то, что если один рецензент готов признать мою статью публицистическим упражнением на историческую тему, почти памфлетом, за отрицательное отношение к личности Александра, то другие (Н. А Рожков в „Современном Мире") упрекали меня за шаблонную идеализацию. Очевидно, истина лежит по середине. Сам по себе факт столь противоположной оценки свидетельствует, что статья моя не является тенденциозным памфлетом и в ней дана в общем правильная, неизбежно, конечно, суб'ективная, характеристика Александра.

Статья в этом сборнике появляется в сущности без изменений. Считал лишь необходимым дополнить изложение новыми фактами, подтверждающими высказанную точку зрения. После написания статьи появилась большая работа в. кн. Николая Михайловича, изобилующая, особенно в приложениях, ценным документальным материалом (важная публикация в 1913 г. была сделана еще Ник. Мих. изданием донесений за 1816—1826 г Меттерниху, австрийского посланника при русском дворе, гр Лебцельтерна, женатого на графине Лаваль, сестре жены декабриста Трубецкого. Ценный материал для характеристики Александра находится в книге Ал. Фурньера „Die Geheimpolizei auf dem Wiener Kongress", вышедшей также в 1913 г.). Мое отношение к иследованию Ник. Мих. ясно из помещаемого ниже разбора его книги. Включая и эту последнюю статью в свой сборник, я не считал уже нужным отмечать разность взглядов при характеристике Александра. Одновременно с работой Ник. Мих. появилась и значительная статья А. А. Кизеветтера

ражению Ключевского, как «сухую губку, пропитывало дестиллированной и общечеловеческой моралью», т.-е. ходячими принципами, не имеющими решительно никакого отношения к реальным потребностям жизни.

В лице своей бабки он видел, как модные либеральные идеи прекрасно уживаются с реакционной практикой, как, не отставая от века, можно твердо держаться за старые традиции. «В душе я республиканка — говорила царица — но для блага русского народа абсолютная власть необходима». Как кто-то метко заметил, Екатерина любила философов подобно италианским артистам. От своего воспитателя, республиканца Лагарпа, Александр в сущности воспринимал то же уменье сочетать несовместимое — либерализм со старым общественным укладом. Лагарпа по справедливости можно назвать «ходячей и очень говорливой французской книжкой», проповедывавшей отвлеченные принципы и в то же время старательно избегавшей касаться реальных язв, раз'едавших государственный и общественный организм России. Республиканский наставник в практических вопросах был в сущности консерватором, отговаривавшим позже Александра от коренных реформаторских поползновений. Его идеалом было «разумное самодержавие» по выражению Шильдера. Как республиканство Лагарпа уживалось и мирилось с деспотическим правлением, так и теоретическое вольнодумство Александра, вынесенное из юных лет, было очень далеко от искреннего либерализма. В этом отношении Александр был типичным сыном своего века, когда отвлеченное вольтерьянство самым причудливым образом соединялось с ухищренными крепостническими тенденциями. Это характерная черта эпохи.

В «Азбуке изречений», составленной Екатериной, Александр вычитывал прописную мораль: «по рождению все люди равны»; в ходячих сентенциях Лагарпа ему открывались и другие непререкаемые догматы французских просветителей, и никто не проявлял в задушевных разговорах такой «ненависти» к деспотизму и «любовь» к свободе, как Александр в юношеские годы. Он давал клятвенное обещание «утвердить благо России на основании непоколебимых законов», вывести несчастное отечество со стези страданий путем установления «свободной конституции». Он считает «наследственную монархию установлением несправедливым и нелепым, ибо неограниченная власть все творит шиворот-навыворот». «Я никогда не привыкну царствовать деспотом». Единственное «мое желание, — говорит он Лагарпу в 1797 г., —

Александр I и Аракчеев", вошедшая в его сборник „Исторические отклики". Обе эти работы не изменили точки зрения автора на личность Александра. Скорее в них нашлось подтверждение многих предположений, которые мне осторожно приходилось делать, в виду отсутствия еще достаточного материала. Там, где мне подчас приходилось ставить в тексте „может быть", теперь с полным основанием можно поставить — „наверное". Так, несовсем соглашаясь с Вандалем при его характеристике Тильзитского свидания, приходилось указывать, что здесь Алелсандр проявил свое обычное „в высшей степени рассчитанное притворство" и что он вел определенную, заранее намеченную, политику. Материалы, заключающиеся в работе Ник Мих, с совершенной очевидностью подтвердили эту точку зрения. И другие предположения нашли ныне себе более тщательное фактическое обоснование во вновь опубликованных документах.

Характризуя роль и значение Аракчеева в царствовании Александра, мне приходилось отмечать в своей статье несоответствие шаблонного представления об этой роли с действительностью: я указывал, что Аракчеев был в сущности „лишь верным исполнителем велений своего шефа". Подобный взгляд подробно развит и блестяще доказан в упомянутом этюде А. А. Кизеветтера.

предохранить Россию от поползновения деспотизма и тирании». Лагарп «в течение целого года» не слышал от Александра слов «подданные и царство», он говорит о русских, называя их «соотечественники» или «сограждане» и т. д. Пост, место, должность — только такими словами характеризует Александр свое правительственное назначение. За год перед тем при первом свидании с Чарторижским, он глубоко оплакивает падение Польши и порицает действия Екатерины. Костюшко для него великий человек. Так как в России никто не способен понять его, он конфиденциально сообщает Чарторижскому свои мысли в духе бесед с Лагарпом. Нация должна выбирать достойнейшего на пост правителя, и польскому патриоту с ссылкой на судьбы своей родины приходится возражать своему царственному другу. Чарторижский под влиянием этих бесед пишет записку о Польше, которую А. кладет в картон для того, чтобы о ней уже никогда больше не вспомнить.

Характеризуя «неимоверный беспорядок» в делах в интимном письме к Кочубею (10 мая 1796 г.), Александр говорит об отречении: «при таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством. Я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения), поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и в изучении природы. Вы вольны смеяться надо мною. Но подождите исполнения и уже тогда произнесите приговор . . .»

Исполнения пришлось бы Кочубею долго ждать. Уже в следующем году Александр соглашается, что он не должен отказываться от престола, но потому только, что «вместо добровольного изгнания» он сделает несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу.

Таков Александр юноша в своих интимных беседах и мечтах . . .

Но не забудем, что в это время, в период и для дворянства кошмарного царствования Павла, ничто не могло снискать Александру большей популярности, как подобные признания.

Однако у некоторых современников, восторженно отзывавшихся о молодом Александре, возникают уже сомнения: не будет ли он при всех своих дарованиях пустоцветом. К ним относится Массон. «Несмотря на счастливые задатки—замечает этот мемуарист—ему угрожает царствование без славы». Почему? К сожалению он человек «пассивных качеств» — черезчур «ранний брак смял его энергию». «Может быть — добавляет Массон — Бог предназначил его освободить тридцать миллионов рабов и сделать их достойными этой свободы». Только он «не забыл бы всех своих обещаний и лучших молодых порывов» . . .

Если чрез Лагарпа Александр приобщался к «лакомствам европейской мысли», то чрез другого его воспитателя М. Н. Муравьева в него усиленно внедрялось сентиментально-романтическое чувство, столь же характерное для эпохи. Напрасно в этом сентиментализме искать искренних эмоций. Их не могло быть, так как характерная черта сентиментализма именно «беспредметная чувствительность». Самые ничтожные причины вызывают аффект, завершающийся слезоизливанием. Люди способны сидеть часами в глубокой меланхолической задумчивости, плакать, как Карамзин, когда сердцу «очень

весело». Иногда совершенно непонятно, откуда только у современников могла являться эта слезотечивость. Происходит шумный праздник в Смольном институте в 1821 г. Гремит музыка, кругом иллюминация, на сцене веселый балет — и «все плачут», как сообщает Карамзин своему другу Дмитриеву.

«Тогда находили удовольствие в том, чтобы плакать, и когда плакали, то были веселы» — так характеризует позднее (1829 г.) «Московский Телеграф» раннюю александровскую эпоху. Этот ухищренный сентиментализм, в свою очередь, прекрасно уживался с барственным укладом жизни. Любопытно, что сентименталисты были по преимуществу и крепостниками.

Вероятно потому, что русский мужик в действительности не годился в качестве об'екта идиллических мечтаний: «продолжительное рабство — как утверждал впоследствии В. Панаев — сделало их (нынешних пастухов и земледельцев) грубыми и лукавыми».

Доктор Руа, врач наполеоновской армии, оказавшийся в плену после 1812 г. и проживший в России два года, рисует портрет волжской помещицы г-жи М., удивительным образом сочетавшей жесточайшее сечение крепостных за разбитие фарфоровой чашки с самой изысканной чувствительностью: «Это был человек столь нежной чувствительности, что готова была падать в обморок при малейшей испытываемой эмоции». Лай собаки, падение ребенка вызывали в ней настоящее нервное потрясение. Она без конца говорила всем и каждому о своей чувствительности, повторяя часто изречение, заимствованное ею из одной своей излюбленной книги: «Какой печальный подарок неба — чувствительное сердце». Но крики избиваемых крепостных не трогали ее чувствительного сердца — только изредка мешали «чтению романов», почему экзекуции иногда производились в дальних конюшнях.

И даже Аракчеев, отличавшийся редкой жестокостью, истязавший своих крестьян, собственноручно вырывавший усы у солдат во время смотра, весьма склонен был к сентиментальной чувствительности: он мог прослезиться при чувствительном рассказе и тут же приказать строго наказать десятилетнюю девочку за нечисто выметенную дорожку (Европеус); он любил наряду с самой изысканной парнографией почитать книжки «О вздыхании голубицы и пользе слез», «О нежных об'ятиях» и т. д. Да, щедринский градоначальник александровских времен Грустилов, с любовью смотревший, как токуют тетерева с такой же любовью, как секут девочек, взят из самой подлинной жизни!

Детство приучило и Александра к этой чувствительности. Муравьев развивал перед ним свои сентиментально-дидактические идиллии о любви к человечеству. И Александр любил, как рассказывает Чарторижский, в духе модного сентиментализма мечтать о сельском уединении, восторгаться полевым цветком, бытом поселян [1]). Сельский пейзаж легко вызывал в нем разговоры о бренности и суетности жизни, и он выражал охоту даже уступить «свое звание за ферму». Я «жажду лишь мира и спокойствия», писал он Лагарпу 21 февр. 1796 г. Можно было бы подумать, что инертность натуры заставляет мечтать о «ленивых досугах спокойной жизни». Этой инертности отнюдь не было у Александра, как мы отчетливо увидим дальше. Не было и той «особенной глубины», которую видела Екатерина в природе своего внука. Его чувстви-

[1]) Припомним пастушеские идиллии в швейцарских домиках Марии Антуанеты в Трианоне.

тельность была скорее наносного характера, как вся позднейшая мистика. Он сохранял чувствительность до конца жизни, и в нем она уживалась так же, как и у других, с проявлением большой подчас жестокости.

Александр — «сама добродетель», говорит о нем Екатерина. Однако эти обычные суждения о личной мягкости Александра в значительной степени опровергаются его поступками. Он горько плачет, когда И. И. Дмитриев («Мелочи») докладывает ему о жестоком обращении помещицы с дворовой девкой. «Боже мой! можем ли мы знать все, что у нас делается», с горечью воскликнет он. Но затем Александр узнает, что ген. Тормасов келейно наказал розгами дворового Кириллова, который позволил себе на Тверском бульваре в Москве произнести «неприличные слова» насчет помещиков. «Неприличные слова» заключались в разговоре о вольности и независимости крепостных людей. Александр вознегодует на слабость Тормасова: за «столь буйственный и дерзновенный поступок следовало наказать наистрожайшим образом и публично». Александр будет рыдать в об'ятиях Магницкого, когда тот будет докладывать о состоянии, в котором пребывает Казанский университет; он будет проливать «обильные слезы» в назидательной беседе с европейской пифией бар. Крюденер; его лицо оросится слезами в беседе с прибывшими в Петербург квакерами; он будет плакать, слушая, как Шишков читает свои глубокомысленные выкладки, почерпнутые из священного писания для об'яснения современных событий и т. д. Он будет беседовать с квакерами о спасении души и веротерпимости, говорить в официальных указах, что человеческие заблуждения нельзя исправить насилием, а лишь просвещением и кротостью. Издаст знаменитый указ о духоборах, который «останется честью России», по замечанию А. И. Тургенева, и прикажет расстрелять несколько духоборов за отказ сражаться во время войны. Будет выслушивать проповеди «искупителя» — скопца Кондратия Селиванова, и тут же, вопреки решению военного суда, прикажет наказать солдат скопцов батогами.

Александр издаст в 1804 г. рескрипт ген.-лейтен. Украинской инспекции Бауру о прекращении жестокого обращения, но когда до него дойдет известие об усмирении Аракчеевым в 1819 г. бунта в чугуевских военных поселениях, — усмирения, во время которого многие умерли под шпицрутенами, Александр в ответном письме всецело одобрит своего друга и выскажет лишь сожаление о тех волнениях, которые должна была претерпеть «чувствительная душа» Аракчеева. «Жаль мне выше всякого изречения твоего чувствительного сердца»—повторяет он в письме к Аракчееву по поводу известия об убийстве крепостными свирепой любовницы последнего Анастасии Минкиной. Когда Александру будут говорить о вреде военных поселений, он скажет свою знаменитую фразу: «они будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова».

Примером необычайной жестокости может служить позднейший приговор по семеновскому делу, где подсудимые солдаты за бытность в сражениях избавлялись от «бесчестного кнутом наказания», но присуждались к прогнанию шпицрутенами шесть раз через батальон, а затем к отправке в рудники. За что? За то, что они возмутились против жестокости командира полк. Шварца; за то, что Александр в их выступлении увидел политическую агитацию. Весь Петербург знал о зверствах начальника гвардейского гусарского полка

В. В. Левашева. Вся гвардия — рассказывает М. И. Муравьев-Апостол — говорила о возмутительном случае с заслуженным вахмистром, вызвавшем его смерть. И Левашев не только оставался любимцем Александра, но находился в «еще большей милости».

Панегирист Александра и Растопчина Ал. Булгаков замечает по поводу пожертвования Александром 500 р. одной старухе, что «историографу Государя надобно бы следовать всюду за ним и собирать все сии ангельские черты доброты и великодушия». Но об'этой доброте и великодушии приходится говорить очень относительно. И быть может гораздо более прав официальный историк агександровских дней, писавший, что Александр более «любил оказывать милость, нежели воздавать по заслугам» и охотнее дарил «тем, у которых и без того было много» (Р. Ст. 1903 г. 1,7). Сумасбродный Павел приказал было повесить смоленского помещика Храповицкого за то, что последний выслал крестьян чинить дорогу перед царским проездом, благословенный Александр, колесивший в течение всего своего царствования без толку по большим дорогам, управлявший Россией, по выражению Вяземского, «с почтовой коляски»[1]), заставлявший для себя прокладывать дороги по диким местам, в аналогичном случае на представление малороссийского ген.-губернатора кн. Репнина, что дороги плохи потому, что пришлось дать льготы крестьянам, не высылать их на большие дороги, обмолвился циничной фразой: «что они дома сосут, то могут сосать на больших дорогах» (Якушкин) [2]).

Как, однако, характерны эти мелкие штрихи для обрисовки светлого идеализма Александра. Приходится поверить ген. С. А. Тучкову, отмечавшему прирожденную жестокость Александра.

Но Александр умел скрывать свои наклонности. Если «прекрасная Като», как называл Екатерину Вольтер, обладала редким даром обольщения людей, то, быть-может, ее внук обладал им еще в большей степени.

Уже в детстве Александр необыкновенно «обходителен». Это — «редкий экземпляр красоты, доброты и смышлености», писала о нем Гримму Екатерина. «О! он будет любезен, я в этом не обманусь» — эти слова относились к трехлетнему Александру. И действительно, «господин Александр» умел подходить к людям, умел им внушить по первому впечатлению симпатии и даже восторг.

«Это сущий прельститель», сказал о нем Сперанский. Это «привлекательная особа, очаровывающая тех, кто соприкасается с ним», повторил то же Наполеон Меттерниху. Привлекательная наружность Александра, «почти женская», по выражению Вигеля, сама по себе уже вызывала такое обольщение и особенно среди женщин [3]). «Грациозная любезность» Александра, его «умелая почтительность», «величественный вид», «бесчисленное множество оттенков» в голосе и манеры, отмечаемые графиней Шуазель, чудные, красивые «по-

1) Еще Воронцов справедливо замечал в письме к Строганову в 1803 г.: „Еслибы вместо путешествий по большим дорогам, он (т. е. А.), посвятил это время на изучение полезных для России реформ, положение было бы иное“.

2) В. Кн. Ник. Мих. отрицает возможность такой фразы у Александра. Это отрицание, так сказать, психологическое. Нам представляется напротив рассказ Якушкина правдоподобным.

3) См. в главе „Мелочи“ заметку „Александр I и женщины“.

зы античных статуй», «глаза безоблачного неба», — все это придавало внешнее обаяние его фигуре[1]).

Вот, напр., запись Жихарева в дневнике 2 сент. 1806 г.: «Какая величавая наружность. Какой красавец и ко всему этому — какая душа! Что за ангельское лицо и платоническая улыбка».

Система воспитания и условия, при которых протекали юные годы, лишь изощрили природные черты — «ce grand charmeur'a» — эту по истине виртуозную способность приспособляться и подносить при желании каждому «любимое его кушанье». Александр поражал своей «обходительностью» в три года, когда воспитание и среда не могли еще оказать влияния. Затем ему пришлось пройти хорошую школу угождения властолюбивой бабке и подозрительному отцу. И тут помог воспитатель, опытный царедворец Н. И. Салтыков. Александр прекрасно умел лавировать между салоном Екатерины и гатчинской казармой Павла, хотя и писал Кочубею, что ему очень трудно держаться «золотой середины». Ему приходилось жить «на два ума, — говорит Ключевский, — держать две парадные физиономии».

Это, правда, была хорошая школа скрытности и неискренности, но школа, которую легко было пройти Александру: и в салоне и в казарме он чувствовал себя как дома. От перемены он отнюдь не попадал в «страдательное положение», и тяжелая «служба» при Павле не могла надломить его «восторженной и благородной натуры». Как ни странно, но восторженный поклонник просветительной философии был страстный любитель всякого рода фронтовых обязанностей. Очевидно, это была врожденная, наследственная черта, — черта, отличавшая деда и дошедшая до нелепых пределов при отце. Эту любовь к «милитаризму» в юные годы отмечает нам и воспитатель Александра Протасов в 1793 г.и друг его юности Чарторижский (1797 г.). Александр жалуется Лагарпу, что при Павле «капрал» предпочитается человеку образованному и полезному, но и сам предпочитает Аракчеева любому из своих друзей и охотно с ним переписывается в это время на тему о муштровке солдат. Это «по нашему, по гатчински» — с удовольствием констатировали великие князья, когда речь заходила о сравнении двух порядков (Чарторижский).

Любовь к военным экзерцициям Александр сохранил на всю свою жизнь, уделяя им наибольшее время, и она, в конце концов, обращается действительно в «парадоманию», как назвал эту склонность Александра тот же Чарторижский. Молодой царь в периоде мечтаний о реформе одинаково занят и своими фронтовыми занятиями. Так, в 1803 г. он дает свое знаменитое предписание: при маршировке делать шаг в один аршин и таким шагом по 75 шагов в минуту, а скорым по 120 «и отнюдь от этой меры и каденсу ни в коем случае не отступать». Ген. С. А. Тучков в своих записках дает очень яркую картину казарменных наклонностей Александра, когда в 1805 г. автор записок попал в Петербург. Его двор, рассказывает Тучков, «сделался почти совсем похож на солдатскую казарму. Ординарцы, посыльные, ефрейторы, одетые для образца разных войск солдаты, с которыми он проводил по нескольку часов, делая заметки мелом рукою на мун-

[1]) Природа наделила его щедро самыми любезными качествами" (Чарторижский); „природа наделила его всякими достоинствами" (Массон).

дирах и исподних платьях, наполняли его кабинет вместе с образцовыми щетками для усов и сапог, дощечками для чищения пуговиц и других подобных мелочей». Беседует Александр с Тучковым на тему, что ружье изобретено не для того, чтобы «им только делать на караул», и вдруг разговор сразу перерывается, так как Александр увидел, что гвардия при маршировке «недовольно опускает вниз носки сапогов». «Носки вниз!» закричал Александр и бросился к флангу. Александр целыми часами в это время мог проводить в манеже, наблюдая за маршировой: «он качался беспрестанно с ноги на ногу, как маятник у часов, и повторял беспрестанно слова: «раз-раз» — во все время, как солдаты маршировали». В то же время Александр тщательно смотрел, чтобы на мундире было положенное число пуговиц, зубчатые вырезки клапанца заменяет прямыми и т. д.

Помимо Тучкова мы имеем не мало и других аналогичных свидетельств. «С грустью видят — говорила Мария Федоровна в письме 18 апреля 1806 г., заключающем материнский совет обратить внимане на неудовольствие, существующее в столице и в провинции — что Вы отдаете слишком много времени мелким ежедневным упражнениям, которым должны заниматься субалтерн-офицера».

В самый разгар творческой как бы работы на Венском конгрессе, когда шла речь о Польше, в чем Александр был лично заинтересован, так как вопрос затрагивал его самолюбие, он отдает предпочтение гусарской форме. Анштет должен представить записку о Польше, но он не торопится, ибо в данный момент Александр «слишком занят гусарской формой и безутешен, не имея подходящей, тогда как король прусский уже появился в форме гусара» (Фурньер).

И действительно Александр — в этом отношении совершеннейший отец. Он всегда готов заниматься смотрами. Он считал, как и отец — рассказывает М. И. Муравьев-Апостол — своей «священной обязанностью» присутствовать каждый раз при разводе в Семеновском полку. Даже в июне 1812 г. в Вильне разводы занимают первое место. На смотрах Александр видит только наружность: стойку, вытянутый носок, неподвижность плеч, параллелизм шеренг, как сообщает позднее — в 1820 г. — ген. Сабанеев, сам большой фронтовик. «У нас были шаги петербургские, могилевские и варшавские» — дополняет Муравьев. Эти шаги измерялись по хронометру и надо было шагать так, чтобы султан на голове не шевелился.

В. И. Бакунина рассказывает в своих воспоминаниях, как 13 января 1812 г. арестовываются все офицеры третьего баталиона пешего полка гвардии за «плохую маршировку». Был сильный мороз, и офицеры озябли . . . Хорошо известен случай, столь сильное впечатление произведший на И. Д. Якушкина, в 1814 г., когда Александр бросился с обнаженной шпагой на мужика, пробежавшего через улицу перед лошадью императора, готовившегося отдать честь императрице. Блестящий маневр по всем правилам искусства не удался, и это взорвало всегда столь сдержанного Александра. Чем дальше, тем больше. И в конце концов «разводы, парады и военные смотры были почти его единственные занятия» (Якушкин).

Это был удел и для всех военных. В одном неопубликованном еще письме молодого кн. И. Щербатова к отцу и сестре в 1817 г. раздается горькая жалоба, что все время с 3 час. утра до 6 вечера уходит на военные

экзерциции: с 7—11 в роте, с 11—1½ развод, 2—5½ ученье в манеже. «Странно ли после сего, — пессимистически замечает молодой служака, — что большая часть из нас никуда не кажет носу»... Военные занятия настолько поглощали самого Александра, что в 1824 г., узнав о смерти той, которую считал своей дочерью, Софьи Нарышкиной, он заливается слезами, но, тем не менее, отправляется на учение и, только окончив его, едет поклониться праху умершей... Вероятно, и военные поселения, достигшие под аракчеевской палкой изумительных совершенств в делах военных экзерциций, Александр любил преимущественно за эту сторону, которая так радовала его душу. Константин Павлович большой любитель «гатчинской муштры» и аракчеевской шагистики, искренно восторгавшийся теми «штуками», которые на смотрах проделывала французская армия, и тот ужасался теми крайностями, к которым приводило увлечение Александра фронтом. В 1817 г. он выразил даже уверенность, что гвардия, поставленная на руки ногами вверх, а головой вниз, все-таки промарширует — так она вышколена и приучена танцовальной науке.

Какая же разница между Павлом и Александром? В данном случае никакой: «жестокость и грубость, заведенная Павлом, не искоренялись в царствование Александра, а поддерживались и высоко ценились» (М. И. Мур.-Апостол). Военщина возведена в идеал — недаром в период Веронского конгресса Александр с откровенностью говорил старой кн. Мещерской, что он презирает все, не носящее формы. «Люди гнусного вида во фраках», так позднее характеризовал правительственный акт некоторых участников 14 декабря, очевидно были глубоко антипатичны и Александру.

Быть может, любовь к фронту у Александра об'ясняется отчасти и свойственным ему формализмом. Ген. Ермолов говорил, что любовь к «симметрии» у Александра являлась наследственной хронической болезнью. Сенатор Фишер рассказывает, что Александр сердился, если лист бумаги, на котором представлялся доклад, был $^1/_8$ дюйма больше или меньше обыкновенного. Если первый взмах пера не выделывал во всей точности начало буквы А, император не подписывал указа.

С седыми волосами этот педантизм превращался в мелочную придирчивость. Он пишет, напр., Аракчееву 3 марта 1824 года: обратить внимание ст. секр. Оленина на то, что «писец сей мемории не соблюдает данного правила: более оставляет промежутков между словами». Не мудрено, что и результатом наблюдений царственного путешественника по большим дорогам являлись почти исключительно указы, аналогичные следующим: при проезде через Серпухов замечено, что «почтальон имел неформенное одеяние и золотые канительные погоны (2 сент. 1823 г.); при проезде через Тверскую губ. усмотрено, что «Москва» не выкрашена положенною трехцветною краскою (21 авг.); при проезде через Новгородскую губ. он заметил, что нет узаконенного пограничного столба и что верстовые столбы стоят криво... Но любопытно, что Александр не заметил, что в «некоторых городах целая улица заносилась заборами, чтобы скрыть лачуги бедных жителей от взора императора.

Конечно, эта «фатальная мания», присущая, как заметил гр. Габрион в 1820 г., всей царской семье, была печальным наследием Павла I и Петра III. Только по какому то недоразумению наблюдательный Массон мог сказать в

своих воспоминаниях, что Александр от отца не унаследовал ни одной черты.

Гатчинский казарменный режим лишь усилил природные склонности Александра, которые не могло смягчить полученное им образование. Оно было в действительности слишком поверхностно, слишком рано кончилось, (18 лет), не дав ему ни реальных знаний, ни дисциплины ума, ни самой элементарной привычки к умственной работе. При той праздности и лености, которую отметил в своем дневнике Протасов еще в 1792 г., не могло быть и речи о глубоком образовании, а какое было, легко выветривалось на вахтпарадах[1].

Мы можем лишь пожалеть, что живой и проницательный ум и возвышенные нравственные качества, которые отмечают воспитатели Александра, не получили развития и совершенно стушевались перед отрицательными чертами его характера. Эти отрицательные черты отметили те же воспитатели: «лишнее самолюбие», «упорство в мнениях, т. е. упрямство», «некоторую хитрость» и желание «быть всегда правым». Александра можно было бы упрекнуть в «притворстве», пишет один из этих ранних наблюдателей характера великого князя, если бы его осторожность «не следовало приписать скорее тому натянутому положению, в каком он находился между отцом и своей бабушкой, чем его сердцу, от природы искреннему и открытому». «В нем есть несвойственная его возрасту осторожность, осмотрительность, похожая на притворство» — замечает и Массон, рисующий облик молодого Александра в общем в крайне привлекательных чертах. Юность всегда скрадывает недостатки, она всегда до некоторой степени искренна. Но затем недостатки вырисовываются уже более рельефно. Однако и в юности неискренность Александра может удивить. Он пишет письмо Екатерине, в котором соглашается на устранение Павла от престола, а накануне в письме к Аракчееву называет отца «Его Императорское Величество». Недаром сам Павел считал сдержанность Александра, умевшего держаться перед бабушкой «добронравным автоматом», по выражению Кизеветтера, в действительности ничем иным, как простым лицемерием.

Гр. Эделинг (урожд. Стурдза) в своих воспоминаниях утверждает, что она знала человека, слышавшего непосредственно от Александра утверждение: «Если верно, что хотят посягнуть на права отца моего, то я сумею уклониться от такой несправедливости. Мы с женой спасемся в Америку, будем там свободны и счастливы, про нас более не услышат». В действительности Александр не только не спасся в Америку, не только не уклонил-

[1]) Недостаток умственной дисциплины отмечает уже всю жизнь Александра. Об этой непривычке к умственной работе говорят нам почти все иностранцы, имевшие возможность наблюдать русского императора в каждодневной работе во время Венского конгресса. Их описание времяпрепровождения Александра можно характеризовать коротко: он не сидит за письменным столом, днем на маневрах вечером танцует (см. еще в отделе „Мелочей“). Александр от „природы ленивый“ вообще не утруждал себя серьезной мыслью и серьезным чтением. Во время уроков Лагарпа преимущественно дремал. В юности знания его были поверхностные и пока он был великим князем „не прочел до конца ни одной серьзной книги“ (по свидетельству Чарторижского), а позже, по словам Греча, он читал одни только французские романы и выписки из иностранных газет. До конца жизни он не знает и не интересуется русской литературой. Он не только ничего не читает по русски, но даже плохо об’ясняется на своем родном языке. Совершенно таким же было и его знакомство с мистикой.

ся от «несправедливости», но и принял непосредственное участие в заговоре, устранившем отца от престола и лишившем его жизни. Правда, на другой день после убийства Павла он будет говорить шведскому послу Стедингу: «Я самый несчастный из людей». И тот убежденно ответил: «Да, Государь, вы действительно должны себя чувствовать таковым».

Каково было истинное самочувствие Александра мы увидим. Но вот пока другой яркий пример его поразительного двоедушия.

В 1799 г. Аракчеев получает отставку. Александр, узнав, что на место его назначен Амбразанцев, выражает большую радость в присутствии людей, ненавидевших павловскую креатуру. «Ну, слава Богу... Могли попасть опять на такого мерзавца, как Аракчеев». А между тем незадолго до такого отзыва Александр изливается в дружбе и любви к этому «мерзавцу» и через две недели вновь пишет к своему «другу». С некоторой наивностью Мария Федоровна 14 марта 1807 г. дает мудрый совет своему сыну: «Вы должны смотреть на себя, как на актера, который появляется на сцене». Но Александр и так уж был хорошим актером. Проявляя самую нежную внимательность и почтительность к матери, он в то же время подвергает перлюстрации письма вдовствующей императрицы к Беннигсену и следит за ее отношениями к принцу Евгению Вюртембергскому, опасаясь материнского властолюбия [1]). (Дневник секрет. М. Ф. Вилламова).

В жизни Александр всегда, как на сцене. Он постоянно принимает ту или иную позу. Но быть в жизни актером слишком трудно. При всей сдержанности природные наклонности должны были проявляться. Не этим ли следует об'яснять отчасти и противоречия у Александра? [2])

Понятно, что при таких условиях Александр производил самое различное впечатление на современников. [3]) Их отзывы до нельзя разноречивы. Правда, показания современников очень суб'ективны, далеко не всегда им можно безусловно доверять. Малую ценность для историка имеет официальное виршество Державина, его поэтическое предвидение высоких дарований нового императора: восторженно приветствуя одой восшествие на престол Александра, екатерининский гений с такой же восторженностью перед тем, приветствовал и Павла. Мы не придадим ценности массонским приветственным песням: «он — блага подданных рачитель, он — царь и вместе человек». Ведь это тоже полуофициальное виршество. Но когда люди различных лагерей сходятся в определении черт характера, когда панегиристы отмечают отрицательные его стороны, когда эти отзывы совпадают с фактами, которые мы знаем, тогда мы имеем полное право доверяться таким показаниям современников. И факты лишь об'ясняют то, что современникам казалось непонятным в загадочной личности императора Александра.

Среди голосов современников наибольшую, конечно, ценность имеют те,

---

[1]) Также перлюстрируется в позднейшее время переписка ближайшего друга Александра кн. Петра Волконского.

[2]) Их должна была отметить еще Екатерина: „этот мальчик соткан из противоречий“.

[3]) Позднейший историк Венского конгресса, Фурньер, посвятивший много страниц роли Александра на конгрессе, говорит: „Еще и теперь историки считают его (т. е. А.) трудно уловимой натурой. Таким же он был и для своих современников, которые видели, как этот умный, способный, широкообразованный, беспрерывно колебался между патетическим идеализмом и хитрым расчетом (и затем осуществлением), быть любезным и противоположным капризом“.

которые изображают нам непосредственные впечатления. Впрочем, кратковременное знакомство неизбежно приводило весьма часто к обманчивому впечатлению. Так было с г-жей Сталь. Она была в восторге от Александра, увидев в нем «человека замечательного ума и сведений». «Государь, ваш характер есть уже конституция для вашей империи, и ваша совесть есть ее гарантия» — сказала известная своей наблюдательностью французская писательница. Она очень плохо поняла императора, и ее слова в 1812 г. после ссылки невинного Сперанского могли скорее звучать иронией. Александр скромно отвечал г-же Сталь: «Если бы это было так, я все-таки был бы только счастливою случайностью». Но Александр в этом отношении далеко не был «счастливой случайностью». Также обольщен был и знаменитый Штейн, видевший в Александре лишь орудие осуществления своих патриотических целей. «Александр только и думает о счастьи подданных и, окруженный несочувствующими людьми, не имея достаточной силы воли, принужден обращаться к оружию лукавства и хитрости для осуществления своих целей». Но сам император «постоянно действует блестящим и прекрасным образом: нельзя достаточно изумляться тому, до какой степени этот государь способен к преданности делу, к самопожертвованию, к одушевлению за все великое и благородное». Хотя тут же и Штейн должен сделать оговорку: Александру «быть может, вообще не хватает глубины чувства и способности к продолжительным привязанностям».

Этот «сущий прельститель» действительно умел обольщать людей при первом знакомстве и распознать его можно было только во времени. Такое разочарование должна была пережить прусская королева Луиза, искренне увлекшаяся «Единственным Александром», каким он явился для нее на первых порах. 13 июня 1802 года Луиза пишет своему брату: «он распространяет вокруг себя счастье и благословение каждым своим решением. Каждый его взгляд создает кругом счастливцев, людей осчастливленных его милостями, его небесной добротой». «В вас воплотились все совершенства — пишет она в 1806 г. самому Александру — нужно знать вас, чтобы верить в совершенство». Правда, здесь со стороны Луизы звучал голос искреннего личного увлечения, находившегося в созвучии с той горячей любовью к родине, которая заставляла и Штейна верить в обещания Александра. Но для Александра все эти отношения к Луизе были лишь фазой расчетливого политического флирта. Дипломатия побудила его холодно обмануть любившую его женщину. И с горечью после Тильзита Луиза должна была замечать своей подруге: «Нет, правда мир не лучший из миров и люди в нем не лучшие из людей. Не нужно Лагарпов для моих сыновей». Правда, ей еще подчас кажется, что во всем виноваты окружающие люди. Но постепенно карты раскрывались, — «политический флирт» со стороны Александра должен был окончиться. Открылись и глаза Луизы. Побыв в Петербурге в 1808 г., встретив со стороны Александра холодное официальное отношение, столь разительное после прежних интимных и душевных взаимоотношений, оскорбленная в Тильзите, Луиза с горечью пишет той же своей подруге: «Человек, который любит только форму, это еще очень мало» [1]. В Луизе все еще говорит благородная любящая женщина, обманутая в своих ожиданиях.

[1]) Взаимные отношения Луизы и Александра очень ярко изображены в этюде А. К. Дживелегова, напечатанном в „Голосе Минувш.". 1913 г. № I.

Но несколько уже другой тон звучит в 1823 г., в отзыве французского посла графа Лафероне: «Я всякий день более и более затрудняюсь понять и узнать характер императора Александра. Едва ли кто может говорить с большим, чем он, тоном искренности и правдивости... Между тем частые опыты, история его жизни, все то, чему я ежедневный свидетель, не позволяют ничему этому вполне доверяться...» «Самые существенные свойства его — тщеславие и хитрость или притворство; если бы надеть на него женское платье, он мог бы представить тонкую женщину» — говорит об Александре в своих записках Фарнгаген. «Характер Александра — по отзыву Меттерниха — представляет странную смесь качеств мужа и слабостей женщины». Отсутствие правдивости и прямодушия отметит нам и панегирист Александра — Алисон. Притворство, по словам Михайловского-Данилевского, человека близко сталкивавшегося с Александром, составляет «одну из главных черт характера» императора! «Я беспрестанно наблюдал Императора и во всех его поступках наблюдал мало искренности; все казалось личиной»; «Я сохраню навсегда истинное уважение к великим его дарованиям, но не испытываю одинаковых чувств к личным его свойствам». Близкий Александру человек, гр. П. А. Строганов, отмечает ту же черту: «наружная обворожительная любезность, за которой никто не мог уловить настоящих чувство его, и какая то кокетливая скрытность чуть ли не перед самим собой». «Нет на свете государя более подозрительного, — записывает в сентябре 1814 г. большой поклонник Александра известный идеолог реакции Жозеф де Местр, — у него удивительное чутье и осторожность, чтобы отгадывать в людях, к чему они склонны».

Отсюда удивительное уменье использовать людей, приспособляться к ним и строить свои собственные успехи на чужой доверчивости. «У Александра,—замечает А. А. Кизеветтер,—хитрость и лукавство, способность носить непроницаемую маску на своем прекрасном лице стало для него сознательным орудием самосохранения». Вернее, однако, орудием не самосохранения, а проведения своих целей. При таких условиях Александр мало кому из людей доверял. Непостоянство Александра прекрасно видели его друзья: «поверь мне, — говорил кн. П. М. Волконский Данилевскому, — что через неделю после моей смерти обо мне забудут». Полагаться на благосклонность Александра нельзя — это общий голос всех его приближенных. Александр всегда говорил, что он не переменчив. Само по себе уже одно это постоянное упоминание кажется биографу Сперанского, бар. Корфу, подозрительным. Оно свидетельствует о противоположном. И быть может только по отношению к Аракчееву мы видим известное постоянство, но «Аракчеев — замечает Корф — составлял не правило, а из'ятие» [1].

---

[1]) Причина непонятной привязанности Александра не так уже будет непонятна, если отрешиться от традиционного взгляда на благородный идеализм его натуры. Как было указано, интелектуальность Александра не так уже была велика и не так уже была чужда понятия истинно-русского неученого дворянина Аракчеева. Роднили их одинаковые интересы и вкусы. Оба в жизни были к тому же большие актеры и эта черта их также роднила. Чего стоит, напр., одна только поза Аракчеева, заведывавшего всем, пользующегося расположением Александра, хотя и временым, и униженно просящего кн. С. Г. Волконского замолвить „словечко" за него перед Винцегероде. Привязанность личная к Аракчееву об'ясняется в значитель-

Иначе и не могло быть при том болезненном самолюбии, которое отличало Александра, — отличало, как мы видим, еще в детские годы. Он был самолюбив до крайности и вместе с тем злопамятен. «Государь так памятен, — говорил Трощинский, — что ежели о ком раз один услышит худое, то уже никогда не забудет». Александр всегда жаловался, что у него нет людей, что он окружен бездарностями, глупцами и мерзавцами.

Жалуется на это Державину, Энгельгарту, Киселеву и др.: «Я не верю никому, я верю лишь в то, что все люди мерзавцы». Такой вывод мог бы явиться результатом привычки играть в жизни на слабых струнах другого.

И однако, как метко заметил Кочубей Сперанскому: «иные заключают, что государь именно не хочет иметь людей с дарованиями!» Способности подчиненных как будто даже ему неприятны: «тут есть что-то непостижимое и чего истолковать не можно», добавлял Кочубей. Но в действительности у человека болезненно самолюбивого, стремящегося играть во всем первенствующую роль, черта эта совершенно естественна и понятна. Александр не переносил, когда обнаруживалась какая-нибудь его слабость, даже не слабость, а намеки на то, что он поступил под чьим-либо влиянием. Шишков из авторского самолюбия неосмотрительно сообщил великой княгине Екатерине Павловне, что он автор записки, побудившей Александра в 1812 г. оставить армию. Когда это обнаружилось, Шишков принужден был оставить должность государственного секретаря. Сперанский на себе более, чем кто-либо, испытал непостоянство Александра. Александр, конечно, не верил в его измену. По словам Лористона «главная вина Сперанского состояла в нескромных отзывах об императоре». Поддаваясь в данном случае требованиям реакционных кругов, Александр отнюдь не хотел признаться в этой слабости и с гневом рассказывал проф. Парроту об измене Сперанского [1]). Перед Сперанским он был другим: «на моих щеках были его слезы», рассказывал Сперанский.

ной степени, как показывает А. А. Кизеветтер, той ролью, которую играл Аракчеев во время юности Александра, ролью „самоотверженного дядьки, прикрывающего молодого барчука от грозного отца". Аракчеев исполнял более чем добросовестно эту роль дядьки. Как характерны, напр., такие сцены, когда Аракчеев являлся в спальню молодых супругов и, заставая их обоих в постеле, тут же давал подписывать Александру рапорт о дежурствах и т. п. Лишь раз пробежала кошка между друзьями, когда в 1809 г. Аракчеев при организации Государственного Совета, т. е. при осуществлении яко бы плана либеральных начинаний Александра, попросился в отставку. Он хотел испытать свою силу. И Александр очень определенно показал, что он без труда пожертвует своим другом. Он выразил в письме надежду впредь видеть лишь прежнего Аракчеева. И последний уже более не пытался прямо противоречить своему покровителю, идя путем обволакивающим, когда ему чего либо надо было достигнуть, напр., свалить личного друга царя кн. Голицына. И Аракчеев стал единственным человеком, который мог быть почтен именем доверенного, как замечал гр. Ноаль в 1816 г. Александр работает только с Аракчеевым. Александра интересует главным образом „необыкновенное дело", им затеянное, т. е. военные поселения. Аракчеев же сумел, как никто, положить „хорошее начало", по собственному его выражению, после одной из жесточайших экзекуций в Высоцкой волости. И так как Аракчеева ненавидели действительно все другие сотрудники Александра, то последний в полном соответствии с истиной мог писать ему 22 сентября 1825 г. после убийства Аракчеевской любовницы: „У тебя нет друга, который бы тебя искреннее любил".

[1]) Реальной „виной" Сперанского было лишь самовольное присвоение себе права читать дипломатическую перлюстрацию (см. Ник. Мих. „Александр").

А потом тщетно Сперанский старается оправдаться перед Александром: письма его систематически остаются без ответа.

Очевидно, Греч в значительной степени был прав, сказав про злопамятность Александра: он никогда прямо не казнил людей, а «преследовал их медленно со всеми наружными знаками благоволения и милости: о нем говорили, что он употребляет кнут на вате».

Александр неоднократно говорил, что он любит правду, любит ее сам говорить, любит ее и слушать. «Вы знаете, — писал он Екатерине Павловне, — что я не люблю создавать себе иллюзий, я люблю видеть все так, как оно есть на самом деле». «Я слишком правдив, — писал он Ростопчину по известному делу Верещагина, — чтобы говорить с вами иначе, как с полной откровенностью. Его казнь была не нужна, в особенности ее отнюдь не следовало производить подобным образом. Повесить или расстрелять было бы лучше». Это писал Александр 6 ноября 1812 г., когда невинность Верещагина была ясно доказана, когда против Ростопчина говорило все общественное мнение, возмущенное жестокой расправой. Александр мог в 1801 г. сказать Ламбу, возражавшему против какого-то распоряжения по военной части: «Ах, мой друг, пожалуйста, говори мне чаще: не так. А то ведь нас балуют». Ответ этот привел в восторг И. М. Муравьева-Апостола, сообщавшего в письме к С. Р. Воронцову «все подобного рода анекдоты нынешнего восхитительного царствования». Но в действительности Александр не терпел, чтобы ему говорили правду. Он никогда не мог простить Карамзину резкость тона в его записке, порицавшей начинания первых лет царствования, показывавшей ошибки Александра, с чем — под влиянием событий — Александр чувствовал себя вынужденным согласиться. Он не мог переварить малейшей откровенности, малейшей критики и порицания своих действий. Весьма не понравились Александру возражения старика И. В. Лопухина против милиции в 1806 г. Лопухин высказывался против побуждения со стороны правительства к денежным пожертвованиям и упоминал лишь о том, что он видел «от того ропот даже не между бедным купечеством». Болезненное самолюбие проявлялось даже в таких мелочах. Сам если не масон, то яко бы сочувствующий масонству, Александр посещает ложу «Трех добродетелей». А. Н. Муравьев, согласно масонскому обычаю, давая об'яснения императору, обращается к нему на «ты», как к брату. Александр был сильно шокирован подобным обращением и впоследствии не забыл этой карбонарской выходки будущего декабриста.

При таком отношении к людям, скрывая даже от близких свои потаенные мысли, Александр обосновал на этой своеобразной дипломатии всю свою правительственную политику. Часто его приближенные с удивлением узнавали post factum то или иное действие, предпринятое по инициативе императора. Эти действия предпринимались иногда без ведома даже ответственных руководителей того или иного министерства. Император был сам своим министром — писал Лебцельтерн. И это действительно было так с первых же годов царствования, особенно в политике международной. Что может быть характернее того факта, что о назначении мемельского свидания с прусской королевской четой не знали ни Кочубей, ни Чарторижский. А это шло в разрез с той общей иностранной политикой, которую вело как бы с согласия императора министерство иностранных дел. Современников чрезвычайно поражала эта черта императора, скрывавшего от своих сотрудников не только

свои предположения и действия, но иногда и факты. Чаадаев, прибывший за границу к Александру с сообщением о волнениях в Семеновском полку, был поражен, услышав от своего шефа приказ ничего не говорить об этом кн. А. С. Меньшикову, бывшему начальником канцелярии Главного Штаба. В 1809 г. записки Сперанского передавались Александру через каммердинера Мельникова с вымышленными печатями, дабы об этом не узнал Аракчеев. Вспомним, как таинственно позже, что называется через заднюю дверь, вводится к императору арх. Фотий, дабы об этом не узнал преждевременно друг Александра и враг Фотия кн. Алекс. Голицын. И так было постоянно и по отношению ко всем. Когда в июле 1825 г. Александр по просьбе Аракчеева принимает Магницкого, он озабочен, чтобы последний не встретился с Карамзиным, которому также назначена аудиенция. Он просит Фотия утешить Аракчеева в связи с убийством Минкиной, ибо «служение графа Аракчеева драгоценно для отечества» и требует «хранить в тайне» его письмо.

Одним словом вся внутренная политика была построена у Александра на сплошном обмане. У него вошло в обычай посылать особых доверенных лиц для выполнения тех или иных заданий, минуя своих министров: так посылается без ведома министра иностранных дел Румянцева в 1805 г. в Берлин с секретным поручением к Фридриху-Вильгельму кн. П. П. Долгоруков, так посылается Винцегероде к Наполеону в 1812 г. или позже Мишо де Боретур к римскому папе[1]). Особенно ярко сказалась усвоенная Александром система управления в эпоху Отечественной войны, в период которой почти к каждому из главнокомандующих приставлялись особо довереные для царя лица, которые должны были доносить непосредственно Александру. Надо ли говорить, что в это время подобная политика была особенно неуместной [2]).

Понятно, что при таких условиях ни один более или менее крупный человек не мог быть долгое время в фаворе у Александра. Понятно, почему русские министры приобрели, как отмечает Меттерних в одном из писем к Лебцельтерну, плохую привычку своим сообщениям придавать краску, которая, как им кажется, будет приятна их венценосцу.

И вся эта политика Александра основывалась исключительно на самолюбии и на жажде личной славы.

Этими именно чертами его характера можно об'яснить много загадочных противоречий в деятельности Александра. Искание популярности, желание играть мировую роль, пожалуй, и были главными стимулами, направляющими деятельность Александра. Как человек без определенного миросозерцания, без определенных руководящих идей, он неизбежно должен был бросаться из стороны в сторону, улавливать настроения, взвешивать силу их в тот или иной момент и, конечно, в конце-концов, подлаживаться под них. Отсюда неизбежные уколы самолюбия, раздражение, сознание утрачиваемой популярности. Быть-может, такова неизбежная судьба всякого игрока — и особенно в области политики. Доведенная даже до артистического совершенства, подобная игра должна была привести к отрицательным результатам. Таков и был конец царствования Алексанра I, когда в сущности недовольство

---

[1]) См. ниже заметку: „Был ли Александр католиком". Факты, характеризующие эту своеобразную политику Александра, собраны в исследовании Ник. Мих.

[2]) См. ниже статью „Вожди армии".

охватывало и реакционные и либеральные круги русского общества. Реформаторские порывы, парализованные своей половинчатостью, не удовлетворяли и тех, на кого мог опереться Александр и у кого он снискал популярность на первых порах, не удовлетворили они и тех, кто свято блюл заветы старины. Глубоко ошиблась Екатерина в своем предвидении: «Я оставлю России дар бесценный — Россия будет счастлива под Александром».

А между тем мы знаем, что Александр начал царствовать при самых благоприятных ауспициях. Его воцарение было встречено дворянством с восторгом. «После бури, бури преужасной, днесь настал нам день прекрасный», — распевала гвардия. Русский посол в Италии Бороздин, узнав о смерти Павла, дал бал.

«Самому Тациту, — подтверждает Булгарин, — не достало бы красок для изображения той живой картины общего восторга, который овладел сердцами при вести о воцарении Александра». «Наш ангел», писал о нем упомянутый Муравьев-Апостол; Александр, «хотя и рожден на троне, носит в сердце все чувства, составляющие сущность гражданина и друга человечества» — продолжает восхвалять в своей переписке 1803 г. неудержимый дифирамбист молодого императора его прежний воспитатель Лагарп, по своей наивности не понимавший той прямой отставки, которую он к этому времени получил.

Невозможно, конечно, сказать, каковы были задушевные мысли самого Александра. Вряд ли, однако, Александр был так наивен, чтобы думать, что «достаточно пожелать добра, чтобы осчастливить людей», и что благоденствие само водворится без всяких усилий с его стороны. Быть-может, в его голове и роились грандиозные планы реформы «безобразного здания империи», убаюкивающие его самолюбие. Его туманные мечтания давали повод говорить о его величии, о молодом монархе, который горит желанием «улучшить положение человечества»; предрекать, что Александр вскоре получит в Европе преобладающее влияние; намекать на то, что это крайне нежелательно «для некоторых равных Александру по могуществу, но бесконечно ниже его стоящих по мудрости и доброте», т.-е. намекать, что Александр может явиться достойным соперником великого Наполеона, как это делал Стон в письме к Пристлею. Наполеон нес с собой деспотизм. «Ныне это — знаменитейший из тиранов, каких мы находим в истории», — писал Александр в 1802 г. по поводу об'явления Наполеона пожизненным консулом. — «Завеса упала; он сам лишил себя лучшей славы, какой может достигнуть смертный ... доказать, что он без всяких личных видов работал единственно для блага и славы своего отечества». Именно таким бескорыстным деятелем должен был стать сам Александр, с тяжелым сердцем отказавшийся от добровольного изгнания, от мечтаний блаженствовать в сельском уединении, променявший скромную ферму на порфиру и корону только для того, чтобы посвятить себя «задаче даровать стране свободу».

Нельзя забывать и того, что этот либерализм диктовался условиями времени. Русское дворянство, отнюдь не склонное к мечтательным идиллиям о человеческом благе, еще менее чувствовало симпатии после кошмарного царствования Павла к проявлению самодержавного деспотизма; в нем достаточно сильны были олигархические тенденции. Обещание царствовать по законам Екатерины означало водружение старого знамени — дворянской монархии. И первые либеральные меры Александра с восторгом встречались

безотносительно к их либерализму — это была оппозиция прошедшему «царствованию ужаса».

«При восшествии В. И. В. на престол — свидетельствует позднейшая критическая записка, вышедшая из дворянских кругов — блестящая перспектива открылась очам народа; торжественное обещание управлять по законам и сердцу августейшей бабки Вашей сосредоточило к Вам все надежды и сделало Вас предметом всеобщего обожания».

Если событие 11 марта 1801 г. «подобно коршуну терзало его (Александра) чувствительное сердце», если «наподобие гетевскому Фаусту» ничто не могло «заглушить в нем немолчного голоса совести», то в равной мере на него действовало и впечатление страха.

Убийство Павла теперь достаточно выяснено. Очевидна и роль в нем Александра. Переворот совершился с ведома Александра. Много фактов подтверждают слова Палена Ланжерону: «мне казалось невозможным действовать без согласия и даже содействия вел. кн. Александра». Это содействие выразилось, как известно, в назначении на караул Семеновского полка вне очереди. Плац-маиор Михайловского дворца Аргамаков утверждал даже, что Александр непосредственно убеждал его вступить в заговор «не за себя, а за Россию». Если Александр имел после убийства вид человека, удрученного грустью и растерянного неожиданным ударом рока» (де-Саглен), то все же он косвенно был отцеубийцей. Недаром Александр, узнав об убийстве Павла, воскликнул: «On dira que je suis un parricide» (скажут, что я отцеубийца). И можно скорее удивляться, как мало в своей жизни он от этого страдал, особенно в эпоху позднейших религиозных переживаний.

Для личности Александра чрезвычайно характерно отношение к заговорщикам. Естественно, что он их не мог карать, раз сам участвовал в заговоре, хотя этого и требовал, быть может, престиж трона, как то пытался доказать Александру Лагарп в письме от 30 октября 1801 г.: «Убийство Императора в его собственном дворце — писал бывший воспитатель молодого царя — в лоне его семьи не может остаться безнаказанным, без того, чтобы не попрать божеских и человеческих законов, не скомпрометировать достоинство монарха, не подвергнуть нацию опасности стать добычей недовольных, достаточно дерзких, чтобы отмстить монарху, распорядиться его троном и принудить его преемника даровать им безнаказанность». «Государь! — продолжает Лагарп — только беспристрастное, публичное, строгое и быстрое правосудие может и должно обуздать подобные покушения». В ответ на это письмо, Александр постарался поскорее избавиться от надоедливого ментора и выпроводил его из России.

Таким образом баварец Ольри, писавший к себе на родину из Петербурга, что Лагарп «сохранил за собою полное доверие своего августейшего ученика», что до от'езда Лагарпа из России и во время его последнего пребывания в Петербурге император именно у него искал отдыха от дел и черпал советы, — глубочайшим образом заблуждался.

Из всех участников заговора наиболее враждебное отношение к себе испытали гр. Н. П. Панин и кн. Яшвили. Первый не был даже в числе непосредственных убийц Павла. Почему же по отношению к нему так прочна была опала? Не потому ли, что Панин, по его словам, обладал «одним автографом» для доказательства, что все «получило санкцию» Александра. Каков

был этот автограф к сожалению мы не знаем. За то мы знаем другой автограф, послуживший причиной ненависти Александра к кн. Яшвилю. Он напечатан у вел. кн. Ник. Мих. — это письмо Яшвиля к молодому царю. Письмо заканчивалось призывом быть на престоле, «если возможно честным человеком и русским гражданином. Человек, который жертвует жизнью для России, вправе Вам это сказать. Я теперь более велик, чем Вы, потому что ничего не желаю, и еслибы даже нужно было для спасения Вашей славы . . . я готов был бы умереть на плахе; но это бесполезно, вся вина падет на нас, и не такие поступки покрывает царская мантия!» «Дерзновение» Яшвиля никогда не было прощено самолюбивым Александром. Отсюда негодование Александра на Кутузова, осмелившегося во время Отечественной войны принять Яшвиля на службу: «Вы сами себе приписали право, которое я один имею». Мелочного Александра возмутило то, что Кутузов в об'яснение оговаривался, что он не знал, что Яшвиль под присмотром, но что «по его разумению сей человек . . . может быть очень полезен». Характерный штрих для Александра: в выговоре Кутузову он подписывается «всегда благосклонный», в пометке же для Аракчеева это сопровождается припиской «какое нахальство».

Недаром императрица Мария Феодоровна позднее (1806) писала своему сыну: «Ужасные события Вашего царствования поколебали трон . . . Вы принуждены были почти целый год покоряться обстоятельствам». Но тут же Завалишин отметит в своих записках, что, по мнению некоторых, начальные действия Александра «легко об'ясняются необходимостью скрывать истинное свое мнение и расположение, как вследствие обстоятельств, сопровождающих вступление его на престол, так и страхом, который наводили Наполеон и Франция, — страхом, заставлявшим и всех государей искать опоры и противодействия в привязанности народа — и возвышении их духа».

Плохо разбирался в условиях русской жизни Стон, писавший Пристлею об Александре: «Этот молодой человек почти с таким же макиавеллизмом выкрадывает деспотизм у своих подданных, с каким другие государи «выкрадывают» свободу у своих сограждан». Хорошо знавший Александра Чарторижский дал совсем другой отзыв, более близкий к реальной действительности: «Император любил внешние формы свободы, как можно любить представление. Он любовался собой при внешнем виде либерального правления, потому что это льстило его тщеславию; но кроме форм к внешности, он ничего не хотел и ничуть не был расположен терпеть, чтобы они обратились в действительность, — одним словом, он охотно согласился бы, чтобы каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли одну только его волю». Аналогичные свидетельства мы имеем и у других современников. Этой чертой и следует об'яснять «странное смешение философических поверий XVIII в. с принципами прирожденного самовластия», которое отличало Александра и, по мнению Корфа, являлось результатом воспитания «не вполне царского, не вполне философического».

При самом вступлении на престол Александра «из некоторых его поступков, — записывает ген. Тучков, — виден был дух неограниченного самовластия, мщения, злопамятности, недоверчивости, непостоянства в обещаниях и обманов». Этот дух действительно был заметен, что и дало повод А. И.

Тургеневу говорить, что лучше деспотизм Павла, чем «деспотизм скрытый и переменчивый», какой был у императора Александра.

Республиканец на словах, Александр в то же время имел твердое представление о власти самодержавной, как об установлении божественном.

Как хороший актер, Александр умел это показывать в жестах, соответствующих позах. «Не взирая на неподражаемую его любезность и на очаровательность в обращении — записывает Михайловский-Данилевский — у него вырывались по временам такие взгляды... иногда блистало у него во взорах нечто такое, которое явно говорило, что он помнит в эту минуту, что он рожден самодержцем». «Он был велик, — записывает лейб-медик Тарасов в 1820 г. — на троне Государь изволил стоять в обычной, ему исключительно одному принадлежащей, позе».

Александр «деспот в полном смысле слова» — говорит де Клемм, наблюдавший царя в Польше в 1818 г. Он никогда ни на иоту не поступится своей самодержавной властью, несмотря на то, что он почти всегда собой владеет, всякий, бывший свидетелем, как когда он не следит за собой, во всех его чертах отражается черствость, жестокость, проявляющаяся в судорожных гримасах, — тот не ошибется в том, что он деспот... Таким образом французский пленный в 1812 г. Маркиз де-Серан с полным правом мог характеризовать царскую власть того времени в таких чертах: «Государь России является настоящим собственником всего находящегося в стране; его воля — закон и он никому не отдает в ней отчета: sic volo, sic iubeo, sic pro ratione voluntas».

Понятно, что при столь твердых и определенных самодержавных воззрениях в либеральных мероприятиях первых лет правления Александра не было «энтузиазма», как отмечает современник. Правда, отсутствие этого энтузиазма современник об'ясняет тем, что либеральные мысли Александра не были связаны с «диким или чудаческим представлением о свободе». Но естественнее предположить другое. Вспомним, что на практике либерализм Александра не выдержал самого элементарного экзамена на первых же порах. Сенату, как известно, в 1802 г. было дано право делать представления государю по поводу указов, несогласных с прочими узаконениями. Это право современники готовы были уже рассматривать, «как ограничение самодержавной воли монарха». Но император в действительности на первых же порах «обнаружил полную нетерпимость к самому законному и умеренному проявлению самостоятельных взглядов» сенаторов. И когда сенат однажды воспользовался своим правом, он вызвал глубокий гнев Александра: «Я им дам себя знать». И было растолковано, что сенат в праве обсуждать лишь законы, изданные в предшествующие царствования, делать представления по поводу их отмены, но не должен касаться законоположений, изданных царствующим государем. А между тем только за год перед тем Александр говорил, что он не признает «на земле справедливой власть, которая бы не от закона истекала»; когда ему подносили для подписи «Указ нашему сенату», он восклицал: «Как нашему сенату! Сенат есть священное хранилище законов: он учрежден, чтобы нас просвещать», и своим восклицанием приводит в умиление корреспондента гр. Воронцова. Таков был Александр, когда эпитет «ангел во плоти» как будто бы был у всех на устах. Но играя в либера-

лизм, Александр не сумел уловить тон господствующих настроений в дворянской среде, или вернее дворянство не осознало достаточно истинных политических и социальных чаяний молодого монарха. Естественно, что и политические консерваторы, и политические англоманы одинаково оказывались в числе неудовлетворенных и недовольных. Это недовольство очень скоро стало проявляться в общественных кругах. О петербургских «coteries» сообщается уже на следующий год по воцарении.

В изображении жившего в это время в Петербурге баварца Ольри, сообщения которого были опубликованы вел. кн. Ник. Мих., общественное неудовольствие носит характер даже заговорщических предположений. Ольри всю интригу приписывает участникам бывшего дворянского переворота. «Пален и Зубов — пишет он 18 сентября 1802 г. — в качестве вожаков заговора поставили императору Александру, как условие — ограничение верховной власти и довольно свободно произносили слово «конституция»... Эта дворянская олигархия потерпела фиаско. «Партия Зубова и Палена — продолжает баварец — отличается своей к нему (Александру) ненавистью и не боится открыто называть его человеком ничтожным, неблагодарным и бесхарактерным. Если жизни его когда-нибудь будет грозить опасность, то несомненно эта опасность явится с этой стороны». Ссылаясь «на сведения из хорошего источника», Ольри свидетельствует, что партия Зубова начинает выдвигать вдовствующую императрицу: «в публике во множестве расточаются похвалы» по ее адресу. Наконец другие обращают свои взоры на императрицу царствующую. Общий вывод баварца таков: «Составляя гороскоп данного положения, я не считал бы слишком смелым высказать предположение, что этот кризис кончится или монархией аристократической, или же царствованием императрицы Елизаветы».

Несомненно, в изложении баварца все преувеличено. Но тем не менее, нет дыма без огня. Александр не мог не знать о разговорах в обществе и, быть может, этими слухами и надо об'яснить резкость его по отношению к описанному инциденту с сенатом: партия во главе с канцлером Воронцовым, — замечает Ольри — под предлогом восстановления первоначального значения сената, замышляет просить ограничения императорской власти. Эти петербугские «coteries» усиливались с каждым годом, по мере того, как внешняя политика Александра терпела крушение.

И в сущности в 1805 г. Александр уже восстановил Тайную экспедицию для наблюдения за вольномыслием, запрещенными сходбищами, вредными сочинениями, следит за матерью, женою и друзьями и т. д. Глубоко прав был Д. Н. Свербеев, заметивший, что Александр, «вопреки всем прекрасным качествам сердца, не оставлял без преследования ни одной грубой выходки крайнего либерализма и имел обыкновение отрезвлять иногда очень долгим заточением или ссылкой тех, которые считались противниками его верховной власти». Припомним хотя бы позднейшую печальную судьбу лифляндского дворянина Бока[1]), заключенного за свою конституционную записку в 1818 г., направленную при письме Александру, в Шлиссельбургскую крепость и пробывшего там до конца дней Александра...

[1]) „M. de Bock a perdu la raison“, по словам Александра в письме к Паулуччи

Александр был «слишком философ», как выразился Жозеф де-Местр, чтобы заниматься черновой домашней работой, которая не сулила сделать его великим человеком. Александр мечтал о более широком поприще славы; в нем явно сказывалось, по словам Фонвизина, «притязание играть первенствующую роль в политической системе Европы, оспаривать первенство у Франции, возвеличенной счастливыми революционными войнами». В излишней самоуверенности Александр слишком торопился «играть роль в Европе». Он воображал себя великим полководцем. Но мог ли им быть тот, кто все воинское искусство видел в парадах, кто из всей военной тактики Наполеона заимствовал лишь эполеты тамбур-мажоров? Говорят, что Александр проявлял личную храбрость. Так, по крайней мере, свидетельствует Жозеф де-Местр и позднее Шишков. Однако, и эту черту приходится подвергнуть сомнению. Не придворный уже льстец, а заурядный полковник Карпов в своих записках по поводу прославляемой храбрости Александр при Фершампенуазе говорит, что император скакал «самым маленьким галопом почти на месте, осматриваясь назад, чтобы кто ни есть удержал его от сей чрезвычайной храбрости». И Александр сейчас же от'ехал в безопасное место, когда ему какой-то офицер сказал, что его жизнь слишком дорога и нужна России.

Мания военщины побудила Александра проявить себя во что бы то ни стало в роли полководца. Пожалуй, не только мания военщины, а своеобразная черта в характере Александра, отмеченная де-Кламом, — любовь «хвастаться больше всего тем именно качеством, которым не обладал». И в данном случае по истине «прирожденный дипломат» во что бы то ни стало хотел состязаться с полководцем «милостью Божьей» именно в области стратегии. За границей он любил говорить: «я ничего не понимаю в политике, я только солдат». Недаром говорят, что от великого до смешного один шаг. Единственно чего достиг Александр в этой области — это того, что кто-то при отзывах о военных талантах как-то поставил Александра выше Шварценберга, чем однако Александр крайне интересовался, как свидетельствует его фраза Вольцогену в 1815 г.: «Посмотрим, кто из нас двоих, я или Шварценберг, был великим полководцем в последних походах». Что делать, пришлось соревноваться с dies minores, раз военная слава Наполеона оказалась недостижимой. Завидовал Александр Шварценбергу, завидовал успехам Веллингтона. Таково было его мелкое честолюбие. Соперничество с Наполеоном на поприще брани на первых порах привело лишь к поражению Александра. Его боевая слава померкла, не успев расцвесть, на полях Аустерлица, что весьма чувствительно отзывалось на самолюбии Александра.

Его стратегические таланты не только соотечественники не признавали, но «все были уверены, по словам Вигеля, что неудачи сопутствуют Александру и являются всегда, где он лично присутствует». И собственная его мать с надоедливостью пытается доказать сыну «неуместность» пребывания его в армии и советует «воздержаться от личного командования и всякого вмешательства в военные действия».

В то же время Александр знал о тех оппозиционных настроениях, о тех мнениях, которые вращались в обществе и о которых ему, между прочим, сообщала вдовствующая императрица в письме от 18 апреля 1806 г. Она констатирует, что недовольство существует и в столицах и в провинции. Публи-

ка, «не видя государя в ореоле славы, критикует вольно». Россия утратила свое влияние; еще одно проигранное сражение, и империя окажется в опасности. Россия утратила свое былое влияние в международной политике. «Кто знает, что в это время делается в Петербурге!» сказал, по словам де-Местра, кто-то из придворных после Аустерлица, и этого достаточно, чтобы Александр скакал в Петербург. А здесь, как сообщает Стединг, 28 сентября 1807 г. говорят даже о заговоре, о возведении на престол Екатерины Павловны. Конечно, все это были вздорные слухи, преувеличенные как и в 1802 г., но показывающие, однако, усиление непопулярности Александра.

Так в ряде донесений за это время шведского посланника Стединга свидетельствуется о все увеличивающемся неудовольствии направлением политики Александра. «Видна оппозиция решительно против всего, что только делает император» — доносит французский атташе Савари. «Среди друзей императора — замечает он — нет никого, кто сумел бы исправить зло.» В конце концов этот непрошенный друг нашелся, нашелся в Москве, где преимущественно создавалась дворянская оппозиция французскому направлению русской дипломатии. Александру в 1807 году была подана записка, в резких чертах рисовавшая судьбу, уготованную стране, если только линия поведения не будет изменена. Мы не знаем автора этой записки. Был ли то Карамзин или, быть может, Ростопчин, авторству которого ранее она приписывалась, во всяком случае, как и материнские советы, она лишь уязвляла болезненное самолюбие русского монарха. Наступил последний час — говорила записка — который «остается для избежания ужасного, но неизбежного падения, которое угрожает отечеству и его главе, как и последнему из его подданных». «Только измена — продолжал автор — может стараться скрыть пропасть, разверстую под ногами Вашими». Автор считает необходимым привести «на память» Александру «лестные обещания», им «отечеству данные», и в то же время показать «плоды иных, им полученных».

Центральным пунктом нападения является иностранная политика — «имени Россиян посрамление». В действительности здесь дело шло не столько о посрамлении «имени Россиян» сколько о тех имущественных интересах, которые реально или мнимо затрагивались континентальной блокадой: так она понизила курс рубля на 50%; она затрагивала крупное поместное дворянство, как хлебопроизводителя. Историки еще спорят о влиянии континентальной блокады на хозяйственную жизнь страны. Для современников однако внешняя по крайней мере картина государственного благосостояния в то время вырисовывалась в крайне неприятных красках. Торговый агент Лесепс, бывший в этот период в России, говорит о полном застое в торговле после Аустерлица, о царящем повсюду безденежьи и на почве всего этого о всеобщем неудовольствии: «уважение и любовь к монархам, которые народ сохранял с незапамятных времен, до такой степени ослабели, что надо опасаться всего: ропот стал уже явным и открыто порицают поступки и поведение правительства». Лесепс рассказывает, что при возвращении Александра в Россию пришлось даже принять «смешные предосторожности» и подстроить «проявления поддельной радости» со стороны населения.

Что же Александр в действительности подпал под влияние Наполеона и так легко согласился заменить свои мировые мечты положением «капрала французской армии», т. е. помогать в осуществлении мировой политики тому,

которого в интимных беседах он называл не иначе как «ce diable l'homme»? Что же Александр шел слепо на помочах у Наполеона, не взирая на общественное нудовольствие в России? Отнюдь нет.

Французский историк Вандаль так охарактеризовал значение Тильзита: это «искренняя попытка к кратковременному союзу на почве взаимного обольщения». Ну относительно искренности Александра приходится сомневаться. Когда Александр говорил Савари: «Ни к кому я не чувствовал такого предубеждения, как к нему (т.-е. Наполеону), но после беседы . . . оно рассеялось, как сон», — то здесь сказывалось только то «в высшей степени рассчитанное притворство», о котором упоминает Коленкур и которое в области дипломатии у Александра доходило до виртуозности. В этом, повидимому, солидарны все современники. «Александр умен, приятен, образован, но ему нельзя доверять; он неискренен: это — истинный византиец . . . тонкий, притворный, хитрый», сказал Наполеон уже на о. св. Елены. «В политике, — писал шведский посол в Париже Лагербиелне, — Александр тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская». «Искренний, как человек, Александр был изворотлив, как грек, в области политики» — таков отзыв Шатобриана. И, действительно, к международной дипломатии, где искренность всегда затушевана политическим рассчетом, характер Александра I чрезвычайно подходил. И, быть-может, он очень тонко вел свою линию от Тильзита до двенадцатого года.

Это была выжидательная неопределенность: «изменятся обстоятельства, можно изменить и политику». Пока же союз с Наполеоном был неизбежен; по крайней мере, для авторитетного положения Александра в европейских делах. Этим только и следует об'яснять новую французскую политику Александра.

Он был ее яркий противник, как мы видели в первые годы царствования. Александр был царь «немецкого происхождения», как выразился Жозеф де-Местр, и существенно расходился в воззрениях с помощником своим по дипломатии в первые годы кн. Чарторижским. Последнему очень скоро пришлось устраниться. И как раз тогда как будто бы началась перемена, началась тогда, когда «тщеславное выказание своих сил» привело к краху:

«Его мы очень смирным знали
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра». —

остроумно заметил Пушкин в своем известном шифрованном стихотворении.

Перед счастливой звездой Наполеона меркло взлелеянное в глубине души соперничество на мировую роль. Для Александра «ce diable d'homme», этот выскочка был ненавистен, тем более, что ему, самодержавному монарху с челом, отмеченным Божественным Провидением, приходилось быть «смирным», приходилось скрывать до времени свои планы и прятать свое самолюбие. Но Александр никогда не мог простить Наполеону, «несмотря на все лобзания в Тильзите и Эрфурте», по выражению вел. кн. Ник. Мих., ответ Талейрана по поводу протеста русского двора против убийства в 1804 г. гер. Ангиенского. В этом ответе напомнили, что при убийстве Павла никто из заговорщиков не был наказан. Таких намеков Александр действительно никогда не мог простить, ибо личный престиж для него был дороже всего. А между тем бестакт-

ность «parvenu» на троне ставила Александра подчас в затруднительное положение. Таково было сватовство Наполеона к Анне Павловне. Как отказать тому, с кем в это время заигрывали? Мать писала о «позоре», которым бы покрыла себя царская семья, «высказав такую неустойчивость в принципах и убеждениях». Любимая сестра императора дает мудрый совет: сослаться на молодость, но сказать, что «императрица и император сочувствуют этому браку». Пока в Петербурге размышляли, Наполеон уже договорился по вопросу о женитьбе с австрийским двором. Дилемма разрешилась благополучно, но в сущности Александру наносился новый укол самолюбию: решение Наполеона было принято до получения ответа. Истинное отношение Александра к Наполеону необычайно ярко вылилось в одном восклицании в интимной записочке к Екатерине Павловне из Тильзита: «Moi, passer mes journées avec Bonaparte!» Но приходилось не только проводить дни и часы с Наполеоном, но любезничать с ним и обольщать своей внешней искренностью; — «внушить, по заявлению А. К. Дживелегова, Наполеону уверенность, что под обаянием его величия готов преклониться перед мировым гением». Ему удалось это внушить во всяком случае во времена Тильзита и Эрфурта. Наполеон на о. Елены говорил: «Никто не поверит, какие споры происходили между нами. Он утверждал, что наследственность верховной власти есть зло, и мне в течение более часа пришлось употреблять все мое красноречие и пустить в ход всю мою логику для убеждения, что на этой наследственности зиждится спокойствие и благополучие народов». Любопытный спор самодержавного монарха от природы и монарха выскочки. «Впрочем,—должен был тут же заметить Наполеон — быть может он меня лишь дурачил, потому что он умен, притворчив и хитер». Стоит сопоставить эти беседы с одновременными записками к Екат. Павл., чтобы ответить, кто кого дурачил. Игра требовала тем более выдержки со стороны Александра, что окружающие, как утверждал впоследствии Наполеон, постоянно рассказывали Александру в Тильзите и Эрфурте о насмешках Наполеона за глаза. Самолюбивый Александр не терпел этих насмешек.

Сорель убежден, что уже в период Мемельского свидания у Александра вырисовывается план на счет гегемонии в Европе. Для этого надо сломить Наполеона. Поэтому он хлопочет так о привлечении в 1804 г. Англии к союзу против Франции, тратит столь много увлекательного пафоса для убеждения королевы Луизы, что борьба с Наполеоном единственный путь для Пруссии. Мирясь с Наполеоном, он с легкостью совершает вероломный акт по отношению к Пруссии, которую сам усиленно толкал на борьбу. Все это дипломатия, сознательная, тонкая и рассчетливая. Королева Луиза, обратившаяся во время Эрфуртского свидания к Александру не поддаваться Наполеону, разделила в этом отношении судьбу многих близких Александру лиц, т. е. проявила непонимание и наивность. «Я заклинаю Вас — писала она — будьте осторожны с этим ловким обманщиком и прислушайтесь к моему голосу, который говорит только ради вас, ради вашей славы, которую я люблю, как свою собственную». Между тем «кукольный архангел» Пруссии, по выражению Сореля, шел очень определенно по тому пути к славе, который наметил себе.

Утверждая (в письме к Марии Фед. из Эрфурта 25 авг. 1808 г.), что «наши интересы последнего времени заставили нас заключить тесный союз с Фран-

цией» и «что мы сделаем все, чтобы доказать ей искренность (?) и благородство нашего образа действия», Северный Тальма[1]) намекает уже о возможном падении Наполеона, «если на то воля Провидения».

К этой борьбе надо готовиться: «Bonaparte prétend que je ne suis qu'un sot. Rira le mieux qui rira le dernier» — пишет все в ту же Эрфуртскую эпоху Александр Екатерине Павловне. Только этой подготовкой следует об'яснить эпоху Сперанского, те либеральные начинаия, о которых основательно Александр стал забывать с 1803 г., когда прекратились заседания так называемого негласного комитета.

Конечно, Александр никогда серьезно не думал осуществлять широкие замыслы Сперанского, весьма скептически относившегося к конституционным мечтаниям «на словах». Хотя Сперанский и говорит о своем проекте 1809 г., что он был «принят как руководящее начало действия и как неизменная норма всех предстоящих и желательных преобразований», однако, в действительности Александр отнюдь не был склонен поступаться прерогативами монарха: «император хочет только полумеры» — по выражению Строганова в 1806 г. Александр жаловался впоследствии де Санглену: «Сперанский вовлек меня в глупость», т. е. не понял той игры, которую вел Александр в Тильзите и Эрфурте. Увлеченный Наполеоном, он думал, что и Александр находится под таким же обаянием. В этом и была «роковая ошибка» русского реформатора, за которую он поплатился немилостью императора. Понятно теперь, почему Александр так легко отступил от Сперанского. Полицейские агенты Меттерниха на Венском конгрессе подметили у Александра любовь «взваливать на других, когда не мог выполнить своих преувеличенных обещаний». Если Александр в действительности, по замечанию де-Местра, «рассчитывал соединить неумолимый деспотизм с фиктивным конституционализмом, который воздвиг Наполеон на развалинах французской республики», то настойчивое и последовательное реформаторство Сперанского должно было лишь раздражать царя.

Александру нужны были лишь практические меры Сперанского, так сказать, минимальная реформа, которая придала бы некоторую хотя бы стройность «безобразному зданию империи». На опасность недоконченных мер указывала и оппозиция (письмо 1807 г.). В этих реформах была слишком осязательная потребность в виду предвидения неизбежного столкновения России с Францией.

Не все обладали в достаточной степени этой политической прозорливостью, не все понимали и политику Александра, которая в своих конкретных проявлениях в связи с континентальной системой затрогивала материальные интересы господствующего класса. Первоначально имя Наполеона не вызывало в России «ненависти»; многие из политических консерваторов, как Карамзин, скорее готовы были его приветствовать за то, что он «умертвил чудовище революции». Но затем Наполеон сам делается «исчадием» революции, носителем революционных принципов. Для правящего дворянства все либеральные реформы являются также порождением революционного духа. Вот почему и Сперанский в консервативных кругах вызывал такое негодование. «Не знаю, — говорит Вигель, — разве только смерть лютого тирана

---

[1]) Так называл Александра Наполеон.

могла бы произвести такую всеобщую радость», как падение Сперанского. Александр недостаточно учитывал первоначально оппозиционное дворянское настроение: он думал весельем в столицах парализировать «уныние», о котором говорили противники Наполеона. Ему не мог нравиться призыв московской оппозиции опереться на дворянство (в цитированной выше записке).

Александр боялся дворянства, так как ему неоднократно напоминали о дворцовых событиях 1801 г., напр. бестактная Мария Феодоровна.

Он никогда не забывал фразы в письме кн. Яшвиля: «поймите, что для отчаяния есть всегда средство, и не доводите отечество до гибели». В этом заключалась не только оценка заговора, удушившего Павла, но и намек на возможное всегда будущее.

Возжигая в дворянстве любовь по принуждению, Александр подумывал и о других, более сильно действующих, средствах для поддержания своего престижа. Аракчеев могуществен, «как никогда», — отмечает в 1806 г. гр. П. А. Строганов, тот, в личности которого как бы олицетворялось «дней александровских прекрасное начало». Авторитет Аракчеева в это время и Жозеф де Местр об'ясняет исключительно только внутренним брожением в обществе: Александр захотел «поставить с собой рядом пугало пострашней». Поставить пугало, но сохранить насколько возможно свою либеральную популярность, т. е. переложить непопулярность на другого.

Александр относился подозрительно даже к патриотическому движению в дворянстве, что особенно ярко проявилось в период отечественной войны [1]). Несмотря на эти опасения, Александр должен был последовать советам, которые давал ему Ростопчин еще в 1806 г.: возжечь в дворянстве «паки в сердцах любовь, совсем почти погасшую в несчастных происшествиях».

В действительности же либерализму была дана окончательная отставка.

Правда, в дипломатии либерализм как будто бы еще царит. Призывая Штейна в Россию в начале 1812 г., Александр пишет: «Решительные обстоятельства должны соединить... всех друзей человечества и либеральных идей... Дело идет... спасти их от варварства и рабства». Но ведь все это было лишь внешней прикрасой, как и все аналогичные заявления европейских правительств, говоривших о возвращении свободы, обещавших конституции «сообразно с желанием» народа. Это было одно из знамен для борьбы с Наполеоном, которым при известных случаях пользовался Александр. Совершенно так же самые заядлые крепостники, в роде гр. Ростопчина, в обращении к народным массам говорили о крестьянской свободе. В сущности говоря, и правительственные манифесты обещали эту свободу. Как иначе было бороться против наполеоновских прокламаций! Во всяком случае в эту пору «решительный язык власти и барства более не годился и был опасен», как метко заметил ростовский городской голова Маракуев.

В период отечественной войны Александр проявил большую твердость, удивившую отчасти и современников и историков. Это была эпоха «наибольшего развития его нравственной силы — говорит Пыпин. — Обыкновенно

---

[1]) Антипатия к дворянству проявлялась и позже: царь не любит аристократии, последняя отвечает ему той же монетой — доносит французский атташэ при русском дворе гр. Ноалль в 1816 г.

нерешительный и переменчивый, не находивший в себе силы одолевать препятствия», Александр в это время «удивил своим твердым стремлением к раз положенной цели».

Эта твердость дает повод одному из историков отечественной войны (К. А. Военскому) даже говорить, что «с мягкостью обращенья император Александр соединил удивительную настойчивость и железную силу воли. В семейном кругу его называли кротким упрямцем — le doux entêté». Но упрямство и сила воли далеко не синонимы. Первая черта скорее признак слабохарактерности. Но обычное суждение о нерешительности Александра, о его уступчивости, как мы уже старались показать, действительно, может быть оспариваемо![1]) В Александре была большая доля упрямства[2]), желания во что бы то ни стало настоять на своем. Это отметили еще воспитатели его ранней юности[3]), а позднее шведский посланник Стединг: «Если его трудно было в чем-нибудь убедить, то еще труднее заставить отказаться от мысли, которая однажды в нем превозобладала!» И когда дело затрогивало его самолюбие, он был удивительно настойчив. История с военными поселениями может служить наилучшим показателем. Если Александр бросался из стороны в сторону, то это не потому, что он искренно верил последовательно то в прогресс, то в реакцию. Как у тонкого политика, у него все было построено на рассчете, хотя, быть-может, часто этот рассчет и был ошибочен: жизнь народа, жизнь общества не укладывается в математические рамки. Жизнь подчас путает все рассчеты. Да и можно ли учесть переменчивые общественные настроения, их силу или бессилие? Здесь ошибки неизбежны, сильный человек их сознает. Александр под влиянием обстоятельств менялся, но ошибок своих никогда не сознавал.

Поэтому с некоторыми оговорками характеристика мировоззрения Александра, сделанная Меттернихом, правильна: ему «нужно было два года для развития мысли, которая на третий год получала характер некоторой системы, на четвертый менялась, а на пятый к ней охладевал и она оставлялась, как негодная». «Все в его голове было спутано; он хотел добра, но не знал, как за него взяться для осуществления» — писал Меттерних Лебцельтерну 2 янв. 1826 г. уже после кончины Благословенного.

В отечественную войну Александр проявил большую настойчивость вопреки ожиданию многих из современников. Как рассказывает Сегюр в своих воспоминаниях, после взятия Москвы «Наполеон надеялся на податливость своего противника, и сами русские боялись того». Этой твердости также удивляется и Греч. Ведь за окончание войны возвысились весьма авторитетные голоса: Мария Феодоровна, великий князь Константин, Аракчеев, Румянцев. И только Елизавета Алексеевна и Екатерина Павловна были решитель-

---

[1]) Уступчивость Александра — „психологический мираж“ (Кизеветтер).

[2]) Его упрямство проявлялось иногда в удивительных мелочах. Михайловский-Данилевский в доказательство твердости характера Александра рассказывает о таком случае. Однажды во время дороги император сказал Михайловскому, что он намерен ехать три или четыре станции, „не закрывая коляски и не выходя из оной“, и сдержал свое слово, „не взирая ни на какую погоду, на ветер, дождь или бурю“. Но неужели в этом заключается та сила воли, о которой говорит в своей записке гр. Эделинг?

[3]) „Лишнее самолюбие, а оттого упорство во мнениях своих“.

ными противницами мира [1]). «Полубогиня тверская», как именовал Карамзин Екатерину Павловну, действительно, повидимому, отличалась большой и неутомимой энергией; к тому же это была женщина, искренно ненавидевшая все то, что отзывалось революцией. Елизавета Алексеевна — «лучезарный ангел», по характеристике того же Карамзина, в свою очередь, проявила энергию в ночь с 13—14 марта 1801 года. По родственным связям она должна была ненавидеть Наполеона. Что же, Александр поддался влиянию женщин? О нет! Для него борьба с Наполеоном была делом личного самолюбия, в жертву которому он готов был принести многое.

«Наполеон или я — сказал Александр Мишо, явившемуся к нему с донесением Кутузова после Бородина: — я или он, но вместе мы не можем царствовать; я научился понимать его, он более не обманет меня». Понятно, почему все предложения о мире со стороны Наполеона оставались без ответа. Александр чувствовал свою силу. И не нужно было вовсе Ростопчину лезть с непрошенным советом: «О мире ни слова: то было бы смертным приговором для нас (т. е. дворян) и для вас» (письмо 13 сент.). Непрошеные советы лишь раздражали уверенного в себе соперника Наполеона.

«Среди этой борьбы — доносил в 1812 г. сардинский посланник де Местр — я любуюсь императором. Он принес великие жертвы, превозмог страшные затруднения и с большим искусством примирил страсти самые непримиримые. Я не сомневаюсь, что ему пришлось делать многое против своих склонностей и убеждений, но меня именно это и восхищает». Главную жертву, которую должен был принести Александр на алтарь отечества, заключалась в том, что он обстоятельствами вынужден был отказаться от роли полководца и передать военную славу другим. Как не хотел он этого делать по отношению к Кутузову! И как он не любил Кутузова и Ростопчина, которым именно вынужден был предоставить играть первые роли в период отечественной войны: первому, удовлетворяя общественное мнение — «c'était le cris général», писал Александр сестре Екатерине; второму, делая уступки оппозиционному дворянству. Про Кутузова он сказал гр. Комаровскому: «Общество желало его назначения и я его назначил. Что же касается меня, то я умываю руки». Александра более всего задевали настойчивые советы родни не вмешиваться в военные распоряжения, эти убеждения, что даже его присутствие в армии портит дело, что армия не имеет к нему доверия, как к военноначальнику и т. д. [2]). С обычной для себя рисовкой, так сказать, кокетничая несколько с самим собою, Александр высказал свое затаенное желание довольно определенно в разговоре с гр. Эделинг. Собеседница впоследствии так воспроизводила эту беседу: «Мне жаль только — говорил Александр — что я не могу, как бы желал, соответствовать преданности этого удивительного народа. Этому народу нужен вождь, способный вести его к победе, а я по несчастью не имею для того ни опытности, ни нужных дарований. Моя молодость протекла в тени двора; если бы меня тогда же отдали к Суворову, или Румянцеву, они меня научили бы воевать и может быть я сумел бы предотвратить бедствия, которые теперь нам угрожают»...

---

[1]) Противниками являлись и Багратион с Ростопчиным, — оба не авторитетные для Александра лица.

[2]) См. переписку с Екатериной Павловной.

— «Ваши подданные знают вам цену — возражает Эделинг — и ставят вас во сто крат выше Наполеона и всех героев своих.»

— «Мне приятно этому верить, потому что вы это говорите, но у меня нет качеств, необходимых для того, чтобы исполнять, как бы я желал, должность, которую занимаю».

Таково было оправдание перед женщиной неудачливого полководца. Конечно, бальзам на душу Александра в виде комплимента женщины не мог в действительности залечить рану, нанесенную самолюбию.

Соперничество с Наполеоном заставило Александра быть столь же твердым в решении продолжить борьбу за границей и, воспользовавшись благоприятным моментом, сломить могущество Наполеона.

Александр охотно отзывался на призывы Штейна быть освободителем Европы. Прусский патриот, как мы уже знаем, верил в искренность либерализма Александра. «Пусть не удастся низости и пошлости, — писал он в начале 1814 г., — задержать его полет и помешать Европе воспользоваться во всем об'еме тем счастием, какое предлагает ей Провидение». И как бы следуя Штейну, Пыпин доказывал, что энергию Александра данного времени нельзя об'яснить тем, что «борьба с Наполеоном, решение судьбы Европы представляли деятельность, завлекавшую его тщеславие и честолюбие»; энергия Александра была возбуждена тем, что «на этот раз он был вполне убежден в своем предприятии, в его необходимости и благотворности для человечества, а также тем, что на этот раз его деятельность находила полную, безусловную опору в голосе нации... К этому присоединился еще новый возбуждающий элемент, не действовавший прежде — элемент религиозный».

Конечно, в период отечественной войны Александр находил «безусловную опору в голосе нации». Но заграничные походы были популярны только в некоторых либеральных кругах, еще не разочаровавшихся в Александре и окрашивавших всю его деятельность в розовый цвет: «Александра другого нет в веках» — писал кн. Петр Вяземский Ал. Тургеневу в апреле 1814 г. по поводу взятия Парижа.—«Роль его прекрасная и беспримерная. Цель его побед— завоевание свободы и счастья царей и царств: история нам ничего прекраснее, славнее и бескорыстнее не представляет». В придворной среде они вызывали неменьшее возражение, чем нежелание Александра заключить мир после занятия Москвы Наполеоном. Прежде всего «война 1812 г. принесла России более бесславия, нежели славы», как записал Погодин в своем дневнике в 1820 г. «Поход 1812 г., — писал Ростопчин Александру 24 сентября 1813 г., —охладил воинственный пыл генералов, офицеров и солдат». Старец Шишков очень боялся, что в более благоприятных условиях вновь разовьется военный гений Наполеона и Россия потерпит поражение. Фанатик реакции, Ростопчин, пессимистически смотревший на будущее («трудно ныне царствовать: народ узнал силу и употребляет во зло вольность», писал он Брокеру в 1817 г.), только и думавший о борьбе с так называемым внутренним врагом, считал, что Наполеон уже «ускользнул» и что следует «подумать о мерах борьбы внутри государства с врагами вашими и отечества», как сообщал он Александру 14 декабря 1812 г. Не хотел этой новой борьбы и Кутузов, видевший в Наполеоне, как бы противовес против Австрии и Пруссии. Но для Александра заграничные походы открывали широкую арену для деятель-

ности, для популярности, для влияния на Европу, чего он так давно добивался. И одна невольно вырвавшаяся у него фраза как нельзя отчетливее передает чувства Александра, когда он сделался победителем и в то же время освободителем Европы. Когда А. П. Ермолов поздравил Александра с победой при Фершампенуазе, император ответил торжественным тоном: «От всей души принимаю ваше поздравление, двенадцать лет я слыл в Европе посредственным человеком; посмотрим, что она заговорит теперь». Самолюбивый Александр страдал оттого, что его могли считать посредственным человеком, а низвергнутого им соперника—гением. Что Александра многие считали таковым[1]), показывает отзыв Наполеона, писавшего после Тильзита Жозефине: Александр «гораздо умнее, чем думают» . . . Александр в этом отношении мог бы считать себя удовлетворенным, если бы знал, что Наполеон на о. Елены, оценивая свои отношения к русскому царю, заявлял в конце концов: «если мне суждено умереть здесь, то он по праву будет моим преемником в Европе». Недаром по поводу анонимной книги, появившейся в Англии в 1817 г., «Manuscrit venu de S-te Hélène d'une manière inconnue», Меттерних замечал в письме к Лебцельтерну: Александр будет доволен, он поставлен в ней высоко. «Мир слишком долго был занят колоссом, который грозил всеобщему существованию; теперь, когда он уничтожен, взор обращается к другому колоссу»—писал австриец Лебцельтерн. Этим другим колоссом становился соперник Наполеона. Силою вещей макиавеллизм победил стратегию. Мечты начинали воплощаться в реальную форму. «Европа говорит только об Александре»—писал Вяземский Тургеневу. И Александр мог с гордостью и торжеством продолжать свое европейское шествие. «Наше вхождение в Париж — сообщал Александр Голицыну — было великолепным . . . Все спешило обнимать мои колена, все стремилось прикасаться ко мне; народ бросался целовать мои руки, ноги; хватались даже за стремена, оглашали воздух радостным криком». Как радостно должен был себя чувствовать русский император, в'езжая в Париж в ореоле блеска и славы на сером коне, когда то подаренном ему Наполеоном! «Ну что, Алексей Петрович, теперь скажут в Петербурге; меня считали за простачка»—самодовольно бросит тому же Ермолову великий человек и тем самым проявит и свои истинные вожделения и свою неглубокую натуру. В мелочах подчас познается истина.

Александр ищет до смешного этой популярности. Готов сам подчас навязаться. Незначительный, но характерный эпизод рассказывает де-ла-Гард в своих воспоминаниях о Венском конгрессе. Дело происходит в венском Пратере. Императоров окружает толпа. Александр видит, что какой-то крестьянин усиленно работает локтями, чтобы пролезть вперед. Любезный и обходительный русский царь сам подходит к этому месту со словами: «Милый друг! вы вероятно хотите видеть русского императора; смотрите на меня, расскажите потом, что вы с ним говорили . . .»

И хоть война с Францией могла быть окончена без занятия Парижа, на что и склонялись союзники, Александр не мог отказаться от в'езда в Париж: «русский император — замечает английский министр иностранных дел Кесльри — кажется, только ищет случая вступить во главе своей блестя-

[1]) См., напр., отзыв Фарнгагена (1822): „ум совершенно посредственный".

щей армии в Париж по всей вероятности для того, чтобы противопоставить свое великодушие опустошению собственной столицы.»[1])

В последнюю стадию борьбы с Наполеоном Александр также был одним из наиболее настойчивых и последовательных его противников. Вовсе не потому, что Европа «упадая перед ним (Александром) на колени и с воздетыми к небу руками молит его быть ее спасителем», как казалось наивным представителям александровского времени, братьям Глинкам. Александр готов был «положить меч свой», только низвергнув Наполеона, только разрешив дилемму, вставшую перед ним задолго до 1812 года: «Наполеон или я». Образ Наполеона, только один он стоял перед ним. Его самолюбивая политика вовсе не была дальновидной и, конечно, велась не в интересах русского государства, как целого. В одном из позднейших писем Гнейзенау к Чернышеву (1831) можно пожалуй найти разгадку и прусской политики Александра, очень в сущности далекой от рыцарского чувства к королеве Луизе: «Если бы император Александр—писал Гнейзенау—по отступлении Наполеона из России, не преследовал завоевателя, вторгнувшегося в его государство; если бы он не продолжал войны; если бы он удовольствовался заключением с ним мира, то Пруссия находилась бы по сейчас под влиянием Франции, и Австрия не ополчилась бы против нее. Тогда не было бы острова св. Елены, Наполеон был бы еще жив и один Бог знает, как он возместил бы на других те невзгоды, какие ему пришлось вынести у вас. Вашему союзу мы обязаны настоящей нашей назависимостью».

На словах Александр так часто выказывает себя чрезвычайно скромным. Это побудило даже, по словам Глинки, Моро воскликнуть в Праге: «Государь, вам одно вредит—собственная ваша скромность». В действительности здесь опять только поза Александра; по замечанию де Клама, он «притворно приписывает себе и России ничтожную роль». Мечты его распространяются на весь мир. Он желает мира только во имя собственных интересов, во имя личной славы: «от него должны исходить покой и счастье мира и вся Европа должна молча признать, что это его дело».

Поэтому то Александр так раздражался в Европе, когда встречал противодействие в дипломатических планах других держав. И он готов был принять даже позу, что он «друг в несчастьи» Наполеона. Он подчеркнуто в Париже будет посещать Жозефину и Гортензию, будет кокетничать, определенно лгать Колленкуру, обвораживать Нея и Макдональда, говоря что будет поддерживать идею регентства с Марией-Луизой во главе. Но как ни антипатичен был лично представитель Бурбонской династии Александру, вся его игра с наполеоновскими приспешниками была лишь ловким шахматным ходом[2]).

[1]) Между русскими и так называемыми всеобщими историками существует разногласие по вопросу о том, кому принадлежит план итти на Париж. Русская военная историческая школа утверждает, что идея эта разработана в русском штабе. Западная историография приписывает инициативу Шварценбергу — эта инициатива спасла положение союзников и погубила Наполеона. Для нас в данном случае важно то, что Александр был горячим сторонником движения на Париж. Мотивы, вероятно, были более сложны, чем то рисовалось Кесльри.

[2]) Личное самолюбие для Александра всегда стояло на первом плане. Александр был крайне оскорблен, что Людовик XVIII не оказал ему достаточного почтения, как спасителю трона. И только после Фонтенебло, когда вырисовалась опасность, что восторжествует вновь его соперник Наполеон, Александр сделался сторонником Бурбонов.

II

Какую же сыграл роль другой привходящий элемент, религиозный, в деятельности Александра? В юности у Александра была одна только религия—религия «естественного разума». После отечественной войны он явно делается пиэтистом и мистиком — он все делает для Христова царствования, им руководит только Промысел Божий (из письма к Кошелеву). Так на него повлиял вихрь пережитых событий; в 1814 г. из-за границы он «привез домой седые волосы». «Пожар Москвы,—говорил Александр в беседе с немецким пастором Эйлером 20 сентября 1818 г.,—просветил мою душу, а суд Господень на снеговых полях наполнил мое сердце такой жаркой верой, какой я до сих пор никогда не испытывал.... Теперь я познал Бога.... Я понял и понимаю Его волю и Его законы. Во мне созрело и окрепло решение посвятить себя и свое царствование прославлению Его. С тех пор я стал другим человеком». Мистическому настроению легко увлечь в свои недра. Мистики разного типа заполоняют внимание Александра. В их туманных, а подчас бредовых идеях черпается вся мудрость жизни. Александр в Карлсруэ при посещении баденского герцога поучается у самого Штиллинга—этого оракула западно-европейского мистицизма и такого же непреложного авторитета русских мистиков.

В полуночных беседах с баронессой Крюденер Александр является в виде кающегося грешника, сокрушающегося о прошлой жизни и прошлых заблуждениях. «Крюденер—говорит Александр—подняла предо мною завесу прошедшего и представила жизнь мою со всеми заблуждениями тщеславия и суетной гордости». Он часами беседует с религиозными энтузиастами квакерами-филантропами Алленом и Грелье, прочувственно плачет, когда ему говорят об ответственности, лежащей на нем, на коленях целует руки вдохновенным проповедникам и в глубоком, торжественном молчании, длящемся несколько минут, ожидает «божественного осенения»: это молчание, вспоминал потом Аллен, «было точно восседание на небеси во Иисусе Христе». Иисус Христос присутствует незримо и во время обеда Александра с Меттернихом и Крюднер—для Иисуса накрывается даже особый четвертый прибор (воспоминания Баранта). Точно так же Александр покровительствует и татариновским радениям: его сердце «пламенеет любовью к Спасителю», когда он читает письма вице-президента Библейского общества, обер-гофмейстера Р. А. Кошелева по поводу кружка Татариновой, платить которой 8000 р. в год Александр получает распоряжение «на молитве». Он обращается ко всякого рода пророкам и пророчицам, чтобы узнать намерения Провидения: юродивый музыкант Никитушка Федоров, вызванный к Александру, как пророк, награждается даже чином XIV класса и т. д. Из подобных бесед, из библейских выписок, сделанных Шишковым в Германии применительно к современным политическим событиям из глав пророка Даниила, Александр черпает идеи Священного Союза и убеждается, что он — избранное орудие Божества. Как Наполеон послужил бичом Божием для выполнения великого дела Провидения, так и Александру предназначена великая миссия освобождения Европы от влияния «грязной и проклятой» Франции (Михайловский-Данилевский). Можно ли здесь заподозрить какую-

либо неискренность? Тенёта мистицизма и ханжества очень цепки, но нельзя забывать и того, что новая идеология, обосновывающая европейскую политику Александра, чрезвычайно гармонировала с его старыми мечтами. Серьезно ли было влияние Крюденер на Александра? Быть может, глубоко прав был один из первых биографов г-жи Крюденер, сказавший: «Очень вероятно, что Александр делал вид, что принимает поучения г-жи Крюденер, для того, чтобы думали, что он предан мечтаниям, которые стоят квадратуры круга и философского камня, и из-за них не видели его честолюбия и глубокого макиавеллизма». Александр любил выслушивать пророчества и тонкую лесть Крюденер и ей подобных оракулов. «Чей образ должен стоять перед глазами каждого христианина, как не образ Александра Освободителя» —восклицал Штелинг. «О, какое счастье для русских, иметь христианина монархом»—вторит Крюденер. «Я ничего не хочу, кроме Вашей славы» . . . «Моя жизнь посвящена Вам и я Вас прославляю среди народов и государств, как Божьего избранника».

Но Александр очень не любил, когда эти пророки реально вмешивались в область дипломатии. И когда Крюденер, окруженная славой, явилась в петербургские салоны и попробовала вмешаться в неподлежащую ей сферу, слишком назойливо уже выставляя свои заслуги и свое пророческое положение: «мой голос Вас призывает» — Александр сначала учредил за ней негласный надзор, а затем и выслал ее из Петербурга.[1]) И любопытно, что и в данном случае все попытки Крюденер в течение двух месяцев, как она свидетельствует в большом письме к Александру 2 мая 1822 г., увидаться с ним и об'ясниться, были тщетны. Конечно, и письмо с напоминанием о старых обещаниях, о великих пророческих талантах осталось без последствия. Письмо достигло скорее противоположного результата, так как Александр не любил упреков за нарушение даваемых им обещаний.

Не надо забывать и того, что новые религиозные идеи дали новое освещение и отечественной войне.[2]) Наполеона победила природа. Войдя в Россию, предсказывал Шишков, Наполеон «затворился в гробе, из которого не выйдет жив». Это слишком простое об'яснение потрясающим событиям, только что пережитым, казалось уже неудовлетворительным для современников. Надо было найти более глубокий смысл. Если прежде отечественная война выставлялась, как борьба за свободу, то ее теперь готовы рассматривать в соответствии с новыми мистическими настроениями, как тяжелое испытание, ниспосланное судьбой за грехи. Суд Божий произошел на снеговых полях . . . Современное дело выше сил человеческих. Здесь явлен ««Промысел Божий». Новое об'яснение упрощенно разрешало целый ряд сложных обязательств, ложившихся на правительство. Истинным героем отечественной войны был русский крестьянин. Его надо было вознаградить. Только одну награду ждали — освобождения от рабских цепей. Но если отечественная война наслана была Провидением, кто из смертных может

---

[1]) Крюденер агитировала в пользу восставших греков. Но она не понимала, что политика для Александра куда выше христианской морали. И Александр никогда не согласился бы на вмешательство, потому что прежде всего опасался быть в союзе с радикалами Европы (Меттерних Лебцельтерну 6 окт. 1821 г.).

[2]) См. ниже: „Правительство и общество после войны“.

воздать должное народу, который Сам Бог избрал орудием мщения! Русский народ совершил великую миссианскую задачу. Он должен гордиться тем, что Бог избрал его «совершить великое дело», и, не предаваясь гордости, смиренно благодарить «Того, Кто излиял на нас толикие щедроты». «Кто, кроме Бога, кто из владык земных и что может ему воздать? Награда ему — дела его, которым свидетели небо и земля», гласил манифест 1 января 1816 г. «Не нам, не нам, Господи, а имени Твоему»—вот эпилог войны. И в виде утешения в горестях народу дана была Библия.

Обоснование международной и внутренней политики на христианских началах, вступление России на «новый политический путь—апокалипсический», как метко выразился Шильдер, влекло за собой реакцию во всех сферах общественного и государственного уклада. Мрачная реакция, реакция без поворотов, без отступлений, без колебаний и характеризует вторую половину царствования императора Александра. Скоро мистицизм был, в свою очередь, заподозрен в революционизме. Мистицизм сменила реакция ортодоксальная, и просветов, которые отмечали «дней александровых прекрасное начало», уже не повторялось.

Александр разочаровался, говорят, в своих прежних политических идеалах. Реформаторские неудачи вызывают раздражение, скептическое отношение ко всему русскому, нравственное уныние завлекает Александра в тенёта ухищренного мистицизма. Россия оказалась неподготовленной к осуществлению благожелательных начинаний императора, и он охладевает к задачам внутренней политики. Он «удаляется от дел». Но в это обычное представление надо прежде всего внести один существенный корректив. Может быть, некоторым из современников и казалось, что Александр, возненавидевший Россию (Якушкин), удалился от дел. Европа и мрачная непрезентабельная фигура временщика Аракчеева закрывали собой Александра.

В действительности, однако, как неопровержимо теперь уже выяснено, в период реакции и охлаждения к делам Александр следил за всеми мелочами внутреннего управления. Дела Комитета Министров не оставляют никакого сомнения в этом. Если различные мемории Государственного Совета и Комитета Министров нередко и валялись долгое время под императорским столом в особых «чемоданчиках» в «ожидании царского взгляда», то причина этого была в ином: припомним, как записка Анштета по польскому вопросу должна была стушеваться перед гусарским мундиром, который заполнил помыслы императора в те дни, когда должна была быть представлена записка. Солдатчина и форма всегда у него на первом плане. Отступление от установленного само по себе есть уже проявление революционного духа. Царь пишет личное письмо М. С. Воронцову 2 мая 1824 г.: «Я имею сведения, что в Одессу стекаются из разных мест и в особенности из польских губерний и даже из военнослужащих без позволения своего начальства. Многие такие лица, как с намерением или по своему легкомыслию, занимаются лишь одними неосновательными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние». Наряду с вопросом о толках политических, Александра будет занимать и вопрос о том, что «военные чины не наблюдают предписанной формы в одежде». Узнав в Лайбахе, что полк. Корсаков позволил себе растегнуться на балу в дворце, он пишет Милорадовичу об этом, —

добавляя, что «чинопочитание» надо особенно соблюдать в «нынешние превратные времена» и что Корсаков замечен «вольнодумством» в происшествии Семеновского полка.

Аракчеев, которого любили выставлять каким то злым гением второй половины царствования Александра, был лишь верным исполнителем велений своего шефа. Аракчееву приписывали инициативу и военных поселений, но несомненно, что творцом этого неудачного детища александровского царствования, вызывавшего наибольшую ненависть и оппозицию в обществе и народе, был сам император. Мы знаем также, что многие из знаменитых аракчеевских приказов правились самим Александром, некоторые из черновиков написаны его рукою (свидетельство П. А. Клейнмихеля). Таким образом Александр сознательно скрывался за Аракчеева, как бы возлагая на него всю ответственность перед обществом за ход государственной жизни и тем самым перекладывая на «злодея»-временщика свою непопулярность. Это, как мы видели, отметил еще де-Местр. На это жаловался подчас сам Аракчеев, напр. в 1812 г., когда он был назначен быть в армии «без дела, без пользы, а только пугалом мирским». А популярность Александра с каждым годом падала. Росла оппозиция—оппозиция не консервативно-дворянского характера, а прогрессивная. В этом отношении Александр не учел той роли, которую могли иметь заграничные походы, так называемая освободительная война. Ответом на оппозицию была реакция; в ответ на реакцию усиливалось оппозиционное настроение с революционным оттенком. Это типичное историческое явление не миновало России. Отсюда понятны и раздражение и скептицизм Александра.

В Западной Европе «мирно-религиозная» идиллия Священного Союза с ее заветами христианской морали приводила к тем же результатам—к воплощению в жизни Меттерниховской «системы». Но там для Александра была привлекательна лишь авторитетная роль, которую он играл на конгрессах, как освободитель Европы, как самый могущественный европейский государь, как самый надежный оплот престолов и монархических принципов. Ему льстило внимание, которое ему уделяли монархи и избранные члены европейского общества. Там его самодержавной власти непосредственно не угрожали никакие потрясения, там он был в стороне от той неурядицы, от того хаоса, который охватывает Россию в последние годы царствования Александра. Там все для него облекается в радостный «вид», и он не видит «только разорение», не слышит только одни «жалобы». Для Михайловского-Данилевского было «непостижимо», почему Александр «не посетил ни одного классического места войны 1812 . . ., хотя из Вены ездил на Ваграмские поля . . ., а из Брюсселя—в Ватерлоо». Но на самом деле это для Александра психологически совершенно естественно. Отечественная война выставлялась как народная и таким образом фигура Александра тем самым заслонялась. В эпоху наполеоновского нашествия не Александр играл первую роль. Не то было в походах 1813—14 гг. Отсюде и вытекал тот преимущественный интерес, который удивлял современника мемуариста. В России, рассказывает Михайловский-Данилевский, Александр «редко во время путешествия входил в разговоры о нуждах жителей», за границей он охотно «посещал дома поселян». За границей Александр иногда не прочь надеть и либеральную тогу, которая ни к чему не обязывала. Меттерних в

общественном мнении выставлял Александра истинным вдохновителем реакции, и Александр, как бы в ответ, на Ахенском конгрессе в 1818 г. выскажет мудрую мысль, что правительства, став во главе общественного движения, должны проводить либеральные идеи в жизнь. Добрый «угодник Запада» вовсе не хотел слыть в Европе за реакционера. Он чрезвычайно интересовался, по словам Греча, что говорят о нем в салоне Сталь, как отзывается о нем Шатобриан и др.

Он сумеет сделать свой обычный красивый жест в Париже в 1814 г. при виде знаменитого польского патриота Косцюшко: «Дорогу, дорогу, вот великий человек».

Личная переписка Александра с Аракчеевым дает обильный материал для характеристики мелочной политической подозрительности благословенного монарха. Он пишет, напр., Аракчееву 4 марта 1824 г.: прикажи «обратить бдительное внимание на приезжающих из Петербуга в ваш край». Оказывается, что также бдительно за всем, что «относится до наших военных поселений» смотрит сам Александр: «глаза мои ныне прилежно просматривают записи о проезжающих». Он усмотрел, что в Руссу проехал ген.-м. Воронов и некоторые другие. В числе их некий полк. Аклечеев, замеченный между «либералистами» во время происшествий Семеновских. Это и послужило поводом напомнить Аракчееву о необходимости бдить. «Может быть—добавляет Александр—они поехали и по своим делам, но в нынешнем веке осторожность не бесполезна», ибо—добавляет Александр через несколько дней по поводу допроса одного арестованного крестьянина—«петербургская работа кроется около наших поселений», но «на настоящий след мы еще не попали».

Александр не ошибался, что деятели тайных обществ рассчитывали на неудовольствие военных поселян. Но напрасно думать, что именно в последние годы началась бдительность Александра, когда Аракчеев становится единственным реальным советчиком царя, уже один Аракчеев удостаивается приглашения обедать вдвоем с Александром. И в эти годы дело было не во влиянии каждодневного Аракчеева. Из Троппау Александр предписывает Васильчикову усилить «бдительное наблюдение за подозрительными лицами». Хотя он и писал тут же, что «Dieu fera le reste», однако, Бога в действительности заменяла полицейская палка. До Семеновской истории, узнав о каком то случае в театре, показавшемся императору неблагонадежным, последний предписывает Аракчееву из Ахена (24 октября 1818 г.), наблюдать за актерами и «при первой дерзости» с их стороны арестовать и посадить в смирительный дом; «я предпочитаю иметь дурной спектакль, нежели хороший, но составленный из наглецов. В России они терпимы не должны быть».

Таким образом русский император был не только своим собственным министром, но и своим собственным полицеймейстером. Пожалуй, подчас и своим собственным цензором задолго до той поры, как усталый удалился яко бы от дел, предоставив управление своему доверенному временщику. Так было еще в 1812 г., когда суровая цензура, исключавшая все неблагоприятное для русской армии, руководилась непосредственно Александром. На Аракчеева долгое время возводился незаслуженный поклеп, что он, руководя военной цензурой, скрывал правду от своего шефа. Так было яко бы,

напр., с донесением Кутузова о Бородинской битве, что и дало повод Александру писать своей сестре Екатерине Павловне, с которой находился в интимной, откровенной переписке, о победе. Теперь однако доказано, что все поправки, все пропуски в официальной реляции сделаны непосредственно рукою Александра. Как однако это показательно для искренности Александра, обманывавшего свою сестру даже в личной, интимной переписке!

Он внимательно будет выслушивать мечтательные планы энтузиаста Овэна, признавать всю их важность, будет соглашаться с квакерами, что царство Христа есть царство справедливости и мира, что союзные государи должны руководиться правилами христианской морали, «если кто тебя ударит по щеке, подставь ему другую», быть отцами своих подданных, будет говорить против рабства, возмущаться в парижских салонах торговлей неграми, а когда речь зайдет о крепостном праве в России, скажет: «с Божьей помощью оно прекратится еще в мое управление».

Иногда в России он намекнет на возможность установления «законосвободных учреждений». Он будет в 1811 г. говорить Армфельду, что конституционные порядки в Финляндии ему гораздо более по душе, чем самовластие — и такое убеждение не помешало ему не собирать финляндского сейма. Он то же скажет и при открытии польского сейма в 1818 г. Тогда же Новосильцев, по его поручению, будет составлять свою «уставную грамоту». Любовь к «конституционным учреждениям» будет фигурировать в беседе с Лафероне даже еще на конгрессе в Тропау, а в 1825 г. с Карамзиным, этим «республиканцем в душе». Лафероне он будет утверждать даже, что дал бы России конституцию, если бы не надо было «сдерживать революцию». Он будет утверждать, что жил и умрет республиканцем,—и особенно будет это делать в дамском обществе, что наименее обязывает. «Я не признаю на земле справедливой власти, которая бы не от закона истекла»—будто говорит он кн. М. Г. Голицыной. «Государь! Вы все можете сделать» скажет ему некая помещица в Перми в 1824 г. «Не могу—ответил государь—законы не дозволяют».

— Законы во власти царя.

— Нет, сударыня, законы выше царей.

Диалог записан в воспоминаниях Свиязева.

Каждому преподносится при случае кушанье в его вкусе. Конституционалистам он будет говорить в 1817 г., что «государь должен оставаться на своем месте лишь до тех пор, пока его физические силы будут ему позволять это; после этого он должен удалиться. Людям типа А. Ф. Орлова, будущего шефа жандармов при Николае I, он скажет иное по поводу восстания в Неаполе, результатом которого является конституция; в его присутствии он будет удивляться, как может неограниченный государь по собственному добровольному почину давать конституцию, связывающую его свободу воли.

Таким образом все эти либеральные фразы были одной из тех многочисленных поз, которые, в конце концов, повергали в полное недоумение современников: что же, Александр говорит «от души или с умыслом дурачит свет?» Это одна из черт того арлекинства, которое отметил Пушкин. В устах самодержавного монарха республиканские идеи были красивы и эстетичны. Напоминания о них в период

реакционных вакханалий мистицизма и аракчеевской военщины будили надежды, привлекали сердца прогрессивных слоев общества, мечтавших о реформе. «Возложите надежды на будущее», говорил Александр Парроту при посещении Дерпта, когда гуманный профессор говорил о необходимости великодушных преобразований, о необходимости призвать к общественной жизни «несчастный народ, пользующийся только призрачным существованием». «Я думаю об этом, я работаю над этим и надеюсь осуществить это дело» — отвечал Александр. Александр занимался либерализмом, как «игрушкой детства», по замечанию Чарторижского.

Можно было бы поверить искренности Александра, если противоречия между «мудрым словом» и «поступками», чему так удивлялся Паррот, не проходили бы красной нитью через все дни жизни этого «благожелательного неудачника на троне»; если бы эти противоречия не касались бы тех областей, где элементарная справедливость должна была бы поднять свой голос. Неужели можно поверить наивности, проявленной Александром в 1820 г., когда в Государственном Совете шли прения о непродаже крестьян без земли и когда Александр высказал убеждение, что «в его государстве уже двадцать лет не продают людей порознь». Эта наивность удивила даже Кочубея. Высказанное императором убеждение не помешало, однако, Государственному Совету отвергнуть внесенный законопроект. Благожелательность Александра, таким образом, разбилась о дворянскую косность. Но не слишком ли большую роль придают этой дворянской оппозиции? Александр был всегда противник рабства на словах, «всем сердцем желал уничтожить в России крепостное право». «Император неоднократно выражал желание отменить крепостное право — писал Ольри — но это желание подавлялось тотчас, как возникало, ибо не к этому стремится дворянская партия.» Штарк показывал французу Дюмону в 1803 г. личное письмо Александра своему дяде герц. Вюртембергскому с отказом дарить поселенные имения. Но дело в том, что в вопросе о крепостном праве дальше обычных словесных желаний дело не шло у Александра. Он освободил бы крестьян ценою собственной жизни, «если образованность была бы более высокой степени». Так говорил Александр Савари в 1807 г. Итак, опять независящие обстоятельства, которые Александр не сумел преодолеть.

Нерешительность Александра в молодые годы была вызвана в значительной степени другими причинами: в намерении Александра освободить господских крестьян, по мнению Тучкова, «скрывалась цель большего еще утверждения деспотизма». Т. е. в крестьянстве он думал найти оплот против олигархических стремлений дворянства, но другая сторона его останавливала: это «боязнь снять узду», как говорит Завалишин. Отсюда вытекала нерешительность.

Позднее опасения перед дворянством улеглись. И для Александра в вопросе о рабстве важна лишь внешность. «Патриархальность» крепостного права всецело оправдывала существование рабства: как государь—«отец» народа, согласно идеям Священного Союза, так и помещик—отец крепостной семьи. Русский крестьянин благоденствует под игом крепостного ярма. И можно ли было говорить о «варварских обычаях» в стране, руководимой просвещенным монархом! Александр поэтому вполне удовлетворился тем, что сделанный им намек «о варварском обычае» продавать людей «понят», как

писал Стон Пристлею: «об'явлений о работоторговле ныне нет, ибо никто не желает быть причисленным к потомкам варваров». И Александр мог убежденно говорить в 1820 г., что продажи не существует. Александру много раз указывали на ужасное положение крестьян: «вникните в гибельные последствия рабства владельческого и казенного—писал ему надворный советник Извольский в 1817 г.—ваше сердце обольется кровью». Он от «искреннего сердца», как говорит Фонвизин, хотел улучшить положение. Так, по поводу положения Комитета Министров 1819 г., запрещавшего принимать жалобы от крестьян помимо местного начальства, Александр писал: «известно мне, что были случаи, где крестьяне, жалующиеся на помещиков, взамен удовлетворения, были еще наказаны». И вот предписывалось не возбранять подавать жалобы и прошения. Жалобы на первых порах посыпались, как из рога изобилия: по свидетельству Михайловского-Данилевского, при путешествии Александра близ Байдар на пространстве 32 верст было подано 700 прошений. Как, однако, реагировал сам Александр на подаваемые ему прошения? Тот же современник рисует бесподобную картину: Александр гуляет, «взгляд его выражает кротость и милосердие». А между тем он только что велел «посадить под караул двух крестьян, которых единственная вина состояла в том, что они подали ему прошение» . . . «Чем более я рассматриваю сего необыкновенного мужа, тем более теряюсь в заключении», добавляет рассказчик. Не то же ли было с военными поселениями, т. е. с рабством гораздо более ужасным, чем крепостное право? Мы уже приводили знаменитый ответ Александра по поводу указания на вред поселений. Он знал ужасное положение поселений, где процент смертности дошел до необычайных пределов. Бунты постоянно свидетельствовали об ужасе, к которому приводило «великодушное» побуждение облагодетельствовать крестьянский мир, умолявший о защите «крещеного народа» от Аракчеева. Несколько сот поселенцев в 1817 г. останавливают Николая Павловича и на коленях просят их пощадить: «Прибавь нам подать, требуй из каждого дома по сыну на службу, отбери у нас все . . ., но не делай всех нас солдатами». Аналогичный случай происходит и с Марией Феодоровной. Александр все это знал. Но военные поселения—его затея, долженствовавшая обеспечить России постоянную сильную армию, а вместе с тем—авторитетное положение в Европе; при помощи этой армии — доносит французский посланник гр. Ноаль 28 сентября 1816 г.—Александр «хочет продолжать играть роль защитника Европы».

Такова была оборотная сторона всех великих государственных начинаний первой четверти XIX века.

Напрасно видят какое-то исключение в деятельности Александра в Польше, видят в этой деятельности после 1812 г. отблески либерального начала царствования.[1] «Александр, розочарованный в России, во вторую половину царствования жил умом и сердцем по ту сторону Вислы». Так казалось отчасти современникам, оскорблявшимся предпочтением, которое оказывал Александр Польше перед Россией. Для Александра Польша («азиатская нация Европы» по выражению Дюмурье) все-таки часть той Европы, ко-

---

[1]) Так смотрит и последний биограф Александра вел. кн. Ник. Мих.

торая всегда занимала первенствующее место в его помыслах[1]. Положение России и Польши, конечно, было различно. Но это различие об'ясняется всем предшествующим положением вещей, а не высокими либеральными идеями Александра. То, что говорил про Россию Жозеф де-Местр, можно по преимуществу отнести именно к Польше. Здесь Александр рассчитывал соединить неумолимый деспотизм с фиктивным конституционализмом, с тем самым, какой воздвиг Наполеон на развалинах французской республики. Александр «бонапартничал» в Польше, по выражению Вяземского, т. е. «мазал по губам». И «carte blanche», которую дает Александр Константину, как наместнику Польши, служит, пожалуй, лучшим подтверждением правильности этой оценки. Недаром и Новосильцева, реального проводника политики Александра в Польше, последний ценил именно потому, что нашел в нем человека, умевшего дать русскую форму его европейским стремлениям (слова Чарторижского).

В самом деле Александр заигрывал с Польшей при Чарторижском, говорил многообещающие слова, впрочем в те редкие моменты, когда видел Чарторижского обескураженным, но как всегда был очень уклончив в определенных обещаниях в ответ на запросы Чарторижского. В готовящейся борьбе с Наполеоном ему важно было привлечь Польшу на свою сторону. Весы Наполеон однако перетянул; поэтому особенной любви к полякам по природным свойствам своего характера Александр не мог чувствовать. «Государь— заметил Михайловский-Данилевский—с поляками обращается ласковее, нежели с русскими, что происходит не от душевного к ним расположения, а от политических видов». Во время Венского конгресса Александр «по очереди» очаровывал являвшихся к нему поляков, но никому не раскрывал своих карт. Планы Александра, которые он лелеял, по мнению Сореля, еще со времен Мемельского свидания—об'единить всю Польшу под властью России, или воссоединить польское королевство под скипетром Александра—осуществились не целиком. Но тем не менее после конгресса русский самодержец надел тогу польского конституционного короля. Польская конституция 1815 г. явилась таким образом до известной степени компромиссом западноевропейской дипломатии. Если эта конституция и была «аномалией», возможной только в незрелой голове Александра, по замечанию Константина Павловича, то исключительно потому, что Александр был очень плохим конституционалистом. «Здесь всякий день наносят важные оскорбления конституции . . .» — писал Вяземский в 1819 г. Кровь «вчуже так и клокочет». Сперва антиконституционные меры в Польше об'яснялись тем, что необходимо, чтобы поляки «забыли революционный дух, которого они набрались» (Донесение Вилльмодена 1816 г.); затем явилось опасение в силу «революционного движения во Франции» (Лебцельтерн 1819 г.). Но как бы то ни было, малейшая оппозиция раздражала конституционного

---

[1]) Даже и внешние впечатления от России и Польши у Александра были различны. От Петербурга до Волыни во время своей поездки в Варшаву в 1818 г. Александр находил лишь „разорение и жалобы“, а по в'езде в пределы Польши „все облекалось в радостный вид“. Если в Москве ему представилось 42 дворянина, в Житомире он видел 200. Это, по свидетельству Михайловского - Данилевского, тешило самодержца.

монарха;[1]) раздражала совершенно так же, как раздражало и противодействие в России. «Конституционные сени в деспотических казармах — чрезвычайно метко заметил кн. Вяземский в 1819 г.—уродство в искусстве зодческом, и поляки это очень чувствуют». Вяземский предсказывал, что «самовластный император задушит царя конституционного». В переписке с А. Тургеневым из Варшавы Вяземский в 1819 г. систематически возвращается к полякам: «У нас в нашем либеральном царстве Бог знает что делается», или «Эти правители такие олухи, что я им не дал бы конюшнею управлять. Они не только людей, да и лошадей взбесить бы в состоянии»... «Вечно сидеть на иглах невозможно» — добавляет пророчески Вяземский.

У Польши получалась только «иллюзия независимости» (Лаферонэ 1820), иллюзия, которая сохранялась только во имя западно-европейского мнения. Сторонникам польской конституции, как напр. Капо д'Истри, приходилось играть на самолюбии Александра и указывать в противовес Новосильцеву, что уничтожение польской конституции плохо отзовется в общественном мнении Западной Европы: «Что же мы скажем в Троппау? Как провозглашать либеральные идеи после такого скандала»[2]).

Вяземский верно заметил: «не быть им (полякам) свободными, пока мы будем в цепях». Но для России Александр никогда и не думал отказываться от своего самовластия. И как характерно, что Александр, получив две записки Бентама (1814—1815 гг.), в первой из которых говорилось о Польше, а во второй о пересмотре русского законодательства, любезно ответил на первую и решительно промолчал на вторую. Понятно, почему Александр по словам Штейнгеля, негодовал на министра внутренних дел Козодавлева, разрешившего напечатать в «Северной Почте» речь императора при открытии польского сейма: «Все хотят вмешиваться в политические дела»—заметил Александр. Министр не угодил политике императора. «Варшавские речи», по свидетельству Карамзина, «сильно отозвались в молодых сердцах; спят и видят конституцию». Такой отзвук в России был вовсе не в видах Александра, ибо он склонен был играть в конституцию в Польше только до тех пор, пока игра не затрагивала его самодержавных прав в России.

Постепенно практика Священного Союза в связи с ростом революционного настроения в обществе стала изгонять либеральные идеи и из европейской политики Александра. После Семеновской истории—свидетельствует один из самых тонких наблюдателей той эпохи декабрист Якушкин—Александр совершенно поступил под влияние Меттерниха ... Тут прекратилось в нем раздвоение: и в Европе, и в России политические его воззрения были одни и те же.

После всего сказанного едва ли должно оставаться сомнение в том, что не одурманивание русского императора тонким австрийским дипломатом гр. Меттернихом играло роль в определении реакционной линии поведения Александра I. В дипломатической ловкости последний еще мог поспорить с руководителем австрийской политики. На Венском конгрессе противник Меттерниха многим казался только «простой куклой в руках французского

[1]) См. Семевского „Политические и социальные идеи декабристов".
[2]) Новосильцев советовал Александру в ответ на протесты первого польского сейма уничтожить конституцию.

сената» («la poupée de sénat»—герцог Веймарский) или другими словами в руках Шатобриана. В действительности было по иному. Резкая вражда Александра к Меттерниху во время конгресса, доходившая до того, что Александр, любивший всякого рода позы, послал даже вызов на дуэль австрийскому министру, об'ясняется как раз той настойчивой линией, которую гнул Александр. Третий искуснейший дипломат Венского конгресса — Талейран, обошедший в своей закулисной игре и Александра и Меттерниха, сумел об'единить в противодействии России Австрию, Францию и Англию[1]). Международное положение стало вновь крайне острым. И трудно сказать, как бы оно разрешилось при упрямстве Александра, при его высокой оценке своей европейской роли, если бы запутанное положение не распутал Наполеон, покинув Эльбу. В предвидении возможного будущего дипломатические враги вновь об'единились. Сговор совершился. Если с годами враждебность к Меттерниху сменилась дружелюбием, то это надо об'яснить не тем, что Александр подпал под влияние Меттерниха. Их цели и задачи теперь совпадали, хотя «наиболее скептический человек в Европе», как называл себя Меттерних в письмах к Лебцельтерну, никогда не мог в сущности понять библиомании русского императора. Но раз все пути шли в Рим, между ними должно было установиться полное согласие. Если еще в 1819 г. Александр, весьма в сущности склонный подавить опасные революционные тенденции в Германии (Лебцельтерн), внешне противился и говорил либеральные фразы, то очень скоро, именно после Семеновской истории, которую он рассматривал, как начало революционного проявления в России, он займет совершенно иную позицию на конгрессе в Троппау. Отсюда Александр пишет Аракчееву: «Никто на свете меня не убедит, что сие происшествие было вымышлено солдатами. Тут внушение чужое, но не военное.... Признаюсь, что я его приписываю тайным обществам...» Да «сия их работа есть пробная», вторит в ответ Аракчеев. С этой поры Александр уже идет впереди Меттерниха по стезе реакции. Меттерниху приходится подумывать о том, чтобы воспрепятствовать Священному Союзу «перейти за границы справедливости и блага, ибо зло начинается там, где кончается благо». «Если когда-нибудь кто делался из черного белым», так это именно Александр. «Да—писал Меттерних Лебцельтерну после смерти Александра—если бы бедный Александр не наделал грехов в своей юности; если бы в зрелом возрасте ему не «не хватало чего-то», как говорил Наполеон, где был бы теперешний либерализм!...» Конечно, нельзя отрицать к этому времени определенной пресыщенности жизнью у Александра. Можно поверить, что он устал, как то не раз говорил он Лебцельтерну: напр., 7 Ав. 1816 — «я ненавижу войну, видел ее слишком много». В жизни Александру действительно пришлось испытать достаточно.

Утомленный славой, он готов был передать руководство европейской политикой Меттерниху. Слава Меттерниха не могла быть к тому же конкуренцией для Александра. Скорее Меттерних в Европе охранял популярность Александра, как это делал Аракчеев в России. Да и русские дела заставляли Александра быть более пристальным в своей внутренней политике. Не

[1]) Любопытен отзыв об Александре Талейрана: для него Александр простак (niais)—„гибкость ума не соответсвует благородству характера“.

для того, чтобы устранить возрастающее неудовольствие, (как свидетельствовал еще в 1815 г. А. Тургенев в письме к Вяземскому), тем, что он пренебрегает государством, интересуясь Зап. Европой[1]); не для того, чтобы заняться внутренними преобразованиями, как он говорил Державину, жалуясь на отсутствие людей: «Мне Бог помог устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние»[2]). Нет. Надо было подтянуть возжи у себя. И если здесь иногда казалось, что Александр стушевывается перед аракчеевщиной или бездействует в борьбе с революцией, то это проистекало не от того, что Александра мучила мысль, что ему придется наказывать людей, стремления которых он разделял в молодости (так будто бы утверждала императрица Елизавета Алексеевна в разговоре с кн. С. Г. Волконским). Здесь просто была попытка играть двойную роль, об'ясняемую тем личным страхом, который испытывал Александр перед революцией в России.[3])

Характер и деятельность Александра I таким образом вовсе не представляет из себя какой-то исторической загадки. Таких людей, как Александр, история знает много. Не таков ли и современник Александра Каразин, который также долгое время был среди непонятных и загадочных личностей. Энтузиаст, либерал, крепостник и реакционер, Каразин вызывал много споров. Но Войеков уж дал ему в «Доме сумасшедших» эпитет «Хамелеона». Злая сатира Войекова не принадлежит к числу об'ективных исторических источников, и, однако, теперь уже, пожалуй, мало найдется таких исследователей, которые не вынуждены будут согласиться с наблюдательным современником. Факты уничтожили романтический облик русского «маркиза Позы». Факты снимают ореол загадочности и драматичности и с императора Александра I. Он был простой игрок в жизни. Но играть в жизни, быть может, труднее, чем на сцене. Отсюда все те противоречия, вся та непоследовательность, которые можно отметить в отдельные моменты деятельности Александра. Натура должна была проявляться в отдельных случаях, несмотря на уменье маскироваться. «У него постоянно чего-то недостает»—заметил Наполеон Меттерниху про Александра. Недоставало элементарной прямоты и искренности. Современники, в конце концов, поняли прекрасно эту загадочную личность.

Английские и американские друзья Александра, обольщенные отзывами Лагарпа и письмами Александра, признавали в 1802 г. «появление такого человека на троне» феноменальным явлением, которое создаст целую «эпоху». «Однако,—должен был отметить Джефферсон в письме к Пристлею 29 ноября 1802 г., — Александр имеет перед собою геркулесовскую задачу — обеспечить свободу тем, которые неспособны сами позаботиться о себе». Но первые годы уже несли с собой противоречие. И эти друзья должны утешаться тем, что для Александра было нецелесообразным возбуждать опасения среди привилегированных сословий, пытаясь создать сейчас что-либо в роде представительного правления; быть может, даже нецелесообразным было бы обна-

---

1) Путешествия Александра на конгрессы возбуждают насмешки в гвардии — доносил Буальконт.

2) То же самое он не раз говорил и Лебцельтерну: „я должен теперь заняться интересами подданных".

3) См. ниже „Правительство и Общество после войны".

ружить желание полного освобождения крестьян». Проходят годы, и прежняя «нецелесообразность» остается все в том же положении... Через шестнадцать лет (12 декабря 1818 г.) Джефферсон должен уже выразить сомнение: «я опасаюсь, что наш прежний любимец Александр уклонился от истинной веры. Его участье в мнимо-священном союзе, антинациональные принципы, высказанные им отдельно, его положение во главе союза, стремящегося приковать человечество на вечные времена к угнетеньям, свойственным самым варварским эпохам — все это кладет тень на его характер». Эта «тень» все отчетливее выступает в сознании современников. Недаром агенты Меттерниха, подслушивавшие и доносившие своему шефу все общественные пересуды во время Венского конгресса, единогласно свидетельствуют о перемене во взгляде на русского императора. Александр с каждым днем теряет в общественном мнении. Талант императора «на любезные слова», отмечаемый Вельмоденом, уже не привлекает[1]), его «фразы» не захватывают слушателей. Недавнего кумира «не только не любят, но презирают и ненавидят». Полицейские рапорты, изображающие закулисные мнения политических кругов на Венском конгрессе, дают таким образом несколько иную характеристику роли Александра в Европе, чем письма и воспоминания многих из русских современников. Напр. гр. Д. Х. Ливен, возлюбленная Меттерниха и в то же время большая поклонница Александра, так характеризует в письме к брату своему, будущему николаевскому шефу жандармов, положение Александра на конгрессе: «Европа счастлива тем, что ее судьба находится в руках Александра. Император великолепен—я могу засвидетельствовать, что все восхищены им. Его слава вполне упрочена». Каково было это восхищение в действительности показывают отзывы политических агентов.

Александр «фальшив»—утверждает по рапортам общественное мнение; у него нет «морали в практических вопросах». Он «лишен нравственных основ, хотя говорит о религии, как святой, и соблюдает всю обрядовую внешность». Для него все, кончая филантропией, вытекает из неограниченного честолюбия. Ему кажется, что «весь мир создан только для него». Он «пустозвон» (Schall und Rauch), как характеризует Александра гр. де Линь. Александр «постепенно сбрасывает маску»—таково заключение, которое можно вынести из общественного говора[2]). Многие из тех, кто относился с большим преклонением к Александру, начинают изменять свою точку зрения: Александр «фальшив и коварен». Гарденберг жалуется в письме к Гнейзенау на «властолюбие и коварство под личиной человеколюбия и благород-

---

[1]) Популярна песенка: „Le roi de Danem: trinkt für alle, L' empereur de Russie: liebt für alle.

[2]) Эти отрицательные отзывы политиков Венского конгресса, конечно, об'ясняются тем, что освободитель Европы не так уже оказался податлив меттерниховской интриге. Его собственная политика в данном случае столкнулась с интересами других. До Венского конгресса Александр был для Европы как бы в перспективе. Он был нужен — и нет недостатка в дифирамбистах. С падением Наполеона он уже становится опасным. Страсти разыгрались именно на польском вопросе. И в закулисных беседах определенно говорилось, что, если Россия получит Польшу, Александр „будет опаснее Наполеона". И как прежде не хватало дифирамбистов, так теперь пытаются отметить отрицательные стороны. Но, отмечая их, как видим, попадают не в бровь, а в глаз.

ных, либеральных намерений». На устах Александр носит «любовь и человечество, а в сердце ложь» — говорит архиепископ Игнатий. Еще более резок отзыв английского посла: «честолюбивый, злословящий дурак».

Как очевидно, освободитель Европы очень скоро потерял свою мировую популярность. До некоторой степени прав упомянутый историк Венского конгресса, заключающий, что «воображаемое всемогущество» в Европе Александра выражается «во всевозможных обещаниях и словах, даваемых направо и налево». И когда эти обещания не выполняются, Александр по глубоко вкоренившейся в нем подозрительности, приписывает все личным интригам.

Всемирная слава должна была разочаровать Александра, ведь в сущности он и здесь не преуспел.

Тайная венская полиция предсказывает и последующую судьбу прежнего любимца, баловня Европы: «Он кончит, как отец» — это мнение лиц, хорошо изучивших русского императора. То, что становится известным о нем в Европе, знают гораздо лучше в России.

Конечно, для русских современников «тень» характера Александра вырисовывалась еще рельефнее. Пушкин вспоминает впоследствии (1836 г.), как «прекрасен» был Александр, когда «из пленного Парижа к нам примчался»: «народов друг, спаситель их свободы».

«Вселенная, пади пред ним: он твой спаситель! Россия, им гордись: он сын твой, он твой царь!» так передал свое впечатление о московском пребывании Александра в 1814 г. кн. П. А. Вяземский.

Но куда же исчез энтузиазм через несколько лет? «Варшавские речи» (1818), по свидетельству Карамзина, «сильно отозвались в молодых сердцах: спят и видят конституцию»; не у всех, однако, нашли они такой отзвук. Уже немногие, пожалуй, как декабрист М. А. Фонвизин, продолжали верить в «искренность свободолюбивых намерений и желаний» императора Александра. Становилось ясно, что Александр в Европе «покровитель и почти корифей либералов, в России был не только жестоким, но что хуже этого бессмысленным деспотом» (Якушкин).

«Пора уснуть бы, наконец, послушавши, как царь-отец рассказывает сказки» — вот вывод, сделанный Пушкиным в его «сказках». «Владыка слабый и лукавый . . . плешивый щеголь, враг труда. Нечаянно пригретый славой» — вот другой отзыв Пушкина в известном шифрованном стихотворении. «Тот, которым восхищалась Европа, и который был для России некогда надеждою — как он переменился» — пишет Сергей Тургенев 26 июня 1819 г. «Не было очевиднее факта, до какой степени государь потерял в последнее время уважение и расположение народа» (Завалишин). «Сомнение, что он ищет больше своей личной славы, нежели блага подданных, уже вкралось в сердца членов общества» — добавляет другой декабрист Трубецкой в 1818 г.

Декабристы ярче других оттенили изменение взглядов на Александра: «Император Александр много нанес нам бедствия и он собственно причина восстания 14 декабря» — заявлял Каховский в письме к Николаю.

И даже старый воспитатель Александра, Лагарп, учивший своего воспитанника мудрости править, и тот должен был не без разочарования признаться в 1824 г.: «Я обольщался надеждой, что воспитал Марка Аврелия для пяти-

десятимиллионного населения... я имел, правда,.. минутную радость высокого достоинства, но она исчезла безвозвратно, и бездонная пропасть поглотила плоды моих трудов со всеми моими надеждами».

В этом Лагарп был сам виноват, но за «минутную радость» вознесет ли потомство Александра на высокий пьедестал?

Может быть, в истории действительно есть закон, о котором говорил ген. Ермолов: кто раз прикоснется устами к чаше власти, тот не оторвется уже от нее, если не отнимут у него ее насильно. Может быть в исторической перспективе многое должно быть об'яснено влиянием того рока, которого не мог избегнуть Александр. Но от такого об'яснения все же мало выиграет сама личность императора, вошедшего в историю с титулом «Благословенного».

Александр останется, конечно, в истории фигурой по истине примечательной, ибо такого артиста в жизни редко рождает мир, не только среди венценосцев, но и простых смертных.

НОВАЯ РАБОТА ОБ АЛЕКСАНДРЕ I [1]

(По поводу исследования в. кн. Ник. Михайл. „Имп. Александр I")

Нашумевшее за последнее время новое исследование великого князя Николая Михайловича «Император Александр I» едва только появилось, как сделалось почти библиографической редкостью. Успех необычайный для работы, носящей специальный характер: надо иметь в виду, что ¾ книги посвящены документальным приложениям (на французском языке), охватывающим в значительной своей части дипломатическую переписку и не могущим поэтому представить интереса для широких кругов читателей. Можно было бы радоваться тому фавору, который имеет русская история на книжном рынке, если бы этот поистине головокружительный успех книги не создался до некоторой степени искусственно. Встреченная с энтузиазмом некоторыми органами печати, как исследование, открывающее широкие исторические перспективы, новая работа об Александре I сразу обратила на себя внимание букинистов, скупивших выпущенное в ограниченном количестве издание и повысивших продажную его цену с 15 руб. на 40.[2]) К сожалению, автор не повторяет прекрасных с внешней стороны изданий своих работ, имеющих всегда первостепенное значение по материалам, включенным в них; поэтому все его труды, наиболее интересные для читателей, как, напр., работа, посвященная Елизавете Алексеевне, быстро становятся библиографическими редкостями (последняя книга на рынке ходит уже по 100 р.). Та же судьба постигла и новое исследование автора.

Ознакомление с этой книгой до сих пор носило почти всегда или формальный характер (изложения точки зрения автора или тех материалов, которые включены в его исследование) или характер неудержимого дифирамба без всякой попытки дать ее критическую оценку (некоторые беглые критические замечания были сделаны лишь А. А. Кизеветтером в статье, напечатанной в № 213 «Русских Ведомостей»). Однако всякая серьезная историческая работа, к каковым, несомненно, относится ценное во многих отношениях исследование в. к. Николая Михайловича, заслуживает и серьезного к себе отношения, т. е. указания и положительных и отрицательных сторон. И те и другие имеются в указанной работе.

---

[1]) Статья воспроизводится в том виде, как она была напечатана в „Голосе Минувшего" 1913 г. № I.

[2]) Содействовали успеху и упорно державшиеся, напр., в Москве слухи, что книга подверглась негласному запрету, хотя, как увидим ниже, основания для этого, конечно, никакого нет. При современных условиях печати, однако, такие слухи всегда содействуют большему распространению.

Все исторические труды автора обладают одной большой ценностью. Имея доступ к архивным хранилищам, закрытым другим историкам, автор нередко опубликовывает драгоценнейшие материалы и тем самым делает огромный вклад в русскую историческую науку. С этой точки зрения каждый из его трудов всегда бывает действительно почти научным открытием. И новое исследование богато новыми материалами, как это уже много раз было указано в появившихся отзывах. Среди многообразных документов следует выделить особо те материалы, которые характеризуют нам личность Александра I. Это, пожалуй, и наиболее важное, что дается в исследовании в. к. Николая Михайловича. В нем отчетливо прежде всего выступает роль молодого Александра в дворцовом перевороте 1801 г. В приложениях автор напечатал интересную переписку кн. А. Н. Голицына и Р. А. Кошелева с Александром в период так называемого мистицизма, которая многое дает для обрисовки характера Александра I, для понимания его личности, и для об'яснения его политики в эпоху Священного Союза. Много заслуживающего внимания найдем мы в других материалах, опубликованных в приложениях. Однако опубликование некоторых документов способно вызвать и некоторое недоумение. Напр., в первом томе публикуются «Записки Александра I к Лагарпу во время пребывания последнего в Петербурге в 1801—1802 гг.». Бесспорно, материал интересный, но дело в том, что все эти письма давно уже опубликованы и хорошо известны занимающимся данной эпохой. Они напечатаны еще в 1870 г. в V т. «Сборника Русского Исторического Общества», много раз цитировались и цитируются в общих исторических работах. В указанном сборнике эти письма напечатаны полнее, с прибавлением и более ранних и более поздних (напечатаны они к тому же и на французском и на русском языке.) Непонятно, для чего следовало вновь перепечатывать лишь часть этих писем? Во всяком случае, для избежания недоразумений надлежало бы оговорить то, что письма эти не новые.

Такое же недоумение вызывает, напр., и напечатание материалов по истории волнений в 1820 г. в Семеновском полку. Здесь перепечатывается (с ссылкой на «Русский Архив», 1875 г., № 6) донесение кн. И. В. Васильчикова императору о происшедших волнениях. Почему автор считает необходимым перепечатать только это донесение? Можно подумать потому, что дальше следуют собственноручные «секретные замечания» Александра, но и они напечатаны в том же номере журнала. Понятна была бы перепечатка этих документов, если бы автор хотел собрать все официальные материалы о волнениях 1820 г., но этого нет. К указанным документам прибавлен лишь один, представляющий копию письма императора к гр. М. А. Милорадовичу. Эта копия была уже напечатана в «Русском Архиве» (1897 г. кн. II). Далее автор печатает по рукописи из бумаг гр. Закревского (приложение XI, к II т.) «Собственноручные рескрипты государя императора Александра I к графу Аракчееву с 1796 г по 1822 г.». Эти рескрипты были изданы некогда самим Аракчеевым и автор, перепечатывая их, сверил рукописный материал с печатным изданием. Многие из этих писем, частью перепечатанных уже в исторических журналах и частью в общих исторических трудах (Шильдер, Богданович), не являются большой новинкой. Ценность этой перепечатки может заключаться, конечно, в том, что здесь они собраны в одном месте. Однако все же это не исчерпывающее собрание, как может показаться на первый

взгляд: нет, напр., письма из Варшавы 2 марта 1818 г., нет письма 18 октября 1809 г. (напечатаны в «Русской Старине», 1870 г., т. I).

За письмами Александра к Аракчееву идут письма Аракчеева к Александру с 1810 по 1824 г. (приложение 12). Автор их взял из архива канцелярии Военного Министерства. Но они все напечатаны в приложениях к VI т. сочинения Богдановича «История царствования императора Александра I» (кроме двух №№ 52 и 73), зато у Богдановича имеются два письма (стр. 91 и 93), которых нет у в. к. Николая Михайловича; у Богдановича помещены письма и более ранних дат — с 1804 г., и более поздних — 1825 г.

Едва ли стоило, наконец, печатать отрывки из донесений французских дипломатов 1816—1818 гг., в виду того, что они полностью напечатаны в «Сборнике Ист. Общ.», т. 112 и 119. Мы взяли несколько наиболее ярких примеров.

Конечно, в общем это не ослабляет значения, которое имеют вновь опубликованные данные.

Текст в работе автора занимает приблизительно $\frac{1}{4}$ исследования. «Не нам, — говорит предисловие, — решать вопрос, возвеличит или понизит предлагаемое историческое исследование образ Благословенного монарха. Думаем, что, как правитель великой страны, Александр займет первенствующее место в летописях общей истории; как русский государь, он был в полном расцвете своих блестящих дарований лишь в годину Отечественной войны; в другие же периоды двадцатичетырехлетнего царствования интересы России, к сожалению, отходили на второй план. Что же касается личности Александра Павловича, как человека и простого смертного, то вряд ли облик его, так сильно очаровывавший современников, через сто лет беспристрастный исследователь признает столь же обаятельным». Из этого уже предуведомления видно, что автор не разделяет в значительной степени той исторической легенды, которая утвердилась около Александра и изображает его личность в приподнятых тонах и которая до сих пор еще находит отклик в современных исторических работах (напр., у проф. Н. Н. Фирсова, А. А. Корнилова и др.). Но потому и становится интересной личность Александра для историка, что она и теперь нередко окружается таинственностью загадки. Как же разрешается эта загадка в новом исследовании? Работа в. к. Николая Михайловича не является полной биографией; это и не история царствования Александра I. «Мы давали и даем материалы, которыми будущие русские историки могут воспользоваться», говорит автор. Возможно, что именно по этой причине и не получилось в работе вполне цельной фигуры того, кто для некоторых историков все еще неразгаданный сфинкс. Анализируя «сложную личность» Александра, автор в сущности приходит к таким выводам: Александр был от природы человек чрезвычайно даровитый, добрый и благожелательный к ближнему. Но почти таким же природным свойством его характера является двуличность, дававшая ему возможность всегда действовать на два фронта. Обстановка детства и ранней юности внесла в его голову путаницу понятий и идей. Отсюда столь большая расплывчатость в эпоху либеральных начинаний. Но Александр вовсе не был слабохарактерным человеком, легко поддававшимся чужим влияниям. После Тильзита в вожделениях Александра твердо засела одна лишь мысль — низвергнуть могущество и первенство Наполеона. Александр определенно с этого момента ведет свою линию и достигает желанных

успехов. Затем пресыщенный славой, он отдается всецело «зловредному мистицизму» (но и здесь он самостоятелен) и, в конце-концов, совершенно отстраняется от заботы по внутреннему управлению. Такова, конечно, в очень приблизительных и грубых формах схема автора, рисующая нам «действительную» фигуру «Благословенного монарха». Автор отметает (не всегда, впрочем, как увидим ниже) пелену той чувствительности, которой любили окутывать фигуру коронованного Гамлета. Подобная трезвая точка зрения, примыкающая к новейшим взглядам, начинающим господствовать в историографии Александра, является положительной стороной работы великого князя Николая Михайловича. «Определить характер Александра I, как человека, задача не из легких», замечает автор. И это действительно так, потому что моральная оценка личности неизбежно в наибольшей дозе страдает суб'ективностью. Здесь всякого рода выводы и заключения легко могут быть оспариваемы. Мы знаем поступки, факты, но как судить о внутренних мотивах, их вызвавших, как проникнуть в психологию человека? Лично мы во многом разойдемся с автором при оценке Александра, как человека и как монарха. По моему мнению, «сложная» натура Александра чрезвычайно проста и прозаична, что я и старался показать в общей характеристике «Благословенного монарха» в статье, ему посвященной (см. выше).

Те, которые желают вырисовывать сложную натуру Александра, принуждены или затушевывать факты, или вовсе их игнорировать, или придумывать очень сложные кон'юнктуры для об'яснения смущающих их исторических загадок. Последнего не избег и автор рассматриваемой работы. Не желая обольщаться чарующей по внешности фигурой «Благословенного монарха», не замалчивая и темных сторон его характера (двуличности), автор хочет все же разгадать «сложную» натуру и раз'яснить непонятные загадки. Каким образом человек, постоянно ссылавшийся «на слово Христово», мог «смотреть сквозь пальцы на все изуверства Аракчеева в военных поселениях?» Это невероятное противоречие автора об'ясняется не двуличностью Александра, а «особого рода» религиозным фанатизмом (стр. 347). Неясно, однако, что следует подразумевать под последним. Так, пожалуй, и зверства самого Аракчеева можно об'яснить особого рода религиозностью — ведь известно, что у Аракчеева была сентиментальная и чувствительная душа. Не «особого рода» религиозным фанатизмом приходится об'яснить это «непонятное» противоречие, а проще: ханжество почти всегда бывает связано с двуличностью и подчас жестокостью.

Никакой искренности у Александра не было от начала дней его до конца жизни. Это был человек, только думавший о своей популярности, о славе и умевший приспособлятся ко всем обстоятельствам в жизни. Болезненно самолюбивый и упрямый, любивший лесть и фимиам, он был весьма чувствителен ко всякому порицанию и никогда его не забывал.

И в период своего либерализма (в значительной степени основанного на стремлении к популярности) Александр любил власть и не переносил возражений. Он колебался, потому что не знал, какую взять линию поведения при создавшемся положении, как соединить популярность реформатора с незыблемостью деспотизма—не мог он учесть и настроения дворянства. Дипломат, готовый на все уступки, когда это нужно, и думающий в то же время только о соперничестве с популярностью Наполеона, Александр про-

являет твердость, когда поставлено на карту его самолюбие, та первенствующая роль, которую он стремился играть в Европе. В его последующем мистицизме также немало наносного: это подводило красивое идеологическое основание под ту реакционную политику, которую в значительной степени он вынужден был вести, как охранитель европейского спокойствия и старого социального мира. Александр был упрям, но он отнюдь не человек сильной воли. Он ошибался, но никогда не склонен был признать своих ошибок. Из самолюбия он был еще более упрям. Он зарывался в своем упрямстве, терял популярность, начинал бояться—отсюда противоречия, отсюда такая полная солидарность в конце царствования с дворянской реакцией и разрыв с либеральными традициями.

Возможно, что с подобной характеристикой Александра I, слишком резко расходящейся с обычным представлением, и нельзя согласиться. Но, тем не менее, едва ли можно согласиться и с некоторыми выводами нового исследования. У автора много предвзятых точек зрения, которые во всяком случае должны мешать его об'ективности. И едва ли не главным недостатком работы является тот резко выраженный национализм, который красной нитью проходит через всю работу. Это сказывается и в отдельных заключениях, и даже в мелочах, в простой терминологии. Автор не может спокойно говорить о Чарторижском: «тщеславный пан» (217), «потоки чернил польского князя» (131) и т. д.—подобные эпитеты и термины сплошь и рядом пестрят в работе. Говоря о бестактности Лагарпа, обратившегося к Александру с непрошенным советом по поводу суда над убийцами Павла, автор замечает: «На Руси и государь и все подданные никогда не терпели такого рода вмешательства со стороны иностранцев» (18). И поэтому автор находит, что Александр, замявши все дело, поступил «мудро и логично». Но вся эта громкая тирада решительно не находит себе подтверждения в фактах.

В вину Александру, главным образом, будет поставлено то, что он не понял «духа русского человека» (к сожалению, понятие также слишком произвольное) и не последовал за Екатериной, давшей пример, «как нужно царствовать и управлять народом» (1). Для нас царствование Екатерины—эпоха типичной дворянской монархии, с оттенком просвещенного абсолютизма, отнюдь не является идеалом, как «нужно управлять народом». Вероятно, наше понимание *народных* интересов существенно разойдется с представлением автора. Но не в этом дело. В растяжимое понятие «дух русского народа» каждый вкладывает свое содержание. В понимании автора «дух русского народа» не допускал, например, «конституционных начал в Финляндии». «Император всероссийский проявил большую «государственную мудрость», сумев «отлично воспользоваться обстоятельствами для завершения дела достойного его предка Петра Великого», т. е. присоединив Финляндию. Но его «опыты либерализма», ограничение власти в качестве великого князя Финляндии, были ошибочны и повлекли за собой «ряд недоразумений и постоянных трений, трудно разрешимых» (76). Конечно, само собой, что не «опыт либерализма» александровских дней, а позднейшая политика создала эти недоразумения, легко разрешимые.

Не понял «духа русского народа» Александр и в своих отношениях к Польше. Великий князь Николай Михайлович считает политику Александра I в Польше противной интересам России. В конституционном устрой-

стве Польши автор видит «воплощение идей либерализма годов юности и лагарповских заветов» (341). В последнем автор приближается к той точке зрения, которая была некогда высказана в литографированном курсе покойного Ключевского. Мы думаем, что в конституционном устройстве Польши Александр вовсе не отдавал дани своему либерализму. Здесь говорили и реальные интересы и обычная любовь к популярности. Автор видит в проведении конституционных начал в Польше полную последовательность и усматривает в этом до некоторой степени доказательства самостоятельности Александра, так как «все лучшие русские люди того времени осуждали политику Александра» (215). Рассказывая, как «польские дамы навзрыд рыдали от умиления во время речи Александра» при открытии третьего сейма, автор не удержится, чтобы не сказать о «неутолимых поляках». В сущности нетрудно показать, что воображаемой последовательности в действиях Александра по отношению к Польше не было в действительности. Не думая никогда о выполнении обещаний, дававшихся когда-то Чарторижскому, и вынужденный отчасти обстоятельствами, отчасти из самолюбия дать конституцию Польше, Александр, кажется, все делал, чтобы лишить эту конституцию реальной силы. Если не игнорировать действительных фактов в этой области, вряд ли можно удивляться недовольству поляков той фикцией, которая была им представлена. Стоит обратиться хотя бы к работе В. И. Семевского: «Общественные и политические идеи декабристов», чтобы воочию в этом убедится. И историку, являющемуся даже предубежденным противником автономистических принципов, нельзя отметать без критики в своем исследовании того, что не подходит к его взглядам. В работе В. И. Семевского автор мог бы почерпнуть, между прочим, и значительное количество фактов, свидетельствующих, что далеко не *все* русское общество так враждебно было настроено по отношению к политике Александра в Польше. Припомним хотя бы восторг, вызванный варшавской речью при открытии первого сейма, и надежды, которые рождались не у Ростопчина, конечно, а в среде молодой прогрессивной части русского общества. Политика Александра в Польше подчас вызывала обиду за Россию, но это совсем не то, что отмечается автором разбираемого сочинения. Очевидно, таким образом, автор или сознательно умолчал о подобном настроении или недостаточно о нем был осведомлен, хотя вопрос этот довольно определенно выяснен в историографии. В конце концов, если польская конституция была аномалией, возможной только в «незрелой голове Александра», как выражался брат последнего Константин, то эту аномалию вызывали не противоречия польской конституции конкретным интересам России или какому-то специфическому духу русского народа, а то, что действительно нельзя было, по меткому выражению современника, пристраивать конституционные сени к деспотическим казармам: нельзя было одновременно провозглашать в салонах г-жи Сталь либеральные идеи и давать carte blanche Константину—считаться или не считаться с конституцией. Нам вообще иногда представлялось при чтении книги, что автор, начитанный в области дипломатических вопросов (им и опубликованы частью наиболее ценные документы), не всегда достаточно в курсе существующей русской исторической литературы. Например, по меньшей мере странно, говоря о проекте Сперанского в 1809 г., ссылаться только на устаревшую уже работу Шильдера (к тому же автор, любящий полемизиро-

вать с покойным Шильдером, не придает его трудам научного значения) и на статью г. Тимирязева, напечатанную в 1897 г. (!) в «Историческом Вестнике». «О самом проекте мы не будем распространятся — говорит автор. — Все известно из книги Шильдера и из статей В. А. Тимирязева» (69). Смело, однако можно сказать, что далеко не «все известно» из этих работ.

Результатом такого отчасти игнорирования существующей литературы, отчасти же предвзятой точки зрения является целый ряд положений (помимо указанных), с которыми не всегда можно согласиться.

Александр, как мы знаем, не понял духа русского народа. Была только одна пора, когда Александр сумел «приблизиться» к этому духу, это была година Отечественной войны, пора «расцвета недюжинных способностей» Александра. К сожалению, на этом периоде, который был лучшим из всех годов царствования Александра, автор останавливается лишь вскользь. Он констатирует, что в 1812 г. Александр «сознал народную мощь, всегда существовавшую на Руси, и сплотился с ней». — 1812 г. «сблизил царя с народом», и «как жаль,—добавляет автор,— что Александр не отдал себе в этом настроении вполне ясного отчета и слишком быстро забыл все то, что можно было создать на этой благодарной почве» (113). Автор доказывает, что Александр был «главным руководителем и организатором состоявшегося погрома» французской армии.

Правда, не знаю, насколько основательно это красивое построение о единении царя с народом в 1812 г., и в чем оно реально выразилось. Можно было бы, пожалуй, говорить о единении царя с дворянством, выразившемся чрезвычайно отчетливо в дворянской публицистике хотя бы Ростопчина и в недавно опубликованном секретном письме Александра к псковскому губернатору. Припомним, как Ростопчин писал Александру 13 сентября: «О мире ни слова: то было бы *смертным приговором* для нас и для вас», т. е. это был бы смертный приговор тому социально-политическому строю, который базировался на крепостном праве! Не даром масон Поздеев отметил, что дворянство и самодержавие неразрывно связаны между собой. И в письме Александра к псковскому губернатору черным по белому написано: дворянство должно сорганизоваться для защиты своих прав и своей собственности. Автору единение царя с народом обрисовывалось так определенно, вероятно, потому, что он слишком доверился «мастерски» написанным манифестам Шишкова. В этих неуклюжих и в действительности малопонятных манифестах много говорилось на тему об единении в одну душу всех сословий. В 1812 г. это были красивые фразы, лишенные реального содержания, и вряд ли историку следует их повторять. С точки зрения дворянской идеологии, назначение Ростопчина на пост московского главнокомандующего, возможно, и было удачно, но едва ли оно могло поднять народный дух и возбудить любовь к родине, как думает автор. Плоха та любовь к родине, которую надо было возбуждать фальшивыми ростопчинскими афишами. Я думаю, что пора уже сдать окончательно в архив легенду о патриотических подвигах гр. Ростопчина в 1812 году[1]). Впрочем, спорить с автором на этой почве трудно, так как он ограничился в данном случае только установлением определенных тезисов.

---

[1]) См. ниже „Ростопчин — Московский главнокомандующий“.

Так или иначе, но, и по мнению автора, Александр не удержался на той высоте, на которую его поставила Отечественная война. «Увлечения успехами политики и внешней славы привели к продолжению борьбы на чужих землях, где русские войска всегда являлись освободителями угнетенных владычеством Наполеона. Роль русского государя была возвышенная и благородная, но и только. Интересы России не требовали такого вмешательства» (340). С последним утверждением, конечно, нельзя не согласиться. Однако в то же время нельзя вновь не указать на то, что «возвышенная и благородная роль» Александра в событиях 1813—15 гг. в значительной степени сводилась к удовлетворению личного честолюбия, к осуществлению давнишней заветной мечты о первенстве в Европе. Как было отказаться от заманчивой перспективы и неужели надо было считаться с реальными интересами страны? С другой стороны, если внешняя политика после 1812 г. и шла иногда под флагом освобождения от деспотизма, когда нужно было оказать влияние на общественное мнение в Зап. Европе и когда нужно было привлечь на свою сторону таких немцев, как знаменитый Штейн (которые, по выражению автора (113), «копошились» около Александра[1]); если это создавало в среде русской молодежи мираж возвышенной цели войны, то в действительности основной пружиной освобождения Европы от наполеоновского деспотизма являлась борьба с последним проблеском революции, ненавистным господствующим дворянским кругам: деспот Наполеон все же был порождением революции. И знаменательно, что к новой войне, требовавшей новых издержек, эти дворянские круги отнеслись в общем сочувственно: надо было раздавить гидру революции, замазать то окно в Европу, которое грозило России духом социальных преобразований. Дворянская публицистика определенно высказывала подобные мысли, придавая иногда своим вожделениям облагораживающую форму провиденциальной миссии России по пути, предоставленному Божественным Провидением. Если рассмотреть на этой социальной почве мистицизм после 1812 г., он становится и глубже, и гораздо проще и понятнее. Отдельные личности могли увлечься мистическими исканиями, но почему этот мистицизм приобретает широкую популярность (автор, конечно,ошибается, полагая, что «*все* русское общество увлекалось» мистикой, «зная, что и император Александр предавался глубоким колебаниям на почве религиозной») (203)? Едва ли здесь помимо подражательного чувства не играли роли и вопросы, совершенно посторонние религии: это был флаг, под которым было очень удобно провести ликвидацию всех нравственных обязательств, принятых в период единения царя с народом, т. е. 1812 г., когда признавалось, что победа «одержана не армией, но бородами московскими и калужскими»[2]).

В своем исследовании великий князь Николай Михайлович совершенно не затрагивает социальных вопросов, которые, однако, как всегда, имели чрезвычайно существенное значение для определения общественных настроений в разные моменты Александровского царствования. Между тем социальная идеология может отчасти пояснить и ранний либерализм Александра,

---

[1]) Любопытно, что в своем презрительном отношении к этим копошившимся около Александра немцам, автор на одну доску ставит и Штейна, и Пфуля, и др.

[2]) Настоящая точка зрения на мистицизм в связи с войной 1812 г. более подробно развита в помещаемой ниже главе: „Правительство и общество после войны“.

общественные настроения в эпоху Отечественной войны, а по связи с ними и роль Александра I, и мотивы заграничных походов, и мистицизм, и, наконец, ликвидацию войны (манифест 1816 г., где об'являлось что благодарность воздаст Бог).

Психология Александра во вторую половину царствования кажется нам наименее отчетливо представленной у автора. Он глубоко прав, ставя «аракчеевщину» в связь с Священным Союзом и мистицизмом: последнее привело к первому. Но по отношению лично к Александру автор в значительной степени примыкает к старой школе и впадает сам с собой в противоречие. Александр, как выясняет исследование, не любил поддаваться чужим влияниям, между тем оказывается, что именно Меттерних сбил «с толку доверившегося ему так неосторожно русского императора» (340). Отдавшись «религиозно-мистическим утопиям», Александр начал «тяготиться всем тем, что входило в атрибут царской власти, и мало-по-малу окончательно отстранился от забот по внутреннему управлению, доверившись одному только человеку—Аракчееву» (269). Аракчеев стал хозяином России, а «душевно-исстрадавшийся монарх» молчал и все покорно подписывал. Едва ли в настоящее время можно вполне присоединиться к такому заключению. Мы хорошо знаем, что в действительности Александр не уклонялся от дел внутреннего управления, как в свое время казалось современникам. Александр входил во все мелочи управления, часто Арекчеев действовал лишь по инициативе Александра. И в противоречии с самим собой автор соглашается с мнением А. А. Кизеветтера, что Аракчеевым Александр только прикрывал себя от ответственности[1]). Можно ли при существующих данных утверждать, как это делает автор, что Александр у себя, в России, не боролся с революционным настроением: «Как разгадать, отчего государь чуть было не вмешался активно в итальянские дела, чтобы бороться с карбонарством, а у себя на Руси ничего не предпринимал, чтобы пресечь надвигающуюся беду, и сказал такую фразу: «Ce n'est pas à moi à servir». Автор об'ясняет это противоречие тем, что «душевно-исстрадавшийся монарх вспоминал свои заблуждения молодости», и это делало его снисходительным «к прегрешениям ближнего согласно учению любви во Христе»; «совесть должна была мучить монарха и заставила его отнестись милостиво к заблуждениям других» (меньшей братии). С другой стороны, «душевно-исстрадавшийся монарх, добровольно, вполне обдуманно сдал бразды правления родиной Аракчееву» (261), следовательно, бороться с революцией должен был Аракчеев, которому вел. кн. Николай Михайлович дает очень резкую оценку. И больше всего он бичует Аракчеева за то, что тот, зная о заговоре среди офицеров, не принял соответствующих мер. Аракчеев «пренебрег опасностью, в которой находилась жизнь (?!) государя» (331). «Если унтер-офицер Шервуд, родом англичанин, пришел к такого рода заключениям, то пишущий эти строки—говорит автор—только может добавить чувство глубокого негодования и отвращения к роли Аракчеева... Здесь вполне отчетливо выразилась вся подлая фигура грузинского помещика». Бесспорно, это вновь

---

[1]) Между прочим автор сам указывает, что Александр входил во все „детали“ военных поселений и приводит это в доказательство абсурдности той мысли, что в конце жизни Александр хотел уйти от царства и сложить власть, которая его тяготила.

сильная тирада. Но неужели за эту наименьшую вину с его стороны главным образом надо клеймить Аракчеева? Во-первых, никакая опасность жизни Александру не угрожала; во-вторых, совершенно законно расстройство Аракчеева после убийства Минкиной, отчего он стал пренебрегать государственными делами. Автор удивляется, как мог «такой государственный человек, как граф Аракчеев», пренебречь спокойствием государства для «пьяной, толстой, рябой, необразованной, дурного поведения и злой женщины». Спора нет, личность свирепой любовницы Аракчеева отвратительна (не по внешним, конечно, качествам, а по внутренним). Но такой же свирепый и отвратительный Аракчеев ее любил... Самое же главное то, что Александр вовсе не так слепо смотрел на тайные общества и на их деятельность, как это представляется автору. «Ce n'est pas à moi à servir»—только новая красивая фраза, если она была сказана в действительности, которая решительно опровергается фактической стороной дела. По изложению автора выходит, что Александр лично вмешался только в семеновскую историю, где проявил излишнюю «строгость и жестокость». К этой жестокости привело Александра, по мнению автора, «чувство любви и горечь разочарования». Он любил Семеновский полк, помнил заслуги полка при восшествии на престол в 1801 г., он гордился боевыми подвигами возлюбленного полка на полях брани, и вдруг именно в Семеновском полку случилось такого рода происшествие, где «уважение к шефу, начальству было забыто и дисциплина *начально* (курсив автора) нарушена» (263). Надо сказать, что волнения в Семеновском полку у автора изложены формально. Если бы автор использовал данные, имеющиеся в статье В. И. Семевского: «Волнения в Семеновском полку в 1820 году», напечатанной в «Былом» (1907 г.), то, вероятно, ему пришлось бы несколько изменить свою точку зрения. Автор совершенно забывает о всех мерах сыска и преследований, начавшихся по инициативе Александра после волнений в Семеновском полку и опровергающих апатичность Александра в борьбе с кажущейся революцией и отношение его к врагам, «согласно учению любви во Христе».

Таким образом, если автор и не очаровывается личностью Александра, то, тем не менее, он всегда стремится его несколько реабилитировать, оставляя в стороне те факты, которые накладывают черный фон на деятельность Александра.

Оттенок такого, несколько оправдывающего отношения к Александру, проглядывает во всей работе. Возьмем юность Александра, когда воспитанник Лагарпа вынужден мириться с тяжелым режимом павловского царствования. Обладая «большим тактом и выдержкой», Александр «безропотно покорялся фантазиям Павла Петровича», хотя часто и приходил «в отчаяние от скуки общего неприглядного режима» (338). Автор ставит в вину *беспечность* Александра, который «иногда вздыхал дома наедине с своей супругой и ничем не выражал своих истинных чувств, покорно покоряясь судьбе и не делая никаких попыток сблизиться с батюшкой, чтобы раскрыть ему глаза или уберечь его от готовящейся грозы» (2). Таким образом, автор занимает промежуточное положение между теми историками, которые любят останавливаться на душевных страданиях молодого, либерального и просвещенного наследника, принужденного подчиняться капральской палке гатчинского режима, и теми, которые указывают, что при характере Александра, при

его врожденной любви к солдатской муштре, гатчинский режим ему отнюдь не был тяжел (в некотором противоречии с самим собой автор указывает, что Александр, «слыша о ропоте и недовольстве, продолжал усердно и беспечно свои любимые военные занятия»). Александр прекрасно умел лавировать между салоном Екатерины и казармой Павла, там и здесь чувствуя себя, как дома. При умении жить «на два ума» и держать «две парадные физиономии», он не попадал в «страдательное положение». Конечно, беспокойный режим Павла был тяжел для Александра, особенно при его склонности в юных годах к лени и к спокойной жизни, как этот режим был тяжел решительно для всех. Но ведь мы говорим о моральных страданиях— это область иных чувствований. Чтобы определить положение Александра, стоит только заглянуть в воспоминания Чарторижского, человека, искренно расположенного к Александру, несмотря на все превратности судьбы, даже тогда, когда исчезли все «иллюзии». «Оба молодые великие князя—пишет Чарторижский—отдались обязанностям своей службы с неутомимым рвением молодых людей, которым в первый раз дают какое-нибудь деловое занятие, и с серьезным сознанием важности исполняемого дела». Великие князья подвергались насмешливым осуждениям за то, что они, не рассуждая, так горячо пристрастились к этим причудам, но они, «не останавливаясь пред порицанием большинства, стремились лишь к точному повиновению желаниям и даже эксцентричным капризам своего отца. Они входили в мельчайшие подробности военной службы и исполняли их с беспримерным усердием». «Великие князья — добавляет Чарторижский — жалели, что не могли переселиться туда (в Гатчину) и, говоря о том, что делалось в маленькой армии Павла, принимали вид павловских солдат и самодовольно повторяли: «это по-нашему, по-гатчински». Весьма возможно, что это и извратило ум Александра, который «за все время, пока был великим князем, не прочел до конца ни одной серьезной книги». Воспитание многое об'ясняет, но факт остается фактом, и вряд ли Александру поэтому так нравственно тяжело было переносить павловское царствование: любовь к человечеству, мечты о равенстве и свободе, — все это были лишь общие фразы, лишенные конкретного содержания.

Факты, приведенные автором нового исследования, по нашему мнению, показывают, что Александр, вопреки обычному представлению, принял довольно активную роль в событиях 11 марта. Но сам автор об'ясняет дело свойственной Александру «беспечностью»: «не задумываясь глубоко о возможных последствиях, Александр, дав согласие, пребывал в состоянии полудремоты до окончания заговора». Правда, лично для автора «мало понятно» «это нравственное состояние двадцатитрехлетнего юноши». Впоследствии эта «полудремота» стоила Александру «ряда невыносимых мучений совести». Можно соглашаться и не соглашаться с последним заключением, но, во всяком случае, для определения личности Александра его поведение в данный момент чрезвычайно характерно. Произошла катастрофа, и вновь чувство нравственной справедливости вошло в коллизию с политикой. Мы уже знаем, что автор считает совершенно понятным «по сложным обстоятельствам того времени» поведение Александра, не наложившего никакой кары «ни на главарей, ни на прочих исполнителей кровавого деяния». Может-быть, это было и «мудро и логично». Но сделанный автором выпад против Лагарпа едва ли справедлив:

ведь Лагарп не мог знать, что его ученик — соучастник заговора: знай он это, вероятно, осторожный Лагарп и не высказал бы своего мнения о возможной расправе с заговорщиками. Указывая, что фактически все участники заговора были удалены от двора и подверглись «позднейшей опале», автору приходится пояснить, почему в действительности это было сделано не со всеми. Мотивы оказываются различными: на Уварова, напр., который «почти ежедневно был зван к столу государя», а также был «persona grata» у Марии Феодоровны, смотрели сквозь пальцы, «благодаря его счастливому характеру и ничтожности его личности». Перед нами и другая несимпатичная фигура непосредственного убийцы — Беннигсена, оставшегося на военной службе и бывшего видным деятелем во всех наполеоновских кампаниях. «Государь и вдовствующая императрица его принимали у себя и писали ему деловые письма». «Думается, — говорит автор по этому поводу, — если на эту личность смотрели сквозь пальцы, то благодаря тому только, что он был иностранец . . . и ценили его военные дарования» (14). Если мы припомним утверждение автора по поводу письма Лагарпа, что на Руси никогда не терпели иностранного вмешательства во внутренние дела, то, казалось бы, иностранное происхождение Беннигсена должно было привести как раз к противоположным результатам. У Беннигсена ценили военные дарования, но, быть-может, и Н. П. Панин был хороший дипломат. Очевидно, приходится подыскивать другие об'яснения. Во всяком случае, по отношению к Беннигсену автор не совсем прав, указывая, что его терпели, но не доверяли. Действительно, Александр его не любил, как не любил вообще самомнительных людей, выступающих с непрошенными советами (за это именно не любил он и Ростопчина). Но Беннигсен был доверенным лицом Марии Феодоровны, не даром Александр перлюстрировал письма своей матери. Жаль, что автор вообще мало остановился на взаимных отношениях матери к сыну, которые могут приподнять таинственную завесу дворцовых отношений в первые годы царствования Александра и к тому же чрезвычайно характерных для обрисовки личности Александра — его поразительной неискренности. В жизни Александра был еще случай, который остановил на себе внимание автора — падение Сперанского. Автор вполне справедливо отвергает старые «фантастические предположения» — никакой, конечно, измены не было. «Вряд ли допустимо», чтобы Александр в нее верил, «но государь понял главное, что нужна жертва (?!) для успокоения встревоженных умов». «И тогда, — пишет автор, — станет понятным выраженное государем суждение о Сперанском, что «он никогда не изменял России, но изменял исключительно лично мне». Другими словами, Сперанский осмеливался критиковать императора за его спиною, а иногда и острить насчет Александра. Вот в чем заключалась личная измена. Тогда Благословенный монарх решился выдать Сперанского его врагам, с грустью и болью в сердце, со слезами на глазах, но выдал, зная, однако, что он не виноват и не предатель» (100). Согласимся с автором. Что приходится тогда сказать о человеке, который расстается «с грустью и болью в сердце, со слезами на глазах» и не раскроет истинной причины тому, кого ссылает, как предателя, и не будет отвечать лично на все оправдания сосланного . . .

Благодаря такой двойственности в характеристике, Александр для читателя, пожалуй, так и останется неразгаданным сфинксом. Между тем нам кажется, что всякий нимб окончательно и всецело должен быть снят с

имени Александра I. В итоге своей работы автор задается вопросом: заслуживает ли Александр «быть причисленным к великим государям и правителям?» (342). «Смеем думать, что да», — ответ несколько неожиданный. Неожиданный уже потому, что сам автор, оценивая внешнюю политику Александра, говорит: «Гениальность Наполеона отразилась, как на воде, на нем (на Александре) и придала ему то значение, которого он не имел бы, не будь этого отражения». Оценивая деятельность Александра в России, автор приходит к такому окончательному заключению: «Время его правления нельзя причислить к счастливым для русского народа, но весьма чреватым по последствиям в истории нашей родины». За что же причислять в таком случае Александра к сонму великих людей? Впрочем, понятие «великий» весьма растяжимо: автор к числу великих причисляет и Людовика XIV.

Мы остановились преимущественно на критике изображения личности Александра I в труде вел. кн. Николая Михайловича. Можно было бы указать и другие пробелы, вытекающие, по нашему мнению, из указанных выше причин. Одно замечание необходимо сделать по поводу военных поселений. «Мы склонны видеть, — пишет автор, — связь между идеей устройства военных поселений и религиозным настроением Благословенного монарха. Ведь основой введения такого рода поселений было желание облегчить участь солдат в мирное время, дать им возможность жить с семьями, наделить их земельной собственностью, другими словами, самая мысль была высоко-гуманная, пропитанная великодушными стремлениями». Мы думаем, что основа военных поселений более прозаична, как и свидетельствуют все известные нам официальные документы. Это была несколько странная идея — обеспечить России сильную и дешевую армию и создать фикцию вознаграждения за 1812 год. Бесспорно, Александр был творцом этой идеи в ее русском осуществлении и очень упрямо проводил ее в жизнь, несмотря на все возражения и ужасы, творившиеся вокруг. Автор полемизирует с Шильдером и находит, что «в общем крестьянство не обнаружило того негодования, которое старались изобразить впоследствии в литературе». «Вначале не замечалось особого ропота. Впоследствии часто отношения обострялись больше ради мелочей (!), как приказания брить бороды, носить казенные мундиры, а иногда вследствие излишней строгости или бестактности местного, подчас слишком ретивого начальства» (232). К сожалению, и здесь приходится верить только на слово автору, так как им не приведено никаких фактов, опровергающих факты, ранее опубликованные. Фактов об ужасах в военных поселениях, о ненависти к ним населения с самого начала их возникновения, о столкновениях на этой почве — более чем достаточно. Полемика невозможна до тех пор, пока не будут опубликованы те факты, которые заставляют автора опровергать прочно установившееся мнение в исторической литературе[1]). Правда, оценка событий очень суб'ективна. Так, например, автор считает «мелочью» насильственное бритье бороды (добавим, старообрядцам), а между тем на почве этих в сущности религиозных гонений в Новгородской губ. вырастала эпидемия самоубийств, по-

---

[1]) За последнее время вообще стали высказывать в литературе новые точки зрения на военные поселения. Так, А. А. Корнилов считает их опытом „своеобразного военно-государственного социализма“. Точка зрения оригинальная, но совершенно не убедительная.

вторявшая в миниатюре то, что было в России в массовых размерах при гонениях на старообрядцев в конце XVII в. и в петровское время.

Автор не допускает мысли, чтобы Александр мог сказать свою знаменитую фразу, «что военные поселения будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова». Он уверяет, что «Александру не были присущи резкости, особенно в словах, и что упомянутое выражение вообще мало соответствовало его характеру». С этим, конечно, можно спорить. Нечто подобное Александр не раз говорил, а отчасти и делал, в пылу гнева и раздражения. Александр не раз проявлял на ряду с сентиментализмом и чувствительностью жестокость, которую некоторые из современников готовы были считать даже его природной чертой. Впрочем, и сам автор, как мы видели уже, склонен считать, что Александр «мог с легким сердцем подписывать лютые приговоры к наказанию солдат», и приписывает это «особого рода религиозному фанатизму» Александра, связанного «с теми нравами и обычаями, при которых протекала его жизнь».

Можно привести и другие более мелкие положения и неточности, вызывающие возражения. Автор совершенно неверно излагает известный проект Аракчеева об освобождении крестьян, говоря, что он основывался на «покупке *всех* помещичьих крестьян» (235). Едва ли можно признать кн. А. Н. Голицына выдающимся государственным деятелем (186). Нельзя, конечно, об'яснять появление тайных политических обществ покровительством, якобы оказываемым масонам. Неверно по существу, что Бернадот *первый* указал Александру в 1812 г. способ ведения Отечественной войны (95): мысль отступления была высказана еще Барклаем в 1807 г. Характеризуя Сперанского и Аракчеева в 1809 г., автор приводит позднейший отзыв Батенкова (без оговорок), отчего характеристика Сперанского получается, конечно, неправильная и т. д. Вероятно некоторые мелочи просто следует отнести к числу оговорок, напр., употребление термина Совет Министров вместо Комитета Министров (210): утверждение, что Голицын *давно* (1816 г.) управлял, в качестве министра духовных дел и просвещения, всеми делами церкви (177), что Кошелев при воцарении Александра I стал деятельным членом Библейского Общества и пр. (181). Наконец, в научной работе можно было бы избегать таких выражений, как «некоторые из русских тогда еще осмелились критиковать государя» и т. п.

Все это в значительной степени только мелочи, которые не изменяют общего характера исследования. Оно может вызвать много и общих и частных возражений. Но, во всяком случае, оно будит мысль, ставит новые вопросы и дает новые материалы. В этом его большая заслуга. Оно, наконец, в значительной степени отступает от все еще держащейся в литературе традиционной точки зрения.

МЕЛОЧИ ОБ АЛЕКСАНДРЕ

1. АЛЕКСАНДР I И ЖЕНЩИНЫ [1])

I

Император Александр, как никто другой, умел обольщать людей. Особенно его талант прельстительства сказывался в женском обществе. Тут Александр был в своей сфере. Ему нравилось вращаться в атмосфере кокетства, полунамеков и полуслов; в той среде, где изощрялся его актерский талант, где неизбежно царила неискренность и полурисовка, к которым так подходила присущая ему любовь к позам.

Женщины действительно были без ума от привлекательного монарха, — об этом говорят нам почти все современники. Он умел заставить себя обожать не только стареющих светских дам вроде баронессы Крюденер, впадавших в мистический транс и игравших самой грубой лестью на самолюбии Александра. Австрийский посланник в Варшаве в 1816 г. специально отметил в своем донесении исключительное уменье русского царя привлекать дамские сердца. Венценосный рыцарь во время скажет любезную фразу: «J'obeis volontiers et surtout aux dames»; публично станет на колени на балу у Коленкура перед М. О. Осиповой с восклицанием «hommage à la plus belle des belles»; самолично будет перевязывать обожженные «нежные» пальчики г-жи С. и т. д. и т. д.

Это делает Александра столь неотразимым в дамском обществе, что одна из современниц считает необходимым отметить удивительный факт, что ее кузина осталась равнодушной «даже к человеку, которому не пыталась противиться ни одна женщина, кроме нее». Правда, это была «девственница» в замужестве.[2]) Но подобные типы, пожалуй, и наиболее подходящи были к личности Александра. Арндт, рассказывая в своих воспоминаниях, как Александр в России, в Германии и Франции усердно ухаживал за всякой смазливой дамочкой в салонах, добавляет: «придворные врачи говорили по этому поводу, что все это—одна видимость, совершенно безопасная, что мужья без тревоги позволяют ему увиваться вокруг своих жен». Характерно для Александра то, что его обуревала жажда преклонения женщин,—ему нужен был хоть внешний успех на всех поприщах. Для «Северного Тальмы» движущим поводом был не темперамент, а опять таки довольно мелкое тщеславие.

---

[1]) Напечатано в сокращенном виде в берлинских „Днях" (1923 г.).
[2]) „Голос Минувшего", 1914, XI, 115.

«Редко, чтобы женской добродетели действительно угрожала опасность»—добавляет друг юношества Александра Чарторижский при рассказе об ухаживании Александра за наиболее «эфектными дамами» в эпоху еще Павла.[1])

«Государь любил общество женщин—свидетельствует одна из поклонниц Александра, гр. Эделинг, рожденная Стурдза, бывшая близкой фрейлиной его жены,—вообще он занимался ими и выражал им рыцарское почтение, исполненное изящества и милости. Что бы ни толковали в испорченном свете об этом его расположении, но оно было чисто и не изменилось в нем и тогда, когда с летами, размышлением и благочестием ослабли в нем страсти.» Графиня Эделинг права относительно того, что отношение к женщинам у Александра не изменилось с летами, и что благочестие отнюдь не препятствовало веселому времяпрепровождению, но что касается до «рыцарского почтения», то приходится сказать, что более правильно было бы определить женолюбие Александра термином «ферлакурства», подчас принимавшего довольно грубые формы.

«Всем известны,—писал в 1802 г. баварец Ольри,—посторонние привязанности императора». Общество определенно говорит о связях с артисткой Филисс, Шевалье, Жорж. По пути в Мемель отмечается «дорожный роман с двумя рижскими дамами». В Тильзите—свидетельствует прусский король—«мелочи из военного быта французской армии интересуют его (Александра) очень сильно, но не меньше и хорошенькие тильзитские девицы». В Петербурге царь ездит пить чай к немецким купчихам Бахара и Кремер—«порядочным дурам» по выражению Греча. Говорят о некой госпоже Шварц, жене коммерческого дельца. То же волокитство отмечает в своих воспоминаниях В. И. Бакунина—в Вильне в июне 1812г., и т. д. И все это в разгар любви к прекрасной Марии Антоновне Нарышкиной, урожденной княжне Четвертинской.

На Венском конгрессе в этом цветнике европейских красавиц, собранных из великосветского и артистического мира для обольщения с'ехавшихся монархов и их министров, натура Александра проявилась во всем своем об'еме. Агенты тайной великосветской полиции Меттерниха систематически доносили, что «Русский император проводит время в дамских будуарах». Причем «ce grand charmeur» имеет дело только с красавицами. Его тщеславию льстит та предупредительность, с которой относятся к нему дамы высшего света. Идет какой то сплошной флирт с кн. Эстергази, гр. Зичи, кн. Ауэршперг, принцессой Лихтенштейн, гр. Чешени и др., сообщениями о котором пестрят полицейские донесения. Наряду с этим де-ля-Гард рассказывает о «романе» с артисткой Л.

На первый взгляд все интересы императора на конгрессе исчерпываются этим «платоническим кокетством» и увлечением танцами, которым Александр предается с какой то непонятной страстностью. «Конгресс не ходит, а танцует»—сказал принц де Линь, и эта «dansemanie» преимущественно захватывает Александра и соперничает с его «paradomanie».

---

[1]) Говорят еще о связи Александра с небезызвестной фрейлиной княжной Туркестановой, умершей после родов в 1819 г. Утверждали, что кн. В. Голицын взял как бы на себя вину и воспитал дочь Туркестановой от Александра. Прямых свидетельств этому нет и факт представляется сомнительным.

Александр не любит мужского общества—отмечают агентские донесения. Как и у себя на родине, он избегал «бесед с людьми умными» (Греч). Среди представительниц прекрасного пола его таланты расцветают и лучше оцениваются, напр., дамы любят аккомпанировать русскому императору, обнаружившему «особенный талант свистеть». Как плоско, однако, было ухаживанье Александра, показывает следующий, подслушанный великосветским агентом на балу у Пальди, диалог между русским императором и гр. Гюльфорд: А. «Ваш муж в отсутствии, было бы весьма приятно временно занять его место.»—«Разве Ваше Величество принимает меня за провинциалку?» — отвечает дама.

Как это действительно, однако, далеко от истинного рыцарского отношения к женщине.

Также далек был от рыцарского отношения и платонический роман Александра с прусской королевой Луизой. Великий кн. Николай Михайлович необычайно заблуждался, приписывая видимое пристрастие Александра к Пруссии каким то рыцарским отношениям к Луизе. Если у русского императора и было какое-нибудь пристрастие к Пруссии, то большую роль играло немецкое происхождение царствовавшей династии, как отмечал Жозеф де-Местр. В действительности, роль Александра в делах Пруссии и отношения его к несчастной прусской королеве исключительно об'ясняется той дипломатией, которую вел Северный Тальма. Как показывает отчетливо в этюде, посвященном королеве Луизе и Александру А. К. Дживелегов,[1]) Александр, стараясь покорить Луизу, думал не о флирте, а о том, «чтобы сделать самого влиятельного человека у прусского трона слепо-преданным себе». К несчастью для Луизы, как для женщины, так и для политического деятеля, она искренно увлеклась красивым, молодым и обольстительным монархом, представляющим столь разительный контраст с ее мужем, «личностью глупейшей и незначущей» по выражению дневника Вилламова, ст. секретаря императрицы Марии Феодоровны. В результате Луиза предлагает Александру «любовь», а последний вел только холодный, расчетливый «политический флирт». «Платоническое кокетничание» с Луизой со стороны Александра привело к тому, что, будучи в Потсдаме в 1805 г., Александр должен был, подобно омским девицам того времени, запирать на два замка свою опочивальню, чтобы его не застали врасплох. Об этом он рассказывал сам Чарторижскому. И действительно, как видно из личной переписки с ним Луизы, последняя готова была совершить неосторожный поступок, к которому Александр, очевидно, не был склонен, ибо для него игра с Луизой сводилась прежде всего к игре политической. Всякая связь могла быть только помехой дипломатии. Луиза поняла это только через несколько лет, когда перед ней до некоторой степени вскрылся истинный характер ее «друга».

Очарование прусской королевы было общеизвестно. Если Наполеон после свидания с ней в Тильзите писал Жозефине: «Я—как клеенка, по которой все это только скользит», то почти также мог бы сказать и Александр. Разница была лишь та, что Наполеон не надевал рыцарских лат, в которых являлся Александр перед Луизой.

В эпизоде с Луизой довольно ярко проявлялась дипломатическая тактика Александра, склонного всегда пользоваться женским сердцем в целях ока-

[1]) В книге: „Наполеон и Александр“.

зания влияния на политику. Эта тактика достигла своего апогея на Венском конгрессе, где Александр далеко не был в ней одинок. Именно в дамских салонах во время конгресса плетется закулисная политическая интрига. Ими одинаково пользуется как и Александр, так и Меттерних, его соперник в дипломатии и определенный враг во время конгресса.[1]) Через женщин действует третий знаменитый дипломат Талейран, обошедший своей изворотливой хитростью и Александра и Меттерниха. Два салона царствуют в Вене, Багратион и Саган—двух соперниц, бывшей и настоящей любовницы австрийского министра. И к обоим подходит Александр в видах достижения своих политических целей и осведомления о планах противника. Но применяет разные методы. С княгиней Багратион ведется игра в любовь. Агенты полиции свидетельствуют о «многих чарующих часах», которые проводит русский император глаз на глаз с Багратион во время посещений «далеко за полночь». Но те же наблюдатели утверждают, что в данном случае «любовь к политической интриге» взяла верх над более нежными чувствами.

Что же касается Саган, то тут метод воздействия иной. Требование разрыва с Меттернихом подтверждалось давлением на связанные с Россией имущественные интересы герцогини. Повидимому Александр достиг своих целей в обоих случаях, так как обоим авантюристкам впоследствии выплачивалась пенсия за какие то особые заслуги. Эта своеобразная дипломатическая политика, через женщин, равным образом далека от того рыцарства, о котором говорит в своих записках Эделинг.

II.

Александровская историография, в стремлении обрисовать хотя бы юношеский идеализм своего героя, склонна и по сие время рисовать в привлекательных красках его семейные добродетели. В действительности же Александр был крайне плохим мужем, непостоянным в своих отношениях к жене с молодых лет. Верно охарактеризовал еще Герцен: Александр любил всех женщин, кроме своей жены.

Биограф Александра и Елисаветы Алексеевны покойный в. кн. Николай Михайлович считал, что до 1804 г. между супругами существовали нежные отношения вплоть до увлечения Александра Нарышкиной. Считал это он явно вопреки всем показаниям современников. Напомним хотя бы слова баварца Ольри, донесения которого были опубликованы именно Николаем Михайловичем: «всем известны посторонние привязанности императора». Настойчивость в данном случае историка, принадлежащего к царствовавшей семье, чрезвычайно характерна для некоторых свойств его работы,—в них постоянно мы видим некоторую коллизию между стремлением к исторической об'ективности и влиянием семейных традиций. Тенденция эта ярко сказалась и в самой последней работе, посвященной Александру, где в сущности дается довольно резкая характеристика «благословенного монарха».

---

[1]) Припомним характеристику Меттерниха, данную Шатобрианом, – очень близкую к характеристике Александра: „Это человек посредственный, без основ, без взглядов..., фальшивый..., ловелас в молодости, старается прельстить все к чему он приближается, а когда это ему не удается, делается врагом“.

Не подлежит сомнению, что охлаждение к Елисавете у Александра произошло еще при жизни Екатерины, чем и об'ясняется связь Елисаветы с кн. Чарторижским, связь, которую очень решительно, и при том с большой запальчивостью, пытался опровергнуть в. кн. Николай Михайлович в полемике с профессором Ашкенази.[1]) Александр любезничал со всеми женщинами, но сердце его любило одну женщину и любило постоянно до тех пор, пока она сама порвала связь, которую никогда не умела ценить—говорит гр. Эделинг. Александр охладел к супруге по «холодности ее темперамента»—свидетельствует царский друг кн. А. Н. Голицын. «Овладеть этой женщиной легче умом, чем сердцем»—замечает француз Савари.

Представление об Елисавете Алексеевне как то не вяжется с изображением ее холодной натурой. В историю она вошла с привлекательными чертами чарующей женственной прелести. Таковой, повидимому, и была эта женщина с наружностью Психеи и с умом мужчины: «le seul homme de la famille»—говорит про нее кн. П. Вяземский. Ее трагический роман с корнетом Охотниковым поистине романтическая эпопея, которая показывает, что не холодность натуры,[2]) а нечто другое было причиной охлаждения и разрыва с Александром.

Нет ничего само по себе удивительного, что между людьми, слишком рано связанными формальными брачными узами, как это было с Александром и Елисаветой (одному было 16 лет, другой 15), наступило охлаждение: ведь духовная связь зиждится не только на законах физиологических.

Французский актер Домер, оставивший весьма ценные воспоминания о своем пребывании в России, вращавшийся в разнообразных общественных кругах, вплоть до великосветских салонов, передает сплетню, что Александр разрушил свой темперамент в период так называемого медового месяца. Однако даже супружеская страстность едва ли могла покрыть то в сущности оскорбление, которое наносил Александр женскому самолюбию Елисаветы, спокойно относясь к назойливым ухаживаниям за его женой со стороны екатерининского фаворита Платона Зубова. Головин в своих записках утверждает, что ухаживание Зубова якобы об'ясняется «желанием Екатерины II видеть внука». Об этих приставаниях Зубова говорит в своих письмах к Кочубей сам Александр. Он жалуется в них на трудность того двойственного положения, в котором приходится ему пребывать—другими словами на боязнь обидеть всемогущего фаворита. Но это все. Не должна ли была оттолкнуть подобная пассивность молодую Елисавету, еще не пропитавшуюся развращенными нравами екатерининского общества?

Усиленные занятия не позволяли до 1804 года—говорит в. кн. Николай Михайлович—Александру заниматься супругой. Мы знаем, каковы были в действительности эти «усиленные занятия», сводившиеся на первом плане к военным экзерцициям, которые едва ли могли серьезно интересовать Елисавету. А здесь постоянно в интимной обстановке блестящий и умный кн. Чарторижский.

---

[1]) См. статью Ашкенази в „Гол. Минувшего" (1916 № II) „Императрица Елисавета и кн. Адам Чарторижский".

[2]) Естественно, что в этот период она „очень холодна" по отношению к мужу, как отмечает в своем дневнике 1 янв. 1807 г. с. сек. Вилламов.

В конце концов вопрос о том, каковы были реальные отношения Елисаветы и Чарторижского, имеет совершенно второстепенное значение. Для характеристики действующих лиц и их психологии важнее факты, свидетельствующие о необычайных отношениях романтического характера, установившихся между Елисаветой и Чарторижским.

Ольри записывает, что Елисавета «не пользуется любовью государя»: «Известно самым достоверным образом, что единственный мужчина, которого императрица видит с удовольствием и который бывает в ее интимном обществе—кн. Чарторижский» . . . Об интимных отношениях этих двух лиц говорят будущий посланник в России Людовика Филиппа Барант[1]) и близкая ко двору гр. Головина. То же утверждает Наполеон на о. св. Елены, как свидетельствует журнал Гурго.

Наполеон, конечно, мог передавать только общественную сплетню, которая облекла в более грубую форму то романтическое, что связывало русскую императрицу с польским князем.

Опубликованные польским историком Ашкенази выдержки из дневника кн. Чарторижского в период Венского конгресса, вопреки нежелания считаться с ними вел. кн. Николая Михайловича, ярко очерчивают характер отношений, существовавших между обоими лицами.

Выдержки эти были напечатаны Ашкенази в «Голосе Минувшего»; повторим их частично, ибо они сами за себя говорят без всяких пояснений.

«Здесь я вижу ее, сильно изменившуюся, но для меня всегда ту же со стороны ее и моих чувств. (Они утратили свой пыл, но в них сохранилось достаточно силы, чтобы вовсе не видеть ее было великой мукой.) Раз только до сих пор я видел ее; плохо принятый, я переживаю неприятный день» . . .

«Вторая встреча. Признаны новые обязанности. Она всегда истинный ангел. Ее письмо . . .»

«Моя тетка сплетничает, мой отец сказал ей о ней. Наука, что мало кому можно доверять настоящую и важную тайну . . . Ее визит и письмо . . . Жар и угрызения, укоряющие в виновности. Стан и лицо изменились, однако, все та же очаровательность, а душа ангельская . . .»

«Разнообразность моих чувств. Она всегда первый и единственный предмет. Обмен кольцами . . . Я испорчен доброжелательностью и любовью . . . Душа не может подняться до ее превосходства . . .»

«Я желаю ей счастья и завидую ему; страстно люблю, а все таки . . . я все посвятил бы, а святость чувств недостаточно охраняю. Долгая неуверенность, противность и неустанные обиды и двадцатилетнее ожидание, а ее уже в течении стольких лет прикрытое чувство разрушал правильный порядок сердца, *несчастия одной неверности потрясли некоторые самые деликатные принципы.*[2]) Но это не оправдывает меня, так как я от сердца простил, а она не прощения, но любви, уважения и обожания достойна» . . .

---

[1]) Барант утверждает, что оба супруга добровольно возвратили друг другу свободу. Мало того, Александр изо всех сил покровительствовал связи с Чарторижским. Барант сообщает, что, когда у Елисаветы родилась девочка и она была показана Павлу, последний будто бы заметил статс-даме Ливен: „Сударыня, полагается ли, что у блондина мужа и блондинки жены может быть ребенок брюнет?“ „Государь, Бог всемогущ“ — ответила Ливен.

[2]) Курсив мой.

Пусть сомневается кто хочет; по нашему мнению, приведенное свидетельство более, чем красноречиво... На Венском конгрессе в душе Елисаветы разыгрывалась новая драма. Детали ее от нас пока скрыты. Из дневника Чарторижского выступают однако признаки того душевного переживания, которое побудило в конце концов Елисавету написать 1 февраля 1815 года из Вены письмо, полное безнадежной тоски, письмо, напечатанное вел. кн. Николаем Михайловичем в «Историческом Вестнике».

Мы видим здесь намек на бывший в 1807 году роман с Охотниковым, закончившийся столь трагически: «несчастия одной неверности потрясли некоторые самые деликатные принципы». Неверность отражалась, как на психологии Елисаветы, так и на кн. Адаме.—В дневнике ярко выступают эти душевные переживания. «Я от сердца простил» — записывает Чарторижский, человек, сам искушенный во многих романтических приключениях.

В Вене между обоими происходит примирение, может быть, как гласила общественная сплетня, возобновился и роман.[1]) Но душевное равновесие тем не менее не наступило. Очевидно сплетни дошли и до Александра, быть может и содействовавшего в свое время роману кн. Адама с своей женой.

По крайней мере дневник говорит о визите императора к тетке автора, к той, которая «сплетничает». Дневник говорит также о разговоре с самим Александром и добавляет «поднимаю материи о ней».

Из того же источника мы знаем о какой то попытке со стороны Александра к примирению. Очевидно, по соображениям общественного такта, так как отношения между супругами в это время явно холодные.

Эту холодность, переходящую в прямую враждебность, отмечает в своем дневнике ст. секретарь Вилламов еще в 1807 году. В 1810 году со слов Марии Феодоровны он обвиняет Елисавету даже в грубости обращения с Александром. На Венском конгрессе об этой грубости, о пренебрежении уже со стороны Александра свидетельствуют многочисленные полицейские наблюдения[2]).

Так или иначе, но как раз в момент, когда кн. Адам отмечает, что «чувства искренние, глубокие, которые захватывают всю душу и насквозь пронизывают... только принадлежали и принадлежат ей..., он говорит и пишет Елисавете «о необходимости брака» для него. Очевидно, необходимость подчиниться светской условности, отсюда коллизия с личными чувствами, и вызвала то полное безнадежной тоски письмо ее к неизвестной, которое помечено датой 1-го февраля 1815 года. Через несколько кн. Адам женился на княжне Сапеге....

У Александра был большой талант привлекать к себе сердца, даже разбитые им самим. Проходят годы. С годами происходит примирение супругов. С какой удивительной нежностью пишет Елисавета о смерти Алексан-

---

[1]) Для тогдашних нравов любопытно, что в роли сводни выступает Нарышкин, муж возлюбленной Александра, быть может таким путем мстящий своему властелину.

[2]) Гр. Эделинг говорит об изменении отношений между супругами еще в 1812 году: „В дни страшного бедствия пролился в сердце их луч взаимного счастья. Елисавета, убедившись, что он несчастен, сделалась к нему нежна и предупредительна“. Возможно, что у такого отзывчивого человека, каким была Елис. Алек., была попытка примирения и поддержки моральной мужа.

дра своей матери: „Maman, notre ange est au ciel et moi je végète encore sur la terre... Maman ne m'abandonnez pas, car je suis absolument seule dans ce monde de douleur"[1].

Нам нет необходимости проникать в тайники женского сердца, чтобы разрешить психологическую проблему любви. Это не входит в нашу задачу. Нет ничего удивительного, что Александр, уже уставший от треволнений своей беспокойной жизни, вернулся к своей нежной подруге ранних лет; вернулся тогда, когда обнаружилась новая неверность Нарышкиной, вызвавшая императорскую немилость к фаворитике и отсылку в Рим кн. Гагарина, который осмелился быть «соперником своего Августейшего властелина»[2]; вернулся, когда, наконец, после смерти любимой дочери Александра от Нарышкиной или той, которую он считал своей, порвались последние связи с неверной возлюбленной (в измене Александр не сомневался). Для нас во всех этих романтических перипетиях в сущности важно только то, что великий актер, каким был в жизни Александр, сошел со сцены, по крайней мере в глазах жены, в том же ангельском ореоле, в каком он пребывал в дни молодости, в дни чувствительных излияний, нежных слов и возвышенных чувств.

Обрисовка отношений Александра к женщинам, имеющая значение для его личной характеристики, требовала бы рассмотрения и его отношений к любимой сестре Екатерине Павловне. В этих доверительных отношениях была доля нежных чувств, выходящих уже за сферу родственной привязанности. Как по иному рассматривать те нежные письма, которые писал Александр своей сестре? Что означают, например, такие строки: „Helas! je ne sais profiter de mes anciens droits (il s'agit de vos pieds, entendez vous) d'appliquer les plus tendres baisers dans votre chambre à coucher à Twer"[3].

К сожалению при опубликовании Николаем Михайловичем переписки брата и сестры, эта переписка подверглась со стороны, как говорят, Николая II, строгой цензуре. Переписка дана читателям с большими купюрами. Многое для определения семейных отношений уничтожено еще императором Николаем I. Может быть, истории и не удастся, таким образом, приподнять завесу, скрывающую до сих пор от нас детали деятельности, развивавшейся вообще около тверского салона Екатерины Павловны. Пока во всяком случае еще преждевременно строить здесь какие-либо предположения.

2. БЫЛ ЛИ АЛЕКСАНДР I КАТОЛИКОМ [4].

«Историческая загадка», раз'яснению которой посвящена книга о. Пирлинга, переведенная ныне на русский язык («Не умер ли католиком Александр I». Изд. «Современные Проблемы» М. 1914.), в сущности

---

[1]) „Мама, наш ангел на небе, а я ещё прозябаю на земле... Не покидайте меня, мама, я совершенно одинока в этом мире страданий".

[2]) Из письма Лебцельтерна Меттерниху 1822 г.

[3]) „Увы, я не могу воспользоваться своим старым правом осыпать ваши ножки самыми нежными поцелуями в вашей спальне в Твери."

[4]) Напечатано в „Голосе Минувшего".

очень не нова. Еще в 1848 г. в журнале «Constitutionale Romano» появились сведения о том, что Александр I умер католиком. Это предание уже более подробно было развито в 1852 г. наперсником папы Григория XVI, Гаетано Морони в церковно-историческом словаре. Предание основывалось на сообщении самого папы, слышавшего в свою очередь его от своего предшественника Льва XII, который входил в сношения с Александром I по поводу обращения его в католичество и соединения церквей. В 1860 г. тот же вопрос подвергся рассмотрению в журнале «Le Correspondant» (эту статью о. Пирлинг, приведший всю библиографию, почему-то не называет). Статья эта (Tendances catholiques de la société russe) была выпущена отдельной брошюрой и попала в руки Д. Н. Свербеева, выступившего в 1870 г. в «Русском Архиве» (№ 10) с опровержением. В 70-х гг. был опубликован еще ряд данных или вернее рассказов, дополнявших предание из других источников. Об'единяя этот, уже опубликованный, материал и дополняя его новыми сообщениями, известный историк сношений России с Папским Престолом о. Пирлинг выступил 13 лет назад в парижском журнале «Le Correspondant» (февраль, 1901 г.) со статьей: «L'Empereur Alexandre I est-il mort catholique?»

Суть дела заключается в том, что Александр I в конце 1825 г. отправил в Рим ген. Мишо с миссией религиозного характера. Мишо, по преданию, открыл Льву XII, что русский император желает отказаться от православия и осуществить идею соединения церквей: будто бы Мишо от имени императора признал папу главой церкви. Предание основано не только на показаниях римской курии, но и на свидетельствах близких ген. Мишо лиц: дочери известного дипломата де-Местра, брата ген. Мишо и др. Ген. Мишо после смерти Александра I послал подробное донесение о своей миссии и намерениях покойного императора Николаю I, который уничтожил это донесение. Лица, близкие Мишо, которым генерал открыл свою тайну, видели однако эту копию.

Таковы главнейшие данные для решения «загадки». За отсутствием документов приходится лишь строить предположения. Когда во французской печати появилась статья о. Пирлинга, о ней в «Русской Старине» (апрель 1901 г.) писал В. А. Бильбасов, указывавший, что нет основания отрицать всецело это «иноземное предание», как склонна была националистическая историография, именовавшая указанные сведения «историческим подлогом» и «заведомою ложью». Мнение Бильбасова сводилось к тому, что Александр умер членом православной церкви — «это истина факта», но имел в последнее время склонность к католицизму — «это будет истина чувствования». Так разрешал Бильбасов загадку.

В 1913 году статья Пирлинга вышла отдельно в расширенном виде и сразу выдержала два издания: очевидно, это старое сенсационное открытие было принято за новое, и католическому сердцу лестно было сопричислить императора всероссийского к лону католической церкви. Новое издание и переведено на русский язык.[1])

---

[1]) Кстати, о самом издании в русском переводе книги Пирлинга. Издательству „Современные Проблемы“ предоставлено автором „исключительное право перевода“. Эта привилегия оказалась для автора весьма невыгодной. Перевод и самое издание, несмотря на привлекательную внешность, из ряда вон выходящие по своей небрежности. Не говоря уже о бесчисленных корректорских погрешностях (напр. вместо „генерал“ — „гендаль“, Италинский — Кралинский и т. д.),

Для решения загадки автор не отыскал новых данных. Им использованы лишь новейшие работы, посвященные Александру I, для выяснения вопроса, насколько Александр I был расположен к принятию католичества. В сущности, это единственный вопрос, который и мог бы представить интерес, дополняя или раз'ясняя некоторые черты личной характеристики Александра I.

О. Пирлинг, в конце концов, признает несомненным самый факт посылки ген. Мишо в Рим. В этом действительно не приходится сомневаться, так как в папском архиве сохранились документальные данные.[1]) Также несомненно для Пирлинга и то, что целью миссии было установление религиозного союза. Но каково было реальное значение миссии?

Принимая во внимание отрицательные меры против католиков в конце царствования Александра (прибавим, явно выражавшееся Александром недовольство по поводу «латинской» пропаганды среди греко-униатов под влиянием библейских обществ), о. Пирлинг не решается ответить определенно. Вопрос остается открытым, и действительно странно, что именно в эти годы, как доносил французский посол Лафероннэ своему правительству, «католицизм пользовался меньше протекцией, чем другие культы». Но лично для Александра автор решает вопрос более определенно: «в душе он, очевидно, принадлежал к истинной церкви» (т.-е. к католичеству) . . . Император «унес с собою в могилу . . . прекрасную мысль». Может бытъ, все это очень лестно для католических писателей, но данных для подобного решения вопроса никаких нет.

В «мятущейся душе» Александра, вероятно, просто царил тот «духовный сумбур», который отмечает в. кн. Николай Михайлович для эпохи александровского мистицизма и который в сущности сопровождает Александра в течение всей его жизни. Облик Александра рисуется нам теперь совершенно в ином виде, чем 10 лет назад, когда дуализм считался первенствующей чертой императора, когда казалось, что это был человек каких-то роковых противоречий, трагической внутренней борьбы. Мы хорошо теперь знаем, что эта внутреняя трагедия яко бы больной, изломанной души иногда об'ясняется значительно проще.

При неискренности Александра трудно сказать, увлекался ли он в действительности когда-либо мистицизмом, католичеством или православной церковностью в эпоху Фотия. Что здесь было наносное, что было сознательной игрой «лукавого византийца»? Постоянные общения с библией и мистикой должны

которые можно об'яснить спешностью издания или невниманием типографии (хотя какая же спешность при издании небольшой брошюры в 140 стр. маленького формата), трудно уже бывает разобрать, кто виноват, переводчик или издатель, когда Гаетано Морони именуется Гастоно Мозани, „Подражание Иисусу Христу“ — подражанием „Эрнсту“, Юнг Штиллинг — то Джон Стилинг, то Дженг Шиллинг, г-жа Гюйон — то Гюно, то Гюпон. Недогадливость или небрежность переводчика удивительная. Пирлинг, естественно, переводил русские материалы на французский язык. Переводчики вторично переводили на русский язык, делая здесь свои изумительные ошибки. Не проще ли было заглянуть в русский оригинал, на который делается у Пирлинга точная ссылка. В данном случае книга была доступная: переписка Александра I с его сестрой Екатериной. Не доказывает ли это, что литературная конвенция сама по себе отнюдь не гарантирует хорошего качества переводов.

[1]) Это вполне подтверждается свидетельством самого ген. Мишо, найденном мною в бумагах С. С. Татищева. К сожалению все эти документы остались в Москве.

были, конечно, наложить отпечаток известной религиозности на душу Александра. Скорее, впрочем, это была не религиозность, а своего рода ханжество, к которому так склонны подчас люди, пережившие бурные эпохи, к концу своей жизни. Еще на Венском конгрессе Аександр удивляет агентов тайной полиции, что говорит о религии, как святой, и подчеркнуто соблюдает всю внешнюю обрядность. «Европеец» Александр мог быть более склонен к католицизму, к которому тяготела русская аристократия, чем к византийской обрядности. Александр вращался постоянно в дамском обществе. А в то время «во всех гостиных воинствовали знатные дамы в пользу латинства», свидетельствует Стурдза в своей записке «О судьбе православной церкви», и среди иезуитов искали руководителей для своей совести. Сардинец гр. Ческерен утверждал, что в семейном кругу Александра считали весьма расположенным к католичеству и что императрица мать крайне боялась каких-либо сношений сына с папой и неоднократно убеждала его не заезжать для свидания с римским первосвященником.

Но одно несомненно: Александр пользовался всем и всеми по мере надобности. И не проще ли, не в большем ли соответствии с установленным ныне обликом Александра было бы предположить, что посылка ген. Мишо к папе Льву XII с какими-то таинственными предложениями является обычным для Александра приемом действовать сразу на несколько фронтов. Не надо забывать, что в руках Александра идея Священного Союза, мистика, библейские общества в значительной степени были орудием реакционной политики. Но и мистика, как известно, была заподозрена в революционной опасности. Св. Престол с самого начала относился несочувственно к мистическим увлечениям правительства, а равно и к самой идее Священного Союза: папа, как светский владыка, не подписал акта Священного Союза. Сокрушая мистику, Александр обратился к двум звеньям кафолической церкви — и к реакционному византизму, и к реакционному католицизму. Не в этом ли действительная подкладка, на которой зиждилась «великая идея соединения церквей»? Мечтать о ней Александр мог только на словах, но не в помыслах. И это отвечало всей линии его поведения.

Много лет спустя, уже в наши дни, почти аналогичная комбинация возникала при папе Льве XIII. А кто другой, как не Победоносцев, тогдашний руководитель церковной политики, казалось бы, был более враждебен католицизму? Об'единяла идея совместной борьбы с новым духом. Характерно, что именно в это время и выступил о. Пирлинг со своей статьей: «L'Empereur Alexandre I-er est-il mort catholique?»

По связи с высказанным предположением возможно, что миссия ген. Мишо об'ясняется совсем просто. Припомним, что правительство Александра I довольно единодушно действовало вместе с папой против революционного духа. В 1821 г. Пием VII была издана булла против карбонариев и других тайных обществ. Булла была обнародована в России, а затем, как известно, был издан общегосударственный закон, запрещавший всякие тайные общества.

С Львом XII (преемником Пия VII) добрые отношения на первых порах несколько нарушились, ибо «сей первосвященник и окружающие его прелаты», как гласит официальное сообщение, уклонялись «от правил терпимости и умеренности, коими предместник его руководствовался, и желают, сколько возможно, восстановить прежнюю власть Римского Престола». Новый папа из-

дал в 1824 г. буллу, направленную католическим епископам в Россию без сношения с министерством через миссию. Булла была запрещена, так как в ней было усмотрено «присвоение той неограниченной монархической власти папе в делах церковных», которая «несовместна с правами государей».

Затем правительство скоро усмотрело в действиях римской конгрегации послабление в исполнении буллы Пия VII о тайных обществах. А именно по ходатайству митрополита римско-католических церквей Сестренцевича было дано разрешение епископам «давать отпущение тем, кои некогда принадлежали к тайным обществам, но оставили уже оные». Главное управление иностранных исповеданий нашло, что новый декрет уничтожает «благотворное для общественного спокойствия действие» буллы против тайных обществ и ослабляет «самый государственный закон». Александр I признал действие римской конгрегации «столь важным», что пожелал «собственноручно» о том написать папе.

Всеподданейшая записка 1826 г. главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий, сообщая об этом новому императору, заметила, что последствия сего дела неизвестны.

Не является ли миссия ген. Мишо отзвуком этих недоразумений и опасений, правда, крайне странных, что римская конгрегация будет содействовать росту революционного движения?...

3. АЛЕКСАНДР I — ФЕОДОР КУЗЬМИЧ[1])

Кн. В. В. Барятинский. Царственный мистик (Император Александр I— Феодор Кузьмич). Изд. «Прометей».

Д. Г. Романов. Таинственный старец Феодор Кузьмич в Сибири и император Александр Благословенный. (Легенды и предания, собранные Томским кружком почитателей старца Феодора Кузьмича). Издание Д. Г. Романова. Харьков. 1912 г.

Эта легенда, как исторический материал, окончательно уже сдана в архив. В наши дни интерес может представлять лишь выяснение, как создалась эта легенда, и кто был тот таинственный старец Феодор Кузьмич, с которым народная фантазия (а потом фантастические предположения историков) ассоциировала личность Александра I. Пока для этого нет данных. И авторы второй книги, составленной коллективно, пошли по верному пути, собрав те рассказы, которые ходили и ходят в Сибири о старце Феодоре Кузьмиче, те памятники и вещи, которые остались от старца и т. д. «Целью нашего труда, — говорится в предисловии, — было не категорическое безусловное доказательство истинности существующей легенды, но собирание всех существующих данных, которые бы служили к раз'яснению и обнаружению тайны, которою был окружен этот загадочный сибирский отшельник». И действительно, эта работа заключает в себе изложение всего, что до сих пор известно о старце.

[1]) Эту небольшую рецензию, напечатанную в „Голосе Минувшего", автор помещает в „Мелочах" в целях отметить лишь свою точку зрения на легенду о Феодоре Кузьмиче.

Книга снабжена снимками с вещей, кельи, памятника, документов оставленных старцем (или приписываемых ему). Итак, кто интересуется подобными вопросами, найдет кое-что для себя интересное и новое в преданиях, собранных «Томским кружком почитателей старца Феодора Кузьмича».

Авторы, осторожные более или менее в своих выводах и оговаривающиеся, что они «далеки от мысли категорически утверждать» тождественность Кузьмича и Александра I, все-таки верят в действительность этой легенды и надеются, что она скоро раз'яснится. Блажен, кто верует. Пока они остановились на выводе, что «если на основании имеющихся данных нельзя категорически утверждать, что старец Ф. К. был именно император Александр Благословенный, то в такой же степени нельзя и отрицать того, что Александр Павлович мог явиться в образе таинственного сибирского старца-отшельника». Как раз невозможность последнего и доказана очень определенно и совершенно неопровержимо.

Литература по этому вопросу уже достаточно велика. Томские почитатели Ф. К. насчитали тридцать работ, посвященных разбору легенды. Едва ли не самая обстоятельная из них принадлежит в. к. Николаю Михайловичу «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Феодора Кузьмича». Работа эта, разрешившая вопрос отрицательно, появилась в 1907 г. Для чего вновь пересказывать старую аргументацию через несколько лет?

Если для томских историков основанием является собирание сведений о почитаемом ими старце (в чем они, конечно, могут преуспеть), то мало понятно появление работы кн. Барятинского, поставившего себе целью во что бы то ни стало доказать, что Ф. К. и Александр I — одно и то же лицо. В этом, конечно, автор, пересматривающий лишь старые данные, нисколько не преуспел, что и было доказано уже без труда в фельетонах А. А. Кизеветтера («Русские Ведомости») и П. Е. Щеголева («День»).

Не знаю, правда, стоило ли рассматривать по существу работу кн. Барятинского, имеющую весьма небольшую историческую ценность. Автор поставил себе три вопроса — и на все три отвечает утвердительно: 1) Имел ли император Александр I намерение оставить трон и удалиться от мира? 2) Если он имел это намерение, то привел ли он его в исполнение в бытность свою в Таганроге? 3) Можно ли отождествлять с его личностью личность сибирского старца?

Характерны приемы, при помощи которых разрешаются эти загадки: автор собирает все рассказы о том, как Александр в период с 1817 г. по 1825 г. неоднократно говорил о своем намерении отказаться от престола. И, не думая подвергнуть эти слова какой-либо критической оценке, забывая о том, что Александр и в молодости высказывал те же предположения, автор попросту приходит к положительному ответу на первый вопрос, заявляя при этом довольно категорически, что подобный утвердительный ответ «никогда ни в ком не возбуждал сомнения» (?!) Для разрешения второго вопроса подвергаются анализу все сообщения о смерти Александра, улавливаются противоречия в них и на основании этого устанавливается какая-то весьма проблематичная таинственная загадочность, окружавшая будто бы смерть Александра. Как совершенно справедливо отметил уже А. А. Кизеветтер, «кн. Барятинский во всем видит загадки, странности, таинственные намеки там, где непреду-

бежденный человек не найдет ничего, кроме самых простых фактов, вполне естественных при данном положении вещей».

Путем таких предположений можно доказать все, что угодно. Это в сущности тот же метод беспорядочного пользования источником, который довольно метко высмеян в недавно переведенной остроумной книжке Переса «Почему Наполеона никогда не существовало или великая ошибка—источник бесконечного числа ошибок, которые следует отметить в истории XIX века»[1]).

Кн. Барятинский остроумен в измышлениях и чрезвычайно догадлив при раскрытии тайн, но когда он встречается с простым каким-нибудь фактом, стоящим в противоречии с его идеей, он попросту с удивительной категоричностью отметает его. Можно привести один довольно яркий пример.

Не без оригинальности автор придумал способ проверить показаниями современных врачей показания врачей Александра I. Он разослал анкетный лист с изложением фактов, обнаруженных при вскрытии тела Александра I, и попросил экспертизу определить, от какой болезни последовала смерть. Хотя врачи и заключили, что на основании протокола ничего нельзя сказать определенного, тем не менее, они указали на «возможность смерти от сифилиса». Для автора этого достаточно: ясно, что «в Таганроге было вскрыто тело не Александра». Почему? Потому что эта болезнь совершенно «не соответствует всему тому, что о нем (Александре) известно». Но другой может прийти и к выводу противоположному.

В таком духе и идет все изложение.

Надо сказать, что автор далеко не исчерпал всех возможностей. Фантазия могла бы работать и дальше. У старца Феодора Кузьмича найдены «рукописные остатки». Любители расшифровывать тайны нашли уже несколько ключей к разгадке цифровой кабалистики записок. Один из них восстановил «тайну» в таком виде: «Се Зевес Е. И. В. Николай Павлович, бессовести сославший Александра, от чего аз нынче так страдающи брату вероломну вопию. Да воссия моя держава». Не знаю, почему кн. Барятинский не обратил должного внимания на приведенное толкование: ведь это новая страница для уголовно-исторического романа.

Думается, что и вся книга кн. Барятинского вообще может наибольший интерес представить для любителей чтения таинственных судебных драм. К сожалению, только приходится сказать, что такие работы рассевают в широких кругах читателей фантастические исторические представления.

---

[1]) Перес, „О том, что Наполеон никогда не был“ (изд. „Задруги“).



В ЭПОХУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВОЖДИ АРМИИ [1])

Отдавая должное героизму и мужеству русского солдата, один из современников первых войн александровской эпохи, будущий декабрист Фонвизин, не мог не отметить в своих воспоминаниях, что русская армия уступала французской «в той восторженной пламенной храбрости в нападении, какой французы побеждали все европейские армии». Причины этой «восторженной пламенной храбрости» заключались в той нивеллировке революционных войск, которая об'единяла в одно и вождей и армию. Этих причин, конечно, не могло быть в русской армии,—армии старого порядка и крепостной муштровки. И если мы припомним внешние условия походов 1805 до 1807 гг., то еще с большим удивлением остановимся перед тем фактом, что даже на полях Аустерлица не померкла военная слава России.

Русская армия стояла перед лучшей европейской армией, перед гениальным стратегом и полководцем, перед всеобщим победителем... Ей предстояло огромное испытание в сфере военной подготовки и личной доблести. И если личная доблесть с честью вышла из этого испытания, то первая оставила желать многого. Прежде всего было забыто «мудрое» правило, как выразился современник, что «войну надо начинать с брюха». Престарелый фельдмаршал Каменский, не найдя «ни боевых, ни с'естных припасов, ни госпиталей» в отчаянии даже покинул армию — таким безотрадным казалось ему положение вещей. Интендантские хищения, о которых рассказывает декабрист кн. С. Г. Волконский, сам участник многих боевых действий, приводили к тому, что в армии отсутствовало продовольствие, люди ходили босыми и т. д.[2]). «Солдаты Беннигсена всю зиму (1805—1806 гг.) питались сырым картофелем без соли; они шатались, как тени, без обуви, без приюта, слабели, заболевали и умирали с голода», вот картина, нарисованная современником (приписывается А. Ф. Воейкову, «Русск. Арх.», 1868).

При таких условиях поддерживалась военная честь России... И все-таки армия сохранила мужество, как единогласно свидетельствуют очевидцы. Тем более могла она выдержать искус, когда уже приходилось сражаться не за чужие интересы, выдвинутые сложными мотивами международной политики,

---

[1]) Статья напечатана в издании „Отечественная война и русское общество". Автор предполагал дать характеристику всех наиболее видных полководцев 1812 г. Задача осталась, однако, невыполненной. Помещаемый очерк посвящен взаимным отношениям Барклая и Багратиона, иллюстрирующим характерные черты эпохи; поэтому статья и вводится в сборник.

[2]) См. также письма А. Б. Куракина к императрице Марии Феодоровне.

а более близкие, доступные пониманию каждого солдата, когда приходилось защищать родину от иноземного нашествия; когда развевалось идейное знамя, воодушевлявшее мужество каждого члена армии.

Личные страдания стушевывались перед общей задачей. А страдания были велики. Мемуаристы 1812 года останавливаются долго на описании ужасов, сопровождавших отступление голодной французской армии, когда даже трупы павших товарищей служили пищей; голодный француз с вороной послужил нескончаемой темой для изощрения остроумия патриотических карикатуристов и баснописцев. Но, к сожалению, здесь забывалось положение и русской армии, подчас пребывающей «без хлеба», на что так часто приходится жаловаться Кутузову (см., напр., письмо Шувалова Александру 31 июля 1812 г.). А иногда этот хлеб из «черного теста» и «рубленой соломы» был таков, что его не мог есть и голодный француз. (Воспоминания сержанта Бургоня.)

О «бедственном положении армии» уже в начале сентября 1812 г. говорил в своих письмах и гр. Ростопчин. Так, он пишет Аракчееву 15 сентября: «Войска в летних панталонах, без обуви и в разодранных шинелях. Провиантской части недостает, и Милорадовича корпус шесть дней не имел хлеба. Дух у солдат упал. Они и многие офицеры грабят за 50 верст от армии... Наказывать всех невозможно»[1].

Не понятна ли причина того ужасающего мародерства в русской армии, в борьбе с которым уже под Смоленском (см., напр., воспоминания Жиркевича) был беспомощен Барклай[2]) и которое лишь усиливалось в дальнейшем при Кутузове?[3]).

Об этих бесчинствах в армии в свою очередь сообщает Ростопчин 19 сент. в таких словах: «Если наши крестьяне начнут драться с нашим солдатом (а я этого жду), тогда мы накануне мятежа, который непременно распространится по соседним губерниям, где раненые, беглые и новобранные полки также производят неурядицу.»

Сопоставим «пышность» в обиходе некоторых вождей русской армии—и тем разительнее получится картина. Какой, наконец, скорбью и полной бес-

---

[1]) Историк Отечественной войны А. Попов, сопоставляя донесения Ростопчина с сообщением английского генерала Вильсона императору Александру, также от 15 сентября, где говорится, что армия „изобилует хлебом, мясом, водкою" и что ее состояние прекрасно, приписывает характеристику, сделанную Ростопчиным, его личному раздражению. В это время Ростопчин, негодуя на Кутузова, всеми средствами старался очернить фельдмаршала, отмечая его нераспорядительность („он спит, ест, ничего не делает и столь равнодушно взирает на бедственное положение армии, что нимало не принимает мер для перемен оного"). Однако указание Попова лишь отчасти справедливо: оно показывает, что Ростопчин, попав в „оппозицию", не считал уже нужным прикрашивать действительность, как он это делал, когда был у власти. Показания Ростопчина совпадают с указаниями многих современников. Напр., 12 сентября Виллие указывает Аракчееву, что причина умножения больных в армии „недостаток хорошей пищи и теплой одежды" (злосчастные „летние" панталоны"). То же говорит и переписка Александра I с Кутузовым по поводу дезертирства и т. д.

[2]) „Войска, кои делают грабеж, не могут быть храбры" — говорится, напр., в приказе Барклая 22 июня.

[3]) Приказ 22 авг. предписывает без пощады наказывать мародеров; 3 сент. предписывается расстреливать на месте всякого мародера, оказывающего сопротивление.

помощностью веет от такого, напр., лаконического донесения полкового лекаря Красоткина по поводу положения транспорта раненых, отправленных из Калуги в Белев: «на многих рубашки или вовсе изорвались или чрезвычайно черны . . . не переменяя другой целый месяц рубашки, на которую гнойная материя, беспрестанно изливаясь, переменила даже вид оной». (Булычев. «Архивные сведения Отечественной войны 1812 г. по Калужской губ.») Отсюда развитие эпидемий, «ужасающая» убыль людей (напр., из ополчения по Тарусскому уезду из 1.015 человек вернулось лишь 85) и т. д. и т. д.

Таковы неисчислимые жертвы, принесенные русским солдатом в знаменательную эпоху на алтарь отечества[1]).

При самых невероятных условиях существования дух армии был силен сознанием, что она исполняет свой долг перед родиной. И вовсе не нужны были те искусственные меры возбуждения ложного патриотизма, которые практиковали деятели 1812 г., подобные гр. Ростопчину. Всякая ложь во всех случаях служит только ко вреду.

У этой армии были и даровитые вожди, которые, по словам генерала В. И. Левенштерна, одного из пострадавших от клеветы современников, «без сомнения, могли быть поставлены наравне с лучшими генералами наполеоновской армии». Среди них мы встретим людей беззаветной личной храбрости, каким был, напр., Багратион, павший при Бородине. Но среди них не было одного — не было единодушия, той необходимой солидарности, отсутствие которой не могут искупить ни личное геройство, ни личные боевые достоинства.

Русская армия с самого начала войны с Наполеоном была центром бесконечных интриг, соперничества, зависти и борьбы оскорбленного самолюбия. В этом, кажется, нет сомнений; это единодушное показание всех современников. Не даром гр. Шувалов в письме к Александру (31 июля 1812 года) указывает, что, при таком положении в армии, дело может быть потеряно «sans ressource». И в самом деле, еще в период похода 1805—1806 гг. обнаруживаются обостренные отношения между русскими военачальниками. Беннигсен интригует против Каменского, Буксгевден «из зависти» мешает Беннигсену, последний свои неудачи стремится свалить на другого и по его представлению бар. Остен-Сакен предается военному суду. Начинается кампания 1812 года, и отношения обостряются еще более. Открывается поход против Барклая-де-Толли, в интригах против него замешаны чуть ли не все военачальники, начиная с Багратиона и Ермолова и кончая второстепенными флигель-ад'ютантами. Подкопы против Барклая достигают, в конце концов, своей цели: он вынужден передать главное командование Кутузову, а затем и совсем оставить армию. И тогда английский ген. Вильсон, находившийся в русской армии, выражает надежду, что вражда кончится, и Беннигсен подчинится Кутузову. Но напрасны такие надежды. Беннигсен давно уже намечал себя в кандидаты на пост главноначальствующего. После взятия Смоленска, зная, какое отрицательное впечатление производят в обществе пререкания главнокомандующих (Барклая и Багратиона), как недовольно общество отступлением русской армии, Беннигсен спешит в Петербург, дабы предстать здесь «готовым кандидатом на пост главнокомандующего», но он опоздал и по дороге встре-

[1]) См. также мою статью „Русские под Данцигом". (Из дневников кн. Д. М. Волконского). Напечатана в „Гол. Мин." 1912 кн. 6.

чает Кутузова с повелением состоять при нем начальником штаба. С этого момента начинается длинная цепь интриг и жалоб на Кутузова со стороны Беннигсена в письмах к императору, Аракчееву и к частным лицам. Цель его—опорочить Кутузова, отметить его ошибки и все успехи приписать исключительно себе... «Борьба за начальство есть неискоренимая причина раздора», должен пессимистически признать ген. Вильсон. И вскоре, 28 сентября, Вильсон пишет Александру: «Я должен просить, Ваше Величество, чтобы Вы благоволили прекратить, как можно поспешнее, примеры раздора». В конце концов, Беннигсен был удален из армии. Однако и тут интриги не кончились.

Уже сам Вильсон, ранее выдвигавший на пост главнокомандующего Беннигсена, порочит Кутузова, будучи недоволен тем, что фельдмаршал «не имеет иного желания, как только того, чтобы неприятель оставил Россию, когда от него зависит избавление целого света». Армия «превратилась в интриги», как метко заметил Ростопчин, сам один из наиболее резких хулителей действий Кутузова после оставления Москвы. И понятно, что Кутузов получает от императора письмо с упреком в «бездействии». Допустим, что Кутузов делал тактические ошибки, мнимые или действительные. (Оценка деятельности Кутузова не входит в задачу этой статьи). На эти ошибки указывал, между прочим, Барклай и старался исправить их настолько, насколько это зависело от него (при Бородине, и при отступлении из Москвы). Понятно желание исправить замеченные ошибки; искренно можно было негодовать на хаотичность ведения дела при Кутузове, на что, как мы знаем, жалуются многие из современников; искренно можно было не доверять стратегическим талантам главнокомандующих армий, стараться повлиять на перемену их и т. д.: оценка талантов всегда слишком суб'ективна и, следовательно, критика и естественна, и законна. Но когда эта критика сводится к мелким подчас сплетням, как, напр., у Ростопчина, к явно нелепым доносам, к обвинению в измене, то это уже попросту интрига. Так было с Барклаем, так было отчасти и с Кутузовым, которого Вильсон в письме к лорду Каткарту упрекает в излишней любви к «французским комплиментам», в том, что Кутузов слишком «уважает сих хищников», т. е. французов[1]). (Почти то же повторяется и по отношению Беннигсена: последний «слишком наклонен признавать французское правительство законным и прочным»).

С интригами на почве соперничества мы встречаемся слишком часто[2]), чтобы можно было не говорить о их деморализующем влиянии даже на хороших генералов. Возьмем Коновницына, пользовавшегося славою «отменно храброго и твердого в опасности офицера» (отзыв ген. Ермолова в его записках), и однако этот офицер, проявив много «бесстрашия» под Витебском, игнорирует своими обязанностями, «негодуя, что команду над

---

[1]) Поводом послужили слова, сказанные, будто бы Кутузовым Вильсону после сражения при Малоярославце: „Я нисколько не полагаю, чтобы совершенное истребление Наполеона и его войск было таким благодеянием для вселенной. Наследство его достанется не России"...

[2]) Часто они и по внешности даже не носят принципиальной подкладки, напр., когда Д. В. Давыдов жалуется, что все его „обходят" в наградах, тогда как ему принадлежит инициатива действий партизанов, он первый подал „прожект" по этому поводу. Когда, наконец, Ермолов порицает своего соперника гр. Толя и т. д.

войсками принял ген. Тучков». Витгенштейн из-за того же чувства «недоброжелательства» или из боязни поступить под команду Чичагова отказывается соединиться с армией главнокомандующего при Березине, начав «вымышленное им преследование войск короля баварского», затрудняет или даже совершенно лишает возможности Чичагова выполнить свою миссию. «Нет побуждающих причин — замечает в своих записках ген. Ермолов — говорить не в пользу гр. Витгенштейна, известного рыцарскими свойствами, предприимчивого на все полезное. Не соответствующие этому случайности могли принадлежать постороннему внушению». Но ведь тем более знаменательно, что интрига или «постороннее внушение» могли затронуть человека рыцарского характера...

И такие эпизоды вовсе были не единичны. И это тогда, когда армия стояла перед лицом врага, силу которого старик Кутузов в разговоре с Ермоловым оценивал в таких выражениях: «Если бы кто два или три года назад сказал мне, что меня изберет судьба низложить Наполеона, гиганта, страшившего всю Европу, я, право, плюнул бы тому в рожу». Почву для этих интриг в значительной степени создавала та своеобразная и весьма сложная система руководства армией, которая принята была Александром после от'езда из армии под давлением известной записки, поданной Аракчеевым, Шишковым и Балашевым. Желая во что бы то ни стало сохранить руководство всем делом—ведь Александр мнил себя, как мы знаем, великим полководцем—и в то же время, по своему обыкновению, никому не доверяя, Александр окружил своих главнокомандующих особо-доверенными лицами, которым было предоставлено право интимных донесений непосредственно императору. Получился, таким образом, своего рода шпионаж. При Барклае таким лицом был назначен Ермолов — к тому же враг Барклая; при Кутузове — Беннигсен; при Багратионе — Сен-При; при Чичагове — Чернышев и т. д. Если принять во внимание, что Александр весьма часто вмешивался непосредственно в командование, посылая распоряжения начальникам частей, минуя главное командование, то легко себе представить путаницу, которая получалась в армии. Сен-При, напр., наблюдал за Багратионом, а последний, считая своего «дядьку» почти что за наполеоновского шпиона, окружал его с своей стороны досмотрщиками. От взаимного контролирования, к которому стремился Александр, получалась лишь цепь бесконечных интриг. Откровенный Чичагов прямо написал Александру: «Если г. Чернышев останется здесь, то он должен воздержаться писать Вашему Величеству. Мне это ничего, но это вредит дисциплине—это дает орудие и надежды интриганам, которых везде вдоволь».

Многие из участников кампании 1812 г. пострадали незаслуженно от пышно расцветшей в русской армии интриги. Малейшая неудача сейчас же вызывала намеки на измену: так было, напр., с Чичаговым, которого ген. Ланжерон, участник березинского дела, не иначе именует, как «Ангелом-Хранителем Наполеона»[1]).

Так было и с ген. Пфулем, которому, как писал Александр позже (в декабре 1813 г.), принадлежала инициатива в выработке плана кампании против Наполеона. После неудачи с Дрисским лагерем, Пфуль оказался

[1]) Чичагов вообще был большой поклонник революционной Франции (Воспоминания Эделинг).

под подозрением у националистов. «Несчастного Пфуля сразу проклинали изменником, так как московское общество очень расположено к подозрению и щедро на прозвища»—говорит Ростопчин, сам более всех других склонный к неосновательной подозрительности и повинный в интригах. Но, вероятно, более всех от этих интриг пострадал Барклай-де-Толли, один из наиболее выдающихся вождей русской армии в эпоху Отечественной войны.

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ И БАГРАТИОН

„О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле, тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой.
И в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою,
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им, тебя лукаво порицал“...

Невольно вспоминаются эти Пушкинские стихи. Сколько действительно драматизма в личности Барклая. Быть может, из всех вождей Отечественной войны он заслуживает наибольшей признательности со стороны потомства. Но не Барклай сделался народным героем 1812 г. Не ему, окруженному клеветой, достались победные лавры... А между тем он лучше всех понимал положение вещей; если не он предусмотрел спасительный план кампании[1]), то он твердо и логично осуществлял его, пока был в силах, несмотря на злобные мнения вокруг. И его преемник должен был пойти по его пути. Не он виноват был в первых ошибках. Даже недоброжелательно настроенный к нему ген. Ермолов, и тот должен снять ответственность за первые неудачные шаги с Барклая: «Не только не смею верить,—говорит Ермолов в своих записках,—но готов даже возражать против неосновательного предположения, будто бы военный министр одобрял устроение укрепленного при Дриссе[2]) лагеря и, что еще менее вероятно, будто не казалось ему нелепым действие двух разобщенных армий на большом одна от другой расстоянии, и когда притом действующая во фланге армия не имела полных пятидесяти тысяч человек». Здесь уже приходилось умолкнуть перед решением высшей власти, т. е. перед вмешательством со стороны Александра, путавшего карты и подчас заставлявшего Барклая принимать те или иные военные операции, которые составлялись в тылу под наблюдением императора. И главнокомандующий должен был подчас в недоумении спрашивать, что будет делать армия в том или ином случае—так именно было в лагере под Дриссой.

Во всяком случае, Барклай, судя по отзывам современников, был одним из лучших русских генералов, — человек знания и дела. Как ни бледна характеристика Барклая, сделанная Ермоловым в «Записках», но и она много

---

[1]) Возможность плана отступления была подсказана Александру I Бернадотом. Тот же план отстаивал ген. Пфуль.

[2]) По плану Пфуля.

говорит, если принять во внимание, что эта характеристика исходит от друга Багратиона, в свою очередь повинного в интригах и известного своею нелюбовью к «немцам». «Не принадлежа превосходством дарований к числу людей необыкновенных, он излишне скромно ценил свои способности», — пишет Ермолов. «Барклай — человек ума образованного, положительного, терпелив в трудах, заботлив о вверенном ему деле, равнодушен в опасности, недоступен страха. Свойств души добрых!».. Отмечая другие свойства, Ермолов заключает: «Словом, Барклай-де-Толли имеет недостатки с большей частью людей неразлучные, достоинства же и способности, украшающие в настоящее время весьма немногих из знаменитейших наших генералов». Ермолов отмечает, что при всех хороших своих качествах Барклай страдал недостатком: «нетверд в намерениях, робок в ответственности... Боязлив перед государем, лишен дара об'ясняться. Боится потерять милость его» ... Мы увидим дальше, что все факты опровергают эти последние черты, приписываемые Барклаю биографом. Независимость Барклая, которую как характерную черту его отмечает М. А. Фонвизин, много раз подтвердилась на деле и, быть-может, в значительной степени и вызывала нелюбовь соратников и подчиненных.

Недаром очень злой в характеристике современников Логинов, секретарь Елисаветы Алексеевны, говорит, что «Барклай один стоял против всех бурь». «Барклай, выведенный из ничтожества Аракчеевым, который думал управлять им, как секретарем ... показал, однако же, характер, коего Аракчеев не ожидал»..... Он «ни на шаг не уступал ему, когда вступил в министерство»... Если мы вспомним, как подобострастно относились почти все, власть имущие, к временщику, то поведение «честного и тяжелого немца» еще резче выделится на общем фоне подобострастия. Барклай был человек дела, к тому же обладавший большой работоспособностью (ее отмечает и Ермолов).

Барклай «никогда не отдыхал» — рассказывает ген. Левенштерн, — «работал даже ночью». Назначенный военным министром, он не подходил к общему тону придворной жизни, не разделял и вкусов тогдашней военщины. Человек образованный, еще будучи шефом Егерского полка, он старался внушить подчиненным офицерам, что военное искусство далеко не заключается только в «изучении одного фронтового мастерства». Он боролся против господствовавшей тенденции «всю науку, дисциплину и воинский порядок основывать на телесном и жестоком наказании» (знаменитый циркуляр военного министра 1810 г.). И этим он вызвал уже «злобу сильного своего предместника», т.-е. Аракчеева, который «поставлял на вид малейшие из его (т.-е. Барклая) погрешностей». Неожиданному возвышению Барклая завидовали, а он, «холодный в обращении», замкнутый в себе, «неловкий у двора», не думал снискивать к себе расположение «людей близких государю». Барклай не был царедворцем и по внешности. Вот как рисует его Фонвизин: «с своей холодной и скромной наружностью (Барклай), был невзрачный немец с перебитыми в сражениях рукою и ногою, что придавало его движениям какую-то неловкость и принужденность»...

Таким образом еще до войны вокруг Барклая скопилось много зависти, злобы и ненависти. Но император Александр ценил его, учитывая его заслуги во время шведской войны. «Вы развязаны во всех ваших действиях», писал 30 июля 1812 г. с обычной своей неискренностью Александр, для которого

скромный и сдержанный Барклай был предпочтительнее самомнительного и пылкого Багратиона.

И Барклай сознательно шел к поставленной цели, проявляя свою обычную работоспособность, показывая «большое присутствие духа» и «мудрую предусмотрительность» (Фонвизин).

Но вокруг него кипела зависть и борьба. «Всякий имел что-нибудь против Барклая, — вспоминает ген. Левенштерн, — сам не зная почему». Все действия главнокомандующего критиковались; без «всякого стеснения» обсуждались его «мнимые ошибки». Действительно, против Барклая в полном смысле слова составился какой-то «заговор», и заговор очень внушительный по именам, в нем участвующим. Не говоря уже о таких природных интриганах, как Армфельт и свитских флигель-ад'ютантах, все боевые генералы громко осуждали Барклая — и во главе их Беннигсен, Багратион, Ермолов и многие другие. Такие авторитетные лица, как принц Ольденбургский, герцог Вюртембергский, великий князь Константин Павлович, командовавший гвардией, открыто враждовали с Барклаем. Было бы хорошо, если бы дело ограничивалось тайными письмами, в которых не щадили «ни нравственный его (Барклая) характер, ни военные действия его и соображения». Нет, порицали открыто, не стесняясь в выражениях, лицемерно чуть ли не обвиняя его в измене. В гвардии и в отряде Беннигсена сочинялись и распространялись насмешливые песни про Барклая. Могла ли при таких условиях армия, не понимавшая действий главнокомандующего, верить в его авторитет, сохранять к нему уважение и любовь? Игру вели на фамилии, на «естественном предубеждении» к иностранцу во время войны с Наполеоном. Любопытную и характерную подробность сообщает в своих воспоминаниях Жиркевич: он лично слышал, как великий князь Константин Павлович, под'ехав к его бригаде, в присутствии многих смолян утешал и поднимал дух войска такими словами: «Что делать, друзья! Мы невиноваты . . . Не русская кровь течет в том, кто нами командует . . . А мы и болеем, но должны слушать его. У меня не менее вашего сердце надрывается» . . . «Представить не можешь, — писал, напр., ген. Дохтуров своей жене,—какой это глупый и мерзкий человек Барклай».

Вследствие этого терялось, конечно, и уважение к Барклаю в обществе. «Не можешь вообразить, как все и везде презирают Барклая» — писала, напр., своей подруге из Тамбова 27 августа известная Волкова.

Какой действительно трагизм! Полководец «с самым благородным, независимым характером, геройски храбрый, благодушный и в высшей степени честный и бескорыстный» (так характеризует Барклая декабрист Фонвизин), человек беззаветно служивший родине и, быть может, спасший ее «искусным отступлением, в котором сберег армию», вождь, как никто, заботившийся о нуждах солдат, не только не был любим армией, но постоянно заподазривался в самых низких действиях. И кто же виноват в этой вопиющей неблагодарности? Дикость черни, на которую указывает Пушкин, или те, кто сознательно или бессознательно внушали ей нелюбовь к спасавшему народ вождю?

Надо было проявить много твердости, чтобы парализовать тот «дух происков» в армии, на который жаловался Барклай в своем «изображении военных действий 1 армии в 1812 г.». Он проявил достаточную независимость, выслав в Петербург нескольких царских флигель-ад'ютантов, находившихся в главной квартире. Он не остановился перед удалением из армии цесаревича

Константина, признав присутствие его в армии «бесполезным»: Константин Павлович из Дорогобужа был отправлен с депешами к государю, и был чрезвычайно оскорблен навязанной ему ролью «фельд'егеря». Но Барклай буквально был окружен недоброжелателями. Он знал о ропоте солдат. Он знал, что победа примирила бы его с армией. Но, как должен признать Ермолов, «обстоятельства неблагоприятны были главнокомандующему и не только не допускали побед, ниже малых успехов». А поражение нанесло бы непоправимую уже брешь.

Но почему же Барклай, окруженный такой нелюбовью, сам не сложил с себя звания главнокомандующего? И не честолюбие, очевидно, играло здесь роль — Барклай слишком страдал от окружавшей его неприязни, чтобы не принесть в жертву свое честолюбие, как полководца. Здесь, может-быть, в высшей степени проявилась его твердость — русские военачальники на первых порах слишком все пылали стремлением одерживать победы, слишком самоуверенно смотрели вперед, мало оценивая всю совокупность «неблагоприятных обстоятельств» и опасность положения. И, может-быть, было бы большим несчастием для России, если бы командование перешло к пылкому и самонадеянному Багратиону, который и по чинам и по положению в армии имел все шансы сосредоточить его в своих руках.

Барклай и Багратион были люди совершенно различного темперамента. Ужиться им было слишком трудно. Пылкость и горячность Багратиона мало подходила к уравновешенности Барклая. Багратион был «неподражаем в своих мгновенных вдохновениях», говорит Фонвизин. Это «рожденный чисто для воинского дела человек», по отзыву декабриста Волконского. «Отец, генерал образу и подобию Суворова» (Ростопчин). Но при всех этих качествах Багратион был человек «не высоко образованный», как отмечают в один голос все его друзья. И в этом отношении он должен был уступить Барклаю. «Одаренный от природы счастливыми способностями, остался он без образования и определился в военную службу», — пишет Ермолов. «Все понятия о военном ремесле извлекал он из опытов, все суждения о нем — из происшествий, по мере сходства их между собою, не будучи руководим правилами и наукою и впадая в погрешности» . . .[1]). «Если бы Багратион, — добавляет Ермолов, — имел хоть ту же степень образованности, как Барклай-де-Толли, то едва ли бы сей последний имел место в сравнении с ним». Но именно этой «образованности» у Багратиона не было. Поэтому Барклай, имея более Багратиона «познаний в военных науках, — по словам Фонвизина, — мог искуснее его соображать высшие стратегические движения и начертать план военных действий». Одним словом, Багратион был, несомненно, хорошим боевым генералом, человеком большого энтузиазма и личного геройства. Быть-

---

[1]) Вот еще несколько черт для характеристики Багратиона, сообщаемых Ермоловым. „Неустрашим в сражении, равнодушен в опасности. Не всегда предприимчив, приступая к делу, решителен в продолжении его. Неутомим в трудах. Блюдет спокойствие подчиненных; в нужде требует полного употребления сил. Отличает достоинство, награждает соответственно. Нередко, однакоже, преимущества на стороне тех, у кого сильные связи, могущественное у двора покровительство. Утонченной ловкости перед государем, увлекательно лестного обращения с приближенными к нему. Нравом кроток, несвоеобычлив, щедр до расточительности. Не скор на гнев, всегда готов на примирение. Не помнит зла, вечно помнит благодеяния“. . . Подчиненный, „почитая за счастье служит с ним, всегда боготворил его. Никто из начальников не давал менее чувствовать власть свою“.

может, все это хорошие качества для полководца, но не в тот момент, и не при тех условиях в каких находилась Россия в начале кампании 1812 г.

Отличаясь «умом тонким и гибким», по отзыву Ермолова, Багратион, к сожалению, не проявил этих качеств в отношении к Барклаю. Быть-может, причиною этого и было отсутствие образования. Слишком непосредственно отдаваясь своим чувствам и не вдумываясь в положение вещей, Багратион был один из самых горячих противников Барклая. Но для него есть одно оправдание — повидимому, он был искренен в своих суждениях, тем более, что он не был осведомлен достаточно об общем плане.

Стоит прочесть несколько писем Багратиона с поля брани, чтобы понять психологию противника Барклая. У него много самонадеянности, пожалуй, даже хвастливости, как это часто бывает у людей, не получивших образования. Он откровенно признается Ермолову в письме от 6 июля: «Я не понимаю ваших мудрых маневров. Мой маневр — искать и бить!» «Военная система, — писал на другой день Багратион Александру, — по моему та: кто рано встал и палку в руки взял, тот и капрал». Исходя из тезиса, что «русский и природный царь должен наступательный быть, и что русские не должны бежать» (в письме к Аракчееву), Багратион весьма презрительно относится к силам неприятеля. «Чего нам бояться? — пишет он Александру. — Неприятель, собранный на разных пунктах, есть сущая сволочь». «Божусь вам, — пишет он же Ростопчину, — неприятель дрянь, сами пленные и беглые божатся, что если мы пойдем на них, они все разбегутся».

Мы приведем еще несколько последовательных выдержек из писем Багратиона к императору, Аракчееву, Ростопчину и Ермолову, в которых так ярко выступает наивность Багратиона, его самоуверенность, а иногда и отчаяние, что его не слушают.

«За что вы срамите Россию и армию? — пишет он Ермолову в июле, в начале кампании. — Наступайте, ради Бога! Ей Богу, неприятель места не найдет, куда ретироваться. Они боятся нас... Нет, мой милый, я служу моему природному государю, а не Бонапарте. Мы проданы, я вижу; нас ведут на гибель; я не могу равнодушно смотреть. Уже истинно еле дышу от досады, огорчения и смущения. Я, ежели выберусь отсюдова, тогда ни за что не останусь командовать армиею и служить: стыдно носить мундир, ей Богу, и болеть. А ежели наступать будете с первой армиею, тогда я здоров. А то, что за дурак? Министр сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать... Если бы он был здесь, ног бы своих не выдрал, а я выйду с честью и буду ходить в сюртуке, а служить под игом иноверцев-мошенников — никогда!... Ох, жаль, больно жаль России! Я со слезами пишу прощай, я уже не слуга. Выведу войска на Могилев, и баста! Признаюсь, мне все омерзело так, что с ума схожу... Наступайте! Ей Богу, оживим войска и шапками их закидаем. Иначе будет революция в Польше и у нас»... «Ради Бога, не срамитесь, наступайте, а то право куда стыдно мундир носить: право, скину», пишет Багратион Ермолову вновь через несколько дней. «Мне одному их бить невозможно»... «Никого не уверишь ни в армии, ни в России,—пишет Багратион в то же время Аракчееву,—чтобы мы не были проданы». «Я один защищать России не могу». «Я никак вместе с министром не могу, — пишет он тому же лицу 29 июля. —Ради Бога—пошлите меня куда угодно»... «Я клянусь вам моей честью, —сообщает он 7 августа,—что Наполеон был в таком мешке, как никогда,

и он мог бы потерять половину армии, но не взять Смоленска». Самоуверенность Багратиона в письме к Ростопчину 14 августа идет еще дальше: «Без хвастовства скажу вам, что я дрался лихо и славно. Господина Наполеона не токмо не пустил, но ужасно откатал» . . . «Если бы я один командовал . . . пусть меня расстреляют, если я его в пух не расчешу». Но как не верны были расчеты Багратиона, показывает его письмо от 8 августа, где он уверяет Ростопчина, что ныне «столица обеспечена» . . . Порицая образ действий Барклая, Багратион не стесняется в отзывах: «Ваш министр,—пишет он Аракчееву,—может хороший по министерству, но генерал не то, что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего отечества». Барклай «не имеет вожделенного рассудка или лисица», характеризует он своего соперника в письме к Ростопчину. Указывая на себя в письме Александру, он замечает: «Иноверцы[1]) не могут так усердно служить» . . . Наконец Барклай не только изменник, но и «иллюминатус».

Наивность и искренность, в которые Багратион облекал свои выступления против Барклая, служат оправданием для личности Багратиона, геройски павшего на поле брани. Но если личные его подвиги давали высокие примеры бесстрашия и мужества, то бестактные поступки против Барклая не могли не иметь деморализующего влияния. А между тем именно Багратион при своем влиянии в армии мог быть лучшей опорой Барклая. Барклай ценил достоинство Багратиона, щадил его самолюбие, когда последнему, несмотря на старшинство в чинах, связи при дворе и огромную популярность в армии, пришлось при соединении под Смоленском двух армий стать в подчинение к Барклаю. Такт Барклая проявился уже в том, что он лично поехал навстречу Багратиону.

Однако поведение Багратиона способно было вывести из терпения и всегда спокойного Барклая. Если верить рассказам очевидцев, в армии происходили бесподобные сцены: дело доходило до того, что главнокомандующие в присутствии подчиненных «ругали в буквальном смысле» один другого: «Ты немец, тебе все русские нипочем», кричал Багратион. «А ты дурак, и сам не знаешь, почему себя называешь коренным русским», отвечал Барклай. Можно ли в таких условиях говорить о какой-либо солидарности в действиях, являвшейся одним из главных залогов успеха . . .

Обострение отношений между главнокомандующими, непосредственность их взаимоотношений (Багратион фактически должен был подчиниться Барклаю, а между тем армия его продолжала составлять отдельное целое с особым штабом и т. д.), сознание необходимости об'единить армии всецело в одних руках привело к назначению Кутузова.

Как отнеслись к этому факту Барклай и Багратион? Любопытное замечание по этому поводу делает в своих записках Ростопчин, как мы знаем уже, благожелательно настроенный к Багратиону: «Барклай,—сообщает он,—образец субординации, молча перенес уничижение, скрыл свою скорбь и продолжал служить с прежним усердием. Багратион, напротив того, вышел

---

[1]) „Националисты" 1812 г. усердно распространяли такое мнение в общественных кругах. Любопытно привести отзыв по этому поводу современника, небезызвестного Греча: „Отказаться от участия иностранцев было то же, что по внушению патриотизма, не давать больному хины, потому что она растет не в России"... „Да и чем лифляндец Барклай менее русский, нежели грузин Багратион. Скажут: этот православный, но дело идет на войне не о происхождении Св. Духа".

из всех мер приличия и, сообщая мне письмом о прибытии Кутузова, называл его мошенником, способным изменить за деньги». Правда, А. Н. Попов не без основания указывает[1]), что последний отзыв может быть заподозрен в правдивости, так как записки Ростопчина, писанные много лет позже событий 1812 г., далеко не всегда являются надежным источником. Ростопчин излагает в записках некоторые события уже не так, как они рисовались ему в момент действия. И, вероятно, резкие слова, приписанные Багратиону и являющиеся отчасти отзвуком недоброжелательного отношения самого Ростопчина к Кутузову, должны быть сильно смягчены. Но можно думать, что в них есть и доля правды.

При своей излишней прямолинейности, Багратион мог сгоряча сказать что-нибудь весьма резкое, так как, надеясь получить место главнокомандующего, Багратион отрицательно относился к Кутузову. Человек, как мы видели, весьма самонадеянный, Багратион думал, что он один может спасти Россию, что он один достоин вести войска к победе над Наполеоном. Багратион, конечно, знал, что многие указывали на него, как на заместителя Барклая. «Впоследствии я узнал,—говорит Ростопчин в своих записках, —что Кутузову было поручено многими из наших генералов просить государя сместить Барклая и назначить Багратиона». Не показывает ли это, что честолюбие и соперничество являлось и у Багратиона стимулом выступлений против Барклая? Не даром Ермолов, в ответ на жалобы Багратиона, —и тот должен был устыдить его: «Вам, как человеку, боготворимому подчиненными, тому, на кого возложена надежда многих и всей России, обязан я говорить истину: да будет стыдно вам принимать частные неудовольствия к сердцу, когда стремление всех должно быть к пользе общей; это одно может спасти погибающее отечество наше! .. Принесите ваше самолюбие в жертву погибающему отечеству нашему, уступите другому и ожидайте, пока не назначат человека, какого требуют обстоятельства» . . .

Барклай безропотно подчинился и «в полковых рядах сокрылся одиноко». Самолюбие Барклая должно было страдать ужасно. Его заместитель явился с обещанием: «скорее пасть при стенах Москвы, нежели предать ее в руки врагов». И должен был последовать, в конце концов, плану Барклая. На военном совете после Бородина, когда Барклай первый высказал мысль о необходимости отступления, Кутузов, по словам Ермолова, «не мог скрыть восхищения своего, что не ему присвоена будет мысль об отступлении». И здесь постарались набросить тень на Барклая. Кутузов, желая сложить с себя ответственность, указывал в своем донесении, что «потеря Смоленска была преддверием падения Москвы», не скрывая намерения, говорит Ермолов, набросить невыгодный свет на действия главнокомандующего военного министра [2]), в котором и не любящие его уважали

---

1) „Русск. Арх.", 1875, IX, 17.

2) А. Н. Попов („Русск. Арх.", 1875, X, 144), ссылаясь на письмо Кутузова к Ростопчину с просьбой „уверить всех московских жителей..., что еще не было ни одного сражения с передовыми войсками, где бы наши не одерживали поверхности, а что не доходило до главного сражения, то сие зависело от нас, главнокомандующих", говорит, что Кутузов не только не отделял себя от своих предшественников и не желал отклонить от себя те укоры, которыми их осыпало общественное мнение, но, покрывая своим значением все их действия, готов был при-

большую опытность, заботливость и отличную деятельность. Ведь записки писались, когда острота событий прошла [1]).

На Бородинском поле Барклай проявил свою обычную предусмотрительность и энергию. Быть может, и не совсем скромно было со стороны Барклая писать своей жене: «Если при Бородине не вся армия уничтожена, я—спаситель», то все же это более, чем понятно, когда заслуги Барклая в этот момент явно не желали признавать. Барклай, уже лишившись главного командования, продолжал чувствовать к себе недоверие. Терпеть создавшееся двойственное положение было для Барклая слишком тяжело. И он искал смерти на поле битвы.

— Там устарелый вождь, как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший первой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти...
Вотще!..

Это не поэтический вымысел Пушкина. На другой день Бородина Барклай сказал Ермолову: «Вчера я искал смерти и не нашел». «Имевший много случаев,—добавляет Ермолов,—узнать твердый характер его и чрезвычайное терпение, я с удивлением видел слезы на глазах его, которые он скрыть старался. Сильны должно быть огорчения.»

Откровенные мнения Барклая о «беспорядках в делах, принявших необыкновенный ход», не нравились Кутузову. И в конце концов Барклай (22 сентября) совсем оставил армию. «Не стало терпения его, — замечает Ермолов:—видел с досадою продолжающиеся беспорядки, негодовал за недоверчивое к нему расположение, невмешательство к его представлениям»... Выступая с критикой, Барклай поступил честнее всех других. Он откровенно высказал в письме к Кутузову все те непорядки, которые господствовали в армии. «Во время решительное,—писал он,—когда грозная опасность отечества вынуждает отстранить всякие личности, вы позволите мне, князь, говорить вам со всею откровенностью»...

нять на себя самого". Вряд ли с этим можно согласиться. Скорее Кутузов всегда отделял себя от своих предшественников. И если первые его обращения к войскам, выражавшие удивление, что с подобными молодцами можно отступать, следует, пожалуй, об'яснить тактическим приемом возбуждения энергии в войсках, то отношение к Барклаю скорее следует об'яснять желанием набросить „тень" на действия своего предшественика, как и указывает Ермолов.

[1]) Записки Ростопчина могут служить еще раз примером того, как впоследствии современники вольно или невольно изменили свои взгляды на людей и события. В „Записках" Ростопчин очень тепло отозвался о Барклае, признавал за ним все хорошие качества полководца и отдавал ему несомненное предпочтение перед Багратионом. „Барклай — пишет Ростопчин, — был человек честный, благоразумный, методический... У него не было других забот, как сохранить армию... Он отличался необыкновенной храбростью и часто удивлял своим хладнокровием... Багратион, обладая многими дарованиями для того, чтобы быть хорошим генералом, был слишком необразован для того, чтобы быть главнокомандующим. Он очень хвастался тем, что был ученик и любимец Суворова. Он хотел непременно драться... и если бы он начальствовал войсками... может быть погубил их"... А между тем в начале кампании 1812 г. Ростопчин совсем по-другому относился к деятельности Барклая; лучшим свидетельством является его письмо Александру 23 июля: „Москва и войска в отчаянии от бездействия и слабости военного министра, который совершенно подчинился Вольцогену. В главной квартире спят до десяти часов утра".

Но еще с большей откровенностью высказался он в письме к императору Александру 24 сентября, т. е. тогда, когда решение оставить армию было принято им уже окончательно. «Я умоляю, ваше величество,—писал Барклай,—сделать мне это благодеяние, как единственную милость, которую прошу для себя» . . . «Я не нахожу выражений, чтобы описать ту глубокую скорбь, которая тяготит мое сердце, когда я нахожусь вынужденным оставить армию, с которой я хотел и жить и умереть. Если бы не болезненное мое состояние, то усталость и нравственные тревоги должны меня принудить к этому. Настоящие обстоятельства и способы управления этой храброй армией ставят меня в невозможность с пользою действовать для службы» . . . И Барклай очень резко отзывается об армии, находящейся под управлением неопытных лиц, причисленных к «свите двух слабых стариков, которые не знают другого высшего блага, как только удовлетворение своего самолюбия, из которых один, довольный тем, что достиг крайней цели своих желаний, проводит время в совершенном бездействии и которым руководят все молодые люди, его окружающие; другой—р а з б о й н и к, которого присутствие втайне тяготит первого» . . . Высказав все накопившееся чувство негодования, Барклай ушел . . .

И хотя имя Барклая было реабилитировано после 1812 г. и ему вновь было поручено командование армией; хотя и памятник ему поставлен рядом с Кутузовым, но все же не Барклай вошел в историю с именем народного героя Отечественной войны. А, быть может, он более всех заслужил эти лавры.

РОСТОПЧИН — МОСКОВСКИЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ [1])

По словам современника Евреинова, никогда в Москве так не веселились, как в 1811 году[2]). Московским обывателям не верилось, чтобы «французы подумали напасть на Россию», как сообщает из Москвы Поздеев А. К. Разумовскому. Несмотря на все старания литературных французо-ненавистников, веселящаяся Москва довольно равнодушна к их обличениям и колкой сатире. Одним словом, Москва еще очень далека от «патриотического возбуждения». Зато «бессмертные московские», как именует Ростопчин в письме к Александру московских отставных вельмож, не прочь поиграть в оппозицию. Фрондерство — это специфическое явление Москвы, которое отметила еще в 1806 г. мисс Вильмот, компаньонка кн. Дашковой. «Все те, кто ныне не в милости, фрондируют». «Москва,—пишет Вильмот,—это государственные политические Елисейские поля России».

Среди этих фрондирующих московских дворян, находящихся «не в милости», долгое время числится и гр. Ростопчин, популярный в Москве за свои «острые и забавные выходки». Через тверской салон вел. кн. Екатерины Павловны Ростопчин делает свою новую карьеру. Самолюбивому Александру самомнительный Ростопчин был «глубоко антипатичен»[3]). В этом нет никаких сомнений. И по словам А. Я. Булгакова, одного из московских друзей Ростопчина, Александр долгое время отклонял предложение Екатерины Павловны о назначении Ростопчина московским генерал-губернатором. В ответ на настойчивые предложения тверского кружка Александр будто бы приводил аргумент, что Ростопчин, «состоя в звании обер-камергера, в гражданской службе не может занять место, требующее военного мундира», на что Екатерина Павловна возражала: «Mais c'est une affaire du tailleur». Но так или иначе, уже в феврале 1812 г. Ростопчин получает новое назначение (официально указ последовал в Вильне 24 мая).

---

[1]) Напечатано в издании „Отечественная война и русское общество“.

[2]) М. Евреинов, „Память 1812 г.“ („Р. Арх.“, 1874, I).

[3]) Ségur „Vie de Rostopchine“. Александр не любил непрошенных советчиков, в числе которых, как мы знаем, пытался выступать с 1806 г. вождь русских „националистов“ Ростопчин. Очень чутко относящийся к малейшим намекам на свое воцарение, Александр не забывал и фразы, дошедшей до него, будто бы сказанной Ростопчиным одной из своих родственниц: „Бог не может покровительствовать войскам плохого сына“. Сказано это было по поводу неудачи под Аустерлицем. Между тем Александр весьма болезненно воспринимал свои военные неудачи.

В сущности на нового главнокомандующего возлагается определенная задача: возбудить в Москве перед войной патриотическое настроение и прежде всего возжечь «в сердцах» дворянства любовь к императору «совсем почти погасшую», как выражался Ростопчин в письме к Александру 17 декабря 1806 г. «Скажите Ростопчину»,—писала Екатерина Павловна А. П. Оболенскому,—что он «должен в о с п л а м е н и т ь дворянство...» Ему стоит только «указать на опасность, в каком находится отечество, и на народное значение этой войны.»

Перед Ростопчиным и другая задача, помимо примирения правительства с фрондирующим дворянством,—борьба с внутренней крамолой, борьба с опасной сектой «мартинистов» и русских «якобинцев». Уничтожить дворянскую «фронду» весьма легко. Еще в декабрьском письме 1806 г. Ростопчин указывает простое средство. Ведь «сие знаменитое сословие, одушевленное духом Пожарского и Минина, жертвует всем отечеству и гордится лишь титлом Россиян». Но «все сие усердие... обратится в мгновение ока в ничто, когда толк о мнимой вольности подымет народ на приобретение оной истреблением дворянства, что есть во всех бунтах и возмущениях единая цель черни». Вопрос о «мнимой вольности» сошел уже со сцены, либерализму перед 12 годом была дана окончательная отставка. И, следовательно, здесь задача Ростопчина упрощалась — оставалось только указать на «опасность», грозившую дворянству, на необходимость самообороны и пожертвований во имя сохранения status quo. Бо́льшей энергии требовала борьба с опасной политической партией — союзом «мартинистов», рисовавшимся в фантастических построениях графа Ростопчина в виде какого-то таинственного заговора, сосредоточием которого являлась Москва. Ростопчину, по собственному признанию, «приходилось слышать страшные слова», и он убежден, что при малейшем волнении в народе «лицемеры-мартинисты явятся открытыми злодеями. Они притворяются смиренниками, чтобы возбуждать беспорядки». Сюда и должна быть направлена наибольшая энергия облеченного монаршим доверием нового «московского властелина».

Он явился в Москву гордый сознанием, что ему поручена великая миссия спасения отечества. Крепостник и реакционер по убеждениям, фанатически враждебный к Франции, как к носительнице революционных идей, и к Наполеону, как к порождению той же революции, человек неумный, чрезвычайно плоский в своих остротах и шутках, не только на словах, но и на деле, Ростопчин должен был ознаменовать свою деятельность грубым самодурством и произволом.[1]) Этот Дон-Кихот реакции создавал фантом революции, с которым боролся во имя саморекламы и самовосхваления. Человек в высокой степени неискренний, любивший позировать и оригинальничать, Ростопчин каждому своему действию, каждому совему выступлению придавал пышную внешнюю инсценировку. В каждом его поступке слы-

---

[1]) В своей шуточной автобиографии „Жизнь Ростопчина, списанная с натуры в десять минут", довольно верно сам определил свое самодурство: „Я был упрям, как лошак, капризен, как кокетка, весел, как дитя, ленив, как сурок, деятелен, как Бонапарте; но все это—когда и как мне вздумается". И далее: „голова моя была розрозненная библиотека, в которой никто не мог добиться толку, и ключ к которой был только у меня". Здесь Ростопчин, пожалуй, ошибался — ключа от головы не было и у него самого.

шится нота фальши. Он с нее начал и в момент вступления на пост московского главнокомандующего. В Москве Ростопчин должен показать пример патриотического служения, «полезный в нынешних обстоятельствах». И он просил при назначении его в Москву «жалованье определить очень большое для того, что на первой почте я напишу письмо к министру полиции с просьбой, что на все время войны я служу без жалованья». И по приезде в Москву он прежде всего хочет «бросить пыль в глаза». С этой целью, по собственному признанию, в день вступления в должность «велел отслужить молебен перед всеми чудотворными иконами, которые весьма почитает народ». «Двух дней» оказалось достаточным Ростопчину, чтобы таким путем «бросить пыль в глаза». Таково его личное признание (Воспоминания).

Удалось ли это ему в действительности? Если от назначения Ростопчина и были в восторге такие лица, как Багратион, видевший в Ростопчине олицетворение истинно-русского начала и относившийся поэтому к нему с «обожанием»; если это назначение приветствовали искренние и наивные «патриоты», в роде С. Н. Глинки, готового противопоставлять Ростопчина Наполеону[1]) и тем доставлявшего, конечно, огромное удовлетворение самолюбивому графу, то общее впечатление от назначения скорее было не в пользу Ростопчина. В Москве были удивлены, увидев балагура-вельможу в роли «московского властелина». Современник Бестужев-Рюмин это впечатление передает в таких характерных словах: «Признаюсь откровенно, что лишь только я узнал о сей перемене начальства (т.-е. о назначении вместо Гудовича Ростопчина), сердце у меня облилось кровью; как будто я ожидал чего-то очень неприятного». И, конечно, он был совершенно прав, так как Ростопчин был уже известен, как представитель того боевого национализма, который, в конце-концов, неизбежно приводил к пробуждению самых низменных шовинистических чувств, самых дурных инстинктов в некультурных массах.

Дух патриотизма Ростопчина, как нельзя лучше, охарактеризовал К. Н. Батюшков, сказавший еще по поводу «Мыслей на Красном Крыльце» и литературной деятельности Глинки: «любить отечество должно... но можно ли любить невежество?» Московский барин, державший француза-повара, из'яснявшийся и переписывавшийся только на французском диалекте, понимал проявление патриотизма в виде самых грубых выходок. Ростопчинские друзья, с'ютившиеся в его московской гостиной, приходили в восторг от «забавных» выходок своего покровителя. Правда, проявления этого острого ума были довольно трафаретны. Булгаков не без удовольствия рассказывает, как однажды он принес лубочный портрет Наполеона, и Ростопчин тут же написал на нем площадное двустишие. Он же передает о горячих спорах Ростопчина с женой из-за того, что московский главнокомадующий поместил дорогой бронзовый бюст Наполеона в совершенно неподходящем месте. Жена Ростопчина — католичка — протестовала, так как Наполеон был коронованной особой, помазание над которым совершал сам римский первосвященник. Но Ростопчин ни за что не хотел уступить жене...

---

[1]) В эпоху французолюбия Ростопчина (в 1800 г. Р. был сторонником союза с Францией против Англии) придворные льстецы, как свидетельствует Чарторижский также любили Ростопчина сравнивать с Наполеоном — это два человека современности.

Таково было убогое остроумие знаменитого московского патриота. Неужели в этом проявлялся действительный ум?[1]). Нет ничего удивительного, что многие из друзей Ростопчина восторгались этими буффонадами — ко многим из таких друзей вполне может быть применено замечание Батюшкова: «самый Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур . . .»

Небезынтересно для личной характеристики Ростопчина отметить тот факт, что назначение его встретило несомненное сочувствие в среде московских иезуитов: «перемена губернатора, — писал аббат Сюрюг, — будет для нас выгодна. Я имел случай представиться ему и был им принят хорошо. Обещание графа оказывать нам особенное покровительство дает самые счастливые надежды». Можно было бы подумать, что здесь косвенно оказывала влияние на московского патриота его жена — католичка. В действительности дело обстояло проще. У гр. Ростопчина, как мы могли уже убедиться, отнюдь не было какой-либо органической ненависти к иностранцам. Его узкий национализм был наносного происхождения, в значительной мере позой. Он ненавидел только свободомыслие, проявление которого заподазривал и там, где его не могло быть. И здесь, в отцах-иезуитах, он находил и несомненных помощников по политическому сыску, и врагов ужасных — «мартинистов». Отсюда вытекала и возможность «особенного покровительства» иезуитам со стороны Ростопчина.

Таков был Ростопчин в интимной обстановке, таковы же были и внешние проявления его власти, как начальника Москвы. Деятели, подобные Ростопчину, не понимали, а, может-быть, и не могли понять, что здоровый патриотизм не нуждается в искусственных прививках, что он сам естественно заложен в народных чувствах. Они ставили своей целью взвинтить народное настроение, действуя на суеверные чувства, возбудить бессознательную ненависть к французам и тем подвинуть народ на «патриотические» подвиги. В 1812 г. это было в моде. Нашелся даже ученый, дерптский профессор Гецель, который, истолковывая два места из Апокалипсиса, в числе зверином открыл имя антихриста — Наполеона. Свое изыскание он предложил Барклаю распечатать «для усугубления бодрости духа русского воинства». Синод следовал по тому же пути, и в том же духе действовал гр. Ростопчин, старавшийся разбудить человеконенавистнические чувства в своих подчиненных. Но надежда на разнузданность толпы — надежда, чреватая последствиями. И, в конце-концов, деятельность гр. Ростопчина привела к самым печальным результатам.

Эта деятельность, как мы знаем, направленная в три стороны (привлечение дворянских сердец, борьба с революцией и под'ем народного патриотизма), естественно была тесно связана с ходом событий на театре военных действий, от которого зависела агрессивность ростопчинской политики.

Когда враг был еще далеко, Москва отнюдь не проявляла того «патриотического» возбуждения, которое хотелось видеть Ростопчину, принявшему на себя миссию спасителя отечества. Московское общество скорее негодовало, что правительство легкомысленно втянулось в войну.

Императора, по словам Ростопчина, прямо обвиняли в том, что он при-

---

[1]) „Мелкое ничтожество" — таков отзыв о Ростопчине кн. А. Б. Лобанова-Ростовского.

чина близкой гибели России, потому что не хотел предупредить или избежать третьей войны с противником, который уже дважды победил его.

Московское простонародье на первых порах также не проявляло большого воинственного пыла. Достаточно припомнить знаменитую сцену, разыгравшуюся 12 июля в Кремле. По случаю молебствия Кремль набит народом. Вдруг по толпе пронесся слух, что запирают ворота и будут брать каждого силою в солдаты. В несколько минут, рассказывает очевидец, ростовский городской голова Маракуев, Кремль опустел. Это, конечно, был вздорный слух, но москвичи прекрасно знали, что гр. Ростопчин, которому было поручено образование военной силы в московском округе, не остановится перед самыми вопиющими мерами насилия. Они знали, что мещане и господские люди, взятые в смирительный и рабочий дом за пьянство и распутство, забираются в рекруты, что еще 28 июня, по просьбе Ростопчина, ему разрешено зачислять в армию нижними чинами за «проступки» всех «неимеющих ремесла, офицеров и нижних классов чиновников праздношатающихся» («Письмо Балашова к Ростопчину»). Отсюда так легко могла возникнуть паника. Припомним еще один характерный эпизод, происшедший в имении старика Свербеева. Воспылав воинственным пылом, семидесятилетний Свербеев собрал своих «Богом и государем данных подданных» и предложил им «итти против врага, замыслившего в сатанинской своей гордости разорить нашу веру и покорить себе нашу милую родину». Однако его ждало большое разочарование — нашелся всего один охотник. Здесь сказался простой «здравый смысл», как замечает в своих воспоминаниях Д. Н. Свербеев. Крестьяне, «еще до об'явления им моим отцом, предугадали, что будет большой набор, и тут же заговорили: «Из чего же нам итти в охотники? Кто похочет, тот и пойдет, когда будут набирать, а то, пожалуй, охочие найдутся, а положенных возьмут без замину . . .». Ростопчин, конечно, подобные инциденты об'яснял исключительно происками зловредных «мартинистов», которых со всем усердием стал разыскивать по Москве. «Если к несчастью вашему — назойливо пристает Ростопчин к Александру — жестокому врагу удастся поколебать верность ваших подданных, вы увидите, государь, что мартинисты тогда обнаружат свои замыслы . . . и если у вас недостанет решимости, то русский престол будет отнят у вас и вашего рода». Для Ростопчина здесь только средство устрашения Александра, к которому он прибегал постоянно и не в меру. В действительности же по отношению к «мартинистам», это была ловля призраков, созданных воображением гр. Ростопчина и донесениями окружающих его шпионов.

В число «мартинистов» и «якобинцев» Ростопчин зачислял всех, кто только позволял себе высказывать какое-либо неодобрительное суждение по поводу мероприятий главнокомандующего. В частности Ростопчин «мартинистами» именовал небольшой достаточно реакционный кружок московских масонов во главе с Лопухиным, Ключаревым, Кутузовым и Поздеевым. Не давал ему покоя и мирно доживающий старость в своем с. Авдотьине Новиков, над которым Ростопчин учредил через бронницкого капитана-исправника полицейскую опеку. Верил ли сам Ростопчин в те страхи, которые он старательно внушал правительству? Верил ли он в возможность пропаганды со стороны масона Поздеева (которому, в конце-концов, запретил в'езд в Москву) — этого ярого крепостника, вполне солидарного с Ростопчиным в вопросе об опасности возмущения крестьян против дворянства; верил ли он в

«якобинизм» сенатора Кутузова — реакционера, заподозривавшего даже Карамзина, ростопчинского приятеля, не более, не менее, как в том же «якобинстве»; верил ли он, наконец, в действительную опасность со стороны барственного мистицизма кружка Лопухина, столь враждебного и Франции и французской революции? Если допустить, что под чужим влиянием Ростопчин действительно поверил, то это показывает лишь его поразительную недалекость[1]). Против масонов Ростопчина настраивали его друзья иезуиты, относившиеся к масонам и мистикам без различия направления с той же ненавистью, с какой относились к ним в конце царствования Александра и отечественные представители ортодоксального православия. Стоит прочитать переписку аббатов Сюрюга и Бюлли, чтобы увидать, что поход на мартинистов открыт был под их непосредственным влиянием.

А Ростопчину не все ли равно было, кого заподазривать в измене? Ему надо было лишь запугать Александра угрозой революции, внушить к себе доверие и показать, что он один может справиться на таком важном посту в Москве, где чуть ли не половина населения состоит из «наполеонистов». Ростопчин выбирал неугодных себе лиц, с которыми и сводил таким путем личные счеты. Наиболее ярким примером в данном случае является гонение на почт-директора Ключарева, позволившего себе высказать «нелестное мнение» о Ростопчине. С другой стороны, по словам Рунича, у Ростопчина явилось подозрение, что Ключарев обнаружил его тайную переписку с Тверью. Надо Ключарева удалить под видом опасного «мартиниста». Ростопчин, впрочем, еще недостаточно уверен в своей власти, не уверен, что его авторитет твердо стоит в мнении Александра. И поэтому он просит фельдмаршала Салтыкова воздействовать на удаление Ключарева, но получает в ответ, что император полагает, что «теперь не время делать подобные перемещения». Это был, конечно, афронт для Ростопчина. В борьбе с «мартинистами» он должен был таким образом учитывать то обстоятельство, что заподозренные им лица находились в больших чинах и занимали видные административные положения.

Александр не хотел «лишнего шума», как показывает распоряжение императора по поводу ареста доктора Сальватора, лица, близкого ростопчинскому предшественнику на московском посту гр. Гудовичу. Сальватор как раз явился жертвой иезуитской интриги. Сюрюг неоднократно жаловался на притеснения со стороны Гудовича под влиянием Сальватора, явного «революционера» и «якобинца». Дело Сальватора заставило Ростопчина шуметь еще больше о революции и таким образом найти более конкретные признаки для обвинения неприятных ему лиц. Ростопчина понемногу опьяняла власть, и он действительно хотел быть настоящим «московским властелином». Приставивши для тайного наблюдения за Ключаревым своего доверенного полицеймейстера Брокера, прежде служившего в почтовом ведомстве и личного врага Ключарева, Ростопчин искал только случая, чтобы расправиться с Ключаревым. Благодаря энергии Брокера, такой случай скоро представился, — это и было знаменитое в летописи московской жизни дело Верещагина.

---

[1]) Для нас нет никакого сомнения в том, что Ростопчин не верил в ту фантастику, которую он создавал вокруг остававшегося в Москве кружка масонов. Надо лишь сопоставить различные этапы отношения Ростопчина к Новикову, Лабзину, Лопухину и др., чтобы отчетливо увидеть всю лживость Ростопчинской натуры. См. в „Мелочах о Ростопчине“.

Молодой человек из купеческой семьи, получивший для своего времени хорошее воспитание, перевел на русский язык два газетных сообщения о Наполеоне, а именно: «Письмо Наполеона к прусскому королю» и «Речь Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». Для чего было это сделано? Может-быть, из простого личного любопытства, может-быть, для того, чтобы познакомить «друзей» с упомянутыми газетными сообщениями. Понятно, что общество интересовалось действиями Наполеона, а между тем цензура свирепствовала и решительно не пропускала никаких сообщений из заграничной печати.

Ростопчин раздул дело Верещагина до огромных размеров, представив виновника перевода в образе злейшего злодея, составителя прокламаций. «Вы увидите, государь, — писал он Александру 30 июня, — из моего донесения к министру полиции, какого откопал я здесь злодея... Сочинитель прокламации от имени врага своего отечества и в начале войны есть изменник и государственный преступник. Не дай Бог, чтобы здесь произошло волнение в народе, но если бы произошло, то я наперед уверен, что эти лицемеры — мартинисты явятся открытыми злодеями»...

3 июля в «Московских Ведомостях» появилось специальное об'явление о Верещагине и о вновь открытом заговоре. Таким путем создалось громкое дело[1]), давно желанное Ростопчину; дело, при помощи которого он мог подкопаться под Ключарева. Верещагин был предан суду и, как сообщает Рунич, ему «велено» было говорить, что он получил прокламации для списывания от одного из сыновей Ключарева[2]). В Москве раскрытие Ростопчиным злодейского покушения на целость государства вызвало с самого начала различное впечатление.

Если Глинка, преклонявшийся перед Ростопчиным и готовый верить всякой сплетне об измене, приветствовал Ростопчина даже стихами:

«Ты всюду простираешь очи,
Открыл плоды ты развращенья,
Сплетенья вымыслов пустых,
Плоды нерусского ученья,
Плоды бесед и обществ злых»,

---

1) Верещагинское дело наиболее полно изложено в „Бумагах, относящихся до Отечественной войны 1812 г.“, изданных П. И Щукиным, ч. VI и VIII.

2) Возможно, впрочем, что это было действительно так, т.-е. что он мог получить запрещеную газету через сына Ключарева. Так, по крайней мере, по словам свидетелей, сказал Верещагин отцу. Верещагин на допросе отвергал это, указывая, что он с сыном Ключарева даже не был знаком и что „сказал так единственно потому, чтобы тем сделать уверение в справедливости, опасаясь, что если скажет о сочинении оной им, то не только что ее не примут за справедливость, но получит еще наказание от отца“. Верещагин показывал обер-полицмейстеру Ивашкину, что нашел газету, „шедши с Лубянки на Кузнецкий мост... против французских лавок“.

Верещагин поступал благородно, принимая на себя всю ответственность и не желая замешивать никого в процесс. Этим благородством Ростопчин, руководивший следствием, воспользовался для усиления вины Верещагина. Запутанный на следствии, Верещагин 26 июня дает письменное показание, в котором он отрекается от прежнего показания; он показывает, что не только не находил газетного листа, но даже нигде и ни от кого не получал такового, не видал и не переводил, а чувствуя поступок свой, противный закону, думал, не оправдает ли его такое несправедливое показание о найдении им будто бы газетного листа и о переводе с него“ Следовательно, Верещагин сочинитель. Этим признанием и воспользовался Ростопчин.

то другим более наблюдательным современникам уже первоначальное об'явление главнокомандующего показалось ложью. Таково было впечатление Бестужева-Рюмина, таково, по его словам, было впечатление всеобщее. «Впрочем, — добавляет автор воспоминаний, — бумаги сии (т.-е. «прокламации» Верещагина) и сами по себе не сделали особенного впечатления в н а р о д е». Конечно, они не могли произвести «впечатления» уже потому, что и не предназначались для распространения в массе[1]). Назвать их «прокламациями» мог лишь гр. Ростопчин в своем стремлении создать себе популярность открытием несуществующего заговора. Достаточно привести инкриминировавшиеся Верещагину места из переведенных статей, чтобы видеть ясно, как все это далеко было даже от возможного намека на какие-то «прокламации». В первой статье попадалась такая фраза, обращенная Наполеоном к прусскому королю: «Очень радуюсь, что вы . . . заглаживаете недостойный вас союз с потомками Чингиз-Хана». А в другой говорилось: «я держал свое слово и теперь говорю: прежде шести месяцев две северные столицы Европы будут видеть в стенах своих победителей Европы»[2]) . . . Ростопчин придал злостный умысел этому переводу, признав безапелляционно, что Верещагин как бы согласен с мнением, высказанным Наполеоном.

17 июля послушный Ростопчину магистрат вынес решение, коим Верещагин ссылался вечно в каторжные работы в Нерчинск, а Мешков, по лишении чинов и личного дворянского достоинства, отдавался в военную службу. По мнению магистрата, государственного изменника следовало бы «казнить смертью», но «за отменением оной» пришлось ограничиться каторжными работами.

Вторая инстанция — первый департамент палаты уголовного суда с такой же быстротой утвердил приговор. Ростопчин немедленно же отправил приговор в сенат, который 19 августа вынес уже окончательное постановление. Сенат признал, что Верещагин «изобличен и сам сознался в составлении пасквильного сочинения и что по силе узаконений уложения 2 гл. 2 пункта, военных артикулов 131 и указа 1762 г. июня 19-го, подлежит смертной казни, но как таковая казнь указом 1754 года, сентября 30 дня, отменена, да и от означенного пасквиля н и м а л е й ш е г о в р е д а н е последовало, и потому что он, Верещагин, п о д е л у н е и з о б л и ч а е т с я в том, что н а м е р е н был причинить означенным пасквилем какой-либо в р е д, а написал оный, как сам показывает, единственно из ветренности мыслей, желая похвастаться новостью, каковое показание его о б с т о я т е л ь с т в о м д е л а н е о п р о в е р г а е т с я, то, согласно мнения главнокомандующего Москвы, нака-

---

[1]) Следствие выяснило, что Верещагин читал 17 июня своей мачехе бумагу, чтобы показать: „вот что пишет злодей французов". Рассказывал о ней и отцу. Затем — встретившись в кофейной с губернским секретарем Мешковым, рассказал и ему, но перевода не дал. А Мешков, интересуясь содержанием, пригласил его в гости и под винными парами выманил бумагу и списал. Отсюда пошли списки в публике. „Я сам видел их у многих моих чиновников в департаменте и списал для себя копии, — рассказывает Бестужев-Рюмин, — но, прочитав в „Московских Ведомостях" об'явление графа Ростопчина и чтобы не подвергнуть себя неприятностям, сжег их у себя".

[2]) Приводим эти места в том виде, как они записаны Бестужевым-Рюминым. Уничтожив у себя списки, Бестужев „потом уже в 1814 г. списал их вновь из печатной русской книги".

зать его, Верещагина, кнутом, двадцатью пятью ударами[1]), потом, заклепав в кандалы, сослать в каторжные работы».

В сущности мотивы сенатского приговора поразительны даже для начала XIX века. По этим мотивам жёстокий приговор был совершенно бессмыслен. Мы должны помнить эти мотивы. Тогда позднейшее поведение Ростопчина в верещагинском деле выступит особенно ярко. Выяснится не только беззаконие, не только жестокость расправы Ростопчина, но и допущенная им ложь в официальных донесениях во имя своего личного оправдания, ложь и в позднейших воспоминаниях.

Ростопчин первоначально хотел покончить дело Верещагина без всякого судебного расследования. Любитель театральных эффектов (а может быть, не доверяя сенату, — ведь дело юридически было аргументировано весьма слабо, он просил Александра (30 июля) прислать указ, «чтобы Верещагина повесить, потом, заклеймив его под виселицей, сослать в Сибирь на каторжную работу». «Я постараюсь придать, — пишет он императору, — торжественный вид этому зрелищу, и до последней минуты никто не будет знать, что преступник будет помилован». Желательность подобного решения Ростопчин мотивировал таким соображением: «Суд над ним (Верещагиным) в нисших инстанциях не может быть продолжителен, но дело поступит в сенат и затянется. Между тем необходимо, чтобы приговор исполнен был как можно скорее в виду важности преступления, волнений в народе и сомнений в обществе». Если император пришлет указ, он может согласовать «п р а в о с у д и е» (?) с своим «милосердием», это послужит «ужасающим примером для народа и особенно для некоторых тайных злодеев».

Но еще 6 июля Ростопчин получил предписание от Салтыкова: «не приводя окончательного решения в исполнение», представить дело министру юстиции для доклада государю, и, казалось, жизнь Верещагина была спасена. Но пока невинный Верещагин ждал в тюрьме решения своей участи, нить событий развертывалась своим чередом, и московский властелин все менее и менее начинал считаться с общественным мнением и предписаниями из Петербурга.

Уже одно дело Верещагина (не говоря о других, возникших одновременно с Верещагиным) должно было достаточно терроризировать московских обывателей.

Москва ждала царя, и гр. Ростопчин желал во всем блеске показать результаты своего недолгого управления, показать прежде всего, как сумел он «возжечь сердца» московских дворян.

Восьмидневное пребывание Александра в Москве в обычном изображении полно сцен высокого патриотического возбуждения, — все сословия в благородном порыве готовы принести на алтарь отечества имущество и жизнь. Толпы народа с ликованием встречают Александра и самоотверженно готовы итти на-смерть в борьбе с ненавистным врагом. Такова была внешность, отчасти подготовленная самим Ростопчиным во имя всегдашнего его принципа «бросать пыль в глаза». Несомненно, известный под'ем был. Этот под'ем обусловливался начавшейся войной.

Неизбежно росло тревожное настроение; в каждом начинало говорить чувство самосохранения. Но опасность была еще далека. Если у некоторых

[1]) Это прибавлено по предложению Ростопчина.

пессимистов являлось опасение о возможности появления Наполеона в Москве, то, конечно, у огромного большинства и не зарождались еще подобные подозрения. А при таких условиях патриотический под'ем не мог дойти до такого воодушевления, которое влечет за собой решение жертвовать всем имуществом. Об этом, конечно, никто еще не помышлял. При полной готовности оказать общественную помощь правительству, и помину не было в действительности о тех сценах, которые описывают часто историки.

Д. Н. Свербеев в своих записках очень метко сказал, что «восторженность дворянства была заранее подготовлена гр. Ростопчиным». То же можно сказать и о купечестве. Свербеев рассказывает, как ближайший помощник Ростопчина, губернатор Обрезков, «обделывал» купцов, «сидя над ухом каждого, подсказывая подписчику те сотни, десятки и единицы тысяч, какие, по его умозаключению, жертвователь мог подписать». Мы видим, что картина довольно прозаическая. И нетрудно понять, почему отец Свербеева, семидесятилетний старик, вернувшись из Москвы, значительно растерял свой воинственный пыл. Ростопчин сам довольно образно рассказывает, как он подготовил единодушие дворянства на собрании 15 июля в Слободском дворце. По его словам, он еще 12 июля узнал, что некоторые «мартинисты» хотят спросить государя: какие имеются средства обороны, т. -е., очевидно, были желающие в связи с вопросом о пожертвованиях поставить и вопрос об общественном контроле. Ростопчин предупредил фрондеров, что такой господин «во всю прыть полетит в дальний путь». И чтобы придать значение своим словам, велел неподалеку от Слободского дворца поставить две тележки, запряженные лошадьми, и двух полицейских офицеров, одетых по дорожному. Слух, пущенный Ростопчиным, дошел по назначению, и главнокомандующий был удовлетворен. Все прошло гладко: «хвастуны, — как выразился он, — вели себя умно».

Но, конечно, само по себе дворянское фрондерство в это время рассеялось, как пух. Оно было неуместно уже с точки зрения чисто сословных имущественных интересов, которые слишком непосредственно захватывала война. Так или иначе, но с именем Наполеона связывалось неизбежное как бы освобождение крестьян от крепостной зависимости. Бесчисленное количество фактов указывают на полное недоверие дворянства к народу, боязнь возмущения против привилегированных. В этом отношении чрезвычайно характерен факт, передаваемый в воспоминаниях Хомутовой, — факт, относящийся к моменту ожидания царя в Москве 11 июля. В кремлевских залах собрались представители дворянства. Уже поздний вечер, а Александра все еще нет. «Стали тревожиться, громкий разговор превратился в шопот — в молчание. Едва слышным голосом стали говорить: «государь погиб». В толпе пробежал трепет, — всему готовы были верить или всего бояться. На Спасской башне пробило десять часов; народ на площади заволновался. Демидов притронулся к локтю похолоделою рукою и сказал: «Бунт» . . . И это слово, переходя из уст в уста, слилось в глухой гул . . . Вскоре стала известна причина этого волнения (в народе); прибыл курьер от государя с известием, что сам он приедет лишь завтра». Как ярко, действительно, говорит описанная картина о настроениях московских дворянских кругов.

Этой революции, революции снизу и боялся более всего «русский барин» (как именует себя Ростопчин), взявший на себя неудачную миссию демагога.

Хотя позднее, в письме к издателю «Русского Вестника» (май, 1813 г.) Ростопчин уверенно говорил, что напрасно Наполеон прельщал русский народ вольностью — «вольности у нас никто не хочет, ибо лучшего никто не хочет»; хотя 1-го августа 1812 г. в письме он и уверял Балашова: «Наполеон считал на-слово свободу, но она не подействует»; хотя 12-го августа писал он Багратиону: «главная его (Наполеона) пружина — вольность не действует и о ней лишь изредка толкуют пьяницы»,—однако уже одно то, что Ростопчин так часто возвращается к этой мысли, показывает всю силу его опасений. Крепостник, уверенный, что народ «от жиру» бесится, делается как бы крестьянским ходатаем. Еще 11-го июля он пишет императору, что посещением Иверской и защитой крестьян он снискивает расположение «добрых и верных подданных». Эти «добрые и верные подданные» проявляют явное недовольство помещиками, которое Ростопчин в письме к Балашову (23-го июля) об'ясняет увольнением казенных крестьян от ополчения, что вызывает зависть у помещичьих крестьян. Одновременно Ростопчин считает необходимым сообщать в письмах к Александру всякий вздорный слух, имеющий отношение к вопросу о крепостном праве. Так, 8-го сентября он сообщает о молве, гласящей, что Александр дозволил Бонапарту «проникнуть» в свои владения с тем, чтобы он провозгласил свободу от имени русского царя. Он не преминет в то же время сделать выпад против «мартинистов». «Все злые слухи, — пишет он Александру 13-го августа, — распускаемые с целью обвинить вас, все это идет от мартинистов, и всех неистовее университет, состоящий из якобинцев — профессоров и воспитанников».

Играя таким путем на чувствах страха, Ростопчин обеспечивал себе возможность действовать в революционной якобы Москве самовластно. Чувство полной безнаказанности так определенно уже звучит в только что цитированном письме к Александру: если «полиция затруднится сдерживать негодяев, проповедующих бунт (в письме упоминаются Кутузов, Чеботарев и Дружинин), то я велю некоторых повесить».

Но уже и до этой угрозы Ростопчин со своими недоброжелателями расправляется без стеснений. Не дождавшись ответа сената по поводу своего представления о «неблаговидных» и «подозрительных» поступках Ключарева, Ростопчин при посредстве открытий «патриота» Брокера (как иронически именует в своих записках помощника московского главнокомандующего Рунич), нашел новый криминальный поступок в ведомстве Ключарева. 7 августа схвачен, по доносу Брокера, один почтамтский чиновник по подозрению в том, что «посредством писем распространял страх и безнадежность внутри империи». За несколько дней перед тем арестован надворный советник Дружинин, тот самый начальник экспедиции иностранных газет, который по делу Верещагина оказал противодействие агентам Ростопчина. Наконец, 10 августа, арестовывается и высылается в Воронеж сам Ключарев. С «болтунами», не занимающими никакого общественного положения, Ростопчин поступает еще проще. По собственному признанию, этих «болтунов», проявлявших себя от времени до времени, он сажал в сумасшедшие дома и отрезвлял при помощи холодных душей и микстур, напр., студента Урусова, о чем сам же сообщает в письме к Балашову 23 июля. Некоторые из ростопчинских апологетов и в подобных издевательствах находили проявление остроумия и юмора «московского властелина». В числе «зломыслящих» людей мы видим актера Сандунова, отправленного в Вятку, и многих других. Свое представление о «на-

строении умов» в столице Ростопчин составлял на основании донесения своих агентов. История запечатлела фигуру одного из этих агентов, вечно пьяного сыщика Яковлева, — фигура достаточно типичная, чтобы видеть, насколько компетентны были сведения московского главнокомандующего о политических симпатиях того или иного московского обывателя.

Во второй половине августа Ростопчин так уверен в своих силах, так уверен, что он своей энергичной деятельностью извел всякую крамолу в столице, что предлагает гр. Толстому переправить Сперанского из Нижнего в Москву «для прекращения деятельности мартинистов». Сперанский и в ссылке не дает ему покоя[1]). В июне он всеми мерами старается воздействовать на императора в целях еще большего очернения своего врага, показать, что Сперанский чрезвычайно опасен. «Н а р о д (?) снова возмутился против Сперанского», пишет он Александру 30 июня. «Презренный» Сперанский, — сообщает он 23 июля, — опасен в Нижнем, где он находит сочувствующих мартинистов даже в лице представителей высшего духовенства нижегородского, епископа Моисея»[2]). Ростопчину очень хотелось заполучить Сперанского в Москву; если этого не произошло, то под его влиянием Сперанский отправляется в Пермь.

Борясь с «проповедниками иллюминатства», Ростопчин большое внимание уделяет и иностранцам, проживающим в Москве. Заподазривая их в сочувствии к Наполеону и в шпионстве, он и их подвергает целому ряду кар, смешивая в одну кучу представителей всех наций. Эти иностранцы принадлежали преимущественно к мирному торгово-промышленному классу, экономические интересы которого были связаны с Россией. Несомненно, среди них были сочувствующие Наполеону. Иначе и не могло быть. Но столь же несомненно, что никаких агрессивных действий они предпринимать не могли. Об их лойяльности свидетельствует уже сам по себе факт миролюбивого отношения к ним русских. В то время, когда под влиянием положения дел на театре военных действий в Москве определенно уже начинает сказываться беспокойство, когда, по словам Ростопчина, по городу начинают передаваться различные сказки о видениях, о голосах, слышанных на кладбище, и т. п.; одним словом, тогда, когда понемногу (особенно после оставления Смоленска) начинает расти столь понятное тревожное настроение, иностранцы живут в Москве совершенно спокойно. Достаточно привести свидетельство московского патриота С. Н. Глинки (в записке о 1812 г.), чтобы в этом увериться. «Я близок был к народу, — пишет автор, — я жил с народом на улицах, на площадях, на рынках, всегда в Москве и в окрестностях Москвы, и живым Богом свидетельствую, что никакая неистовая ненависть не волновала сынов России». Московскому властелину подобное отношение к иностранцам со стороны населения не могло нравиться. Ведь это отсутствие патриотизма, а главное, при таких условиях

---

[1]) Впоследствии в том же Ростопчин заподозрел и черниговского архиепископа Михаила. См. письмо от 8 ноября.

[2]) Ростопчин интриговал против него уже давно. „Москва“ сделала Сперанского козлом отпущения за проектируемые в Отечественную войну налоги. В своих записках Сперанский в значительной степени Ростопчину приписывает причину своей опалы: „лучший из государей дал себя опутать внушениям знаменитого проходимца“.

добрые подданные могут прельститься наполеоновскими прокламациями. И граф Ростопчин как бы ставит своей задачей разжечь ненависть к иностранцам, по своему обыкновению не стесняясь никакими мерами.

Ростопчин не желает выпускать иностранцев из России с момента начала войны и решительно предлагает императору для большей безопасности не выдавать иностранцам паспортов (7 июня). Иностранцы, знающие Россию, могут дать полезные сведения Наполеону. Вероятно, и здесь крепостное право играет первую роль. Ростопчину в каждом иностранце мерещится доктор Меливье, который сопровождает Наполеона и уверяет его, что, как только Наполеон появится под Москвой, хотя бы с 50.000 войска, крестьяне восстанут против своих господ, и вся Россия будет покорена (Зап. Бowолье). Вредных иностранцев надо выселить из Москвы и, конечно, прежде всего тех, кто заподозрен в «якобинстве», как, например, книгопродавец Алларт, выселить в сибирские города, где они будут безопасны. (Уже Гудович в мае выслал туда несколько иностранцев). И вот целый ряд московских обывателей из числа иностранцев отправляется в ссылку. 12 июля высылаются, например, Овернер (в Пермь) и Реут (в Оренбург). Последний «за дерзкие слова против правительства и карточную игру»; 27 июля наказан плетьми Турнэ и выслан в Тобольск «за внушение разного рода клонящихся к преклонению умов к французам». 19 августа наказан немец портной Шнейдер и француз Токе плетьми, первый 30, а другой 20 ударами и отосланы в Нерчинск за лживые пророчества, что Наполеон будет обедать в Москве 15 августа и т. д. Обвинения во всех случаях чрезвычайно однородны.[1])

Скрывались ли под этими обвинениями какие-нибудь реальные факты? Трудно, конечно, ответить определенно, но невольно бросается в глаза натянутость многих обвинений, основанных почти исключительно на непроверенных донесениях ростопчинских шпионов. Например, иностранец Годфроа выслан в Оренбургскую губернию за то, что во время «Высочайшего пребывания . . . в Москве при большом стечении народа произносил разные дерзкие речи». Припомним внешнюю обстановку этого времени. Неужели мог быть в действительности такой факт? Когда обвинения базируются на как бы более конкретных данных, например, по отношению к швейцарским подданным Веберу и Гейдеру, о которых Тормасов сообщал еще Гудовичу, что эти лица — тайные агенты Наполеона, и тогда сам Ростопчин должен засвидетельствовать, что de facto «в поведении их не открылось ничего подозрительного». Позднее, в 1813 г., когда высланные иностранцы (среди которых были и русские подданные) стали возбуждать ходатайства о своем возвращении, при чем в своих ходатайствах указывали, что пострадали без вины, Ростопчин в официальной переписке с Вязьмитиновым определенно говорил, что высылка производилась по велению государя. «По представлению моему государю императору, — писал он 27 ноября, — что не дозволено ли будет означенных иностранцев выслать за границу, его величество отозваться соизволил, что мера сия при настоящих обстоятельствах не может быть принята».

Ростопчин, занявший в это время уже иное положение и в общественном мнении и во мнении правительственной власти, любил скрыться за чужой авто-

---

[1]) **Из бумаг Московского губернского архива старых дел.**

ритет; он также легко забывал в своих позднейших письмах и воспоминаниях истинное положение вещей в 1812 году. Забыл он, вероятно, и здесь, что он был инициатором запрещения выпуска из России иностранцев. Эти иностранцы в июле и августе 1812 г. были для него мишенью, при посредстве которой, как мы видели, он возбуждал народный пыл и патриотическое рвение. Высылка отдельных иностранцев не достигала, однако, цели. Вот почему для большего эффекта, чтобы произвести большее впечатление, Ростопчин произвел, так сказать, массовую высылку московских обывателей, иностранцев по происхождению. Это, по его словам, он сделал по соображениям высокой степени гуманным, чтобы спасти несчастных иностранцев от народной ярости. Предоставим, впрочем, говорить самому Ростопчину: «В одно утро, — повествует граф, — гражданский губернатор Обрезков об'явил мне, что он сделал весьма важное открытие и привел ко мне портного, русского человека, отличного поведения, достаточно немолодого». Этот человек сообщил, что он «лишился сна и пищи, что многие из его учеников точно так же больны, как и он, и что единственное средство против этой болезни — кровь французов» . . . «Оказалось, — сообщает далее Ростопчин, — что он уже подговорил человек 300 портных и еще надеется к завтрашнему дню подговорить несколько сотен, чтобы ночью итти на Кузнецкий Мост и перебить всех живущих там французов». Далее Ростопчин с большой откровенностью сообщает, как он велел «пустить кровь» инициатору погрома и как он успокоился. Подговоренные же «этим хозяином портные, видя, что он задержан, перестали думать о ночной экспедиции, которая бы окончилась страшным кровопролитием и возмущением».

«Очевидно, этот хозяин-портной был сумасшедший . . . и что его рассказы о сотнях сотоварищей были простым бредом больного воображения», замечает в истории двенадцатого года А. Н. Попов.[1])

Быть может, весь этот инцидент измышлен гр. Ростопчиным, весьма нередко прибегавшим к измышлениям, особенно впоследствии, для оправдания в своих действиях. Если этот сумасшедший и реальное лицо, то гр. Ростопчин ему, конечно, не поверил. Во всяком случае, по его словам, это и побудило к осуществлению экстраординарной меры в виде массовой высылки подозрительных иностранцев. «Уверившись в народном раздражении, — сообщает Ростопчин, — чтобы его успокоить и смягчить бешенство, я приказал полиции их взять и днем, в виду всех, посадить на барку, которая и отвезла их в Нижний-Новгород, где они были отданы под надзор. Я об'явил Москве, что эти иностранцы — люди подозрительные, которых удаляют по просьбе их же соотечественников, честных людей». «Эта мера, — заключает гуманный московский главнокомандующий, — спасла жизнь этим 40 плавателям, потому что, вероятно, они последовали бы за французскою армиею и все погибли бы во время ее отступления». Итак, Ростопчин спас их не только от народной ярости, но и от другой, грозившей им, опасности[2]). Кого же предназначила московская полиция к высылке для «удовольствия» народа, как сообщал Ростопчин Балашову. Это

---

[1]) Москва 1812 г., „Р. Арх.", 1875 г.

[2]) Любопытно, что в Нижнем, по предписанию Ростопчина, высланные содержатся в остроге.

«выборная каналья из каналий», по характеристике Ростопчина в письме к Балашову. Чрезвычайно любопытно, хоть вкратце, познакомиться с составом высылаемых и приписываемыми им проступками. Это прежде всего «типографщик Семен» и книгопродавец Алларт, еще в июне причисленные Ростопчиным к числу «иллюминатов» (о них он писал Александру в своем письме от 7 июля), 14 всякого рода учителей, от фехтования до латинского языка включительно, фабриканты, торговцы модными товарами, немец — бас в оркестре русского театра, режиссер французского театра Домерг и его помощник Роз, доктор Ямниц, повар Вилоэн и т. д. За что же эти злосчастные иностранцы попали на подозрение к полиции? Двое, как мы знаем, числились в «иллюминатах», двое (швейцарские подданные Гейдер и Вебер) были заподозрены в шпионстве тоже значительно ранее. Было ли это действительно так?

Мы знаем одно только, что московский обер-полицмейстер Ивашкин в донесении от 11 января 1813 года сообщал, что полиции в виду указанных обстоятельств было поручено «иметь за ними неослабный под рукою надзор и замечать связи, их сношения, но токмо до времени их высылки подозрительного в поведении ничего не открылось». По отношению к остальным данные имелись еще менее определенные. Учитель фехтования Массон подвергся каре по «худому расположению и некоторым связям подозрительным»; торговец модными товарами Гут за «дерзкое обращение с московской публикой», учитель женевец Файо «по многим замечаниям полиции навлек на себя сильное подозрение». Любопытно, что винный торговец Паоли, зачисленный в число тех, которые, по выражению Ростопчина, «телом остались в России, а душой преданы французам», жил уже 18 лет в России и с 1807 г. принял русское подданство . . .

Может быть, сделанных характеристик достаточно для определения мотивов, которыми руководилась полиция при выборе иностранцев, удаленных из Москвы «для удовольствия народа».

Среди отправленных был Арманд Домерг, оставивший весьма любопытные записки. Характеризуя время «террора», наступившего после посещения императором Москвы, Домерг, между прочим, сообщает, что как-то за обедом у гр. Апраксина Ростопчин, устремив на Домерга «свои сверкающие глаза», воскликнул: «Я не буду доволен до тех пор, пока не выкупаюсь в крови французов». Очевидно, Домерг уже попал на глаза грозного усмирителя московской революции, который, по словам автора воспоминаний, «при всяком случае проявлял свой буйный, вспыльчивый и мстительный характер, делавший его страшным даже для самых мирных жителей города». Во всяком случае, имя Домерга в проскрипционных списках стояло «первым в первой категории». Любопытно, что Домерг жил в доме шведского консула. И это, по мнению его родных, должно было ему обеспечить безопасность: «Если я явился в Россию под покровительством власти, то нельзя нарушить международного права без явной несправедливости». «Но, — добавляет автор воспоминаний, — я слишком хорошо знал подозрительную русскую полицию, чтобы иметь на это надежду: каждый день мы видели, как проезжали французы, ссылаемые из Петербурга в Сибирь». Арестованный в числе других, Домерг был заключен в дом Лазарева и 22 августа отправлен на барке по Москве-реке в ссылку; на барке невольным путешественникам было прочитано от имени Ростопчина небезынтересное обращение, содержание которого передает Домерг с добавле-

нием: «ручаюсь за его подлинность»: «Французы![1]) Россия дала вам убежище, а вы не перестаете замышлять против нее. Дабы избежать кровопролития, не запятнать страницы нашей истории, не подражать сатанинским бешенствам ваших революционеров, правительство вынуждено вас удалить отсюда. Вы будете жить на берегу Волги, посреди народа мирного и верного своей присяге, который слишком презирает вас, чтобы делать вам вред. Вы на некоторое время оставите Европу и отправитесь в Азию. Перестаньте быть негодяями и сделайтесь хорошими людьми, превратитесь в добрых русских граждан из французских, какими вы до сих пор были; будьте спокойны и покорны или бойтесь еще большего наказания. Войдите в барку, успокойтесь и не превратите ее в барку Харона. Прощайте, добрый путь!» . . .[2])

«Это грозное об'явление привело нас в ужас», добавляет Домерг. И действительно, упоминание о Хароне[3]) должно было звучать довольно зловеще. «Русский барин» и здесь не позабыл сказать острое словечко. Но французский каламбур: «entrez dans la barque et rentrez dans vous mêmes», был вовсе «не шуткою», как заметил Глинка, для ссылаемых. Несомненно, вся эта сцена была сплошным издевательством. Глинка, не одобрявший в данном случае действия московского градоправителя, нашел для него оправдание в том, что Ростопчин увлекся «мечтою» — спасения иностранцев от ярости черни. Ясно, что этой «мечты» у Ростопчина не было.

Мы уже приводили свидетельство Глинки об отсутствии у московского населения ненависти к иностранцам — слова Глинки относятся как раз к инциденту с так называемой «хароновской баркой». Домерг в своих воспоминаниях при описении тревожных дней 20—22 августа, не раз упоминает о тех опасностях, которые грозили высылаемым иностранцам со стороны «народной ярости, которую возбуждали против нас многочисленные шпионы», говорит о «враждебных намерениях» и «угрожающих криках» толпы. В толпе «любопытных», собравшихся посмотреть на необычайное зрелище, вероятно, были элементы, достаточно возбужденные против иностранцев афишами Ростопчина и агитацией шпионов, но любопытно, что из описания самого Домерга более чем очевидно, что «ярость» толпы была весьма умеренна. Когда иностранцы сидели в доме Лазарева, их охранял от «мстительности» народной один полицейский офицер и часовой. «Наконец, уступая нашим требованиям, — говорит Домерг, —начальство согласилось дать нам сменную стражу, состоявшую из шестерых инвалидов». Когда арестантов вели по улице на барку, им, конечно, перепуганным до полусмерти, казалось, что они погибли бы от «народной ярости», если бы их не спас полицмейстер Волков, проявлявший большую предупредительность по отношению к иностранцам и тем как бы смягчавший «неприятное поручение», возложенное на него его шефом. И мы узнаем, что рукопожатие между Волковым, Домергом и Аллартом «мгновенно

---

[1]) Обращение не соответствовало действительности, ибо „из сорока арестованных четвертая часть были немцы из разных германских земель... которые все, разделяя национальную вражду того времени, обнаруживали антипатию к нам“, замечает Домерг. В этом и заключалась „нелепость“ ростопчинской меры. Глинка в своих воспоминаниях ошибочно говорит о высылке из Москвы „некоторых уроженцев Франции на барке в струи волжские“.

[2]) Цитирую по переводу Попова („Р. Арх.“, 1875, X, 135). В французском тексте и в переводе „Ист. Вест.“ нет выражения „mauvais sujets“.

[3]) Харон по поздней греческой мифологии перевозил в своей барке души умерших через реку Ахерон в царство мертвых.

прекратило шум»: все сорок человек спокойно прошли под прикрытием «шестерых ветеранов». Пока барка медленно плывет «по извилинам обмелевшей Москвы-реки» (на третий день барка отошла только на 40 верст), жены, дети, родственницы по «нескольку раз» навещают невольных путешественников. «Выезжая на рассвете (на извозчиках), эти женщины иногда блуждали по целому дню, пока не находили нашу барку, приезжали к нам вечером и ночью, и ночью должны были возвращаться в Москву». Таково было то народное ожесточение, на которое ссылался Ростопчин. И все дальнейшее описание Домергом путешествия на хароновской барке, продолжавшееся вплоть до 17-го октября, идет в том же духе. Путешественники встречают в общем самое добродушное отношение со стороны населения, ходят по деревням под прикрытием двух ветеранов, вступают в разговоры и т. д. «С каждым днем население становилось менее враждебно к нам», замечает Домерг, и «эта перемена становилась тем резче, чем больше мы удалялись от Москвы . . . народ тут становился свободнее от непосредственного влияния нелепых прокламаций, которые представляли французов людоедами». Домерг отметил только в трех случаях враждебное настроение: впервые пришлось с ним встретиться еще в ростопчинских владениях, в Коломне, куда путешественники попали 1 сентября. Полдня, не возбуждая «подозрения», они бродили по Коломне, но потом на них обратили внимание «некоторые выходцы» из Москвы, весьма возможно, какие-нибудь московские шпионы, и тогда «чернь» стала бросать в них камни. Другой раз у путешественников была неприятная встреча с казаками под Рязанью и, наконец, уже после Нижнего (2 ноября) — с ополченцами. И это было уже тогда, когда Москва находилась во власти французов и сгорела, когда началась эпоха так называемой народной войны и действий партизанских отрядов. Очевидно, что при отправлении из Москвы далеко еще не было той ненависти к иностранцам, которую желал видеть Ростопчин в московском населении.

Возбуждал Ростопчин «патриотизм», понимавшийся им в смысле грубой ненависти к иностранцам, и другими мерами. Среди них, конечно, первое место занимает его пресловутая литературная деятельность, те знаменитые в литературе «афиши», о которых скромный, но наблюдательный современник Бестужев-Рюмин сказал: «некоторые находили их соответствующими времени и обстоятельствам, но большая часть пошлыми и площадными», и которые сам Ростопчин, в конце концов, признавал «шарлатанскими». Той же цели служили всевозможные юмористические лубки, вывешиваемые на Никольской у Казанского собора.

При помощи своих агентов Ростопчин пускал в народ всякого рода слухи, долженствовавшие поддерживать воодушевление и ослаблять впечатление от пессимистических известий, идущих с театра военных действий. Таковы, например, распускаемые им слухи о том, что «теперь (т.-е. после заключения мира) турки будут заодно с нами (сообщается в письме к Александру 11 июня). В целях «патриотической» агитации, помимо услуг незначительных агентов полиции, Ростопчин воспользовался услугами С. Н. Глинки. Этот наивный патриот был слепым орудием Ростопчина. И как нельзя более характерно для личности Ростопчина, что в своих воспоминаниях «спаситель отечества» даже не упомянул о роли Глинки, а между тем последний был самым верным, самым бескорыстным, самым искренним исполнителем велений московского

главнокомандующего. Может быть, только непосредственное вмешательство Глинки, действительно пытавшегося приблизиться к народу, придавало некоторый хотя бы авторитет в глазах московских обывателей тому «русскому барину», который вдруг заговорил с населением не барственным языком.

Но Ростопчин, взявший на себя роль народного трибуна, сам чрезвычайно не доверял народу, как мы уже могли убедиться и как убедимся в дальнейшем. Он мог писать Александру 11 июля, что «бороды будут всегда оплотом России», но в действительности всегда боялся этих бород.

Поэтому и близость в сущности Сергея Глинки к народу способна была вызвать в нем подозрения. Глинка с неподражаемой наивностью заметил: «не знаю, почему приказано было за мной присматривать». Это было в момент приезда государя в Москву. Восторженный Глинка с толпою «любопытных», по характеристике Ростопчина, пошел за город встречать царя. Царь не приехал. Глинка видел, что народ разошелся с «сокрушенным сердцем». Его патриотизм был грубо задет и он предложил напечатать что-нибудь «одобрительное» народу. За это он и попал на подозрение Ростопчина. Сущность демагогии Ростопчина здесь выступает особенно ярко.

Интересно, достигала ли эта демагогия какой-нибудь цели? Ростопчин был уверен, или внушал эту уверенность если не себе, то другим, что московский люд его чрезвычайно любит: «Наш граф» — таково по мнению Ростопчина было мнение народа о нем. «Могу вас уверить, — писал позднее (28 апреля 1813 г.) Ростопчин Воронцову, — что Магомет был менее любим и уважаем, нежели я в течение августа месяца, и все достигалось словом, отчасти шарлатанством». Глинка тоже свидетельствует о влиянии Ростопчина, поставившего «себя на чреду старшины мирской сходки»; «в дружеских своих посланиях он беседовал с обывателями, как заботливый и приветливый друг». Конечно, то же утверждал alter ego Ростопчина пресловутый А. Я. Булгаков: «граф сделался предметом всеобщего обожания».

Но мы встретили и другие мнения современников. Может быть, наиболее характерным являются мнения Маракуева, городского головы города Ростова (Ярославского). Он резко осуждает демагогию Ростопчина. «Глупые афиши Ростопчина, писанные наречием деревенских баб, совершенно убивали надежду публики», свидетельствует Маракуев. Мало того, по словам современника-наблюдателя, «неудачные эти выдумки его вызывали презрение, а чернь неизвестно за что питала к нему величайшую ненависть».

Следует обратить внимание на это указание. Сопоставим его с показанием другого современника, кн. П. А. Вяземского, утверждавшего, что Ростопчина «влекло к черни», что он «чуял, что мог бы над нею господствовать». По мнению Вяземского, из Ростопчина мог бы народиться «народный трибун». Показанию кого из этих современников отдать предпочтение? Мы думаем — Маракуеву. И не показывает ли это в таком случае, что подчас народная масса отличается большим психологическим чутьем, — она, может быть, инстинктивно угадывала всю фальшь ростопчинской демагогии. В самом деле, до занятия Москвы французами, до непосредственного, так сказать, столкновения московского населения с врагом, конкретные результаты демагогической деятельности Ростопчина могли проявляться в актах насилия и ненависти по отношению к мирным и безоружным иностранцам. Но мы уже цитировали свидетельство Глинки, приводили и характерные обстоятельства, сопровож-

давшие отправление «хароновской барки». Правда, в переписке современников мы встретимся и с другими указаниями. В этом отношении интересна переписка Волковой с Ланской, отмечающая проявление вражды населения к иностранцам. «Я много ожидаю, — пишет Волкова 22 июля, — от враждебного настроения умов. Третьего дня чернь чуть не побила камнями одного немца, приняв его за француза». «Народ так раздражен, — сообщает она 15 августа, — что мы не осмеливаемся говорить по-французски на улице. Двух офицеров арестовали: они на улице вздумали говорить по-французски; народ принял их за переодетых шпионов и хотел поколотить, так как не раз уже ловили французов, одетых крестьянами или в женскую одежду, снимавших планы, занимавшихся поджогами и предрекавших прибытие Наполеона, — словом, смущавших народ». Более чем очевидно, что Волкова пишет по слухам, пишет со слов Ростопчина (с которым Волкова знакома домами).

В возможности подобных фактов, конечно, можно не сомневаться, в особенности по отношению к шпионам. И число таких фактов должно было расти по мере приближения военных действий к Москве, по мере распропагандирования темной массы ростопчинской агитацией. Но такие факты, — факты действительные были немногочисленны. Ростопчин, вероятно, не преминул бы о них рассказать. На деле, кроме появления сумасшедшего купца и избиения толпою двух ремесленников-немцев, поспоривших с менялой, он ничего не может сказать. И тот факт, на котором он с самодовольством останавливается, чтобы показать свое влияние на московскую толпу, имеет место накануне Бородинской битвы, т.-е. тогда, когда тревожное настроение Москвы достигает уже значительных размеров[1]). Явившийся к месту происшествия Ростопчин спас «неосторожных немцев» от раз'яренной толпы, дав «сильнейшую пощечину» мелкому купчику, с решимостью заявившему графу: «пора народу действовать самому, когда вы отдаете его в жертву иностранцам». «Страсть к сценическому искусству, — замечает Попов, — ярко выражается в этом рассказе». Толпа, «очевидно, не была особенно возбуждена, когда квартальному надзирателю удавалось в продолжение нескольких часов оградить от ее нападений неосторожных немцев». И тут же мы найдем другой рассказ (Рунича), говорящий о том, как после Бородинской битвы «жители Москвы толпами выходили навстречу раненым, приносили им белый хлеб и деньги, не делая различия между русскими и пленными»... И, повидимому, из этого можно заключить, что в это время московская толпа стояла гораздо выше своего официального руководителя, в ней было гораздо больше здорового патриотизма, чем у просвещенного графа Ростопчина.

Последний все свои меры до Бородинской битвы об'ясняет необходимостью «поддержания спокойствия в городе». Он хотел «рассеять и занять внимание в народе». Отвлечь внимание народа он хочет в сущности только от одного — скажем в данном случае словами Волковой (в позднейшем письме 11 ноября): «Москва действовала на всю страну, и будь уверена, что при малейшем беспорядке между жителями ее все бы всполошилось. Нам всем известно, с какими вероломными намерениями явился Наполеон. Надо было их уничтожить, восстановить умы против негодяя и тем охранить чернь, которая везде легкомысленна».

---

[1]) Бестужев-Рюмин этот случай относит к 30 августа.

Устранив возможность социальной революции и подняв патриотическое настроение, Ростопчин чувствовал себя в Москве довольно спокойно. До последних дней он, конечно, не разделял мнения, высказанного Глинкой еще на дворянском собрании 15 июля, что «сдача Москвы будет спасением России и Европы»[1]). А между тем тревожное настроение в Москве понятно росло. «Спокойствие покинуло наш милый город. Мы живем со дня на день, не зная, что ждет нас впереди. Нынче мы здесь, а завтра — Бог знает где», пишет Волкова 22 июля. «Мы же, москвичи, остаемся по-прежнему в неведении касательно нашей участи, — сообщает она через неделю. — Лишь чуть оживит нас приятное известие, как снова слышим что-либо устрашающее».

«Узнав, что наше войско идет вперед, а французы отступают, москвичи поуспокоились. Теперь реже приходится слышать об от'ездах», сообщает она 5 августа. Но вести о занятии Смоленска «огромили Москву», как выразился Глинка «Здесь большая суматоха. Люди мужского и женского пола убрались, голову потеряли; все едут отсюда», сообщает Булгаков своему брату 13 августа. Самоуверенный и беспечный Ростопчин боролся с этой паникой, забавляя народ своими выдумками и смеясь над теми, кто проявлял, по его мнению, преждевременную трусость.

«Некоторые оставляют Москву, — пишет он Багратиону по получении известия о сдаче Смоленска, — чему я чрезвычайно рад; ибо пребывание трусов заражает страхом, а мы болезни сей здесь не знаем». «Здесь, — добавляет Ростопчин, — очень дивились бездействию наших войск». В это время Ростопчин был вполне солидарен с Багратионом: неуспех войны об'ясняется бездарностью главнокомандующего. «Кутузов, — сообщает своему брату доверенный Ростопчина Булгаков (13 августа), — все поправит и спасет Москву. Барклай — туфля, им все недовольны, с самой Вильны он все пакостит только». «Все состояния обрадованы поручением кн. Кутузову главного начальства» — пишет Ростопчин Балашеву 13 августа. «Я поклянусь, что Бонапарту не видать Москвы» Эта уверенность не оставляет друзей Ростопчина и позже. Она с очевидностью свидетельствует, что той же точки зрения держался и сам Ростопчин, который впоследствии все свое поведение, приведшее к весьма печальным результатам, об'яснял желанием предотвратить беспорядки в Москве.

«Мы здесь покойны. Барклай, наконец, свалился», сообщает брату Булгаков 21 августа. Свербеев в своих воспоминаниях отмечает ту же твердую уверенность у губернатора Обрезкова, который по родственным отношениям не раз, вплоть до 1 сентября, писал отцу Свербеева, чтобы «он был спокоен и ничего не предпринимал для спасения имущества в нашем московском доме». Несмотря на все подобные уверения, московская публика не могла пребывать в спокойствии, тем более, что до нее доходили известия о панике в Петербурге, где «по секрету» из Эрмитажа и дворцов укладывались вещи для отправки в Ярославль. Ростопчину, в свою очередь, по высшему предписанию приходилось озабочиваться спасением казенного имущества. Московская публика узнает, конечно, о том, как энергично заботится императрица Мария Федоровна еще с начала августа о вывозе из Москвы воспитанниц институтов

---

[1]) Еще в июле он гордо говорил Хомутовой: „Поверьте мне, пока я главнокомандующий в Москве, не отдам ключей Наполеону.„

и Воспитательного Дома (Рескрипт Ростопчину 22 августа.)[1] С 15 августа начинается и вывоз казенного имущества Ростопчиным. Вместе с тем усиливается и бегство населения, которое идет crescendo по мере роста опасности занятия французами Москвы. Однако Ростопчин все настойчиво продолжает твердить, что только «женщины, купцы и ученая тварь (характерное выражение для просвещенного «русского барина») едут из Москвы». Так он сообщает Балашову 18 августа. Ростопчин забывает сказать о дворянстве, которое в первую очередь устремилось из столицы. И тут же Ростопчин делает свое знаменитое об'явление (18 августа). «Здесь есть слух . . . что я запретил выезд из города. Тогда на заставах были бы караулы . . . А я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы . . . Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет». Затем идет обещание вывести «сто тысяч молодцов» и при помощи Иверской Божьей Матери кончить «дело». И хотя Ростопчин уверенно говорит, что препятствий для выезда из Москвы он не чинит, однако в тот же день отдает, по словам Бестужева-Рюмина, письменное приказание московскому магистрату, чтобы он «людям купеческого и мещанского сословия не давал уже паспортов о выезде их из Москвы, кроме жен их и малолетних детей».

Но Ростопчин здесь уже не мог обмануть публику, и кто только имел возможность, покидал Москву.

Впоследствии это оставление столицы многим рисовалось даже как своего рода сознательный патриотический подвиг. Оно приписано было мудрым мерам Ростопчина, который «удалил всю московскую знать в виду ее приверженности к французам, благодаря воспитанию» (Рунич). Так рисовалось много лет спустя некоторым из современников, но не такими побуждениями руководились московские жители в середине августа. Здесь действовал просто инстинктивный страх, бежали, «куда Бог поведет», по словам Глинки, не руководясь никакими обдуманными целями и не думая о последствиях. Бежал, кто мог, кто был посостоятельнее, забирая с собой что было можно из имущества. Оставление Москвы и вывоз имущества было затруднено отсутствием достаточных средств передвижения. «В городе почти не осталось ло-

---

[1]) Упоминание о вывозе воспитанниц из Москвы в виду приближения неприятеля дает повод вспоминать примечательные для характеристики эпохи письма по этому поводу императрицы Марии Феодоровны к лицам, стоящим во главе учебного ведомства, покровительствуемого императрицей — к Баранову и Нелединскому („Р. Арх.“, 1870, № 8—9). Воспитанниц Екатерининского и Александровского институтов пришлось увозить на телегах за неимением других экипажей, цена на которые к этому времени (20 числа августа) возросла до колоссальных размеров, в виду огромного числа беглецов. Этот факт привел в негодование вдовствующую императрицу: „О чем я не могу вспомнить без огорчения и почти без слез,— пишет она Баранову, — это отправление девиц, особливо дщерей российского дворянства на телегах и то откуда? из столицы Российской! Пусть так, что необходимость принудила прибегнуть к сему экипажу для Александровского училища, дочерей нижних офицерских чинов и подобного сему званию . . .“ („Я признаюсь,—добавляет М. Ф., — что я не понимаю, как могли решиться возить сих девиц на телегах, и я не только со стыдом представляю себе, какое действие произвело сие позорище“). „Но как могло случиться с вашими нежными чувствами, мой добрый Нелединский, как могли вы подписать такое жестокое решение, чтобы отправить на телегах девиц Екатерининского института, дочерей дворян? . . . .Я уверяю вас. . . что я плакала горючими слезами. Боже мой! какое зрелище для столицы империи: цвет дворянства вывозится на телегах!“

шадей», сообщает Волкова уже 15 августа. Если мы примем во внимание, что, помимо поставки лошадей в армию, девять уездов Московской губернии с 15—30 августа должны были выставить 52.000 подвод для казенной надобности, то будет очевидно, что для удовлетворения нужд обывателей оставалось слишком мало. Естественно, что цены на подводы возросли до колоссальных размеров. Уже 15 августа лошадь на расстояние 30 верст стоит 50 руб., в последние дни цена на подводу увеличивается в 20 раз и более (вместо 30—40 руб. — 800 руб.). Как всегда бывает при панике, от'езд происходит бестолково, берут из имущества, что попадает под руку. И понятно, что в описании всех современников картина бегства из Москвы получается чисто «карикатурная» (Вигель). «Окрестности Москвы, — пишет Волкова 15 августа, — могли бы послужить живописцу образом для изображения бегства Египетского. Ежедневно тысячи карет выезжают во все заставы». Конечно, эта суматоха с каждым днем увеличивается и после Бородина по официальным сведениям, собранным самим Ростопчиным, число берлин, карет, бричек, колясок, ежедневно выезжающих из Москвы, доходит до 1.320. Два-три штриха из записок современников дадут яркую картину этого «бегства Египетского». Мы приведем выдержку из описаний Вигеля относящихся к последнему дню, т.-е. ко 2 сентября: «приближаясь к заставе, для всех уже открытой, толпы людей становились все гуще и гуще; против же ее с трудом мог он (брат Вигеля) подвигаться вперед посреди плотной массы удаляющихся. Беспорядок являл картину единственную в своем роде, ужасную и вместе с тем несколько карикатурную. Там виден был поп, надевший одну на другую все ризы и державший в руках узел с церковною утварью, сосудами и прочим; там четвероместную тяжелую карету тащили две лошади, тогда как в иные дрожки впряжено было пять или шесть; там в тележке сидела достаточная мещанка или купчиха в парчевом наряде и в жемчугах, во всем, что не успела уложить; конные, пешие валили кругом; гнали коров, овец; собаки в великом множестве следовали за всеобщим побегом».

Аналогичное описание мы найдем у Свербеева. В последние дни заставы открыты для всех. Первоначально оставление Москвы — это своего рода привилегия дворянства и отчасти других наиболее имущественно обеспеченных слоев московского населения. Естественно, что при таких условиях «выезд из Москвы крайне сердил и раздражал народ» (Глинка). Мы встречаемся, с многочисленными указаниями на то, что «народ, обороняться готовящийся с дерзостью роптал на дворян, Москву оставляющих» (Мертваго). Свербеев рассказывает, как их «поезд» ратники каширского ополчения сопровождали угрозами и бранью «изменниками и предателями». Бестужев-Рюмин в своем повествовании (18 августа) говорит, что эти люди, которые не имели нужды просить особенных паспортов, удаляясь из Москвы, находили в пути своем большие неприятности или, лучше сказать, были в величайшей опасности от подмосковных крестьян. Они называли удалявшихся трусами, изменниками и бесстрашно кричали вслед: «куда, бояре,бежите вы с холопами своими? Али невзгодье и на вас пришло? И Москва в опасности вам немила уже?» «Удалявшиеся вынуждаемы были хозяевами дворов, у которых останавливались, платить себе за овес и сено втридорога и, сверх того, просто за постой не по пять копеек с человека, как то обыкновенно платили, но по рублю и более, и беспрекословно должны были повиноваться сему закону, если не хотели сделаться жертвою негодования против своего побега освирепевшего народа.

Многие из удалявшихся из Москвы на своих собственных лошадях возвращались опять в Москву пешком, лишившись дорогою и лошадей своих с экипажем и имущества». Точно такой же рассказ найдем мы и у Толычевой и т. д.

Бестужев-Рюмин эту ненависть к от'езжающему дворянству ставит в непосредственную связь с запрещением Ростопчина выпускать московских жителей, принадлежащих к непривилегированным сословиям. Несомненно, этому должна была содействовать и вся ростопчинская демагогия. Любопытная черта для дворянского публициста, слишком увлекшегося взятой на себя ролью спасителя отечества . . . И не даром Карамзин читал ростопчинские афишы «с некоторым смущением»; не даром их «решительно неодобрял» в то время либеральный кн. П. А. Вяземский «именно потому, что в них бессознательно проскакивала выходка далеко не консервативная». Правительственным лицам, по мнению Вяземского, «вообще не следует обращаться к толпе с возбудительною речью: опасно подливать масла на горючие вещества». Читал Вяземский в афише: «хватайте в виски и в тиски и приводите ко мне, хоть будь кто семи пядей во лбу» . . . Кого же подразумевать под последним? «Ничего иного, — замечает Вяземский, — означать не могут, как д в о р я н, людей высшего разряда». И Вяземский готов приветствовать гибель Москвы — только русский Бог да пожар спас ее от «междоусобицы и уличной резни».

Совершенно понятно, что «народ, обороняться готовящийся, с дерзостью роптал на дворян, Москву оставляющих», так как авторитетные раз'яснения московского главнокомандующего могли массе внушить определенное убеждение, что столице не грозит никакой опасности: 18 августа Ростопчин так уверенно говорил, что в нашей армии 130 т. войска славного и 1800 пушек, а у неприятелей «сволочи» 150 т. Кроме того, у самого Ростопчина «дружины московской» «сто тысяч молодцов», да «150 пушек». Ведь этими разговорами Ростопчин обманул не только московское население, но и самого Кутузова.

Впоследствии Ростопчин всю свою деятельность в этом направлении об'яснял желанием предупредить беспорядки. Но, вне сомнения, в то время московский властелин не допускал мысли о возможности оставления Москвы и, пожалуй, самым серьезным образом думал в крайности защитить ее своими средствами. Это было самообольщение, вызванное обычным для Ростопчина бахвальством и самоуверенностью. Много раз в письмах официальных и частных Ростопчин говорит о невозможности сдачи Москвы. «Народ московский умрет у стен московских, а если Бог не поможет — обратит город в пепел», пищет он Багратиону еще 12 августа. Ростопчин согласен скорее потерять армию, чем «потерять Москву», ибо он согласен с Кутузовым, что «с потерею Москвы соединена потеря России» (письмо Кутузову 17 августа.) «Каждый из русских, — сообщает он тому же лицу, — полагает всю силу в столице и справедливо почитает ее оплотом царства». Тут Ростопчин уже забывает то, что он за месяц перед тем писал Александру: «Ваша империя имеет двух могущественных защитников в ее обширности и климате . . . Император России всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске». Ростопчин предупреждает тут же Кутузова, что в случае несогласия он будет действовать один в Москве. С чьей же помощью? С тем ли отрядом «амазонок», который предлагает в последний момент образовать одна дама, меру, которую и Ростопчин, любитель буффонад, назвал «смешным порывом любви к отечеству», или с теми «решительными» молодцами, которыми хвалился Ро-

стопчин? Может быть! Но чрезвычайно характерно, что Ростопчин, взявший на себя роль народного трибуна, до последнего момента не верит и боится того народа, с которым он надеется отразить французов.

Накануне Бородина Ростопчин об'являет: «Вы, братцы, не смотрите на то, что правительственные места закрыли дела: прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся... Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу». Но более чем понятна тревога остающегося в Москве населения. Оно искренно готово защитить Москву. Для этого надо вооружиться. Правда, если поверить главнокомандующему, достаточно топора, рогаток, а «всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжелее снопа ржаного». Вряд ли, однако, даже самый наивный обыватель из самой темной среды верил ростопчинским прибауткам в то время, когда Москва была переполнена ранеными, прибывавшими, по словам Ростопчина, «ежедневно тысячами». Народонаселение думало о более серьезном вооружении. И граф Ростопчин шел к нему навстречу: в «Московских Ведомостях» появляется об'явление: «Дабы остановить преступное лихоимство [1]) купцов московских, которые берут непомерную цену за оружие, необходимое для вступивших в ополчение против врага, он, главнокомандующий, открыл государственный цейхгауз, в котором будет продаваться всякое оружие, дешевою ценою». Любопытнейшее пояснение делает к этому об'явлению Бестужев-Рюмин: «действительно, цена продаваемому оружию из арсенала была очень дешева, ибо ружье или карабин стоил 2 и 3 рубля; сабля 1 рубль, но, к сожалению, все это оружие к употреблению не годилось, ибо ружья были или без замков, или без прикладов, или стволы у них согнутые, сабли без эфесов, у других клинки сломаны, зазубрены».

Затем Ростопчин пошел и дальше. В день Бородинской битвы народу открывается арсенал для бесплатной раздачи оружия, боевое качество которого довольно образно представил только что процитированный современник москвич. Раздача оружия была обставлена самым торжественным образом. Один из очевидцев дал картинное описание театральной сцены, разыгравшейся в Кремле 26 августа на Сенатской площади («Моск. Вед.», 1872, № 52.) Ростопчин постарался придать ей самый помпезный характер, вызвав для этой цели из Троице-Сергиевской лавры самого престарелого митрополита Платона. «За колокольней Ивана Великого, — рассказывает этот очевидец, — был воздвигнут амвон»; сюда были вынесены иконы из соборов и отслужен молебен в присутствии генерал-губернатора. По окончании молебна один из дьяконов стал рядом с ним (Платоном), чтобы говорить от его имени, потому что он сам уже был не в силах возвысить свой слабый голос. Пастырь умолял народ не волноваться, покориться воле Божией, доверяться своим начальникам. Митрополит плакал. Его почтенный вид, его слезы, его речь, переданная устами другого, сильно подействовали на толпу. Рыдания послышались со всех сторон. «Владыка желает знать, — продолжал дьякон, — насколько он успел вас убедить. Пускай все те, которые обещают повиновать-

---

[1]) „Купцы, — рассказывает Бестужев-Рюмин, — видели, что с голыми руками отразить неприятеля нельзя, и бессовестно воспользовались этим случаем для своей наживы. До воззвания к первопрестольной столице Москве государем императором, в лавках купеческих сабля и шпага продавались по 6 руб. и дешевле; пара пистолетов тульского мастерства 8 и 7 руб., но когда было прочтено воззвание, то та же самая сабля стоила уже 30 и 40 руб.; пара пистолетов 35 и даже 50 руб.“

ся становятся на колени. Все стали на колени... Граф Ростопчин выступил вперед и обратился, в свою очередь, к народу: «как скоро вы покоряетесь воле императора, я об'явлю вам милость государя. В доказательство того, что вас не выдадут безоружными неприятелю, он вам позволяет разбирать арсенал: защита будет в ваших руках». В этом рассказе гр. Ростопчин стоит как живой.

С какою же целью была инсценирована эта обстановка? Тот же современник говорит: «граф Ростопчин боялся мятежа. Кроме того, он не успел еще принять надлежащих мер и вывезти из города арсенал, которого не хотел оставить в руках неприятеля». Мы уже знаем, какая рухлядь раздавалась ранее из арсенала. Историки подчеркивают, что другого оружия и не было. И тем как будто отчетливее вырисовывается вся буффонада, придуманная Ростопчиным, — буффонада с защитой Москвы негодным для употребления оружием. Но последнее еще требует проверки. Мы имеем и противоположное свидетельство: «Весь арсенал, — писал И. М. Канцевич Аракчееву 6 сентября, — и прекрасные новые ружья достались неприятелю». (То же самое свидетельствовал и Наполеон в письме к Александру I, перечисляя имущество, оставленное в Москве). И если это так, то демагогия Ростопчина получает уже другое освещение[1].

Таким образом, собираясь со своими «молодцами» защищать Москву, Ростопчин им не верил. Зато, повидимому, большие надежды возлагал он на другое средство — воздушный шар, старательно делавшийся под Москвой иностранцем Леппихом. Шар этот послужил впоследствии поводом бесконечных рассуждений в связи с вопросом о пожаре Москвы[2]. Вне всякого сомнения, что правительство возлагало серьезные надежды на изобретение, предложенное Леппихом. Сам же Леппих, вероятно, принадлежал к числу прожектёров-аферистов.

Раз'езжая по Европе с изобретенным им музыкальным инструментом «панмелодином», Леппих в Париже предложил Наполеону проект о воздушном шаре, который «мог бы поднимать такое количество разрывных снарядов, что посредством их можно было бы истребить целые армии». Наполеон удалил прожектёра из Франции. Весной 1812 г. Леппих предложил свои услуги русскому правительству через Аллопеуса, посланника при Штутгартском дворе. Румянцев сообщил Аллопеусу, что император желает «как можно скорее воспользоваться важным изобретением, которое обещает важные последствия». С самого начала предположения Леппиха были облечены глубокой таинственностью. Д. Н. Свербеев в бумагах губернатора московского Обрезкова нашел два секретных письма, написанных лично Обрезкову. «Вручитель этого, — писал Александр в начале июля, — иностранец Шмидт, об'явит вам причину, по которой посылается мною в Москву. Храните ее под завесой непроницаемой тайны не только от московских жителей, но и от главнокомандующего фельдмаршала графа Гудовича. Поместите Шмидта где

---

[1]) И позже, по оставлении Москвы, когда Глинка предложил Ростопчину вооружить охотничьи дружины, последний, как рассказывает в своих записках Глинка, ответил: „Мы еще не знаем, как повернется русский народ. Мое дело выпроводить теперь дворян из уездов московских". А ведь „расположение народа" заставляло Ростопчина все время „плакать от радости".

[2]) См. ниже.

нибудь около Москвы и давайте все средства к исполнению его предприятия. Пребыванию его у вас дайте предлогом фабрикации земледельческих орудий, или чего другого. Все сношения со мной лично по этому предмету ведите через обер-гофмаршала гр. Николая Александровича Толстого, адресуя ваши ко мне донесения на его имя». Письмо это не оставляет никаких сомнений в серьезности правительственных надежд, и Леппиха, под именем Шмидта, поместили в Тюфелевой роще за Симоновым монастырем, снабдив всеми материалами и необходимым контингентом рабочих. С появлением в Москве Ростопчина Обрезкову было разрешено сообщить новому главнокомандующему «весь ход дела» (второе именное письмо императора Обрезкову). Ростопчин отнесся к проекту Леппиха с подобающей серьезностью, как свидетельствует его переписка по этому поводу с Александром. «Можно ли вполне положиться на него (Леппиха), чтобы не подозревать измены с его стороны, что он не обратит этого открытия в пользу ваших врагов», спрашивал Ростопчин императора в письмах от 11 июня, восхваляя за несколько дней перед тем Леппиха, как «хорошего и способного механика».

Впоследствии Ростопчин по своему обыкновению от всего этого отказался. В своей «Правде о московском пожаре» Ростопчин именует Леппиха «шарлатаном», который требовал, чтобы «его работа сохранялась втайне». «История, — писал Ростопчин, — уже слишком много придала значения этому шару, для того только, чтобы выставить русских в смешном виде . . . Конечно, никто бы из жителей Москвы не поверил, что Шмидт с «такого шара. . . уничтожит французскую армию». Таково было позднейшее об'яснение Ростопчина, когда он старался всеми мерами показать, что не имел решительно никакого отношения к московскому пожару. История с воздушным шаром действительно приобрела несколько «смешной вид». Ростопчин верил в шар до последнего момента. В письмах к Александру он систематически сообщает о «воздушном предмете», вверенном его попечению, т. е. «о машине Леппиха». Ростопчин присутствует при всех опытах и сообщает императору, что он совершенно уверен в успехе (30 июня). Ростопчин в начале августа по предписанию императора озабочивается набором военной команды для той же машины, которая будет окончена 15 августа. С Леппихом в мастерской работает 100 человек «17 часов в день». «В этом изобретении, — сообщает Ростопчин императору, — ваша слава и спасение Европы». «Я днем и ночью буду содержать сильную стражу, чтобы никого не пропускали». Ясно, что Ростопчин возлагал большие надежды на изобретение Леппиха. Отсюда и таинственность на первых порах.

Процитированные ранее письма и распоряжения Александра не оставляют сомнения, что те же надежды питал и Александр. Император 8 августа самым детальным образом указывает Ростопчину, какие меры надо предпринять при первом полете, чтобы «не попасть в руки неприятеля», чтобы избежать «неприятельских шпионов» и чтобы шар соображал свои действия с действиями главнокомандующего, который уже предупрежден императором . . .

Если верить Аракчееву, то и он знал о Леппихе, но относился весьма отрицательно к этой затее, как и к другим прожектерам, в большом количестве появившимся ко времени войны. В «Воспоминаниях о селе Грузине» А. Языков со слов Аракчеева передает интересные диалоги по этому поводу между Аракчеевым и Александром: «В 1812 г., когда Наполеон приближался к Москве, и страх был всеобщий, император Александр мне сказал: «Ко мне явился не-

кто, предлагающий вылить пули, наверно попадающие; дай ему средства делом заняться». Я осмотрев пулю, позволил себе сказать: «Вы, верно, хотите похристосоваться с вашею армией и подарить каждому солдату по чугунному яйцу? Поверьте, государь, этот изобретатель обманщик: пуля по своей форме далеко и метко лететь не может». На это император мне сказал: «Ты глуп». Я замолчал, дал прожектеру что-то делать и забыл о том. Вскоре затем император вновь меня призвал и сказал: «Явился человек, который хочет строить воздушный шар, откуда можно будет видеть всю армию Наполеона, отведи ему близ Москвы удобное место и дай средства к работе». Я вновь позволил себе сделать возражение о нелепости дела и вновь получил ответ: «Ты глуп». Прошло немного времени, как мне донесли, что изобретатель шара бежал. С довольным лицом предстал я пред императором и донес о случившемся, но каково было мое удивление, когда император с улыбкой сказал мне: «Ты глуп». Для народа такие меры в известных случаях нужны, такие выдумки останавливают легковерную толпу хотя на малое время, когда нет средства отвратить беду. Народ тогда толпами ходил из Москвы на расстояние 7 верст к тому месту, где готовился шар . . . Народ, возвращаясь домой, рассказывал, что видел своими глазами, как готовится шар на верную гибель врага и тем довольствовался». Можно ли поверить, что действительно Александр держался такой точки зрения на леппиховское изобретение? Нет, если беседа Аракчеева с Александром не вымышлена, то она показывает, что Александр старался и от Аркчеева скрыть истину. Самолюбивому Александру, вероятно, было неприятно, что он так легко поверил «шарлатану». Ведь в это время обнаружилась уже полная несостоятельность опытов с воздушным шаром, о предварительных успехах которых неоднократно доносил Ростопчин императору. И Александр желал дать другое об'яснение, показать, что он никогда не верил затее Леппиха, т.-е. в данном случае Алксандр поступал совершенно так же, как впоследствии поступал Ростопчин. Несомненный факт, что приготовление шара тщательно скрывали. И о нем в московском обществе узнавали только случайно — через посредство тех лиц, которые помогали Леппиху. Так, напр., узнал об изготовлении шара студент Шнедер, который благодаря своему знакомству даже попал на дачу Леппиха и которому об'яснили, что делается «воздушный шар, который движением посредством крыльев можно направлять по произволу. Он поднимет ящики с разрывными снарядами, которые, будучи сброшены с высоты на неприятельскую армию, произведут в ней страшное опустошение».

Только тогда, когда шар был почти готов, Ростопчин решил поведать о нем московскому населению. «Леппих окончил маленький шар, который поднимает пять человек. Завтра будет опыт, о чем я известил город», сообщает Ростопчин Александру 23 августа. Об'явление московского главнокомандующего, конечно, не могло не заинтересовать московского населения. Если некоторые отнеслись несерьезно к об'явлению Ростопчина (напр., Глинка, который говорит, что шар строили «к заглушению мысли о предстоящей опасности»), то другие представители образованного общества «верили от души», как замечает Бестужев-Рюмин: «я говорил о воздушном шаре с одним вельможею, сенатором, которого имени не хочу назвать; он был точно уверен, что воздушный шар истребит неприятельскую армию, и доказывал, уверяя честью своею, что уже сделана проба и собрано было стадо овец, над которым поднялся шар с тремя человеками, и стадо истреблено». К сожалению, сенатор слишком ве-

рил «разгульной молве». Из опыта с маленьким шаром ничего не вышло, как «с прискорбием» извещал Ростопчин императора 29 августа: «шар не поднимал и двух человек». «Леппих, — заключил Ростопчин, — сумасшедший шарлатан». К такому выводу Ростопчин пришел только в самый последний момент, когда в виду вступления французов в Москву пришлось и Леппиха, и его шар отправлять из города.

С неудачей Леппиха рушилась и надежда Ростопчина. Трудно, конечно, сказать, насколько верил Ростопчин в возможность нового сражения под Москвой, когда писал Александру 29 августа: «Я сделаю все возможное, как и всегда делаю, чтобы доставить князю Кутузову средства одержать победу над чудовищем, который явился для разрушения престолов и уничтожения народов. Москва будет стоить ему много крови, прежде нежели он в нее войдет». Здесь скорее сказывалось обычное хвастовство Ростопчина. Слишком развязно давая обещания и действительно морочa ими всех своих корреспондентов, Ростопчин должен был до конца вести политику самообмана и тем самым сложить ответственность на других: «И когда меня не будет, — писал Ростопчин в том же письме, — живой или умирающий, я постоянно сохраню одно желание, чтобы вы разубедились в людях, удостоенных вашей доверенности и своею глупостью, неспособностью или вероломством приведших вас на край пропасти».

В последние дни в Москве, естественно, царит паника. Уезжают все, кто только может. Ростопчин должен принимать экстренные меры к вывозу казенного имущества, к отправке раненых, которые в огромном количестве скапливаются в Москве после Бородина и т. д. Но и здесь энергия Ростопчина проявляется совсем в другом направлении. Ростопчин, упрекавший московское общество в шпиономании, готов каждого заподозрить в измене. Ему кажется, что «якобинцы» подговаривают дворян остаться в Москве. Он готов заподозрить в измене чуть ли не весь состав правительствующего сената.

Сенат, не получавший никаких предписаний из Петербурга, в ночь на 30 августа послал нарочного в Петербург и ожидал распоряжений министра юстиции. Но гр. Ростопчин признавал только одну свою власть — и без всяких разговаров 30 августа ад'ютант Ростопчина явился в сенат и приказал от имени Ростопчина закрыть заседания и «немедленно выехать из Москвы». «Я весьма заботился, — об'яснял Ростопчин в «записках» свой поступок, который, по его собственному признанию, «впоследствии считали деспотическим», — чтобы ни одного сенатора не оставалось в Москве и чтобы тем лишить Наполеона средства действовать на губернии посредством предписаний или воззваний, выходивших от сената... Таким образом я вырвал у Наполеона страшное оружие, которое в его руках могло бы произвесть смуты в провинциях, поставив их в такое положение, что не знали бы, кому повиноваться».

Однако, если ограничиться исключительно лишь об'яснениями одного Ростопчина, то будет ясно, что истинная причина негодования Ростопчина на сенат крылась совсем в другом. Ростопчин, по его словам, узнал, что трое сенаторов, принадлежащих к «партии мартинистов» (Лопухин, Рунич, Кутузов), «предложили послать депутацию в главную квартиру, чтобы узнать от главнокомандующего — не в опасности ли находится Москва, и пригласить меня в сенат, чтобы я сообщил сведения о способах защиты и о мерах, какие я намереваюсь предпринять в настоящих обстоятельствах. Вся эта проделка была

делом самолюбия, и сенат хотел присвоить себе право верховной власти». Давать отчет кому-либо Ростопчин вовсе не намеревался, тем более, что его хвастливые обещания не могли найти решительно никакой конкретной поддержки в фактическом положении вещей. И пока «честные люди и мартинисты рассуждали, как отнестись с своими требованиями» к Ростопчину и «отправить депутацию на главную квартиру», Ростопчин своей административной властью разрешил все недоумения, предупредив, что «в случае неповиновения» «он» немедленно под хорошею стражею увезет «всякого сенатора, который будет упорствовать остаться в Москве». Таким образом и здесь Ростопчин нашел повод выставить себя мудрым спасителем отечества, сумевшим во-время прервать интригу «мартинистов», хотевших «убедить своих товарищей не оставлять города, представляя этот поступок, как долг самопожертвования» . . . а в действительности имея «намерение», оставаясь в Москве, «играть роль при Наполеоне».

Надо ли выяснять, что все это явилось плодом вымысла ростопчинской фантазии в более позднее время, когда его «деспотизм» далеко уже не встречал одобрения в правительственных кругах, когда и его героизм у современников отчасти был поставлен под подозрение.

30 августа, когда происходила сцена с удалением из Москвы сенаторов, Ростопчин, вероятно, уже не думал о защите Москвы. Ночью он получил уведомление от Кутузова, что «Наполеон отделил от своих войск целый корпус, который двинулся по направлению к Звенигороду». «Неужели не найдет он свой гроб от д р у ж и н ы московской,—спрашивал Кутузов,—когда бы осмелился он посягнуть на столицу московскую . . . Ожидаю нетерпеливо отзыва вашего сиятельства». Казалось бы, вот где Ростопчин мог бы показать реальные результаты своей продуктивной деятельности, своей воинственной пылкости. «Я ему ничего не ответил», говорит Ростопчин в своих записках. Предложение Кутузова показалось московскому властелину «весьма дурною шуткою», потому что Кутузову «хорошо было известно, что Москва опустела и в ней оставалось не более 50 тыс. жителей». Так рассказывал Ростопчин впоследствии. Но А. Н. Попов не без основания предполагает, что со стороны Кутузова в данном случае не было «злой насмешки». Кутузов мог вполне искренно поверить, что Ростопчин исполнил свое обещание сформировать добровольную дружину (помимо ополчения) из московских обывателей. Ведь о ней так много говорил хвастливый московский градоправитель.

Принц Евгений Вюртембергский, бывший в курсе военных дел, в своих воспоминаниях определенно свидетельствует, что Кутузов «рассчитывал, что все, способное носить оружие, население будет его подкреплять, если будет сражение под Москвой».

Ростопчин, конечно, мог бы претендовать на Кутузова, так как и обещания последнего «скорее пасть при стенах Москвы, нежели передать ее в руки врагов», по меньшей мере были «нескромны», по замечанию ген. Ермолова; Ростопчин мог бы говорить, что эти многообещающие слова внушили ему ложное представление о планах главнокомандующего, если бы приступил действительно к организации той дружины, которая должна была явиться вооруженная по первому его кличу, чтобы отразить французов. Мы знаем уже, как боялся в действительности «русский барин», принявший на себя роль народного трибуна, своих даже невооруженных молодцов. Но при всем том отказаться от приемов своей рекламной и фальшивой демагогии Ростопчин не мог.

30-го утром Ростопчин вручает Глинке для немедленного напечатания написанные «летучим пером», как выражается Глинка, «Воззвания на Три горы». На основании разговора по поводу воззвания между Глинкой и Ростопчиным можно видеть, что здесь Ростопчин сознательно выступал с обманом: «У нас, на Трех горах, ничего не будет, — заявил Ростопчин; — но это вразумит наших крестьян, что им делать, когда неприятель займетъ Москву». — «Братцы, «наши силы многочисленны . . . Не впустим злодея в Москву . . . Вооружитесь кто чем может, и конные и пешие; возьмите только на три дня хлеба. Идите. . . с крестом, возьмите хоругвей из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на Трех горах. Я буду с вами и вместе истребим злодея». Для чего допускал эту фальшь Ростопчин? Для того, чтобы поддержать спокойствие и порядок в столице, — отвечает он. В действительности мера его привела к совершенно противоположным результатам. Уже об'явление 30 августа, в котором Ростопчин заявлял, что он клич кликнет «дня за два», произвело, по словам Бестужева-Рюмина, «ужасное волнение в народе», волнение самое убийственное: стали разбивать кабаки, питейная контора на улице Поварской разграблена, на улицах крик, драка . . . Словом, Москва в этот день как будто вовсе была без начальства».

Таков был неизбежный результат демагогии Ростопчина, которой предусмотрительно, как мы знаем, боялся кн. Вяземский. Ростопчин в своих записках, в свою очередь, констатирует подобные факты, забывая только сказать или не понимая, что они явились прямым продуктом его литературного творчества. Ростопчин рассказывает о заговоре 12 «негодяев» «поджечь город, ударить в набат и во время общей тревоги и смущения броситься грабить богатые лавки». «За три дня до вступления неприятеля в Москву, — передает Ростопчин, — мне дали знать, что некто Наумов, маленький дворянин, пользовавшийся худою славою, подговаривал лакеев и назначил им место, где надо собраться, чтобы пуститься на грабеж, когда придет время. Он набрал и записал их уже более 600, когда я узнал об этом умысле. Между прочим, меня известили, что он «похваляется, что убьет меня самого» . . .

Как ни мало достоверны все рассказы Ростопчина, можно не сомневаться в существовании подобных фактов — погромные элементы были вызваны к жизни самим Ростопчиным. В виду волнения, отмеченного Бестужевым-Рюминым, Ростопчину пришлось принимать меры к закрытию кабаков 30 и 31 августа. «Я прибег к этой мере, потому что множество мародеров, дезертиров и мнимых раненых стекалось отовсюду в Москву; а напиться даром допьяна могло привлечь и часть войск и так находившихся в беспорядке. Пьяные же могли начать грабеж и, может-быть, поджечь город, прежде нежели пройдет через него наша армия» . . .

Но меры Ростопчина уже не достигли цели, как определенно свидетельствует очевидец событий и настроения в Москве в последние дни перед сдачей. . . Легковерная толпа пошла за патриотическим призывом Ростопчина. 31 августа на Трех горах собралось оставшееся население, чтобы «спасти от наступающего врага Москву». «Народ в числе нескольких десятков тысяч, — рассказывает Бестужев-Рюмин, — так что трудно было, как говорится, яблоку упасть, на пространстве 4 или 5 верст квадратных, как с восхождением солнца до захождения не расходились в ожидании графа Ростопчина, как он сам обещал предводительствовать ими; но полководец не явился, и все с горестным унынием разошлись по домам». Автору воспоминаний казалось, что «малей-

шая поддержка этого патриотического взрыва, и Бог знает, взошел ли бы неприятель в Москву?» Как ни наивно это предположение чиновника вотчинного департамента, оно ярко характеризует личность Ростопчина, храброго на словах, но не на деле. Ростопчин не явился . . . Он сознательно морочил оставшееся московское население и боялся обнаружения своей фальши. Он был близок к народу, но до крайности боялся этого вооруженного народа, вооруженного хотя бы и рогатками, вилами и топорами. Демагог не способен был лично поддержать в критический момент патриотического взрыва именно из-за страха.

Очевидно, уже в это время московская толпа чувствует большое озлобление против Ростопчина, он вынужден пообещать на другой день начать действовать: «Я завтра еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить . . . я приеду назад к обеду и примемся за дело: оделаем, доделаем и злодеев отделаем». Верил ли кто-нибудь еще в подобные обещания? Вряд ли: в Москве началась уже полная анархия: «Проходя пешком через Москву, — сообщает современник Евреинов, — я н и ч е г о более не встречал, кроме беспорядков и безобразий. Кабаки уже начали разбивать». «За сутки пред вступлением в Москву неприятеля, — рассказывает (быть может, не совсем точно) «Очевидец о пребывании французов в Москве» — . . . нигде не было видно ни одной души, исключая подозрительныхъ лиц, с полубритыми головами, выпущенных в тот же день из острога: эти колодники, обрадовавшись свободе, на просторе разбивали кабаки . . . и другие подобные заведения . . . Вечером острожные любители Бахуса, от скопившихся в их головах винных паров придя в пьяное безумие, вооружась ножами, топорами . . . и с зверским буйством бегая по улицам, во все горло кричали . . . : «Руби проклятых французов».

На утро вступления французов в Москву беспорядки, конечно, еще усиливаются. В то время, когда русский арьергард под начальством Милорадовича проходил через Москву, а французский авангард под начальством Себастиани вступал в Москву, на улицах начинался уже разгром домов и лавок опьяневшей толпой.

Мы имеем очень яркие показания русских очевидцев о той картине, которую можно было наблюдать в Москве 2 сентября с утра. На улицах бушует толпа. Она состоит из подонков общества, из «колодников», выпущенных или вырвавшихся из тюрем, — одним словом, из таких элементов, которые совершенно терроризировали мирное население. Ростопчин в 1813 г. определял оставшееся в Москве население в 10 т. человек: «когда Бонапарт взошел в Москву, в ней было всего 10 т. жителей» («из них, по крайней мере, половина всякой сволочи, дожидавшейся, как бы пограбить город», сообщал Ростопчин в письме Воронцову). В письме к Вязьмитинову (30 октября 1812 года) Ростопчин уверяет, что из 10.000 «наверно» 9.000 было таких, «кто с намерением грабить не выехал». Среди этой толпы видную роль играют «колодники», которые, по уверению Ростопчина, все (в числе 120 человек) были отправлены в Нижний. Правда, такое предписание было сделано, но в действительности оно осталось только на бумаге. Помимо французских свидетельств (см., напр., яркую картину у Coignet, Roos и др.) достаточно и русских: вот, напр., как описует Москву в 5 час. дня ближайший друг и помощник Ростопчина А. Я. Булгаков: «У заставы нет никого. Кабак разбит. У острога колодники бегут; их выпустили или они поломали замки свои . . . Против Пушки-

на убивают солдаты наши лавочника. Еду по Басманной — ужасная картина, не у кого спросить, где граф. Грабеж везде ранеными и мародерами». Другая картина, начертанная очевидцем, дворовым человеком: «Перед самым тем временем, как вступил француз в Москву, приказано было разбивать в кабаках бочки с вином. Народ-то на них и навалился; перепились пьянехоньки. Вино течет по улицам, а иные припадут к мостовой и камни лижут. Драки, крик!».[1]) Еще совершенно аналогичное свидетельство в письме Петра Лунина к Арбеневу (18 сентября): «В день входа неприятеля главнокомандующим и губернатором распущены были и отворены остроги находящимся в оных преступникам, они, а не французы, грабят и жгут наши дома, что и по сие время продолжается». Можно найти и другие указания. (См. Щук. сборн.) Но особенно любопытен рассказ оставшегося в Москве начальника Воспитательного Дома И. В. Тутолмина, который попал в трагическое положение, так как все его рабочие и караульщики перепились, таская из разбитых «войсками» кабаков вино «ведрами, горшками и кувшинами» . . . (Письмо к Баранову).

Такую картину представляла Москва 2 сентября. И не только в то время, когда «ни коменданта, ни главнокомандующего, ни обер-полицеймейстера, ни квартальных» уже в Москве не находилось. Так было с утра, когда Ростопчин делал свои последние распоряжения.

Перенесемся теперь на двор ростопчинского двора на Б. Лубянке, где суждено было разыграться кровавой трагедии гибели невинного Верещагина. Этот ужасный эпилог деятельности Ростопчина служит ему лучшим историческим памятником и лучшей личной характеристикой. 10 часов утра. Все готово для от'езда Ростопчина. «Я спустился на двор, чтобы сесть на лошадь, и нашел там с десяток людей, уезжавших со мной, — рассказывает Ростопчин. — Улица перед моим домом была полна людьми простого звания, желавших присутствовать при моем от'езде. Все они при моем появлении обнажили голову. Я приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне купеческого сына Верещагина, автора наполеоновских прокламаций, и еще одного французского фехтовального учителя по фамилии Мутона [1]), который за свои революционные речи был предан суду и уже более трех недель тому назад приговорен уголовною палатою к телесному наказанию и к ссылке в Сибирь, но я отсрочил исполнение этого приговора. Оба они содержались в тюрьме . . . и их забыли отправить с 730-ю преступниками . . . Преступники эти . . . ушли три дня тому назад. . . Приказав привести ко мне Верещагина и Мутона и обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество; я об'явил ему, что он приговорен сенатом к смертной казни и должен понести ее, и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова . . . Тогда обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал мотивы, я сказал ему: «Дарую вам жизнь; ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему отечеству». Я провел его к воротам и подал знак народу,

[1]) Толычева, „Рассказы очевидцев о 1812 г.“.
[2]) Говорят, что за донос на него Ростопчин уплатил будто бы 1000 руб.

чтобы пропустить его. Толпа раздвинулась, и Мутон пустился опрометью бежать, не обращая на себя ничьего внимания, хотя заметить его было бы можно: он бежал в поношенном своем сюртучишке, испачканном белою краскою, простоволосый и с молитвенником в руках. Я сел на лошадь и выехал со двора и с улицы, на которой стоял мой дом. Я не оглядывался, чтобы не смущаться тем, что произошло».

Мы взяли in extenso описание «казни» Верещагина, сделанное самим Ростопчиным. Описание, в котором каждое слово звучит фальшью, совершенно не соответствует действительной картине, нарисованной другими современниками. Не говоря уже о характеристике настроения толпы, собравшейся перед домом Ростопчина, — настроения, весьма мало подходящего к тем фактам, которые мы только что могли наблюдать на улицахъ Москвы по единогласному показанию современников, Ростопчин, излагая в своих воспоминаниях (1823 г.), не потрудился даже справиться со своими собственными предписаниями и письмами того времени, когда происходило описываемое событие. Он забыл, что предписание о высылке колодников было дано им лишь 1 сентября; он забыл вместе с тем, что 8 сентября он несколько иначе описал казнь Верещагина в письме к императору: «велел нанести ему три сабельных удара. Он прикинулся мертвым, но увидав, что я уехал, вздумал бежать и попал в руки народной толпы». . . .

Воспроизвести с фотографической точностью трагическую смерть Верещагина, легшую кровавым пятном на совесть Ростопчина, вряд ли возможно. Но и то, что мы знаем, разрушает рассказ Ростопчина. Несомненно, Ростопчин отдал толпе Верещагина. Это засвидетельствовано даже столь близким лицом к Ростопчину, как В. А. Обрезков, рассказ которого о трагической смерти Верещагина передает Д. Н. Свербеев. По словам Обрезкова, когда Ростопчин отдал драгунам приказание рубить «изменника» палашами, «драгуны замялись, приказание повторилось. Удары тупыми, неотточенными палашами последовали, но не могли в скором времени достигнуть цели. Ростопчин велел толпе докончить заранее обдуманную им казнь за измену». В устах другого современника мы услышим сейчас и другое освещение. Столь часто цитировавшийся нами Бестужев-Рюмин передает в своих воспоминаниях рассказ чиновника вотчинного департамента, которому случайно пришлось сделаться очевидцем «казни» Верещагина. Этот случайный очевидец, явившись в департамент, рассказывал под непосредственным впечатлением: «Ах, Алексей Дмитриевич, какой ужас я видел, проходя мимо дома графа Ростопчина, которого двор был полон людьми, большею частью пьяными, кричавшими, чтобы шел он на Три горы предводительствовать ими к отражению неприятеля от Москвы. Вскоре на такой зов вышел и сам граф на крыльцо и громогласно сказал: «Подождите, братцы! Мне надобно еще управиться с изменником!» И тут представлен ему несчастный купеческий сын . . . Верещагин . . . и Ростопчин, взяв его за руку, вскричал народу: «Вот изменник! от него погибает Москва!» Несчастный Верещагин, бледный, только успел громко сказать: «Грех, вашему сиятельству, будет!» Ростопчин махнул рукою, и стоявший близ Верещагина ординарец графа, по имени Бурдаев . . . ударил его саблею в лицо; несчастный пал, испуская стоны, народ стал терзать его и таскать по улицам. Сам же граф Ростопчин, воспользовавшись этим смятением, сошел с крыльца и в задние ворота дома своего выехал из Москвы на дрожках».

В сущности, в соответствии с этим рассказом передают факт почти все современники. Возьмем воспоминания Каролины Павловой, где смерть Верещагина рассказывается на основании «очевидца тогдашних происшествий».

«Когда народ московский, — говорит Павлова, — успокоенный прокламациями графа Ростопчина, которые постоянно твердили о бессилии и скором уничтожении армии Наполеона, вдруг узнал, что эта армия стоит на Поклонной горе, готовая вступить беспрепятственно в Москву, вопль отчаяния пронесся по городу. Озлобленная чернь бросилась к генерал-губернаторскому дому, крича, что ее обманули, что Москву предают неприятелю. Толпа возрастала, раз'ярялась все более и стала звать к ответу генерал-губернатора. Поднялся громкий крик: «Пусть выйдет к нам. Не то доберемся до него!» В этом затруднительном положении граф Ростопчин не потерял присутствия духа... он вышел к народу, который встретил его сердитыми восклицаниями: «Нам солгали. Говорили, бояться нечего, французы разбиты, а французы вступают в Москву». — «Да, вступают, — ответил громким голосом граф, — вступают, потому что между нами есть изменники». — «Где они? Кто изменник?» закричала неистовая толпа. «Вот изменник», сказал граф, указывая на стоящего вблизи молодого Верещагина. Этот последний, пораженный бессовестным обвинением, побледнел и проговорил: «Грех вам, ваше сиятельство!» В ту же минуту вся чернь в остервенении кинулась на него, и между тем как она терзала и убивала несчастного, граф Ростопчин вошел опять в дом, из которого поспешно выбрался на задний двор, сел на готовые дрожки и переулками выехал из Москвы».

В воспоминаниях Д. П. Рунича при некоторой хронологической неточности передается почти такой же рассказ об этом «чудовищном убийстве». «На рассвете, — говорит Рунич, — решетка, обширный двор его (т.-е. Ростопчина) дома от улицы ломились под натиском огромной толпы, состоявшей из низменных, отчаянных подонков столицы[1]).

Ростопчин обратился к толпе с речью и, указывая на Верещагина, сказал, «что изменник своей родине, приготовивший путь врагам, достоин смерти!» — и тотчас приказал жандармам изрубить его саблями, сам нанес ему первый удар и велел бросить тело умирающего невинного страдальца через решетку на улицу. Разгоряченная чернь набросилась на него и волочила его по улицам; Ростопчин сел в ожидавший его легкий экипаж и отправился к армии, только что выступившей из Москвы»... «Вот истинный рассказ об этом чудовищном убийстве», заключает Рунич.

Выписки можно было бы продолжить. И опять в воспоминаниях декабриста Штейнгеля мы встретимся с таким же освещением: Ростопчин отдал на растерзание Верещагина, чтобы, «пользуясь этим временным занятием черни, можно было с заднего крыльца сесть на лошадь и ускакать из Москвы в момент почти вступления в нее неприятеля». Наконец другой современник, не только очевидец но и непосредственный участник «казни» Верещагина, драгунский офицер Гаврилов повторяет буквально то же самое: «С утра густая толпа народа стеклась на дворе и запрудила улицу, шумела, галдела и волнова-

---

[1]) Рунич говорит, что эта толпа явилась, чтобы под начальством ростопчинским отправиться на неприятельское войско. Другой современник (В. И. Сафонович) ставит появление ее в связь с шаром Леппиха. В конце-концов подоплека одна и та же.

лась . . . Прокричав на крыльце народу, что Верещагин изменник, злодей, губитель Москвы, что его надо казнить, Ростопчин закричал Бурдаеву (вахмистру Гаврилова), стоявшему подле Верещагина: «руби!» Не ждавши такой сентенции, он оторопел, замялся и не подымал рук. Ростопчин гневно закричал на меня: «Вы мне отвечаете своей собственной головою! Рубить!» Что тут делать, не до рассуждений! По моей команде: «Сабля вон», мы с Бурдаевым выхватили сабли и занесли вверх. Я машинально нанес первый удар, а за мной и Бурдаев. Несчастный Верещагин упал, мы все тут же ушли, а чернь мгновенно кинулась добивать страдальца и, привязав его к хвосту какой-то лошади, потащила со двора на улицу, Ростопчин в задние ворота ускакал на дрожках» . . .

Мы видим, как в сущности совпадают решительно все показания как очевидцев, так и других современников, рассказывавших о смерти Верещагина или со слов очевидцев, или по слухам. Расхождения только в деталях. И подобная картина не только психологически правдоподобна, но она стоит в полном соответствии с уличной обстановкой в Москве 2 сентября. Пред нами пьяная толпа,—толпа, состоящая из общественных низов, наэлектризованная ожиданием вступления французских войск, бегством начальствующих лиц из Москвы, отступлением русских войск, последними распоряжениями Ростопчина об увозе пожарных труб, затоплением в реке пороховых бочек и хлебных барж и т. д. Пред нами толпа, начавшая с утра уже «грабить дома», по собственному признанию Ростопчина . . . И эта толпа мирно стоит в ожидании того, как граф уедет из Москвы? Как он выйдет для последнего прощания с оставленным в руках французов населением? Толпа, которую систематически натравляли на «злодеев», которой внушали всякие ужасы, которую манили обещанием расправиться в любой момент с «злодеем», если только он появится под стенами священного города, — и эта толпа будет миролюбиво провожать того, кто столько раз фразисто говорил, что он поведет ее на патриотический подвиг защиты столицы? Нет, это слишком невероятно. Пред ростопчинским дворцом собралась буйная толпа, требующая если не ответа, то выполнения обещаний. И московскому барственному демагогу не оставалось ничего более, как трусливо бежать пред личной опасностью и тем ликвидировать свои отношения с московским населением. В жертву народной ненависти было принесено невинное лицо. В тот момент Ростопчину до этого не было никакого дела. Нужен был лишь предлог, чтобы отвлечь на некоторое время внимание [1]).

[1]) Непосредственным очевидцем убийства Верещагина пришлось быть, между прочим, известному художнику Тончи, женатому на кн. Гагариной и бывшему „другом" Ростопчина. Тончи в последние дни жил в доме Ростопчина. „Страшное убийство Верещагина", по словам Рунича, произвело на него такое впечатление, что он „сошел с ума". Отправленный во Владимир, он дорогой убежал в лес, а затем покушался на самоубийство. Во Владимире, находясь на попечении у брата Рунича, бывшего директором канцелярии Ростопчина, Тончи воображал, что „Ростопчин держит его под надзором, чтобы сделать вторым Верещагиным". А. Я. Булгаков об'яснил по другому сумасшествие Тончи. Его потрясло „вторжение французов". „Его преследовала несчастная мысль, что, подозреваемый в шпионстве, предательстве и неблагорасположении к французам, он сделается первой жертвой Наполеона". Ростопчин дал еще иное об'яснение в своей беседе с князем А. А. Шаховским: „Ужас быть убитым крестьянами, а, может-быть, и слугами своими, распалил пламенное воображение и загнал его в лес". То, что рассказывает более осведомленный брат Д. П. Рунича, и, само по себе, более правдоподобно.

Такова истинная картина действительных мотивов поступка Ростопчина.[1] Смерть Верещагина произвела сильное впечатление на современников.[2]. Против Ростопчина негодовало общественное мнение: «Вот убийство, которое невозможно об'яснить, не очерня памяти Ростопчина», сказал в своих «Записках» Рунич, при всем своем личном недоброжелательстве к Ростопчину, вполне одобрявший его деятельность в московский период. И откликом этого негодования явилось известное письмо Александра, в котором император, действительно, очень «мягко» делал Ростопчину упрек: «Я бы совершенно был доволен вашим образом действий при таких трудных обстоятельствах, если бы не дело Верещагина, или лучше — его окончание. Я слишком правдив, чтобы говорить с вами иным языком, кроме языка полной откровенности. Его казнь была бесполезна, и притом она ни в каком случае не должна была совершиться таким способом. Повесить, расстрелять было бы гораздо лучше». Ростопчин в ответ, выставлял себя только исполнителем приговора сената, который «единогласно» присудил к смертной казни Верещагина, «злодея по наклонности и по образу мыслей». Если бы это было так, то неужели Ростопчин не мог выбрать другого времени для убийства! Ложь здесь слишком очевидна . . .[3].

Впоследствии были попытки если не оправдать Ростопчина, то смягчить ужасные обстоятельства «казни» Верещагина и найти об'яснение поступку Ростопчина. Это пытался сделать кн. П. А. Вяземский, кн. А. А. Шаховской, отчасти и Д. Н. Свербеев. «Потомство, — писал Свербеев в 1870 г.[4], — не имеет права обвинять Ростопчина в убийстве по расчету, в убийстве для спасения своей жизни. В таком обвинении я умываю руки. Ростопчин мог

---

1) Говоря о расправе Ростопчина с Верещагиным и примыкая здесь к выводам автора статьи о верещагинском деле в „Щукинском Сборнике“, автор новейшей работы о Ростопчине, А. А. Кизеветтер, (см. выше заметку „Ростопчин“ в освещении Кизеветтера) несогласен с теми, которые считают, что расправа эта была вызвана в значительной степени страхом перед толпой.

Не анализируя этого мнения и не опровергая фактической стороны, автор считает необходимым лишь отметить два обстоятельства: 1) Ростопчин сначала смотрел на толпу с балкона и потом вышел говорить с ней на крыльцо, что указывает на то, что он толпы не боялся, и 2) настроение толпы вовсе и не было страшно. Мутона она не тронула, а Верещагина начала терзать по призыву Ростопчина.

В эти категорические суждения следовало бы ввести ряд фактических поправок — и прежде всего в изложение обстоятельств появления Ростопчина перед толпой в том именно духе, как изложено оно в настоящей статье. Затем все почти современники (и те, кто были очевидцами) свидетельствуют, что настроение толпы, явившейся на генерал-губернаторский двор с требованием, чтобы Ростопчин, согласно своему обещанию, вел народ на Три Горы, было очень враждебно по отношению к Ростопчину. На эти показания современников, находящиеся в полном соответствии со всей реальной обстановкой момента, А. А. Кизеветтер и не обратил внимания.

2) Близкие Ростопчину люди передавали Свербееву, что в Париже Ростопчин „мучился угрызениями совести, что юный Верещагин по ночам являлся ему в сонных видениях“.

3) И напрасно сын Ростопчина, благодаря кн. Вяземского за защиту отца в письме к издателю „Рус. Арх.“ (1869, 935), пытался исправить „ошибку, допущенную реабилитатором. „Верещагин,— утверждал он,— был приговорен к смертной казни, и, без всякого сомнения, приговор этот получил бы надлежащее исполнение, если бы не был предупрежден народною расправою“... Призрак Верещагина будет вечно стоять над памятью Ростопчина.

4) Заметка Свербеева была написана для „Русского Архива“, по поводу „Мелочей из запаса моей памяти“, М. А. Димитриева.

быть и, по моему убеждению, был преступным убийцею Верещагина, но он не мог быть и не был убийцей из трусости. В этом ручается нам вся его жизнь и каждая его строка, до нас дошедшая». Все изложенное, думается, уже достаточно опровергает мнение Свербеева . . .

Отдав толпе Верещагина, Ростопчин скрылся. А толпа, возбужденная еще более произведенным неистовством, устремляется в Кремль к арсеналу, чтобы здесь с оружием в руках встретить неприятеля.

На этом можно и закончить повествование о деятельности Ростопчина — спасителя отечества в 1812 году. «Я спас империю, — гордо и самоуверенно заявлял Ростопчин в оправдательном письме к Александру по поводу верещагинского дела. — Я не ставлю себе в заслугу энергии, ревности и деятельности, с которыми я отправлял службу вам, потому что я исполнял только долг верного подданного моему государю и моему отечеству. Но я не скрою от вас, государь, что несчастие, как будто соединенное с вашею судьбою, пробудило в моем сердце чувство дружбы, которою оно всегда было преисполнено к вам. Вот что придало мне сверхестественные силы преодолевать бесчисленные препятствия, которые тогдашние события порождали ежедневно».

Так казалось Ростопчину в ноябре 1812 года [1].

Но в момент оставления Москвы Ростопчин, повидимому, не чувствовал себя так самоуверенно. Отсутствием этой самоуверенности и об'ясняется отчасти ненависть, которую питает Ростопчин к Кутузову: «Сегодня утром я был у «проклятого Кутузова», — пишет Ростопчин жене 1 сентября. — Эта беседа дала видеть низость, неустойчивость и трусость вождя наших военных сил» . . . «Бросают 22.000 раненых, а еще питают надежду после этого сражаться и царствовать». Одно было достоинство у Ростопчина — это грубая прямота. Он, пожалуй, мог про себя сказать то, что писал в своей жизни, описанной с натуры: «Жизнь моя была плохая мелодрама. . . Я играл в ней героев, тиранов, любовников, благородных отцов, резонеров, но никогда не брался за роль лакеев». Правда, эта прямота отнюдь не вытекала из каких либо высоких моральных качеств. Ростопчин, несмотря на всю свою барственность и французский лоск, был типичным бурбоном.

Сделавшись врагом Кутузова, он ему с откровенностью писал 17 сентября: «Должность моя кончилась и я, не желав быть без дела и слышать целый день, что вы занимаетесь сном, уезжаю» . . . Ведь деятельным был только один Ростопчин — он в этом же упрекал прежде Барклая.

Мы еще встретимся с Ростопчиным в обновленной Москве [2]. Но каковы же были реальные результаты его деятельности в Москве до прихода французов? Хорошо подвел эти итоги Л. Н. Толстой в «Войне и мире». Читатель,

---

[1]) Так казалось впоследствии и некоторым современникам, близким к Ростопчину по своим политическим настроениям. Не любивший Ростопчина Рунич в таких словах охарактеризовывает его значение: „Ростопчин, действуя страхом, выгнал (!) из Москвы дворянство, купцов и разночинцев для того, чтобы они не поддались соблазнам и внушениям наполеоновской тактики. Он разжег народную ненависть теми ужасами, которые он приписывал иностранцам, которых он в то же время осмеивал. — Он спас Россию от ига Наполеона“. В таком же духе оценивает Ростопчина — „Юпитера-громовержца“ и Вигель: „Если вспомнить, что Москва имела тогда сильное влияние на внутренние провинции и что пример ее действовал на все государство, то надобно признаться, что заслуги его в сем году суть бессмертные“.

[2]) См. ниже „Патриотические настроения в 1812 г.“.

конечно, помнит меткую характеристику Ростопчина в конце V главы II части, где Толстой говорит об оставлении Москвы неселением. «Они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа... Граф же Ростопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда негодное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на 136 подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что сожжет Москву, то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее; то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ; то высылал всех французов из Москвы, то оставлял г-жу Обер-Шальне, составлявшую центр всего французского московского населения... то собирал народ на Три горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не перенесет несчастия Москвы, то писал в альбом по-французски стихи о своем участии в этом деле, — этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его власть с собой, народного потока».

Не показывает ли все рассказанное выше правильность нередко оспаривавшихся выводов Л. Н. Толстого. Ростопчин действительно не понимал положение вещей. Он фантазировал и всех морочил, желая разыгрывать роль спасителя отечества, к которой еще менее был пригоден, чем «мальчик».

Если согласиться с Толстым, что оставление Москвы было «величественным событием, которое останется лучшей славой русского народа», то в этом событии, как мы видим, Ростопчин не играл решительно никакой роли. Впоследствии Ростопчин приписал себе и эту славу. Он об'яснил даже все свои действия именно этой целью: соблюсти спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей; на деле Ростопчин только препятствовал осуществлению того «величественного события», которое инстинктивно, из страха подготовили московские обыватели... Москва должна была остаться пустой к прибытию Наполеона. Из нее спешно вывозили имущество, деньги, бумаги и т. д. Конечно, в две недели вывезти все было невозможно, а при господствовавшей панике подчас самое главное оставалось. Не даром Волкова 15 октября писала: «говорят, что в какой-то газете пишут, что Москву сдали опустелую, увезя из нее все до последней нитки. Видно, что, кто в газете пишет, у того в Москве волоса нет». Сколько ни увозили из Москвы, сколько ни зарывали в землю, в столице оставалось достаточно и жизненных припасов и всякого рода имущества. Не даром на Стендаля Москва произвела на первых порах впечатление одного «из прекраснейших храмов неги». Французы нашли немало барских домов с достаточным штатом дворовых людей, оставленных охранять барское имущество (см., напр., письмо Волковой от 17 сентября, приказчика Сокова к Баташову, в доме которого на Швивой горке поместился Мюрат).

Можно было бы привести множество рассказов по этому поводу из французских мемуаров. Наполеон был совершенно прав, когда говорил О' Меару

3 ноября 1816 г.: «Sans cet incendie fatal, j'avais tout ce qui était necessaire à mon armèe.[1])». Конье утверждает, что провизии хватило бы «на всю зиму». Но вряд ли стоит это делать, потому что этот факт несомненен сам по себе и засвидетельствован, наконец, многими реестрами, которые поданы были правительству после выхода французов из Москвы лицами, потерпевшими от пожара. Беглый обзор того, что осталось в Москве, снимает весь патриотический налет с «великого события», долженствовавшего сделаться неувядаемой славой России. Мы знаем, увозили драгоценные вещи, жемчуги с икон и оставляли народные святыни — мощи, оставили «за неимением подвод» 333 знамени и т. д. Оставлены были на произвол судьбы, на попечение «злодеев» тысячи русских раненых, проливших свою кровь в защиту отечества. Указать точную цифру оставленных раненых вряд ли возможно. Мы знаем, что в письме к жене 1 сентября Ростопчин исчисляет количество оставляемых раненых в 22.000. Сколько было увезено в последние два дня, когда русские войска проходили оставляемую Москву, — сведения разноречивы. И различные источники насчитывают оставленных раненых от 2 до 15 тысяч, из которых, по свидетельству Ростопчина, осталось в живых ко времени его возвращения в Москву не более 300. Внук Ростопчина, сын его дочери, гр. Сегюр, написавший жизнеописание своего деда, добавляет к этой печальной повести: и большинство несчастных (раненых) «погибло в огне, зажженном соотечественниками» (Vie de Rostopchine. Paris, 1873).

Таковы были реальные результаты энергичной деятельности московского главнокомандующего. При всем желании найти что-либо положительное в деятельности Ростопчина, в конце-концов, находим лишь отрицательное.

Припомним слова С. Н. Глинки, свидетельствующие о том, что Ростопчин, издавая призыв к населению итти на Три горы, думал якобы этим указать московским крестьянам, что они должны делать, когда французы займут Москву. Можно подумать, что Ростопчину принадлежит инициатива возбуждения народной войны, того образа действий, который спас Россию. Ростопчин целых три месяца подготовлял народное настроение, возбуждая в населении «патриотическую ненависть» к французам. «Мне удалось — писал он позднее своему постоянному лондонскому корреспонденту гр. Воронцову (28 апреля 1813 г.)— внушить крестьянам презрение к французскому солдату . . . Я оставался до 26 сентября при главной квартире, раз'езжая туда и сюда, чтобы ободрить крестьян и своим присутствием, и своими воззваниями»[2]). Но и здесь Ростопчин ошибался. Он был бессилен поднять «патриотизм», который он видел только в человеконенавистничестве.[3])

---

[1]) Вывезены были лишь ночью 1 сентября по предписанию Ростопчина викарию московскому Августину иконы: Владимирской, Иверской и Смоленской Богоматери под предлогом, что войска хотят молиться. Это было сделано для того, чтобы „народ ночью сего не приметил".

[2]) По поводу этой деятельности Ростопчина, в частности по поводу прокламаций, выпускаемых во Владимире, другой постоянный корреспондент Воронцова, очень сочувственно относящийся к Ростопчину, писал 17 октября: „Не скрою, что тон и слог не приличествуют его сану. Прокламации подобного рода теперь особенно не у места. Вообще он слишком любит ремесло писаки". Следовательно тут уже и друзья не дооценивали великого мужа.

[3]) См. ниже „На войне 1812 г."

КТО СЖЕГ МОСКВУ? [1])

Вопрос о причинах, вызвавших пожар Москвы, — вопрос, на котором усиленно останавливалось внимание потомства, в сущности, и не ставился в сознании современников в первые годы после Отечественной войны. «Весь 1813 и1814 гг., — говорит Свербеев, — никто не помышлял, что Москва была преднамеренно истреблена русскими». И эта точка зрения вполне подтверждается перепиской. «Нас считают варварами, — писал Ростопчину С. Р. Воронцов 7 июня 1814 г. — а французы, неизвестно почему, прослыли самым образованным народом. Они сожгли Москву, а мы сохранили Париж». В том же духе пишет Воронцову и сам Ростопчин: Наполеон «предал город пламени, чтобы иметь предлог подвергнуть его грабежу» (Письмо от 28 апреля 1813 г.). «Бонапарт — как бы добавляет через год своему корреспонденту Ростопчин, — чтобы свалить на другого свою гнусность, наградил меня титулом поджигателя, и многие верят ему». (Письмо от 28 апреля 1815 г.)

Нет, конечно, никакого сомнения в том, что пожар Москвы не может свидетельствовать «постыдные и хищные дела презренных зажигателей», как выражался Высочайший указ на имя Ростопчина по поводу проекта воздвигнуть «увенчанный лаврами столб» в Москве из оставленных французами артиллерийских орудий «на память многократных побед и совершенного истребления всех дерзнувших вступить в Россию неприятельских сил». Так могло казаться лишь недостаточно осведомленным современникам, которым в то время не приходила даже мысль о преднамеренном сожжении русской святыни. Так констатировалось в правительственных актах — и это было, как мы знаем, одним из самых могущественных средств к возбуждению, так сказать, органической ненависти к врагу, и не только в низах, но и в дворянстве. Если в низших слоях населения возбуждалось тем самым чувство грубо попранной религиозности, то в дворянских и буржуазных кругах столь же сильно захватывались имущественные интересы. Не даром К. К. Павлова в своих воспоминаниях записала: «Хорошо было Пушкину, лет двенадцать позднее, воскликнуть с энтузиазмом поэта: «Пылай, великая Москва!» Но когда она пылала, то, сколько я знаю, общее чувство было вовсе не восторженное». И понятно, «весть о пожаре Москвы грянула как громовой удар». «Осторожные» барыни, заперев накрепко свой московский дом, были совершенно спокойны насчет своего оставленного там имущества.

При таких условиях, действительно, обвинение французов в пожаре

---

[1]) Напечатано в издании „Отечественная война“.

являлось лучшим агитационным средством, что и отметил, как мы уже знаем, в своих воспоминаниях Домерг.

«Правительство ухватилось за этот предлог, чтобы придать войне характер народный и религиозный. Вся Россия казалось почерпнула в этой великой катастрофе новую энергию».

Но французы неповинны в пожаре. Им не могла принадлежать инициатива уже потому, что «глупо было бы допустить, — как выражался Рунич,— что французы подожгли город, в котором они нашли в изобилии все, что было необходимо для их существования и который представлял собою к тому же надежный пункт, из которого они могли вести переговоры или руководить военными действиями во все стороны, как из центра, находившегося в их руках». Мы знаем, какие усилия употреблялись для борьбы с дезорганизацией, и действительно, было бы «глупо» разрушать одной рукой то, что создается другой. Таким образом, ранняя русская версия о французах - поджигателях абсолютно лишена основания.

В сущности о них говорит единственное только донесение Тутолмина 11 ноября императрице Марии Феодоровне: «Когда я и подчиненные мои с помощью пожарных труб старались загасить огонь, тогда французские зажигатели поджигали с других сторон вновь. Наконец некоторые из стоявших в доме жандармов, *оберегавших* меня, сжалившись над нашими трудами, сказали мне: «оставьте, — приказано сжечь.»

Единственно, что можно сказать, — это то, что на первых порах завладевшие столицею не обратили внимания на начавшийся пожар. Он «не казался опасным, — говорил Наполеон О'Меар'у на о. св. Елены 3 ноября 1816 г. — Мы думали, что он возник из-за солдатских огней, разведенных слишком близко от домов, сплошь деревянных.»

От этих бивачных огней, по рассказам Глинке оставшегося в Москве гравера Осипова, «загорелся дом Филипповского» (Глинка «Записки о Москве»).

На следующий день огонь увеличился, но еще не вызывал серьезной тревоги ... На следующее утро поднялся сильный ветер, и пожар распространился с огромной быстротой, при чем сами русские, как утверждал Наполеон, — и это утверждение соответствует фактам — помогали защите города от пожара. («Napoléon dans l'exil».)

Версия о французах-поджигателях была хороша только для 1812 г.

Несуразность ее очевидна даже для С. Н. Глинки: «ни в Париже, ни при вторжении в Россию пожар московский не заглядывал в мысли Наполеона» («Записки о Москве», 1837 г.). Жозеф де-Местр мог лишь удивляться длительному существованию этой версии: «До сих пор еще, — писал он в своем донесении 2 июня 1813 г., — в народе говорят, да и повыше народа, что Москву сожгли французы: так еще сильны здесь предрассудки, убивающие иногда всякую мысль наподобие гасильников, которыми тушат свечи».

Какое же имеет под собой историческое основание французская версия? У позднейших историков Отечественной войны мы найдем различное решение этого вопроса. Первый оффициальный историк войны, Михайловский-Данилевский, отвергая «обвинение в умышленном и заранее обдуманном зажжении Москвы Российским правительством», видит «причины первых пожаров» в сожжении комиссариатских барок на Москве-реке по распоряжению отчасти Ростопчина, отчасти Кутузова. «В то же время, — говорит он, — загорались дома и лавки, но уже не по чьему-либо приказанию, не по наряду, но по

патриотическим чувствованиям». Затем к французским грабителям присоединились «бродяги из русских» и, «вероятно, вместе с неприятелями старались о распространении пожара, в намерении с большею удобностью грабить в повсеместной тревоге». На другой точке зрения стоит ген. Богданович в своей истории Отечественной войны: «Выказывать пожар Москвы в виде гибели Сагунта — столь же нелепо, сколько приписывать его жестокости Наполеона и буйству его войск». По его мнению, «главным или, по крайней мере, первым виновником его был граф Ростопчин». Д. П. Рунич в своих воспоминаниях пошел дальше: «Для всякого здравомыслящего человека есть один только исход, чтобы выйти из того лабиринта, в котором он очутился, прислушиваясь к разноречивым мнениям, которые были высказаны по поводу пожара Москвы. Несомненно, только император Александр мог остановиться на этой мере». «Не пройдет и века, — добавлял Рунич, — как тайна раз'яснится и на пожар Москвы, без сомнения, будут смотреть, как на одну из лучших жемчужин, украшающих венец Александра. Ростопчину остается только слава, что он искусно обдумал и выполнил один из самых великих планов, возникавших в человеческом уме».

Фантастическое настроение Рунича, конечно, не войдет в историю, ибо под ним нет решительно никакого фундамента. Отойдет в область предания и вся вообще патриотическая легенда, занесенная на страницы воспоминаний ген. Ланжерона: «Пожар Москвы, это геройское деяние, это ужасное, величавое решение, вызванное удивительным самоотвержением и патриотизмом самым пламенным». Тщетны усилия доказать, что «Москва была вольной жертвой нашего патриотизма». Если этот вопрос был возведен «до апогея патриотического самопожертвования», то, по мнению Свербеева, «мыслящая русская публика» ухватилась за него «более ловко, чем искренно». В 1821 г. Д. Н. Свербеев выступил в «Вестнике Европы» с большой статьей, посвященной разбору причин московского пожара в 1812 г. (статья эта вошла в виде приложения в первый том его записок). Отрицая участие Ростопчина в московском пожаре, Свербеев давал такой ответ (и «единственно возможный», по его мнению) на вопрос, кто сжег Москву: «не мы, русские, и не они, французы, задуманно и заранее преднамеренно, и мы, русские, т.-е. остававшиеся во время неприятеля в Москве, и они, французы, т.-е. все галлы и все их двадесять язык, те и другие, но не задуманно и не заранее намеренно. Может-быть, в редких случаях и были между зажигателями русские по чувству ненависти к врагу и из мщения за жестокое с ними обращение неприятеля, но главнейшею причиной пожаров было отсутствие всякой дисциплины в неприятельском войске и всякого порядка между кочующими по городу толпами жителей». «Не должно ли будет согласиться, что Москве труднее было уцелеть, нежели сгореть при таких ужасных беспорядках, продолжавшихся не день, не два, целую неделю».

Если мы поставим вопрос, как сгорела Москва, то, в сущности говоря, замечаниями Свербеева, совпадающими с точкой зрения Михайловского-Данилевского, вопрос будет вполне исчерпан, надо лишь будет добавить, что первыми поджигателями-грабителями явились не французы, а русские. Полупьяная толпа, взвинченная прокламациями Ростопчина, растерзав Верещагина, направляется в то же время в Кремль и там с оружием в руках встречает неприятеля. Этой толпой, начавшей поджоги, руководили, конечно, не только корыстные цели, здесь сыграло роль и чувство инстинктивного самосохранения.

«Совершеннейшее безначалие царствовало в городе — свидетельствует наполеоновский бюллетень от 16 сентября: пьяные колодники бегали по улицам и бросали огонь повсюду». И «когда узнали — как бы добавляет в своих воспоминаниях сержант Бургонь — что сами русские поджигают город, то уже не было возможности более удерживать нашего солдата: всякий тащил, что ему требовалось».

И кто бы ни поджег Москву (сознательно или бессознательно) — все равно не приходится удивляться тому, что полудеревянная Москва, при стоявшей засухе, при отсутствии средств для тушения пожара (пожарные трубы были вывезены по распоряжению Ростопчина), при полной дезорганизации, начавшейся еще за три дня до вступления французов, могла сгореть в несколько дней. «Кто как ни выставляй патриотизм, — замечает Александров в «Очерках моей жизни» («Р. Арх.», 1904), — но и Москва в 1812 г. горела не мало от своих же злоумышленников». И совершенно понятно, что французам приходилось постоянно защищать мирных обывателей. Об этом рассказывают почти все мемуаристы.

К этой версии в 1813 г. должен присоединиться и Лонгинов, утверждавший в письме к Воронцову тотчас же после пожара: Бонапарт «в своей жестокости и отвратительной ярости превратил в пепел» Москву. В январе он уже делает оговорку для своего корреспондента: «Надо предположить, что Москву мы зажгли наравне с французами».

Но при всем том можно ли игнорировать так решительно утверждение французских источников, что пожар был подготовлен Ростопчиным? Можно ли, по крайней мере, отрицать всякое участие Ростопчина в пожаре? Французские источники в один голос указывают на Ростопчина, как на одного из виновников пожара. «L'incendie de Moscou a été consu et preparé par le général gouverneur Rostopchine», гласили бюллетени великой армии. Они утверждали, что поймано до 300 поджигателей со взрывчатыми веществами, что при царившем безначалии пьяные колодники бегали по улицам и бросали огонь.

Наиболее полное об'яснение пожара, как акта, приуготовленного заранее, мы найдем в протоколе от 24 сентября военной комиссии, судившей поджигателей в числе 26 человек [1]). Комиссия свидетельствует, что на суде фигурировали «разные вещи, употребленные к зажиганию, как-то: фитили ракет, фосфоровые замки, сера и другие зажигательные составы, найденные частью при обвиненных, а частью подложенных нарочно во многих домах». Эти зажигательные средства, по мнению комиссии, были приготовлены Шмитом (т.-е. известным нам Леппихом): «построение великого шара только выдумано для того, чтобы скрыть истину». В подтверждение комиссия ссылалась на прокламации Ростопчина с угрозой сжечь французов, если они осмелятся войти в Москву. Таким же доказательством являлся для нее выпуск из тюрьмы преступников, которым дана свобода с тем, чтобы они «подожгли город в двадцать четыре часа» по вступлении французских войск. Затем — свидетельствует протокол комиссии — «разные офицеры, военнослужащие в российской армии и полицейские чиновники получили тайно приказ остаться в Москве, будучи переодеты, чтобы распоряжаться зажигателями и дать им сигнал к запалению». Наконец «бессомнительно доказано, что губернатор Ростопчин, для отнятия

---

[1]) „Бумаги 1812 г.", П. И. Щукина.

всех средств тушить пожар, приказал вывезть ... из 20 кварталов в Москве все пожарные трубы, дроги, крючья, ведра и все проч. пожарные орудия». Все это явно доказывает, что «пожар произошел от уложенного плана».

Первый оффициальный историк Отечественной войны назвал процитированный протокол военной комиссии сцеплением «вымыслов и лжи». Но уже Богданович несколько мягче выразился о военно-судебной комиссии: здесь «ложь перемешана с истиною». И действительно, если вся концепция французской версии, быть-может, и не выдерживает критики, то почти все отдельные факты, приведенные военно-судной комиссией, не могут быть аннулированы.

Вопреки утверждениям оффициальных историков, «колодники» не были вывезены из Москвы: брошенные на произвол судьбы, обреченные к полуголодному существованию, они участвовали и в упомянутых выше «патриотических» подвигах и в разграблении домов — им ничего другого и не оставалось делать. В составе 26 подсудимых мы видим поручика 1-го Московского пехотного полка Игнатьева, солдата и девятерых полицейских (Soldats de police à Moscou). Из свидетельств самого Ростопчина мы знаем, что он выбрал нескольких наиболее надежных полицейских, которые должны были остаться в Москве и доносить московскому градоправителю о положении дел. Они остались и исправно отправляли свою миссию, за что впоследствии были вознаграждены [1]). Что же касается зажигательных веществ, найденных в домах и у подсудимых, то и здесь, несомненно, была доля правды. У нас нет никаких реальных оснований утверждать, что зажигательные снаряды, фигурирующие в качестве вещественных доказательств в протоколах французской военной комиссии, являются вымыслом. Основания могут быть исключительно лишь психологические — Наполеону выгодно было для реабилитации в общественном мнении представить дело таким образом. Как ни сильны подчас бывают для исторических выводов подобные соображения, все же они требуют проверки. Бесспорно, шар Леппиха сам по себе не имеет никакого отношения к пожару (среди ранних иностранных историков высказывалась мысль, что Леппих дал первую мысль о сожжении). [2]) Но после Леппиха остались «горючие материалы». Это факт, не подлежащий сомнению. Они и послужили, по словам Ростопчина, «предлогом, за который с жадностью ухватились, чтобы доказать, что в этой лаборатории приготовлялись зажигательные материалы для сожжения Москвы».

Но как быть с тем, что все французские мемуаристы, современники, участники великой армии — солдаты и офицеры без различия, действительно, в один голос утверждают, что у поджигателей были «горючие материалы». Возьмем ли мы сержанта Бургоня, возьмем ли кого-нибудь другого — мы встретим все одно и то же в различных вариациях. Нет ничего более легкого, как утверждать, что все эти показания очевидцев недостоверны, что все это — позднейшие повторения французской оффициальной версии. Но есть ли для

---

[1]) И вознаграждены, как свидетельствует дочь Ростопчина, Нарышкина, именно за поджог. См. в заметке „Еще о Ростопчине".

[2]) Источником этих слухов отчасти были иностранцы, оставшиеся в Москве и, конечно, не достаточно осведомленные о предприятии Леппиха. Вот что говорит, напр., в своих воспоминаниях аббат Серюг: на даче Репнина „on ce fabriquaient des pièces de feux artificiels, des fusées à la Congréve et d'autres instruments, destinés à l'exécution du grand projet" ("Les Français à Moscou". Relation inédite publiée par le Libercier. Moscou, 1911).

этого какое-нибудь основание? Подчас рассказ очевидца отличается такой непосредственностью, что сразу можно увидать, где он рассказывает с чужих слов, по слухам, и где передает личные впечатления и наблюдения. Несомненно, рассказы очевидцев окрашены большой дозой суб'ективизма, детали часто очень недостоверны, но это все же не повод для поголовного отрицания их рассказов. Сержант Бургонь в своих воспоминаниях много раз рассказывает, как он со своим патрулем наталкивался на поджигателей с «факелями», перебегавших из одного дома в другой, он рассказывает, как ему приходилось охранять, по просьбе мирных обывателей, дома от поджогов и т. д. «По крайней мере, две трети этих несчастных (забранных в плен патрулем) были каторжники... остальные были мещане среднего класса и русские полицейские, которых легко было узнать по их мундирам». Свидетельство простого сержанта, рассказ о непосредственных наблюдениях представит, конечно, гораздо большую ценность, чем знаменитый рассказ Сегюра, всецело передающий официальную версию о пожаре, поджигателях и ракетах. Возьмем ли мы артистку Луизу Фюзи (Fusil, «Souvenirs d'une femme sur la retraite de Russie»), возьмем ли итальянца офицера Ложье (Laugier, «La grande armée»), возьмем ли полковника Комба («Mémoires»), возьмем ли генерала Дедема («Mémoires»), возьмем ли письмо Марэ, герцога Бассано, датированное 21 сентября (Chuquet, «Lettres de 1812»), — мы повсюду встречаемся с одним и тем же. Единогласие поразительно. Марэ говорит о «горючих материалах», найденных в домах, а капитан Бургоэн, остановившийся в доме Ростопчина на Лубянке, рассказывает, как вскоре после прибытия в трубах была обнаружена кадка с фитилями, ракеты и т. д. Последнее сообщение особенно любопытно... То же подтверждает Боссе, который передает со слов д-ра Жоанно, жившего там, что в печных трубах ростопчинского дома были найдены взрывчатые вещества и горючие материалы [1].

Однородные факты, сообщаемые иностранными мемуаристами, во всяком случае, показывают, что московская полиция во главе с Ростопчиным замешана в пожаре. Сообщения современников-иностранцев можно добавить и сообщениями русских современников (напр., о горючих веществах, спрятанных в некоторых домах, о поджогах людьми, нанятыми Ростопчиным, говорит ген. Левенштерн в своих воспоминаниях). Но в особенности приходится обратить внимание на показание одного из самых достоверных свидетелей-очевидцев московских событий летом и осенью 1812 г. — Бестужева-Рюмина. В своем «Кратком описании» он рассказывает, как он пошел посмотреть (в то время, когда французы еще не вступили в город), что делается в городе. «На Лобном месте, что близ кремлевских Спасских ворот, площадь была полна народу, так что тесно было; в воздухе же был нестерпимый смрад от того, что лавки москотильного ряда были уже зажжены, и, как говорили, зажигал лавки сам частный пристав городской части, какой-то князь». Глинка передает другую версию: «Я слышал от гравера Осипова, шедшего мимо рядов в день оставления Москвы, что в москотельный ряд брошена была бомба».

---

[1]) Ростопчин в позднейших своих об'яснениях по этому поводу писал: „Один французский медик, стоявший в моем доме, сказывал мне, что нашли в одной печи несколько ружейных патронов... они могли быть положены после моего выезда, чтобы через то подать еще более повода думать, что я имел намерение сжечь Москву. Равномерно и ракеты... могли быть взяты в частных заведениях“ („Правда о пожаре Москвы“).

Если мы сопоставим эти факты с предписанием Ростопчина 1 сентября полицмейстеру Ивашкину о вывозе пожарных труб, с приказом его разбить бочки со спиртом и водкою, с распоряжением о сожжении комиссариатских барок у Симонова монастыря и Красного Холма (что и было исполнено «по мере возможности, в виду неприятеля до 10 часов вечера», как доносил пристав Вороненко), то еще очевиднее будет довольно деятельное участие московской полиции в первых поджогах.

Ростопчин выражал полную уверенность, что Москва сгорит, как только вступят в нее французы [1]). Мы сошлемся в данном случае не на намеки, которые делал Ростопчин в своих об'явлениях московскому населению или в ранних письмах к Багратиону и разговорах с Ермоловым. Напр., Багратиону 12 августа он писал: «Народ здешний умрет у стен московских, а, если Бог не поможет, обратит город в пепел»; сошлемся не на апокрифическую в значительной степени беседу, которую ведет перед от'ездом из Москвы Ростопчин с своим младшим сыном и которую передает внук Ростопчина Сегюр: «Приветствуй Москву в последний раз, через ½ часа она будет в огне», и не на свидетельство принца Евгения Вюртембергского, что Ростопчин считал лучше сжечь Москву, чем отдавать ее французам. По словам автора, Ростопчин перед советом в Филях сказал ему: «Если бы меня спросили, то я бы сказал: уничтожьте город прежде, нежели отдавать его неприятелю».

Мы сошлемся лучше на два письма Ростопчина от 1 сентября, из которых одно было адресовано императору Александру, а другое — жене. «Москва в руках Бонапарта будет пустынею, если не истребит ее огонь, и может стать ему могилою», пишет Ростопчин императору. «Город уже грабят, — сообщает Ростопчин жене, — а так как нет пожарных труб, то я убежден, что он сгорит». «Я хорошо знал, — пишет Ростопчин через неделю жене (9 сентября), — что пожар неизбежен». Правда, через два дня он приписывает себе только мысль о сожжении Москвы, которую не удалось выполнить. «Моя мысль поджечь город до вступления в него злодея, — сообщает 11 сентября Ростопчин жене, — была полезна. Но Кутузов обманул меня... Было уже поздно...» Через месяц, 13 октября, почти то же Ростопчин повторяет и Александру: «Скажи мне два дня раньше, что он (Кутузов) оставит Москву, я бы выпроводил жителей и сжег ее».

Многие хотят видеть в последних указаниях как бы подтверждение того, что Ростопчин, лелея, быть может, мысль о сожжении Москвы, *фактически* не принимал в нем участия. Вряд ли, однако, это отрицание может опровергнуть приведенные выше показания. При всех разговорах и намеках на возможность сожжения Москвы действительность и сознание современников были очень далеки от такой возможности. При том впечатлении, которое произвел на русское общество пожар Москвы; при том негодовании против варварского поступка французов, какое он вызвал, —признание со стороны Ростопчина, что он участвовал в сожжении Москвы, хотя бы даже с патриотической целью, показалось бы чудовищным и вызвало бы скорее бурю негодования. Ростопчину неизбежно приходилось молчать о своем «патриотическом» подвиге. Нельзя забывать и того, что только в оффициальных реля-

---

[1]) Щербинин передает со слов Шафонского, директора канцелярии кн. Д. В. Голицина, преемника Ростопчина, что именно в этих целях, т. е. поджога Москвы, были выпущены Ростопчиным арестанты.

циях можно было утверждать, что Москва оставлена пустой, что из нее все вывезено. Современники, зная правду, конечно, не верили подобным сообщениям, тем более, что в момент оставления Москвы, в момент бегства из Петербурга, решительно никаких сознательных патриотических целей не ставилось.

Содействуя поджогам Москвы, не ставил каких-либо сознательных патриотических целей и сам Ростопчин: это была простая месть человека, находившегося «в крайне раздраженном состоянии», «слепая ненависть», как выразился один из современников. Ростопчин подводил итоги своим многочисленным обещаниям, которые все оказались мыльными пузырями. И эта «слепая ненависть» отзывается, действительно, чем-то «скифским», если мы припомним, что в Москве на милосердие неприятелей оставляли тысячи русских раненых...

В совершении акта сожжения Москвы могло сказаться и обычное упрямство Ростопчина — «упрям, как лошак», сказал он сам про себя [1]). Раз народилась в уме Ростопчина мысль, он ее осуществлял вопреки логике, вопреки изменившимся обстоятельствам, вопреки, наконец, простому здоровому смыслу. Участник кампании 1812 г. А. А. Щербинин, считавший инициатором пожара Ростопчина, так говорит по этому поводу: «неизвестно внутреннее побуждение Р., полагал ли он лишить французов пристанища или обратить на возненавиденного им Кутузова проклятие России за гибель Москвы».

При таких условиях Ростопчину о своем «подвиге» приходилось умалчивать и стирать следы своего участия в московском пожаре [2]). Вернувшись в Москву после французов, Ростопчин еще в большей мере должен был считаться

---

[1]) Своим упрямством Ростопчин весьма гордился и вырезал даже на печати карманных часов фразу Павла I про него: „Ты прям, да упрям".

[2]) В статье о Ростопчине, помещенной в сборнике „Исторические очерки", А. А. Кизеветтер, присоединяясь к выводам одного из наиболее авторитетных в свое время историков Отечественной войны, Попова, считает невозможным даже говорить об участии Р. в московском пожаре.

Приводя „новое документальное указание", обнародованное в 1912 г., А. А. Кизеветтер полагает, что оно „должно устранить всякие дальнейшие споры по этому вопросу".

Приходится признать, что у А. А. Кизеветтера заключается здесь просто недоразумение. Говоря о „новом документальном указании", автор имеет в виду письмо Р. к жене (11 сент.), помещенное в отрывке биографии Р., составленной его дочерью Наталией, который был напечатан в „Трудах Яросл. Арх. Ком." (1912 г. вып. III). Ростопчин указывает в нем, что его „мысль поджечь город была бы полезной до вступления злодея", т.-е. Наполеона, но вследствие обмана со стороны Кутузова осуществлять ее „было уже поздно". В сущности это „новое документальное указание" уже достаточно старо, ибо цитированное письмо находится в серии писем Р. к жене, опубликованных в 1901 г. в „Русском Архиве" (кн. VIII стр. 472). Очевидно, эти материалы вообще ускользнули от внимания А. А. Кизеветтера, а между тем в других письмах (9 сент. и 1 сент.) Р. в таких же интимных признаниях жене (эту интимность А. А. К. считает особенно важной) говорит, что он „хорошо знал, что пожар неизбежен" (9 сент.), „я убежден, что он (т.-е. город) сгорит (1 сентября)". Воспоминания Н. Ф. Нарышкиной, отрывок из которых цитирует по „Трудам Яр. Арх. Ком." А. А. Кизеветтер, имеются в отдельном издании на французском языке (Le comte Rostopchine et son temps). Надо сказать, что источник этот весьма мутен (см „Родственники о Ростопчине"). Но если к нему и обращаются, то как раз здесь можно найти весьма определенные и действительно *новые* указания, противоречащие мнению А. А. Кизеветтера.

с враждебным настроением тех, кто потерпел материальные убытки от пожара. Он сам признавался в письме к Воронцову, что «многие верят ему», т.-е. Наполеону. И мы видим, что Ростопчин принимает довольно энергичные меры к прекращению нежелательных слухов: он еще с большим усердием пред'являет обвинение в политической неблагонадежности и отдает в «рекруты» тех, которые «много врут о разорении Москвы» . . .

Проходят годы. Непосредственные впечатления от пожара ослабевают. За границей творится «патриотическая легенда» о пожаре Москвы. Ростопчин делается европейской знаменитостью. Его поступок с сожжением собственного поместья Воронова возводится в перл патриотического воодушевления: «Сожигатель Эфесского храма, — говорит Вильсон, — доставил себе постыдное бессмертие, разрушение Воронова должно остаться вечным памятником русского патриотизма». Ростопчин чрезвычайно чувствителен к славе. Лучше всего это может показать письмо, адресованное из Москвы 28 апреля 1814 г. Воронцову: «Сделайте же мне одолжение, устройте, чтобы я имел какой-либо знак английского уважения, шпагу, вазу с надписью, право гражданства». Ростопчин прекрасно сознает, что его «известность держится на пожаре Москвы», как пишет он одной из своих дочерей. Бонапарт «соделал своими ругательствами имя мое незабвенным». «В Англии народ желал иметь мой гравированный портрет», «в Пруссии женщины модам дают имя мое», так характеризует Ростопчин свою заграничную популярность. Человек столь мелкого самолюбия упивался своей славой, хотя бы она основывалась на «скифском» поступке. Ростопчин попадает в Париж, где он разыгрывает из себя знаменитость. Все его хотят видеть. Издаются его портреты с подписами «L'incendiaire Rostopchine». Московский властелин в отставке удовлетворен и вовсе не намерен возражать против тех «ругательств», которые, по собственному признанию, создают ему славу. И только в 1823 г. Ростопчин выступает с знаменитой брошюрой «La vérité sur l'incendie de Moscou», в которой, пишет: «я отказываюсь от прекраснейшей роли эпохи и разрушаю здание своей знаменитости». Зачем издал Ростопчин эту брошюру через десять лет молчания? «Он хотел сложить ответственность с одного себя за последствия пожара», — отвечает внук Ростопчина. — Он хотел вернуться в Москву и зная, что его «патриотический подвиг» на родине далеко не возбуждает того восторга, уважения или любопытства, как в Западной Европе, пишет брошюру, которую посылает своим компатриотам, как «залог для примирения». Ростопчин в ней стоит на так называемой «патриотической» точке зрения. «Главная черта русского характера — пишет он — есть некорыстолюбие и готовность скорее уничтожить, чем уступить, оканчивать ссору следующими словами: «не доставайся уже никому». . . «Я слышал следующее выражение: «лучше сжечь»... Я видел многих людей, спасшихся из Москвы после пожара, которые хвалились тем, что сами зажигали свои дома».

Казалось бы, — писал Свербеев в своей статье о пожарах Москвы, — что после такого резкого отречения Ростопчина от возводимого на него подвига, после такого искреннего и вместе насмешливого на то негодования с первых строк его знаменитой брошюры [1]), после всех приведенных им в ней доказа-

---

[1]) „Ennuyé d'entendre débiter la même fable, je vais faire parler la vérité qui seule doit dicter l'histoire.“

тельств, что он никогда не замышлял сожжения Москвы[1]), современники и потомство оставят его память в покое и перестанут прославлять его имя небывалым подвигом. Напротив того, чем более отдалялась от нас знаменитая эпоха, тем упорнее стали мы писать, печатать, проповедывать, «что Москву сжег Ростопчин, что Москву сожгли русские».

Так утверждает, напр., Хомутова в своих воспоминаниях, которые писались через двадцать лет: «никто не сомневался, что пожар был произведен по распоряжению гр. Ростопчина: он приказал раздать факелы выпущенным колодникам, а его доверенные люди побуждали их к пожару». Мы уже цитировали мнение самого Свербеева, с которым в значительной степени нельзя не согласиться. Но это мнение нисколько не опровергает участие Ростопчина в поджогах — оно свидетельствует только, что не было никакого разработанного правительством плана сожжения Москвы, что Москва вовсе не была вольной жертвой «нашего патриотизма».

---

[1]) Неопределенное оправдание Ростопчина производило весьма различные впечатления на читателей брошюры: для Свербеева это полное отрицание, а по мнению Рунича, Ростопчин в этой брошюре „захотел, как ворона, одеться в павлиные перья, приписывал лично себе дело, за которое он подлежал бы ответственности перед судом разума и совести, если бы он сделал его без монаршего приказания, по собственному усмотрению". Издатель „Русского Архива" П. И. Бартенев считал, что Ростопчин „отрицает только последовательные и преднамеренные правительственные действия".

ЕЩЕ О РОСТОПЧИНЕ.

1. РОДСТВЕННИКИ О РОСТОПЧИНЕ.[1])

Воспоминания г-жи Нарышкиной, старшей дочери мнившего себя «спасителем отечества» московского градоправителя в 1812 г., гр. Ф. В. Ростопчина, («Le comte Rostopchine et son temps») могли бы представить значительный интерес, так как дочери Ростопчина в знаменательную годину было уже 15 лет, и она, следовательно, была свидетельницей, которая сознательно могла воспринимать явления окружавшей жизни. Воспоминания, написанные в 60 годах, на склоне лет мемуаристки, давали возможность отнестись об'ективно к событиям давних лет и подойти к ним, не поддаваясь тому вихрю суб'ективных восприятий, которые в значительной степени мешают многим и многим мемуаристам того времени нарисовать подлинную картину эпохи, покрытую в устах современника флером несколько сентиментального патриотизма. И только исторический скальпель выскребает обыденную жизненную прозу из документов и сухих архивных дел, передающих факты, а не настроения.

К сожалению, воспоминания Нарышкиной, в качестве исторического источника, обесценены той определенной целью, которой задавался автор — возвеличить своих родичей. Вся книга написана для восхваления великого деятеля, неоцененного потомством. Это — апология, апология неудержимая, не считающаяся с фактами. Написанная через много лет по обрывкам личных воспоминаний или записей, сделанных с чужих слов или со слов столь любившего всегда себя возвеличить отца, книга полна фантастическими измышлениями, повторением без проверки всех тех легенд, которые передал потомству сам Ростопчин в своих записках: личные наблюдения автора, как современника, не дали ему возможности ориентироваться сколько-нибудь удачно в фактах.

Странная судьба Ростопчина. То фаворит, то фрондирующий вельможа в опале, то герой на час, то кумир, низвергнутый с пьедестала «спасителя отечества», низвергнутый в сущности той же консервативной дворянской оппозицией, которая выдвинула его в 1812 г. чуть ли не на первое место. Что же это судьба большого человека? Отнюдь нет. Ростопчин был маленький человек, умевший себя, однако, прекрасно рекламировать, человек огромного самомнения и самого бесстыдного бахвальства.

---

[1]) „Голос Минувшего" 1915 г.

Еще при жизни Ростопчину пришлось заниматься самореабилитированием, и с этого момента реабилитация Ростопчина безостановочно продолжается — и все неудачно. Старательно реабилитировала и реабилитирует его националистическая историография, пытающаяся изобразить Ростопчина как образец для патриотического подражания. Безуспешно тем же делом занимается и потомство Ростопчина. Внук последнего гр. Сегюр с этой целью выпустил в 1871 г. целую книгу «Vie du comte Rostopchine»; за ним несколько лет тому назад последовала внучка гр. Л. А. Ростопчина (дочь младшего сына Андрея[1]); ныне издаются воспоминания старшей дочери — Наталии. Последние пытаются прибавить новый штрих в реабилитации.

Воспоминания писались, как мы знаем, в 60-ых годах, в период одних из тех медовых месяцев русской общественности, которые спорадически выплывают у нас на поверхности. И, пером дочери, Ростопчин становится уже либералом, горячим противником крепостного права, за что его и возненавидела аристократия. Читатель, хоть немного знакомый с биографией Ростопчина и с основами его мировоззрений, ясно видит, какие метаморфозы происходят под родственным пером: крепостник становится убежденным защитником крестьянской свободы. Если послушать дочь Ростопчина, то окажется, что последний в юных годах пораженный низостью окружающей знати и угнетением бедного народа (peuple des campagnes), отправляется за границу с исключительной целью найти нравственное противоядие в изучении быта и нравов других народов. Он делается англоманом — поклонником и моральных качеств английского народа, и его политического устройства. Здесь, в Англии, Ростопчин усвоил то понятие «чести» (слово, незнакомое в русских вокабулах), которое руководило им впоследствии во всех деяниях.

Как далеки все эти черты от действительности, наилучшим образом показывают письма самого Ростопчина к его другу кн. Цицианову в первые годы XIX века. В период наибольшего своего либерализма, именно в тот момент, когда, находясь не у дел, Ростопчин заигрывал с бывшими екатерининскими мартинистами, на которых впоследствии возводил наиглупейшие обвинения, он в таких словах отзывался о той Англии, которая, по словам дочери, явилась его как бы политической воспитательницей: «Я ничего гнуснее правил Аглицкого министерства не знаю, а между *глупыми* привычками в людях говорят: honnête comme un Anglois». (Письмо 30 марта 1804 г.) Он резко осуждает, напр., адм. Чичагова за то, что тот «от'явленный якобинец на аглицкую стать», и вообще всех тех, кто делает Россию «орудием губительной Аглицкой политики». Ростопчин в это время за «Бонапарте»...

Такую же историческую подлинность имеют и все остальные свободолюбивые мечты. Только в воображении г-жи Нарышкиной Ростопчин умоляет Александра I после 1812 г. дать политическую и социальную свободу тем, кто спас корону и честь России. Нарышкина убеждена, что если крестьянское освобождение 1861 г. обагрилось в России кровью, то только потому, что не было второго Ростопчина, который сумел бы на своем народном языке растолковать массе дарованную свободу... Однако, должны быть пределы и для родственного чувства!

Если бы воспоминания г-жи Нарышкиной были изданы лет сорок назад,

[1]) Ее книга „Семейная хроника" переведена на русский язык. Гр. Л. А. Ростопчина умерла в июле 1915 г.

они представляли бы еще значительный интерес, так как заключают в себе многочисленные выписки из записок и писем Ростопчина, но теперь, когда и переписка и записки Ростопчина опубликованы в подлинном своем виде, выдержки уже не имеют такого значения. Приходится отыскивать новые штрихи, что довольно затруднительно, так как издатели не потрудились сделать никаких об'яснений, ссылок [1]). Пожалуй, новых черт мы не найдем в воспоминаниях Нарышкиной, если только отбросить давно опровергнутые сказки о Верещагине и приведенные выше вполне фантастические характеристики свободолюбивых мечтаний гр. Ростопчина. Но зато в воспоминаниях дочери найдутся новые нюансы для подтверждения Ростопчинского бахвальства.

1815 год. Дочь громко читает отцу «Певца во стане русских воинов» Жуковского. Чтение вызывает такое замечание со стороны Ростопчина: «Если Гомер жил бы в наше время, я думаю, что он счел бы меня достойным фигурировать среди Гектора и Ахилла, но Жуковский в своей «Илиаде» боится не понравиться императору, говоря обо мне».

Передавая некоторые беседы «героя» 1812 года, Нарышкина и не подозревает, что она тем самым с поразительной отчетливостью вскрывает ту подоплеку комедианства, которая лежала в основе геройских подвигов одного из наиболее прославившихся патриотов Отечественной войны.

1 сентября в 5 час. утра Ростопчин прощается с уезжающей семьей. Дрожащим от волнения голосом он с пафосом говорит, что ему, как начальнику города, предстоит разделить все опасности с народом и, быть может, погибнуть в битве. Как хорошо известно, Ростопчин и не думал ехать на «Три горы», куда призывал население. Это была одна из привычных ему буффонад. Спрашивается, однако, если он морочил население сознательно в целях своеобразного успокоения, то для чего он делал это по отношению к собственной семье? Психологически это было бы совершенно непонятно, если бы неискренность и поза не были второй натурой Ростопчина.

В воспоминаниях Нарышкиной находится подтверждение одного факта, который до сих пор в литературе продолжает быть спорным,—факта участия Ростопчина в Московском пожаре. Все поклонники Ростопчина настаивают на этом факте, видя в нем проявление наибольшего Ростопчинского героизма и его патриотической мудрости. Большинство исследователей не видят, однако, в пожаре Москвы элементов сознательно продуманного плана и отрицают активное участие в нем Ростопчина. Москва сгорела сама по себе. Я очень далек от какого-либо преклонения перед фальшивым образом демагога-барина и очень мало склонен видеть в Московском пожаре акт патриотического самопожертвования — для этого решительно никаких данных нет. Но участие Ростопчина для меня является несомненным — это была еще новая буффонада.

Нарышкина всю историю рассказывает в обычном духе националистической и родственной историографии. Она повествует о том, что 31-го ночью у Ростопчина было таинственное совещание с начальником полиции Брокером,

---

[1]) Издаиие, повидимому, выпущено родственниками, так как отрывки из него были напечатаны гр. В. А. Татищевой (рожд. Нарышкиной) в 1912 г. в „Трудах Яросл. Архив. Комиссии", Кн. III, вып. 3, с оговоркой, что в полном виде записки Н. Ф. Нарышкиной появятся на французском языке. Это издание и появилось, причем указанные переведенные отрывки в значительной степени не совпадают с изданным подлинником.

приведшим на совещание несколько обывателей и полицейских, которым и были даны соответствующие инструкции. Нарышкина прибавляет, что в 1819 году, когда она уезжала из Парижа, отец поручил ей передать 5000 фр. двум женщинам, Прохоровой и Герасимовой, в качестве вознаграждения за хорошо исполненное их мужьями поручение.

К сожалению, только приходится сделать оговорку, что при чтении воспоминаний Нарышкиной невольно очень мало им доверяешь и не только потому, что она рассказывает, в большинстве случаев, по слухам и с чужих слов, — дочь восприняла по наследству многие качества отца, заставляющие вообще относиться с большой осторожностью к ее рассказам; и прежде всего это столь типичное для Ростопчина самовосхваление, заставлявшее его так часто говорить сознательно неправду.

Мы могли бы, казалось, более доверять Нарышкиной там, где она говорит о семье, о взаимных отношениях между отдельными членами, отца, матери и детей. Интимная жизнь иногда дает очень много материала для характеристики внутренних переживаний описываемой личности, дает возможность глубже войти в психологию лица и вскрыть иногда побудительные причины того или иного его действия. Но, конечно, в изложении Нарышкиной и отец, и мать, и дети — все это персонажи исключительных добродетелей, обладающие исключительными для своего времени интеллектуальными и моральными качествами.

Семья Ростопчина — семья выдающаяся. О добродетелях самого Ростопчина мы хорошо осведомлены. Послушаем теперь характеристику его супруги. Она обладала доблестями «настоящей римской матроны: благородством, независимым характером, стоицизмом», которые дочь не встречала ни в одной женщине русской нации. И так далее в том же духе. В данном случае родственники разошлись в оценке своих родичей, и в упомянутых воспоминаниях внучки мы встретим совершенно иную характеристику бабки. В изображении графини Лидии Ростопчиной ее бабка является женщиной преисполненной пороков. Как другие потомки Ростопчина употребили много энергии и силы для восстановления его утраченного в истории облика рыцаря без страха и упрека, так внучка давно уже поставила своей задачей «рассказать правду» о графине Екатерине Ростопчиной и с этой целью в 1904 г. выступила в «Историческом Вестнике». В изображении внучки, это была жестокая, черствая женщина, фанатично преданная католичеству, бывшая слепым орудием в руках иезуитов. Насколько справедлив такой образ? Воспоминания внучки, как и все, что выходит из-под пера семьи Ростопчиных, крайне тенденциозны. Патенты на право именоваться великими людьми раздаются чрезвычайно легко. И, вероятно, образ жены Ростопчина в значительной степени сгущен в своих отрицательных свойствах. Бабка не сходилась с матерью автора воспоминаний (небезызвестной московской поэтессой, само собой разумеется заслужившей, по мнению дочери, бессмертия в России). Вероятно, эта вражда положила неизбежный отпечаток на характеристику внучки. Но, несомненно, что живописуемая «доблесть римской матроны» сильно тускнеет при сопоставлении двух родственных характеристик.

Но как же уживались неудержимые патриотические чувствования Ростопчина, приводившие его в 1812 году к человеконенавистнической проповеди, с той полной противоположностью, которую представляла его жена. Ведь почти неизбежно при искренности здесь должна была создаться почва

для семейной трагедии, для тяжелых внутренних переживаний. Ничего подобного не было — это свидетельствует все описание и дочери, и внучки.

Скажут, потому, что Ростопчин обожал свою жену. Не только потому. У Ростопчина всегда были две физиономии: одна — на показ, другая — сама по себе. И первая постоянно видоизменялась в зависимости от обстоятельств. Весь шовинизм Ростопчина в некоторые периоды его жизни не шел далее выступлений на показ. Все его французские вкусы московского барина той эпохи оставались во всей неприкосновенности. И это очень ярко показывают воспоминания его собственной дочери. А при таком жизненном укладе естественно и не было семейных разногласий. В жизненном обиходе Ростопчина не было ничего такого, что соответствовало бы представлениям ефремовского дворянина Силы Андреевича Богатырева — литературного идеала графа Ростопчина.

После прочтения воспоминаний Нарышкиной фигура московского патриота для нас остается такой же, как прежде. Ростопчин человек ума маленького и весьма сомнительных моральных добродетелей. Но поставленный судьбою в годину сильного национального под'ема на ответственный пост, Ростопчин, как в фокусе, собрал в себе все то отрицательное, что, к сожалению, почти всегда прилепляется к здоровому чувству патриотизма. Именно потому, что Ростопчин был человек очень некрупного калибра, все уродливые наросты, связанные с неправильным пониманием истинного патриотизма, выливались у него в безобразную форму грубого шовинистического задора, другими словами — в проповедь человеконенавистничества.

Правда, когда лично переживешь время, похожее на эпоху, в которой действовал Ростопчин, пожалуй, отнесешься к нему с большей снисходительностью. Ростопчины, если не рождаются, то проявляются на общем фоне общественных настроений; они лишь более ярко проявляют то, что в силу какой-то роковой неизбежности переживает едва ли не значительное большинство общества, охватываемого каким-то психозом.

2. РОСТОПЧИН В ОЦЕНКЕ А. А. КИЗЕВЕТТЕРА.[1]

Ростопчина многие порицали до 1812 г. и ненавидели после подвигов его в период московского властвования. Его слава «спасителя отечества», основывавшаяся в значительной мере только на личном самохвальстве, очень быстро закатилась. Но история не переставала им интересоваться, потому что судьба заставила его играть крупную роль в общественной жизни своего времени, поставив его в центр событий. Ростопчину посчастливилось в исторической науке.

Как в жизни Ростопчин умел своим бахвальством внушать веру в себя в некоторых слоях общества, сумел еще при жизни сделаться знаменитостью, так и в историю и историю литературы он сумел войти все-таки, как крупный, незаурядный человек, своеобразный, оригинальный и талантливый писатель. Это признавал даже такой большой ученый, как Тихонравов. И едва ли не один Л. Н. Толстой еще в «Войне и Мире» дал поразительно жизненную, пси-

[1]) „Голос Минувшего“.

хологически понятную, ничтожную фигуру истинно-русского барина с его фальшивой демагогической публицистикой. Нравственная личность Ростопчина, столь ярко проявившаяся в расправе с Верещагиным, встретила всеобщее осуждение в потомстве. Развенчан был лишь его героизм, но и только.

Естественно, что при таких условиях, когда приходится говорить о Ростопчине, вынужден бываешь полемизировать и низводить Ростопчина все же с некоторого пьедестала, на который незаслуженно поставлен он, как исторический деятель. Так пришлось поступить и автору этих строк в статье, посвященной Ростопчину, как деятелю 1812 года. Некоторым критикам (напр., в «Современнике») показалось странным такое литературное донкихотство развенчивать того, кто уже давно развенчан. Последнее не только неверно по отношению к прошлому, но и к самому близкому настоящему.

Как приходилось уже указывать, как раз в новейшей работе в. кн. Николая Михайловича «Александр I»—делается сочувственная оценка деятельности Ростопчина в 1812 году. [1]) Но вот и другая чрезвычайно ценная работа, в которой, конечно, нельзя ожидать найти признания положительных сторон за деятельностью Ростопчина, как представителя крепостнической публицистики и дворянско-националистических стремлений; нельзя и встретить сочувствия к тому бюрократическому произволу, который характеризует собой все поступки московского властелина в 1812 году. Я имею в виду напечатанные в «Русской Мысли» (декабрь 1912 и январь 1913 г.) статьи А. А. Кизеветтера «Политические и социальные воззрения гр. Ф. В. Ростопчина»[2]).

По обыкновению написанные ярко и образно статьи автора полемизируют косвенно с теми «из современных нам писателей», которые «тотчас покидают спокойный тон, начинают волноваться, сердиться и спорить, лишь только им приходится коснуться деятельности Ростопчина». Автор припоминает, что и современники не могли спокойно говорить о Ростопчине, что Ростопчин привлекал всеобщее к себе внимание, и это, по мнению А. А. Кизеветтера, a priori уже доказывает, что Ростопчин не заурядный человек. Итак, автор не согласен с «порицателями Ростопчина в наше время», склонными «преуменьшать размеры личных дарований» этого деятеля и склонными считать, что «его прославленное остроумие не шло дальше пошлых и плоских претензий на острые словечки». Но остроумие само по себе не есть еще патент на ум, тем более, что грубое остроумие Ростопчина, действительно, принадлежало к числу самых низких по пошибу.

Этого не отрицает и А. А. Кизеветтер, но в том факте, что подчас плоские ростопчинские шутки, в которых «не было ни тени истинного остроумия», имели большой успех в московских гостиных, автор видит как бы некоторое оправдание для Ростопчина: принужденный «жить и ладить с этим обществом, он должен был спускаться до уровня его умственных интересов». Конечно, в «московских гостиных» было множество «нравственных карикатур», как выразился К. Н. Батюшков. «Смеяться всему, что бы он ни сказал,

[1]) Автор считает выбор Ростопчина на пост главнокомандующего в 1812 г. весьма удачным, „Ростопчин сумел в короткое время" наэлектризовать все население целым рядом удачных (!!) мер, действуя на воображение москвичей и простого народа. Думается, что факты, собранные в предшествующем очерке, сами по себе уже решительно опровергают подобное утверждение.

[2]) Вошла в сборник А. А. Кизеветтера „Исторические Отклики".

считалось в обществе обязательным» — говорит в своих воспоминаниях одна из московских обывательниц того времени Хомутова.

Возьмем для примера небезызвестного А. Я. Булгакова, занимавшего в 1812 г. пост домашнего секретаря гр. Ростопчина. Его личные воспоминания и многочисленная переписка ярко очерчивают убогую фигуру ростопчинского alter ego. Пресмыкаясь перед своим шефом, восторгаясь его грубыми буффонадами, Булгаков всю любовь к отечеству видел в наивозможных ругательствах по отношению к французам и заподозренным в революционных помыслах русским «мартинистам» и «якобинцам». Эти враги отечества мерещились испуганному уму в каждом либералисте.

Ту же психологию, те же речи и слова мы найдем и у Булгаковского друга, чиновника петербургского почтамта И. П. Оденталя (его письма о «петербургских новостях и слухах» в 1812 г., опубликованы в «Русской Старине» С. О. Долговым).

Сходство до удивления близкое. Конечно, он «истинный патриот», боится «иллюминатов» и в восторге от назначения «благодетеля рода человеческого», «настоящего русского барина» гр. Ростопчина на ответственный пост московского генерал-губернатора: он «истребит с корнем нечестивых», т.-е. либеральные элементы, которые искони не понимали «национальных стремлений и идеалов» России, т. е. России «настоящей».

Булгаков, Оденталь — маленькие люди, которые своими маленькими голосами вторили зычному голосу «великого мужа», «незабвенного для России» и «увенчанного бессмертием» «вельможи» графа Феодора Васильевича Ростопчина. Оденталь убежден, что «исключая малого числа негодяев, никто без благоговения имя графское не произносит». Мы знаем, что Оденталь ошибался, ростопчинские буффонады далеко не всем современникам так нравились.

Если бы все русское общество того времени было так нравственно низко, если бы оно состояло почти исключительно из Булгаковых и Оденталей, непонятно было бы, почему оно так возмутилось расправой Ростопчина с Верещагиным, что А. А. Кизеветтер считает одной из главных причин опалы Ростопчина[1]).

Ростопчин не только салонный болтун, но как будто бы и видный писатель для своего времени. Здесь приходится предоставить оценку Ростопчина, как писателя, историку литературы. Но нельзя не заметить, что А. А. Кизеветтер невысокого мнения о литературных достоинствах ростопчинских произведений, представляющих по стилю «рабское копирование чужих образцов» (литературы Екатерининской эпохи). Его известная комедия «Вести», по мнению автора, не более, как литературный эфемерид. Чтобы оценить Ростопчина, как писателя, по мнению А. А. Кизеветтера, надо подойти к Ростопчину, не как к художнику, а как к публицисту. Здесь, однако, Ростопчин безнадежно слаб; его произведения не возвышаются над бездарными творени-

[1]) Кстати, нам кажется, что не это было действительной причиной „опалы“ Мало ли от кого общество отворачивалось в „нравственной брезгливости“; с этим мало считались у нас во все времена. Причина опалы крылась в том, что Ростопчин не нужен был более Александру, тем более, что дворянское общество, восхвалявшее в 1812 г. подвиги Ростопчина, очень быстро отрезвилось от своего патриотического угара и стало поносить Ростопчина, считая, что он виновник убытков, понесенных во время московских пожаров.

ями других современных патриотических писателей. Вы не найдете у него ни одной оригинальной мысли, — все это шаблон галлофобов, и только Ростопчинские «Мысли вслух» имели успех. А. А. Кизеветтер считает это как бы одним из доказательств того, что Ростопчин даровитый человек. Едва ли это так: неужели от того, что современники читали «бешеные» статьи «Сына Отечества» Греча или наивное патриотическое славословие «Русского Вестника» Глинки, мы признаем, что С. Н. Глинка был, напр., даровитый писатель? Позднейшая казенно-патриотическая литература Ростопчина, его знаменитые «афиши» с их фальшивым народным языком — образец скорее полнейшей бездарности. Они нравились некоторым, но почему-то всегда забывают сказать и про отрицательные отзывы современников, среди которых встречаются и такие: «глупые афиши», писанные «наречием деревенских баб» (Маракуев). Во всяком случае, успех литературных произведений «вельмож-патриотов» надо отнести на счет известных общественных настроений эпохи, а не литературных и публицистических их достоинств.

Что же касается личности Ростопчина, то надо сказать, что под пером А. А. Кизеветтера он вырисовывается в очень неприглядных очертаниях. Приводя из жизни Ростопчина массу фактов, автор доказывает, что это был интриган «самого низменного сорта»; его жизнь дает пример «нравственной низости», «человеконенавистничества», «беззастенчивой лжи», «трусости», «злостных подлогов . . .» Неужели можно найти что-либо положительное в подобном человеке!

А. А. Кизеветтер находит: при всех «слабостях ему все же не были чужды стремления к известной духовной независимости». В чем же проявлялась эта «духовная независимость»? Подтвердить фактами здесь трудно. Автор приводит в доказательство независимые ответы Ростопчина гневливому Павлу. Взяты эти примеры из книги внука Ростопчина, гр. Сегюра, написанной в 1871 г. и представляющей малоценный панегирик деда. Эпизоды «касаются того, что могло произойти лишь с глазу на глаз между Павлом и Ростопчиным». И автору приходится сказать, что рассказы Сегюра следует «оставить в стороне». Независимость Ростопчина проявилась и в письмах к Александру I в период 1812 г. «Давать Александру совет таким тоном, похожим на требования и упреки, — говорит г. Кизеветтер, — позволяла себе только любимая сестра Александра, Екатерина Павловна». Письма, действительно, откровенны, резки и подчас назойливы. Но причина этой резкости не в том, в чем видит ее А. А. Кизеветтер. Следует припомнить таинственные нити, протянутые между тверским салоном Екатерины Павловны, Ростопчиным, Багратионом и др. К сожалению, для истории до сих пор еще в значительной степени являются загадкой создавшиеся здесь отношения, та цепь интриг и замыслов, о которых мы знаем лишь из обрывков, полунамеков и догадок. Но факт, что Ростопчин был назначен московским главнокомандующим вопреки личному желанию Александра, который не любил самомнительного и глупо назойливого графа. Ростопчин чувствовал за собой сильную поддержку. Именно потому, что он был неумный человек, он возомнил себя спасителем отечества, выступил с непрошенными советами и, когда роль спасителя отечества оказалась пуфом, стал сеять «верноподданнические» интриги, устрашая Александра ложными слухами о революции и т. п. Вряд ли эту черту можно отнести к числу черт, характеризующих нам «духовную независимость». Как ни мало обольщается А. А. Кизеветтер личностью Ростоп-

чина, он все же видит у него «благородную смелость высказывать свои мнения». Но как же соединить это благородство с низким интриганством и малодушием, столь часто проявленным Ростопчиным? Автор об'ясняет это противоречие так: «не стесняясь моральным принципом, Ростопчин в то же время твердо держался определенных социально-политических принципов». Он «носился с фантастическим идеалом независимого гражданина, исповедующего идеологию политического рабства и увлеченного этой идеологией не за страх, а за совесть». «Ростопчин — отдаленная эмбриональная форма современных нам истинно-русских приверженцев самодержавия с рабской идеологией, но с крамольным темпераментом, готовых с пеною у рта отстаивать абсолютную власть монарха, но лишь в уверенности в том, что эта абсолютная власть может служить не иначе, как интересам именно их группы». Но разве нет в этом признания некоторого противоречия? Какое же увлечение «рабьей идеологией» за «совесть» можно найти там, где защита этой идеологии основана на сознании своих сословных интересов: без самодержавия не будет и дворянства, говорили охранительные публицисты нач. XIX в., и в числе их гр. Ростопчин. И нам думается, что в этом отношении Ростопчин не выделялся из своей среды — среды крепостнически настроенного дворянства.

В заключение А. А. Кизеветтер выяснил ту социально-политическую подоплеку, которая лежала в деятельности Ростопчина. «Дворянским страхом», — говорит автор, — обусловливалось политическое реакционерство Ростопчина; им же об'яснялся и его социальный консерватизм; из того же источника проистекал . . . и его национализм». Здесь автор безусловно прав. Но в одном, нам кажется, автор неправ, это именно в оценке дарований Ростопчина, личность которого служит для него «одним из ярких образцов того, в какой сильной степени умственные дарования иногда обесцениваются дефектом сердца». Если одни, быть-может, и склонны «преуменьшать размеры личных дарований Ростопчина, то А. А. Кизеветтер, нам кажется, склонен к излишнему преувеличению их. По мнению автора, даже все поведение Ростопчина в 1812 году диктовалось определенно выдержанной системой. Поступки Ростопчина в 1812 году «при всей своей видимой легкомысленности, непродуманности и нелепости, в сущности, целиком вытекали из определенного склада убеждений, являлись неизбежным (?) выводом из законченного политического миросозерцания». Конечно, связь между поступками Ростопчина и его миросозерцанием («дворянским страхом») — несомненна. Но едва ли все поступки Ростопчина в 1812 г. можно об'яснить только дефектом его миросозерцания. Продолжим параллель, проведенную А. А. Кизеветтером, и сравним Ростопчина с теми общественными типами нашего времени, родоначальником которых он был. Допустим, что *личность* Ростопчина не влияла на его поступки; все об'ясняется его «политическим миросозерцанием». Не погрешим ли мы в таком случае во имя глубины исторического понимания реальной действительностью? Представим себе, что на место Ростопчина московским главнокомандующим в 1812 г. был бы назначен человек тех же воззрений, того же круга, но без ростопчинского темперамента и других ему присущих свойств. Неужели Москва явилась бы свидетельницей тех диких сцен, которыми сопровождалось ростопчинское властвование? Неужели темперамент таких недавних градоправителей, как ген. Думбадзе, Толмачев и т. д., не накладывал своего отпечатка

на характер деятельности администраторов, проводивших в жизнь определенное политическое credo? Совершенно не колеблясь приходится сказать, что деятельность этих лиц и в наше время приобретает исключительную, специфическую окраску. Так было и с Ростопчиным в 1812 году.

Мы отнюдь не можем признать действительно нелепую деятельность Ростопчина в 1812 г. продуктом продуманной системы, «неизбежным выводом из законченного политического миросозерцания». Не буду повторять тех фактов, которые характеризуют, по моему мнению, весьма неумные (чтобы не сказать большего) буффонады ставленника тверского салона, явившегося в Москву с определенным как бы уполномочием возжечь дворянские сердца патриотизмом и остановить крамолу. Его деятельность, как это ни странно, инспирированная отчасти иезуитами, его донкихотская борьба с фантомом революции и *личными* врагами, его фальшивая демагогия при инстинктивной боязни черни, его самохвальство и пускание «пыли в глаза», его вера в нелепые и глупые слухи, его афишированная театральность, дикое самодурство и человеконенавистничество, его трусливое хвастовство и обманы решительно всех и вся — пожалуй очерчены уже достаточно. От этой шумихи получилась только ерунда, запутавшая еще более узел затруднений в те беспокойные дни, которые переживало население Москвы накануне иноплеменного нашествия.

Но если личность Ростопчина так мизерна, то какой же интерес может вызвать она в историке? Ведь тогда интерес будет только *археологический,* говорит А. А. Кизеветтер. Не совсем так. Автор сам показал, что Ростопчин воплотил в себе распространенный общественный тип. В личности Ростопчина этот тип обнаружил, до каких абсурдов может доходить практическое проявление тех общественных течений, которым дана привилегия выражать собой «настоящую Россию», ее национальные идеалы. Ростопчин интересен для истории и потому, что Ростопчины всегда существуют и у нас в России до последнего времени властвовали, да пожалуй властвуют и теперь, интересен и потому, что его жизнь оказалась тесно связанной с событиями своего времени, и потому, что его личность не получила еще в истории правильной оценки.

Лишь Л. Н. Толстой своим художественым чутьем нарисовал правдивый облик крикливого самодура, и этот облик должен, по нашему мнению, войти в историю.

3. РОСТОПЧИН И МАСОНЫ [1])

Опубликованная Б.Л. Модзалевским в «Русском Библиофиле» интересная переписка Н. И. Новикова и А. Ф. Лабзина говорит, между прочим, о сношениях Новикова с гр. Ростопчиным. Эпизод любопытнейший, принимая во внимание позднейшие отношения гр. Ростопчина к масонам. Он ненавидел и преследовал в 1812 г. личного своего врага московского почтдиректора Ф. П. Ключарева; не оставил в покое и Новикова в 1813 году, заподозривая его в изменнических намерениях, так как Новиков в своем

[1]) „Голос Минувшего“.

Авдотьине лечил, между прочим, и французских раненых. Как известно, московский патриот не допускал человеколюбивого отношения даже к беззащитному врагу. Так боролся с «мартинистами» — врагами отечества — охранитель истинно русских основ в начале XIX в., в период, когда он был в зените славы и влияния, или когда подготовлял себе почву в тверском салоне вел. кн. Екатерины Павловны. Но было время, когда «спаситель отечества» в 1812 г. и вождь боевого национализма после Тильзита был в немилости и опале. Тогда у него с врагом отечества устанавливались совсем иные отношения. Друзья Новикова имеют высокое представление о гр. Ростопчине, как известно умевшем пускать пыль в глаза, даже по собственному признанию. Лабзин, которого Ростопчин в 1804 г. именует своим «другом», стремится познакомить его с Новиковым. Последний отказывается в начале 1800 г. от этого знакомства, так мотивируя в письме к Лабзину свой отказ:

«Касательно до намерения вашего познакомить меня с известною особою (т.-е. Ростопчиным) я буду отвечать откровенно и искренно. О сей особе наслышался я весьма много доброго, а более всего от Ф. П. (т. е. того самого Ключарева, которого преследовал Ростопчин в 1812 г. исключительно по личным мотивам) и имею к ней искреннее сердечное почтение и весьма, весьма великое уважение, но не вижу ни малейшей возможности к сближению нас, хотя бы того и желал, ибо он весьма высок, а я весьма низок и пр., так что между нами весьма великое расстояние пустоты». «Какая цель сего сближения и знакомства? — продолжает Новиков. — Мирская, а я к ней сделался неспособным и диким. Знатные не терпят противоречия» и т. д. «Но ежели Вы думаете и уверены, что из сего познакомления может произойти то, что он полюбит известные материи (т.-е. учение масонов), захочет в них упражняться ... то да благословит Господь сие ваше намерение ...»

К приведенным мотивам Новиков делает характерное добавление: «но я весьма опасаюсь, не философ ли он, т.-е. не вольнодумец ли? (это ныне синоним) и не считает ли он наше любимое или глупостью, или скудоумием, или обманом только для глупых». Вот в чем был заподозрен идеолог дворянского крепостничества престарелым представителем екатерининского вольнодумства, всегда, впрочем, как и его ближайшие друзья, с опасением смотревший на «нечестивых татей философского имени», проповедующих идеи равенства и буйной свободы. («Излияния сердца» — И. В. Лопухина.)

Не забудем, однако, что незадолго до предполагаемого знакомства с Новиковым Ростопчин делал донос Павлу на мартинистов. Как это характерно для искреннего и последовательного Ростопчина, каким он рисуется некоторым нашим исследователям... Прошло несколько лет. Ростопчин уже числится в рядах фрондирующих московских вельмож; живет в деревне и занимается улучшением хозяйства по английскому образцу. На этой почве и происходит письменное знакомство с Новиковым. Последний пишет Лабзину 12 февраля 1804 г.:

«Некогда хотели познакомить дядю (т.-е. самого Новикова) с гр. Ростопчиным, я тогда отказался. Времена, а с ними обстоятельства переменяются: ныне я прошу о сем, — и вот причина. Он об'явил в газетах, что с 1 марта будет принимать учеников аглицскому земледелию... Я хочу отдать ученика».

Рекомендательное письмо от Лабзина Новиков получил, ученика послал и совершенно очаровывается любезностью знатной «особы». «Я не могу и по сие время, — пишет он 18 апреля, — из удивления выйти о характере и свой-

ствах сего истинно-почтенного мужа... сожалеть только и сердечно болезновать, что он не в действующих». И действительно, будущий гонитель «мартинистов» и доноситель на масонов в самых лестных и дружественных выражениях говорит о своих симпатиях к новиковскому кружку.

«Общий друг наш Александр Феодорович (т.-е. Лабзин), — писал Ростопчин Новикову, — чувствительно одолжил меня, доставя честь знакомства Вашего. Вы сему поверить должны, когда узнаете от меня, что весьма с давнего времени почитание мое к Особе Вашей твердо основано было на известных мне правилах Ваших и рвении образовать столь нужное просвещение и нравственность в отечестве нашем. Вы претерпели обыкновенные гонения, коим превосходные умы и души подвержены бывают, и лучшие намерения Ваши обращены были ядом зависти в дурное, но Провидение, ставя злым раскаяние и стыд, наградило Вас спокойствием души и памятию жизни добродетельной. Наслаждайтесь сими бесценными дарами в тихом убежище Вашем и верьте, что слухи и молва народная не что иное для меня, как ветер и буря в атмосфере; но я их не люблю, предпочитая тишину всему на свете».

Последнее Ростопчин блестяще опроверг своим последующим отношением к тем, кого он считал в числе своих «друзей» в 1804 году.

НА ВОИНЕ 1812 г.

(По поводу „Войны и Мира" Л. Н. Толстого) [1]

I

Вы помните картину Верещагина «Конец бородинской битвы»? На груде трупов, заполнивших ров перед редутом, стоит французский кирасир и победоносно машет каской... Пройдет момент, и, быть-может, победитель в предсмертной агонии будет лежать среди трупов своих товарищей. Только искалеченный, он будет молить друзей и соратников, уходящих с кровавого поля битвы, не оставлять его одного среди царства смерти...

Но герой уже только получеловек. Он только обуза для тех, кому предстоит еще совершать «геройские подвиги» и отмечать «железом и кровью» величайшие страницы истории... Друзья пройдут мимо него. Пройдут, не поддаваясь «чувству жалости», ибо помощь бесполезна... Он будет молить прикончить его страдания. И на это не хватит сил...

Такова картина бородинского боя, нарисованная уже не кистью художника, а пером мемуаристов (Сегюр и др.). На поле «великой битвы» среди тысячей трупов остаются десятки и сотни неподобранных раненых. Напрягая последние силы, они выползают со дна оврагов, чтобы быть раздавленными уходящей артиллерией. С перебитыми ногами, они доползают до ближайшей деревни, зарываются от стужи в солому и там умирают. «В моих глазах — рассказывает Н. Н. Муравьев — коляска ген. Васильчикова проехала около дороги по большой соломенной куче, под которой укрывались раненые, и некоторых из них передавила»...

Русский арьергард отступает после бородинского боя через Можайск. Вслед за ним идет французская армия. При отступлении поджигается город. И в горящих постройках гибнут покинутые раненые...

За Можайском — Москва. Тысячи раненых находят здесь убежище. Но Москва оставляется неприятелю. Этого требуют стратегические соображения; это диктует панический страх, охвативший обывателей; этого требует «патриотизм». В последние дни из покидаемого города увозятся драгоценности, деньги, имущество, и тысячи раненых оставляются на попечение, милосердие и гуманность победоносного врага. Сам московский главнокомандующий гр. Ростопчин насчитывает 22.000 раненых, покинутых в Москве...

На Поклонной горе реют вражеские орлы. Перед полководцем дефилируют радостные полки, забывшие о перенесенных страданиях, о погибших и

---

[1] Напечатано в сборнике „Война и Мир", посвященном памяти Л. Н. Толстого, и выпущенном в 1912 г. „Задругой", под редакцией Т. И. Полнера.

умирающих в одиночестве товарищах. Но тщетны надежды на мир, на успокоение от перенесенных лишений и кровавых подвигов. Уже высится зловещее пламя — горит Москва, подожженная не столько «патриотическим чувствованием», сколько капризом главы московской полиции.

И в обугленных развалинах Москвы гибнут те, которые на бородинском поле проливали кровь за отечество и которые были оставлены соотечественниками на милосердие врага. Но этому врагу в пылающей Москве приходилось прежде всего позаботиться «о своем пропитании и безопасности, а не о раненых неприятелях». «Во всех других войнах — говорит врач великой армии Руа — мы никогда не делали никакого различия между ранеными французами и врагами, но на этот раз, когда мы были совершенно бессильны облегчить страдания даже своих близких, всех остальных мы были принуждены предоставлять их собственной участи». Так было еще под Можайском, когда Руа на городской площади нашел грудой сложенных русских раненых. В Москве было еще хуже. Оставленные на произвол судьбы, эти раненые «пали жертвами голода и отсутствия медицинских пособий». Но все это бледнеет перед теми потрясающими сценами, которые разыгрались во время пожара в госпиталях. «Опустошения, произведенные пожаром там, были ужасны» — рассказывает Лабом. «Почти все погибли в огне [1]), а те, которые еще не успели задохнуться, ползали полуобгорелые в горящей золе, стараясь как-нибудь выбраться из моря пламени; другие стонали, придавленные горой обгорелых трупов; они выбивались из сил в напрасном старании сбросить с себя эту ужасную кашу, чтобы выбраться на свет Божий»...

А вот другая столь же «ужасная» картина, нарисованная Домергом со слов жены и других очевидцев: «Как только огонь охватил здания (госпиталей), где были скучены раненые, послышались раздирающие душу крики, выходящие как бы из громадной печи. Вскоре затем несчастные показались в окнах и на лестницах, напрасно силясь освободить свое полусгоревшее тело от огня, который их обгонял. Силы им изменяли; задыхаясь от дыма, они не могли уже более ни двигаться, ни кричать; только руки их еще шевелились, показывая отчаяние, до тех пор, пока, наконец, охваченные пламенем, несчастные умирали в страшных мучениях. Более десяти тысяч погибло в этом ужасном костре».

Пожар Москвы неразрывно связывается с кошмарными призраками раненых, погибших в огне. Их тени взывают против ненужного варварства войны...

Правда, мы встретимся на войне 1812 г. с многочисленными фактами проявления чувства человеколюбия, великодушия и героизма; видим примеры самоотверженного исполнения долга со стороны врачебного персонала. Но при всем том, выбитые из строя всегда будут принесены первыми в жертву необходимости.

В чужой стране завоеватели будут думать прежде всего о сохранности здоровых элементов армии. «Горе раненым, зачем они не дали себя убить?» — скажет в своем письме к родным из Смоленска, еще в сущности в начале кампании, 15/27 августа, французский офицер виконт де Пюибюск. Он рас-

---

[1]) По словам XXIII наполеоновского бюллетеня удалось спасти только четыре тысячи из тридцати тысяч, как с некоторым преувеличением исчисляет оставленных в Москве раненых XX бюллетень.

скажет, что весь провиант в Смоленске отправлен за армией и «здесь не остается ни одного фунта муки: уже несколько дней нечего почти есть бедным раненым, которых в госпиталях от 6 до 7 тысяч. Сердце обливается кровью, когда видишь этих храбрых воинов, валяющихся на соломе и не имеющих под головой ничего, кроме мертвых трупов своих товарищей... Несчастные отдали бы последнюю рубашку для перевязки ран; теперь у них нет ни лоскута, и самые легкие раны делаются смертельными. Но всего более голод губит людей. Мертвые тела складываются в кучу, тут же, подле умирающих, на дворах и в садах; нет ни заступов, ни рук, чтобы зарыть их в землю. Они начали уже гнить»... Часто сено или бумага, найденная в архивах, заменют при перевязках корпию. И понятно, что врач, чувствуя все свое бессилие при таких условиях, будет переживать «острые душевные мучения» (Руа).

Человеколюбие и война несовместимы. Генерал Шумахер в своих воспоминаниях засвидетельствует, как почти целый транспорт раненых, отправленных из Полоцка в Вильно, погибнет от «голода и нищеты» и т. д. Такой же скорбью и полной беспомощностью веет и от донесения русского полкового лекаря по поводу положения транспорта раненых, отправленных из Калуги в Белев: «на многих рубашки или вовсе изорвались или чрезвычайно черны... не переменял другой целый месяц рубашки, на которую гнойная материя, беспрестанно изливалась, переменила даже вид оной».

Аналогичную картину положения русских раненых в Витебске в конце июля набросает нам знаменитый лейб-хирург Наполеона барон Ларрей: «они лежали на грязной соломе вповалку, друг на друге, среди нечистот и, можно сказать, гнили в этом смраде. У большей части их раны были поражены гангреной или страшно загрязнены. Все они умирали с голоду».

Пюибюск будет возмущаться тем, что начинают «кровопролитнейшие сражения», не считаясь с наличностью лазаретных фур, медикаментов и всего того, что необходимо для помощи «храбрым воинам». Но и это возмущение стушуется перед еще бо́льшей жестокостью, которую один из французских мемуаристов — кирасирский капитан сочтет печальной *необходимостью* войны. Уходя из Смоленска при отступлении, Наполеон прикажет взорвать остатки уцелевшего города. А между тем в городе остается пять тысяч больных и раненых, которым грозит смерть и от голода и от пожара. Вместе с больными остаются и врачи, как бы «обреченные на смерть» (Лемуан)...

Но то было при отступлении, когда все пережитые ужасы и страдания притупили уже человеческие чувства, когда говорил только эгоистический инстинкт самосохранения. Гораздо ярче жестокость выступает тогда, когда подобные поступки диктуются чувством «патриотического» воодушевления, как было в Москве, как было еще ранее в Смоленске, где по исчислению французских мемуаристов в пожаре погибло 7—8 тыс. русских раненых (напр. у Дювержье). Кавалерийский офицер Комб в своих воспоминаниях говорит, что из его памяти никогда не исчезнет ужас того зрелища, который представился армии при виде русских раненых, покинутых соотечественниками и нашедших «жестокую смерть» среди дымящихся развалин и пылающих балок. «Казалось, что я оставил за собой ад»... И что другое можно было вынести при виде целых куч тел, обугленных и едва сохранивших человеческий образ?

Война полна ужасов и жестокостей. Но не знаю, может ли что-нибудь в действительности сравниться с тем возмущением, которое внушает картина

безжалостного оставления раненых, т.-е. тех избранных храбрецов, которые своим безумным героизмом обеспечивали славу победоносного шествия или мужественного отступления.

Человеческая личность превращена в пушечное мясо — и только. В предсмертный час не должно ли было шевельнуться чувство бесполезности и ненужности жертвы, принесенной или Молоху государственности или честолюбивым замыслам полководца?

Должно было... должно было шевельнуться и у тех, кто невредим вышел с поля сражения, усеянного мертвыми и изувеченными людьми. Ручьи текли кровью — говорит про Бородино современник; гранаты разрывали тела... В озверелом безумии битвы люди не рассуждали. Но день клонился к упадку и «в каждой душе одинаково поднимался вопрос: Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите; делайте, что хотите, а я не хочу больше. Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады были перестать, какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и закоптелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра также быстро и жестоко перелетали с обоих сторон и расплющивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле Того, Кто руководит людьми и миром».

Такой ответ давал Л. Н. Толстой, подводя итоги бородинского боя... Наступает ночь, разрешающая колебания испуганных, изнуренных и сомневающихся людей.

И те, кто за несколько часов перед тем с остервенением убивали друг друга, штыками и саблями наносили страшные уродующие раны, под ночным покровом миролюбиво сталкивались на аванпостах в поисках пищи, и в этих поисках «солдаты не находили ни малейшего повода к ссоре» — замечает Роос.

II

Как все это было бы бессмысленно, если бы у Толстого в события не вмешивалась какая-то посторонняя, таинственная и неведомая рука Провидения. В «Войне и мире» нет безысходного ужаса, нет уже потому, что то, что совершалось, «должно было совершиться». Событиями руководит какая-то железная необходимость.

Но этот фатализм не об'яснит нам психологии людей, безропотно умиравших и гибнувших на полях бородинской битвы за тысячи верст от родины. Изувеченные, они молча умирали на поле сражения: «некоторые среди стонов вспоминали родину, призывали своих матерей — это были самые молодые, — говорит Сегюр, — более пожилые ожидали смерти с видом внешнего бесстрастия и подавленной горечи». Во имя чего они сюда пришли, во имя чего они совершали подвиги героического безумия, во имя чего они так безропотно умирали? Что принудило их к этому? как бы спрашивает себя Сегюр, рассказывая о зловещей картине, представившейся французской армии, когда она вновь попала на бородинское поле при отступлении из Москвы. Среди обломков оружия, обрывков военных мундиров и знамен, обагренных кровью, среди

тридцати тысяч наполовину обглоданных собаками и хищными птицами трупов — бесплодных жертв кровавого боя, казалось, царила только смерть. И вдруг в этой могиле обнаруживается живой человек, забытый французский солдат с перебитыми ногами. С содроганием читаешь рассказ французских очевидцев, как этот несчастный жил почти два месяца среди убитых, укрывшись в трупе лошади, внутренности которой были выпущены гранатой. Он питался падалью и гнившим мясом своих товарищей. Разве не чувствуется что-то глубоко трагическое в рассказанном? Если бы этот несчастный не укрылся в трупе лошади, он, вероятно, был бы убит крестьянами, приходившими после битвы обыскивать солдатские ранцы . . .

Что же понудило этих пришельцев покинуть родину и «скитаться без убежища, без пищи, ежедневно погибая или навек становясь калеками?» «Что, кроме веры в их начальника, которая до тех пор никогда не обманывала их», — отвечает знаменитый мемуарист (Сегюр). «Что, кроме страстного стремления довести до конца столь славно начатый труд. Что, кроме опьянения победами и, главным образом, этой несчастной страстью — славой, этим могучим инстинктом, который толкает в об'ятья смерти людей, жаждущих бессмертия» . . .

Аналогичная картина ужасов войны под Можайском — пирамида из 800 трупов, искрошенных сабельными ударами, обожженных взрывом пороховых ящиков, заставляет другого современника, доктора великой армии де-ла Флиза грустно воскликнуть: «Таков-то пьедестал, на котором воздвигаются военные трофеи. Как же виновны государи, которые хладнокровно жертвуют столькими людьми из-за лживой политики; заставляют их умирать в мучениях, не сказывая им иногда даже, зачем приходится умирать» . . .

И каковы бы ни были сложные причины, приведшие к столкновению Запада и Востока в 1812 г., заставившие миллионы людей отречься «от своих человеческих чувств и своего разума», как говорит Л. Н. Толстой, одно несомненно, что кровавый международный турнир разыгрывался в значительной степени и на почве личных честолюбивых замыслов двух могущественных европейских императоров — Наполеона и Александра. Здесь не было тех идейных оснований, которые одни способны облагородить войну с ее поруганием человеческого достоинства.

«На этом месте — сказал Сегюр про бородинское поле — мы отметили железом и кровью одну из величайших страниц нашей истории». Едва ли это так. Это только жестокая и бессмысленная страница истории. Мы преклонимся перед образами тех волонтеров, которые под звуки марсельезы во имя «святой любви к отечеству», во имя защиты человеческого достоинства, одухотворяющей идеи свободы шли на защиту завоеваний великой французской революции, и с чувством глубокой жалости пройдем мимо тех груд человеческих костей, на которых воздвигал свой пьедестал могущества и славы Наполеон.

Мы будем удивляться обаянию гения, обаянию, которое он имел до последних дней, которое не остывало и среди самых невероятных ужасов героического отступления наполеоновской армии по окровавленным снегам России. И когда будешь читать страницы за страницами повествование об ужасах оступления французской армии, когда раскроется зрелище действительно необычайных страданий и бедствий, при мысли о которых приходится только «изумляться тому, что люди их пережили», тем назойливее тогда встанет во-

прос: к чему были эти бессмысленные страдания, к чему была та необычайная героическая доблесть, которая способна подчас восхитить даже наиболее враждебно настроенный ум. Надо вчитаться в трагические описания отступления французской армии, сделанные блестящим пером Сегюра; надо выписать страницы из спокойного изложения привыкших к кровавым ужасам врачей Рооса, Ларрея, де-ла-Флиза, надо вникнуть в эпическое изложение непритязательного сержанта Бургоня, в письма женщин, шедших за отступающей великой армией, в многочисленные дневники участников похода — и перед вами откроется такая бездонная пропасть ужасов, что вы почувствуете органическую ненависть к войне со всеми ее почти неизбежными жестокостями и поскорее закроете позорные страницы человеческих зверств.

III

Гениальное перо художника слова прошло мимо этих картин, могших по своему содержанию дать самый яркий, самый образный материал для возбуждения чувства человечности, чувства негодования и возмущения против войны, против бессмысленных убийств. Настроение автора в период писания «Войны и мира», вся концепция романа с его определенной националистической тенденцией, вероятно, помешали Толстому остановиться на этой мрачной картине. Толстому надо было показать «нравственное превосходство» русских перед французами: на наполеоновскую Францию,—писал он в заключительной главе второй части — «в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника».

И вот почему ужасы «народной войны» и не нашли себе отражения в «Войне и мире». Толстому надо было показать ничтожество «великого» человека и окружающих его людей. А знаменитое отступление голодной и полузамерзшей французской армии давало примеры поразительного героизма.

Толстой иронизирует над «величием души» маршала Нея: это «величие души» состояло в том, что «он ночью пробрался лесом в обход через Днепр и без знамен и артиллерии и без девяти десятых войска прибежал в Оршу».

А это в действительности было какое-то сказочное отступление с толпой полуоборванных, полузамерзших, безоружных людей[1]). Отступление гениальное по безрассудной храбрости и мужеству. Нея считали погибшим. Спасая других, забывая себя, Ней по справедливости заслужил славу героя. С кучкой храбрецов он защищал арьергард французской армии, т.-е. оставшуюся толпу почти безоружных людей, с отмерзшими руками и ногами, неспособных к самозащите и обреченных на гибель не только от стихии, но и от зверской расправы наступающих казаков. Он шел последний, прикрывая отступление. Шел до последнего момента, «рискуя своей жизнью и свободой, чтобы только спасти еще несколько французов». Он вышел последним из России, доказав, как говорит Сегюр, что «для героев все ведет к славе, даже самые великие поражения».

---

[1]) У третьего корпуса Нея, бывшего в ариергарде, числилось после Смоленска, по словам Фезензака, 6000 человек при шести пушках. Из них,—говорит ген. Фрейтаг,—половина „без оружия". И этот отряд прошел мимо 80000 русских. Правда, до Орши дошло менее тысячи, но это нисколько не убавляет смелости предприятия, которому удивляются решительно все мемуаристы (см. напр. у Ложье).

«Товарищи. Союзники. Враги! Я призываю вас подтвердить это: отнесемся к памяти несчастного героя с тем почетом, которого он заслуживает». В восклицании Сегюра нет преувеличений. Были моменты, когда Ней в арьергарде оставался один, покинутый солдатами, бросившими оружие. И этот мужественный человек находил новых и спасал жалкие остатки когда-то «великой армии». Он один, в лохмотьях, с блестящими глазами от бессонных ночей вошел в Пруссию. Его не узнали. И он с полным правом гордо мог ответить ген. Дюма:

«Я — арьергард великой армии — маршал Ней». Герой, спасший жизнь многих и многих французов, погиб от соотечественников, расстреленный по приговору суда 6 декабря 1815 года . . .

Если несчастья пробуждают дурные человеческие инстинкты, то несчастья, в свою очередь, создают и героев. И, быть-может, Наполеон никогда не был так велик, как когда уже закатилась его счастливая звезда, когда он вместе со своей армией шел по снеговым полям опустошенной русской равнины.

Толстой в своем резко отрицательном отношении к «великому императору» называет «последней степенью подлости» оставление Наполеоном армии после Вильно. К другим современникам-русским Толстой не так строг. Припомним хотя бы, как он идеализирует в «эпилоге» в противовес Наполеону его соперника императора Александра — то лицо, которое «стояло во главе противодвижения с востока на запад». Да, Толстой в «Войне и мире» был далек от исторического беспристрастия.

Возможно, что личность Наполеона ярко бы выделилась на фоне жизненной пошлости, если бы он, как простой солдат, шел вместе с Неем и проявлял такой же безумный героизм. Но даже враги Наполеона должны признать, что этот железный человек при отступлении проявил много мужества, и без него отступление было бы еще более трагическим. При всей дезорганизации французской армии одно только имя Наполеона могло поддерживать некоторую бодрость, надежду и способность бороться со стихийными бедствиями. И надо отдать справедливость, что Наполеон был на должной высоте. Он оставил армию только тогда, когда в сущности она была в безопасности [1]). Правда, отступление после Березины заполнило собой одну из наиболее мрачных страниц героического шествия «полуголодных призраков». Но здесь уже человеческая воля была бессильна в борьбе со стихиями. Те, кто шли вместе с Наполеоном, в один голос утверждают [2]), что, несмотря на страдания, армия до последнего момента не теряла уважения к своему полководцу. «С чувством удивления глядели на него войска — говорит Роос — и с доверием и надеждой во взоре провожали они его. И здесь и позднее я слышал от офицеров различных наций: «только бы хватило сил». «Несмотря на все несчастья, — подтверждает Комб — это магическое имя не потеряло влияния».

Потому ли только, что «имя, окруженное славой, не есть простой звук, что оно является действительной и вдвойне могучей силой», — как говорит

---

[1]) Мюрат предлагал Наполеону бежать еще перед Березиной, считая переправу „неосуществимой". Поляки обеспечивали Наполеону полную безопасность, но он отклонил, по словам Сегюра, это предложение.

[2]) За исключением немногих мемуаристов, как Лабом, Жомини и др., которые как верные слуги новых Бурбонов, в эпоху реставрации пользовались случаем унизить своего бывшего шефа.

Сегюр, описывая дело под Красным: «один вид завоевателя Египта и Европы наводил страх» — и часто, быть-может, спасал французскую армию во время отступления. Несомненно, чувство самосохранения, вера в счастливую звезду Наполеона поддерживали влияние полководца и в самые критические моменты. Послушаем сержанта Бургоня. Он рассказывает, как идут перед Березинской переправой 30 тысяч войска «с отмороженными руками и ногами», большею частью без оружия: «шли они не ропща и не жалуясь, готовясь, как могли, к борьбе»... «Присутствие императора воодушевляло нас и внушало доверие; он всегда умел находить новые рессурсы, чтобы извлечь нас из беды... Это был все тот же великий гений и, как бы мы ни были несчастны, всюду с ним мы были уверены в победе». Наполеон обладал каким-то исключительным талантом внушить не только веру в себя, но и любовь. Это полумистическое преклонение перед полководцем, это обожание сказывается на каждом шагу при отступлении — и особенно среди солдат старой гвардии, ранних сподвижников Наполеона. Бургонь рисует образную картину того впечатления, которое производит на старого гренадера Пикара вид любимого полководца, идущего пешком во главе отступающих колонн. Отбившийся Пикар только что претерпел все ужасы отступления, в течение многих дней и ночей летали над ним призраки смерти.

После долгих блужданий старый гренадер догоняет армию, и вид Наполеона, претерпевающего вместе с армией те же почти лишения, заставляет Пикара плакать: «Не могу удержаться от слез — говорит он Бургоню — видя, что император идет пешком, опираясь на палку. Он, этот великий человек, которым все мы так гордились»...

Толстой изображает нам Наполеона холодным и бездушным человеком, спокойно взирающим на смерть приближенных... Быть-может, он таков при победоносном шествии во главе многотысячной армии, перед которой открывается новая страница боевой славы, богатства и почестей. Но другим является он при отступлении. Многие из окружающих рассказывают, как *страдал* «великий человек» при виде расстроившейся армии, страдал *человечески,* а не только из чувства попранных честолюбивых замыслов, разрушенных надежд и планов. И однако, он никогда не проявлял своих сомнений, колебаний и сожалений. Он скрывал их в самом себе. Солдаты же видели его столь же непреклонным и мужественным, каким привыкли себе его представлять. Для нас очевидна растерянность действий Наполеона при отступлении, растерянность, увеличившаяся с момента, как пришло 25 октября известие о заговоре Малэ во Франции, — но знаменательно, что почти никто из современников этого не замечал. Ее отмечают некоторые мемуаристы, писавшие свои воспоминания после похода, когда вступали в свои права анализ и критика; другими словами, ее отмечают историки, а не очевидцы. Для последних чувство Пикара было чувством почти всеобщим.

Романтик Сегюр мог сказать: «некоторые падали и умирали у его ног, умирали в жестоком бреду; но страдая, они умоляли, а не укоряли. И действительно, разве он не разделял опасности вместе со всеми?»...

Это сознание и делало сильным Наполеона среди «людей, имевших право упрекнуть его в своих бедствиях».

Они начались 25-го октября, когда, казалось, все об'единилось для уничтожения отступающей армии, когда и люди, и природа, и весь фатализм истории обрушивается на победоносных воителей.

Это был день, когда, по выражению Сегюра, казалось, что «небо спустилось и слилось с этой землей и с этим враждебным нам народом, чтобы окончательно погубить нас». Начался редкий для октября снежный буран.

«Русская зима — продолжает мемуарист — нападала на наших солдат со всех сторон: холод и снег пробивались сквозь их легкие одежды и разорванную обувь. Промокшее платье замерзало на них и сковывало их глаза... Несчастные, дрожа от холода, тащились с трудом до тех пор, пока ком снега, прилипший к их ногам, или какой-нибудь обломок, ветка или труп одного из товарищей не заставлял их поскользнуться и упасть... скоро их заносило снегом, и первое время эти тела можно было еще различить: они имели вид небольших бугорков, прикрытых снежной пеленой. Вся дорога была покрыта этими возвышениями, словно кладбище».

Таково было мрачное зрелище «зловещего траура армии, умирающей посреди мертвой, дикой природы». И действительно, день 25-го октября в описании всех очевидцев — является роковым днем для французской армии. Необычайная снежная мятель при морозе более 20 градусов губит армию, убивая в ней последние остатки организации. В бессильной борьбе с разбушевавшейся стихией каждый начинает думать только о самосохранении; голод и холод обезоруживают солдат, разбивают прежде столь стройные колонны, превращают их в нестройные толпы, которые бредут врассыпную, в одиночку, отыскивая «хлеба и убежища на ночь». Эти отсталые попадаются в руки казаков или вооруженного населения и гибнут под ударами озверелых врагов... Наступает долгая ночь, которая не приносит спокойствия. «Посреди этого снега... мы не знали, где остановиться, где сесть, где отдохнуть, где найти каких-нибудь корешков для пропитания и хворосту, чтобы развести костры». Бушующий вихрь разметывает жалкие бивуаки... «На другой день, — добавляет Сегюр — расположенные полукругом, окоченевшие трупы солдат указывали на место нашего бивуака, а рядом валялись несколько тысяч окоченевших лошадей». Этот снежный саван, по словам Бургоня, покрыл могилу десяти тысяч солдат «великой армии».

Отныне каждый бивак будет отмечен зловещими вехами — сотнями закоченевших трупов тех, кто нашел себе успокоение в пути, полном горя и нужд; отныне каждый бивак будет иметь, говорить Руа, «вид настоящего поля битвы».

Одна из свидетельниц похода, жена Домерга, рассказывает, что больше всего она боялась ночей. Здесь, пожалуй, приходилось переживать самые жуткие минуты: «все жмутся около бивачного огня, если удавалось развести его. Вдруг, посреди тишины, общего уныния и отчаяния раздавался слабый, глухой шум, который повторялся каждую минуту; ужасное воспоминание об этом преследует мое воображение до такой степени, что мне кажется, что я еще и теперь его слышу. Отчего же происходил он? От падения на мерзлую землю лошадей и людей, которые лишались сил от голода и холода. Таким образом, всякое утро, когда мы пускались в путь, поднимались не все: земля была усыпана трупами, и неприятель, преследовавший нас, легко мог сосчитать по этим печальным следам число остановок нашей несчастной армии»...

Да, надо было испытать эти бедствия, чтобы получить о них должное представление. Только «железные люди», как сказал Даву, могли вынести подобные испытания.

Представим себе «вместо той грандиозной колонны, которая завоевала Москву, цепь призраков, одетых в лохмотья, женские шубы, куски ковров или грязные плащи, обгорелые и продырявленные выстрелами, — призраков, ноги которых были обернуты всякими тряпками», — это и будет великая армия, как ее описывает Сегюр при отступлении около Минска. У этих людей с черными закоптелыми лицами, красными, впалыми глазами нет и «подобия солдат» — пишет из Смоленска Пюибюск в письме 28 октября, — они «более похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома». На каждом шагу шествия этих «несчастных полуголодных призраков» встречаются мрачные картины смерти. Они запечатлены и русскими современниками. Возьмем, напр., цитату из рассказа кн. Б. Н. Голицина: «на каждом шагу нам попадались несчастные, остолбеневшие от холода; они сначала шатались, как пьяные, потому что мороз добирался до мозга, и потом падали мертвые. Другие сидели около огня в страшном оцепенении, не замечая, что их ноги, которые они хотели отогреть, превратились в уголь. Многие с жадностью ели сырую падалицу. Я видел, как некоторые из них, дотащившись до мертвого тела, терзали его зубами и старались утолить этою отвратительной пищей голод». «Я видел мертвого человека — рассказывает ген. Ланжерон — его зубы впились в ляшку еще трепетавшей лошади... Я видел впившегося зубами в кишки мертвой лошади... Я не видал, чтобы несчастные французы пожирали друг друга, но я видал трупы с кусками мяса, вырезанными для пищи». Один француз — свидетельствует Ф. Н. Глинка — «взламывал череп недавно убитого товарища и с жадностью глотал горячий еще мозг его».

И с такими, полными отвращения, картинами мы встречаемся еще даже до Смоленска. Люди умирали, сходили с ума [1]) и безостановочно шли вперед. Смоленск для них — обетованный город, где будут найдены и тепло и пища.

Но этот «конечный пункт мучений», в сущности, только «начало всех ужасов». Голодная беспорядочная толпа разбивала и расхищала провиантские склады, будучи не в силах дождаться очереди раздачи, тут же набрасывалась на сырую муку и водку и часто действительно приходила к «конечному пункту мучений» — смерть захватывала их на месте.

За Смоленском открывался сорокадневный путь еще больших лишений и страданий.

Надо иметь перо большого художника, чтобы передать картину отступления, о которой де-ла-Флиз имел полное право сказать: «едва ли, как в древних, так и в новейших войнах, встречались подобные ужасы». Вглядитесь в барельеф Гюйона, в эти скрюченные голодными судорогами фигуры, в эти искалеченные тела — и что, кроме бесконечного ужаса перед жестокостью войны, что, кроме глубокой жалости, почувствуете вы?

Долгие дни безостановочных, почти сверх-естественных страданий притупляют нервы — слишком привычны становятся «сцены горя и нужды» (Роос). Люди проходят мимо них хладнокровно. В каждом начинает говорить чувство эгоизма, а вместе с тем пробуждаются и все те дурные инстинкты, которые заложены в человеческой натуре. Психолог с этой точки зрения мог бы найти богатый материал для своих суждений в описании отступления французскими мемуаристами. Нужда влечет за собой хаос и беспорядок

---

[1]) „Вчера я видел — записывает Глинка — одного, который в самом пылу сражения с величайшим хладнокровием мотал в клубок нитки“.

в отступающей армии. Исчезают чувства солидарности, узы дружбы — все это стушевывается перед инстинктом самосохранения. Люди убивают друг друга из-за куска хлеба, уподобляются зверям, как говорит де-ла-Флиз.

«У кого еще остался кусок хлеба или сколько-нибудь с'естных продуктов — сообщает Пюибюск 8 ноября, на другой день по прибытии Наполеона в Смоленск — тот погиб: он должен их отдать, если не хочет быть убитым своими же товарищами».

Если отчаяние доводит до разбоя, если голод заглушает все человеческие чувства и помрачает настолько рассудок, что перед нами проходят столь отвратительные и столь же одновременно ужасные картины, когда живые едят своих мертвых товарищей [1]), — то вы все готовы, если не оправдать, то понять. Когда жестокие несчастья заставляют забыть чувства дружбы и товарищества, когда поступками начинает руководить только холодный расчет и эгоизм, тогда становятся понятны многие сцены бессердечности, на которые мы наталкиваемся среди описания ужасов отступления. Фабер-дю-Фор, офицер и художник, запечатлел в своих рисунках одну из этих жестоких сцен. Товарищи раздевают упавшего, обессилевшего воина. Нет уже места чувству жалости. Он уже все равно погибнет, как погибнут все те раненые, которые к своему несчастью не нашли погибели в бою. И товарищи безжалостно срывают с него теплые лохмотья, чтобы воспользоваться ими для своего прикрытия. Они в тех же лохмотьях, но у них еще сохранилась сила, чтобы итти дальше и, может-быть, спастись от угрозы смерти.

В описании очевидцев мы часто встречаемся с такими сценами. «Все, которые падали во время перехода —рассказывает Іелин до Смоленска — оставались лежать на дороге; по ним проезжали телеги, давили их прежде, чем они умирали, и никто не трудился оттащить этих несчастных в сторону или убрать с дороги. Грабили даже платье, не дожидаясь их смерти». Та же сцена у Тириона . . . . Они грубы. Но и несчастия жестоки.

Но вот где психологическая загадка.

Эти полуумирающие призраки, которые не знают, будут ли они живы на другой день, над которыми витает смерть, и которые на каждом шагу видят

---

[1]) Такую поистине не поддающуюся описанию картину рисует Боволье. Он рассказывает, как в Вильно 20 увечных и больных французов, спасаясь от жителей и русских штыков, укрепились в пустом доме.

Там они скрываются целых восемь дней. И когда их нашли, то увидали несколько „трупов с вырезанными мягкими частями тела, которыми живые утоляли мучивший их голод“. О том же будет говорить нам и Бургонь. Ему рассказывали, как хорваты, входившие в состав армии „вытащили после пожара из-под развалин сарая изжарившийся человеческий труп, разрезали его на куски и ели...“ „Я думаю, — добавляет к своему повествованию Бургонь — что подобное случалось не раз в течение этой бедственной кампании, хотя сам я, признаюсь, никогда этого не видал. Какой интерес имели эти полуживые люди рассказывать нам подобные вещи, если это не правда? Не время было заниматься сочинительством. После всего вынесенного я тоже, если бы не нашел конины, поневоле стал бы есть человеческое мясо — надо самому испытать терзания голода, чтобы войти в наше положение“. За Бургонем то же повторит Сегюр и де-ла Флиз. Лабом рассказывает, что он был свидетелем, как русские пленные поедали мясо своих товарищей. Маркиз Пасторе в свои мемуары заносит такой же факт, очевидцем которого ему самому пришлось быть после Березинской переправы. „Русский пленник — рассказывает он — бросился на только-что испустившего дух баварца, разорвал его ударом ножа и пожирал окровавленные внутренности еще теплого трупа“.

ее злостные жертвы, часто думают о своем имуществе, о награбленном добре больше, чем о жизни. Из-за своего корыстолюбия, из-за ненужного слитка серебра, которого они боятся лишиться, и который давит их своей тяжестью, они гибнут — они бросают оружие, чтобы иметь силу нести свою драгоценную ношу, и попадают в руки врагов. Обессиленные своей добычей, они ограбляют мертвых, чтобы на другой день подвергнуться той же участи. И многие из них погибнут при Березине в заботах о сохранении уже ненужного багажа.

Жалкие остатки полуоборванных нищих дойдут до Вильно. Ней откроет им путь спасения. И вдруг перед алчными глазами предстанут фургоны с золотом. Они забудут о стерегущей их опасности, о перенесенных страданиях и жадными, корыстолюбивыми руками начнут грабить сверкающее золото. Их настигнут казаки. И враги забудут друг о друге в преклонении перед раскрытым богатством. Они сольются в общей жадности и вместе будут грабить один и тот же ящик.

Такова подчас жалкая психология человека.

И когда перед глазами проходят такие картины, тем резче тогда выступают героические поступки бескорыстного служения доблести и мужества, которыми не менее богато грустное повествование обратного пути «великой армии». В ее разношерстном составе неизбежно были элементы, которых спаивала только дисциплина, только слепая удача. И во всяком случае все эти картины тонут в массе ужасов и страданий, которыми наполнена летопись отступления.

Армия подошла к Березине. Нужна новая катастрофа, чтобы довершить все и так уже чрезмерные несчастия. Тысячи новых жертв, тысячи новых фактов человеческой жестокости и героических действий. Все, кто в силах, переходят на спасительный, казалось, другой берег.

Но тысячи остаются до последнего момента. Это те, кто в критическую минуту впал в отчаяние, у кого нет сил для новой энергии, кого охватило полное безразличие и пагубная апатия, и это, наконец, все те, у кого безумная корысть затемнила чувство самосохранения. Напрасно зажигают повозки этих несчастных, чтобы стряхнуть их ослепление, напрасны все побуждения. Затемненный разум молчит. И вдруг наступает паника. Все устремляются на мост. Начинается давка. Опрокинутые и задыхающиеся люди бьются под ногами товарищей, впиваются в них ногтями и зубами. А товарищи отталкивают их, как врагов, сталкивают в реку. «Страшное и безобразное зрелище» — говорит Тирион. Последняя катастрофа на мосту доканчивает длинную непрерывную цепь несчастий. За Березиной опять та же картина ужасов, страданий и гибели от холода и голода.

Но довольно этих страданий. Хочется скорее закрыть страницы слез и печали.

IV

В «Войне и мире» Толстой не ввел своих читателей в эту атмосферу ужасов и страданий. Когда читаешь главы, посвященные отступлению, скорее чувствуешь некоторое пренебрежение к убегающему врагу. Совершилось то, что должно было совершиться. «С 28-го октября, — говорит Толстой — когда начались морозы, бегство французов получило только более трагический характер замерзающих и изжаривающихся на смерть у костров людей и продолжавших в шубах и колясках ехать с награбленным добром императора, коро-

лей и герцогов»... «Ввалившись в Смоленск, представлявшийся им обетованной землей, французы убивали друг друга за провиант, ограбили свои же магазины и, когда было все разграблено, побежали дальше». Разве не чувствуется здесь в тоне, что справедливость великого художника подчинена настроению писателя, смотрящего на давно прошедшие события через призму антипатии не только к Наполеону, но и ко всем тем, которые жестоко расплатились за безумные мечты неудержимого честолюбия военного гения «великого императора». Разве не чувствуется та же художественная неискренность, когда Толстой говорит: «каждый человек из них желал только одного — отдаться в плен, избавиться от всех ужасов и несчастий, но... несмотря на то, что французы пользовались всяким удобным случаем для того, чтоб отделаться друг от друга и при малейшем приличном предлоге отдаваться в плен, предлоги эти не всегда случались. Самое число их и тесное, быстрое движение лишало их этой возможности» [1]). И только рассудочно Толстой показывает, что при отступлении Наполеона не нужны были сражения, загораживание дороги, потеря своих людей и бесчеловечное добивание несчастных. Нечего было куражиться «над убитым зверем».

«Кто из русских людей — писал Толстой — читая описания последнего периода кампании 1812 г., не испытывал чувства досады, неудовлетворенности и неясности. Кто не задавал себе вопроса: как не забрали, не уничтожили всех французов, когда все три армии окружали их в превосходящем числе, когда расстроенные французы, голодая и замерзая, сдавались толпами?» И Толстой показывает, что всякий план отрезать Наполеона с армией был бы не только бессмыслен, но и невозможен.

Бессмыслен был уже потому, что «расстроенная армия Наполеона со всей возможной быстротой бежала из России, т.-е. исполняла то самое, что мог желать всякий русский». Невозможен был потому, что «никогда с тех пор, как существует мир, не было войны при тех страшных условиях, при которых она происходила в 1812 г., и русские войска в преследовании французов напрягали все свои силы и не могли сделать большего, не уничтожившись сами»... «Русские, умиравшие наполовину, сделали все, что можно сделать и должно было сделать для достижения достойной народа цели, и не виноваты в том, что другие русские люди, сидевшие в теплых комнатах, предполагали сделать то, что было невозможно». Толстой здесь глубоко прав: истощенная русская армия переживала в значительной степени те же бедствия, что и неприятельская. Мороз, голод также разбивали ее ряды: «мы бедствовали не менее неприятеля» — говорит русский генерал Левенштерн. «Мы прятались друг от друга, чтобы с'есть какой-нибудь жалкий сухарь и запить его отвратительной водкой» [2]).

---

[1]) Толстой здесь очевидно подчиняется мемуарам лиц, враждебных Наполеону. Стоит только сравнить эти рассуждения Толстого с описанием, напр., отступления Нея у Кроссара, — эмигранта, бывшего на русской стороне. Совпадение будет весьма значительное.

[2]) Полковник Карпов, рассказывая как у него ночью на биваке замерзло три человека, записывает: „В нашей армии во время преследования французов было больных, как сказывали, половина армии, что справедливо, потому что в нашей роте не было здоровых и третьей части того, сколько стояло по списку". Убыль в людях, действительно, была „ужасающая", что показывает хотя бы факт убыли ополченцев по Тарусскому уезду. Из 1015 человек вернулось только 85. И погибли они не в боях.

Но все же русские были в своей стране. У французов не было и «жалкого сухаря».

Сопоставляя бедствия обоих сторон, тем рельефнее выдвигаешь нечеловеческие страдания наполеоновской армии при отступлении. Надо иметь много закоренелого шовинизма, надо презреть совершенно во враге человеческую личность, чтобы скорбеть о том, что русские «*не уничтожали* всех французов», тех голодных, полузамерзших, почти безоружных и безвредных уже людей, которые под влиянием невыносимых ужасов и страданий теряли иногда даже человеческий облик. Когда читаешь скорбные повествования тех, кто лично переживал все мучения отступления, невольно проникаешься к ним чувством глубокой жалости. Хочется избавиться от этих кошмарных впечатлений, хочется, чтобы поскорее остатки наполеоновской армии ушли из России. Вы боитесь их гибели, потому что эта гибель сопряжена с новыми ужасами и новыми жестокостями, ненужными и бесцельными.

Цель народа — говорит Толстой — была одна: очистить свою землю от нашествия. Цель эта достигалась, во-первых, сама собой, так как французы бежали, и потому следовало только не останавливать это движение. Во-вторых, цель эта достигалась действиями народной войны, уничтожавшей французов; и, в-третьих, тем, что большая русская армия шла следом за французами, готовая употребить силу, в случае остановки движения французов. Русская армия должна была действовать как кнут на бегущее животное...

Толстой безусловно прав, придавая большое значение «народной войне». «Период кампании 1812 г. от Бородинского сражения до изгнания французов — говорит он, — доказал, что выигранное сражение не только не есть причина завоевания, но даже и постоянный признак завоевания, — доказал, что сила, решающая участь народов, лежит не в завоевателях, даже не в армиях и сражениях, а в чем-то другом». Это «другое» и есть народный дух. И Толстой пишет в значительной степени апофеоз народной войны: «дубина народной войны поднялась со всей грозной и величественной силой и ... с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». «И благо тому народу — заключает автор «Войны и мира» — который, не как французы в 1814 г.[1]), отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью».

И не странно ли, что, придавая такое огромное значение народной войне, увенчивая ее лаврами победителя, Толстой почти не коснулся ее в своем изложении. Он, в сущности, коснулся только действий партизанов, но ведь партизанская война в 1812 г. далеко не была синонимом войны народной. И думается, автор обошел ее сознательно, а не потому только, что в его распоряжении не было достаточного исторического материала.

Художественная правдивость заставила бы Толстого нарисовать картины многих ненужных зверств, кровавых расправ над беззащитным врагом. И это,

---

[1]) **Выпад против французов и здесь глубоко несправедлив.**

вероятно, нарушило бы целостную характеристику народа, более «сильного духом», чем противник.

Беспристрастная историческая оценка разрушила бы отчасти и представление о той реальной силе, которой явилась в борьбе с неприятелем в 1812 г. «народная война». Все ее значение заключалось в том, что многомиллионная крепостная масса «мужики Карп и Влас», забыв об узах рабства, защищали свое отечество, которое для них всегда было мачехой. Эти «мужики Карп и Влас» покидали насиженные места перед приходом французов, не везли «сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его» и т. д.

Не следует, пожалуй, и этой стороне «народной войны» до начала отступления наполеоновской армии придавать чрезмерно уже большое значение. Идейного воодушевления не могло быть в крепостной, некультурной массе. «Мужики Карп и Влас» не везли фуража в Москву не только потому, что крестьяне, как рассказывает Сегюр, предавали смерти всех тех, кто соблазнялся высокой платой и доставлял припасы. Но и потому, что при дезорганизации в Москве, почти вынужденной бедственными обстоятельствами, это было и опасно и бесполезно. Несмотря на все попытки наполеоновской администрации наладить отношения с окружающим сельским населением, это было трудно уже потому, что первая же попытка привезти хлеб для продажи в Москву закончилась фиаско: голодные солдаты отбирали насильно у застав привезенный провиант. «Наши дела были бы гораздо лучше, — замечает Дедем, — если бы мы действовали осторожнее». «Мне удалось — рассказывает автор — обставить дело так, что мои фуражиры возвращались всегда благополучно дней через 4—5 и приносили мне яйца, картофель и иногда дичь, благодаря тому, что мною было отдано строгое приказание ничего не брать даром» . . .

Все это, быть может, очень антипатриотично. Но такова житейская проза.

Разве дворянство в 1812 г. также действовало бескорыстно? Оно защищало свое имущество, свои социальные привилегии. Не даром Ростопчин, типичный выразитель дворянских стремлений, писал Александру 13-го сентября: «О мире ни слова: то было бы смертным приговором для нас и для вас». 1812 год затрагивал больше всего дворянство, равно как и континентальная система, служившая одной из ближайших причин войны, затрагивала только имущественные интересы поместного класса. В ближайшие годы после войны в благодарственных манифестах и речах много говорилось о дворянском бескорыстном патриотизме, проявленном в эпоху тяжелой годины. Дворянство, как иронизировал Герцен, еще при жизни стало себе ставить памятник. Но в действительности мы можем найти очень сравнительно немного явлений бескорыстного, идейного служения отечеству. Организованные в 1812 году на средства дворянства ополчения служат этому самым ярким подтверждением. Опубликованные теперь факты указывают, что дворянство эти ополчения подчас превращало в выгодные для себя операции. В эти ополчения старались сбыть ненужные и вредные в крепостной деревне элементы. Во всяком случае дворянство было очень таровато на обещания и очень скупо при выполнении принятых обязательств. А между тем война затрагивала интересы дворянские гораздо более, чем интересы мужика.

Во всяком случае народная война, в качестве «дубины, гвоздившей французов», т.-е. в качестве активной борющейся силы, не имела большого влияния на кампанию 1812 г. Народная война в указанном смысле слова началась

поздно, в сущности она совпадает с началом отступления наполеоновской армии, с началом ее неудач — другими словами с началом ее конца.

Еще вопрос, когда должен был бы наступить этот «конец», если бы не целый ряд неожиданных стихийных обстоятельств.

Мы не можем здесь касаться причин неудачи отступления наполеоновской армии. Они сложны и многообразны. Пришлось бы об'яснять те сложные политические комбинации, которые заставили Наполеона после Малого Ярославца предпринять «стратегический марш» на Смоленск. Может быть, это был ошибочный стратегический шаг, но шаг, сделанный, как готовы признать многие, почти сознательно. И если отступление по Смоленской «разоренной дороге» сделалось скоро столь трагичным, то в этом оказались повинны явления, которые нельзя было предусмотреть никакими стратегическими прогнозами.

Как бы ни оспаривали некоторые из историков роль «легендарных морозов», несомненно здесь лежала настоящая причина гибели отступающей армии. Эти необычные двадцатиградусные морозы конца октября расстроили все планы Наполеона, дезорганизовали и уничтожили последнюю боевую силу его армии. Эти стихийные обстоятельства уничтожили кавалерию и артиллерию Наполеона. Вместе с тем решалась и судьба отступления.

И однако, как ни плачевна была действительная боевая сила армии, она ее все же сохранила до известной степени вплоть до переправы через Березину.

Военная история не может простить Толстому тех строк, которые он написал в «Войне и мире». «Русские военные историки... должны невольно признаться, что отступление французов из Москвы есть ряд побед Наполеона и поражений Кутузова». Об'ективность несомненно принуждает к такому заключению.

Мы можем эти военные неудачи об'яснить состоянием русской армии, но не должны забывать и того, что при всех ужасных обстоятельствах отступления вплоть до последнего момента наполеоновская армия представляла грозного противника, которого было трудно победить. При всей деморализации и дезорганизации армии центральное ее ядро, та «старая гвардия», о которой Толстой сказал, что она ничего не делала в течение всей кампании, сохранила свою компактность и в Вязьме 20-го октября, и в Красном 6-го ноября. Чувство человечности, чувство жалости и справедливости, может быть, будет возмущаться при чтении сообщений, что эта старая гвардия в течение всего отступления находится в привиллегированном положении, что ради ее сохранности готовы пожертвовать тысячами тех, которые являются уже балластом в отступающей армии. Но сознание целесообразности подскажет, пожалуй, отчасти и другое. «Необходимо было — говорит Сегюр — сохранить в целости хоть один корпус и дать преимущество тем, которые в последнюю решительную минуту могут выручить».

И надо быть справедливым. Старая гвардия, подкрепленная после Смоленска свежими силами, выручила в «решительную минуту», она поддержала мужество во время отступления, и без нее едва ли армия, по словам Боссе, перешла бы обратно Неман.

По свидетельству современника эта гвардия не проявит обычного энтузиазма, когда под Оршей, организуя «священный батальон», Наполеон обратится к ней с речью: «вы видите расстройство армии; многие из солдат в бедственном ослеплении бросили свое оружие. Если вы последуете этому пагуб-

ному примеру, то все наши надежды погибнут. От вас зависит спасение армии» . . . Времена энтузиазма прошли — скажет по этому поводу враждебно настроенный к Наполеону Лабом. «Деспотизм его подавил все; он сам убил в нас те благородные чувства и лишил себя тем единственного средства электризовать наши души».

Да, не до энтузиазма было в эту критическую минуту беспорядков и паники, охвативших прежде когда-то грозную и непобедимую армию. Сегюр чрезвычайно ярко передает угнетающее впечатление, которое произвел близ Борисова на армию Виктора, все еще «сплоченную и бодрую», вид той колонны, которая следовала за Наполеоном. «Она замерла, пораженная ужасом. Она смотрела со страхом, как проходили перед нею несчастные полуголые солдаты с землистыми лицами . . . без оружия, без стыда, выступавшие как попало, с опущенными головами, глазами, устремленными в землю, молча, как стадо пленных.» «Зрелище такого бедствия — продолжает Сегюр — с первого же дня поколебало второй и девятый корпус. Беспорядок, самое заразительное из всех зол, коснулся их». И при всем том старая гвардия шла непобедимой, спасая тысячи жизней ослабевших и упавших духом товарищей. Сегюр имел полное право сказать, что до Березины русские были, «скорее зрителями, чем виновниками нашего бедствия». Осталась только «тень армии», но эта тень считала, что ее «победила природа» (Ложье) . . .

Несмотря на весь свой фатализм в истории, Толстой обошел молчанием то влияние, которое имела на отступление стихийная непреоборимая сила природы.

Вся сила кнута перенесена у него на «народную войну». Но в действительности эта сила кнута падала на тех «полумертвецов», на тех закоченевших и голодных «бродяг», которые не представляли никакой боевой силы, которые влачились в арьергарде, распространяя беспорядок и панику. Женщины, дети, раненые, брошенные по необходимости на произвол судьбы, все те, кто впал в состояние полного уныния и апатии, — вот элементы «великой армии», на которых обрушивалась сила народной войны, которые страдали, главным образом, от партизанских отрядов и казацких наездов. Это были все те тысячи несчастных врагов, которые готовы были отдаться в плен, не думая о будущей судьбе, и которых спасал не теряющий духа Ней. Он вел этот полубезоружный арьергард «великой армии», всех этих обезумевших от ужаса и страданий людей.

V

При таких условиях во время отступления наполеоновской армии «народная война» в значительной степени теряла свой смысл. Она ознаменовалась бесконечными жестокостями, перед которыми стушевываются все другие жестокости французов в Испании, которые так ярко, так ужасно изобразил Гойя.

И о них говорить не хочется, но их нельзя, к глубокому прискорбию, пройти молча.

К. К. Павлова в своих воспоминаниях записала такой рассказ крестьянина: «Бывало наткнемся мы партией на одного, возьмем и приведем в деревню; так бабы его и купят у нас за пятак: сами хотят убить. Ну, бабье ли это де-

ло? Одна пырнет ножем, другая колотит кочергой, опять другая тычет веретеном; мучают, мучают, индо жалко станет глядеть: подойдешь, да хватишь его порядком по голове». А вот и другой такой же эпический рассказ, от которого веет не меньшим ужасом: «Наловили это мы их, французов, десятка два и стали думать, что бы с ними поделать, свести что-ли куда, сдать что-ли кому, да куда поведешь и кому сдашь? Вот и приговорили миром побить их. Выкопали в перелеске глубокую яму, повязали им, французам, руки и пригнали гуртом; стали они вокруг ямы, а мы за ними стали, и начали они жалостно талалакать, точно Богу молиться. Мы наскоро посовали их в яму, да живых и зарыли. Веришь ли, такой живущий народ, под землею с полчаса ворошились» . . .

Таких картин в период народной войны мы найдем достаточное число; мы слышим, например, как пойманного француза, обмотав соломой, сжигают заживо.

Приведем еще один из рассказов пленного де-Саранга. Дело идет о партии пленных, конвоируемой солдатами из дисциплинарного батальона. «Разумеется, они прежде всего без жалости ограбили пленных, а потом, когда взять с них было уже нечего, вздумали продавать их самих крестьянам по две мелкие монеты, соответствующие четырем французским су [1]) за человека, а потом и по одной. Пока шли по провинциям бывшей Польши, покупателей на пленников не находилось, но в Калужской губернии было уже не то. Здесь дикари, возбуждаемые своими священниками, вырыли ров футов в 100 длиной и футов в десять глубиной, яко бы для того, чтобы укрыть от холода купленных ими у начальника конвоя пленников. Спустивши в этот ров французов, они покрыли его сверху старыми досками и сосновыми сучьями, и по данному сигналу принялись все, мужчины и женщины, кидать на эту непрочную кровлю только что выкопанную изо рва землю. Посторонний, случайный свидетель этой сцены, слышал, как вдруг затрещали упавшие под тяжестью земли доски и сучья, образовавшие первый слой на дне этой могилы; отчаянные, раздирающие душу крики жертв и радостный вой умерщвлявших их диких зверей преследовали его до ворот соседнего замка. Это был замок русского генерала, бывшего фаворита знаменитой Екатерины, живущего теперь уединенно в своем имении. Старик немедленно послал на место события офицера с приказом остановить ужасную расправу. При его приближении, толпа разбежалась по лесу, а один, предоставленный своим силам, он ничего не мог сделать для спасения обреченных жертв. Мой знакомый, итальянский купец проезжал на следующий день по близости от этого рва и заезжал в замок генерала. От него он и узнал все подробности. Управляющий, который видел, как зарывали ров, и ад'ютант, слишком поздно посланный на место драмы, дрожа от волнения, рассказал ему все, что пришлось им увидеть.

— Я хотел бы сомневаться в истинности ужасного рассказа, — но итальянец этот во всех отношениях заслуживает доверия: это уважаемый всеми, хороший, гуманный и религиозный человек . . . »

Но вряд ли что либо может сравниться с рассказами о расправах партизанов над пленными, в особенности знаменитого Фигнера.

Это какое-то паталогическое зверство, часто не вынужденное никакими обстоятельствами.

---

[1]) Т. е. по два пятачка.

Нашел Фигнер — рассказывает подполковник Бискупский — десять отсталых французов и «сейчас же развешал их по соснам под селом». Другой раз была захвачена партия до 180 человек. Обыскав и обобрав пленных Фигнер, скомандовал: «коли пиками, метко, меньше ран» . . .

«Могу ли изобразить этот ужас, — пишет привыкший ко всему простой вояка. Это уже не мое дело, тут надо перо; тем более я не в состоянии описать, что адское действие совершилось очень скоро, оглядываясь, не наскочит ли какой отряд неприятельский нечаянно. У иного уже десятки ран, весь в крови, он еще не пал, а хватает за все . . . Несчастнейшие французы, недавно говорившие с Фигнером так приветливо, покорно, человеколюбовно сожалея, что так долго нет мира между нами . . . и не думали того, что идут на эшафот; одни пали на колени, сложив руки, то молились, то, вознося к небу руки, просили даровать жить; другие внезапно лишились рассудка, кричали и кидались сами на пики, хватаясь руками за лошадей, за ноги, за руки, целуя стремена, умоляя о пощаде; многие уже лежали один на другом, в страшных положениях, в крови; руки и ноги трепещут у умирающего, кровь на все стороны фонтаном и крик пронзительный именем Христа . . . Чтобы изобразить эту картину недостаточно страницы, пусть искусное перо выльет все неслыханные ужасы, какие тут были». Так писал Бискупский в 1849 г. Но «искусное перо» великого романиста обошло молчанием эти «ужасы», которые громко взывают против войны с ее зверствами, с ее унижением человеческой личности и человеческого достоинства.

«Удивительная вещь война» — скажет Бискупский, увидав зрелище «редко виденное». Лежал труп француза, «к голове его прижалась крошечная черная собачка, дрожащая от холода, — полизывала своего хозяина и пищала плачевным визгом, как-будто жалуясь нам. Мы стали ее звать, манить хлебом; она то подбежит, то воротится к трупу и лижет его лицо, хлеба не берет, а будто просит поднять, разбудить лежачего. Жалость было смотреть, как от голода, холода и тоски она дрожала и пищала, со слезами в глазах поглядывая то на нас, то на своего покойника . . . Так и осталась с ним в пустынном поле смерти. Мы все удивлялись такой привязанности». «Странно — заключает Бискупский — что общая жалость проявилась к собачке более, чем к несчастному человеку».

На войне нет жалости к человеку. Нет уже потому, что весь смысл военных боевых действий заключается в том, чтобы лишить возможно большее число владеющих оружием способности сражаться. Быть может, с точки зрения военной стратегии это логично. Такой же логикой, вероятно, руководился и Фигнер в своих зверских расправах с пленными ранеными. Каждый пленный, каждый раненый вновь может сделаться активной силой, и следовательно наиболее верный способ обезвредить его — уничтожение. Нравственное чувство протестует против такой бесчеловечной военной логики. Оно должно протестовать еще с большей силой, когда никакие стратегические соображения не могут оправдать забвения гуманных начал, когда «мщение» становится уже руководящим принципом.

Сегюр и многие из других мемуаристов, описывавших отступление наполеоновской армии, рассказывают о безобразной картине, на которую пришлось натолкнуться около Гжатска (18-го октября). «Мы были изумлены — говорит Сегюр — встретив на своем пути только что убитых русских. Замечательно было то, что у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова,

и что окровавленный мозг был разбрызган тут же. Нам было известно, что перед нами шло около двух тысяч русских пленных и что вели их испанцы, португальцы и поляки. Каждый из нас, смотря по характеру, выражал кто свое негодование, кто одобрение, иные оставались равнодушными. Кругом императора никто не обнаруживал своих впечатлений. Но Коленкур вышел из себя и воскликнул: «Это какая то бесчеловечная жестокость! Так вот она пресловутая цивилизация, которую мы несли в Россию! Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство? Разве мы не оставляем у русских своих раненых и множество пленников? У нашего неприятеля все возможности самого жестокого отмщения» . . . «Наполеон — добавляет Сегюр — отвечал лишь мрачным безмолвием; но на следующий день эти убийства прекратились».

Доктор Роос несколько в ином освещении рисует эти убийства русских пленных. В Борисове на Березине он слышал от двух унтер-офицеров баденских гренадеров, эскортировавших пленных, что Наполеон сам отдал «строгий и жестокий приказ немедленно убивать всякого пленника, если он утомится и не в состоянии будет итти дальше». По их словам, офицеры наполеоновского штаба «голосовали частью за, частью против подобного образа действий. Некоторые даже шепнули гренадерам, чтобы они ночью дали пленным возможность мало по малу улизнуть». Эти унтер-офицеры — рассказывает Роос — уверяли дальше, что «они делали этим людям намеки, особенно ночью у костра, и даже посылали их с этой целью с посудой в лес за водой, но те всегда возвращались назад» . . . Но и Роос свидетельствует, что убийства прекратились уже на другой день.

Но кто бы ни был виновником этих убийств, факт варварства остается налицо [1]).

Рассказывая о прекращении убийств, Сегюр добавляет, что с той поры «наши ограничивались тем, что обрекали этих несчастных умирать с голоду за оградами, куда их загоняли, словно скот». «Без сомнения, это было тоже жестоко; но что нам было делать? Произвести обмен пленных? Неприятель не соглашался на это. Выпустить их на свободу? Они пошли бы всюду рассказывать о нашем бедственном положении и, присоединившись к своим, они яростно бросились бы в погоню за нами. Пощадить их жизнь в этой беспощадной войне — было бы равносильно тому, что принести в жертву самих себя. Мы были жестокими по необходимости».

Подобные об'яснения не смягчат нам однако ужаса самого факта. Равно как и сам Сегюр расскажет с возмущением о жестокости, проявленной некоторыми элементами наполеоновской армии еще при начале отступления. Армия, проходя Бородинское поле, остановилась у Колоцкого монастыря, превращенного в госпиталь. И, когда раненые увидали, что «армия возвращается, что их собираются покидать, что для них не осталось больше никакой надежды, слабейшие из них выползали на пороги; ими были усеяны все дороги, и они протягивали нам с мольбой свои руки». Тогда по приказу Наполеона каждая повозка должна была подобрать по одному раненому.

---

[1]) Кастеллан в своем дневнике приписывает все эти „варварства“ португальцам „Боюсь — записывает он под 21 октября — что такое варварское поведение вызовет по отношению к нам беспощадную месть“.

И «мы были свидетелями — передает Сегюр — крайне жестокого поступка».

«Несколько раненых было размещено на повозке маркитантов. Фуры этих негодяев были нагружены добром, награбленным в Москве, и они с ропотом недовольства приняли новую ношу». Пропустив колонну, «они побросали в овраг всех несчастных, которых доверили их заботам. Лишь один из этих раненых остался в живых . . . это был генерал. От него мы узнали о совершенном преступлении. Вся колонна содрогнулась от ужаса . . . ибо в то время страдания не были еще настолько сильными и всеобщими, чтобы заглушить жалость и сосредоточить лишь на самом себе все сочувствие».

Впоследствии и для этой жалости не будет места. «У нас — говорит Фезанзак — не было средств везти их (раненых) с собой, и мы должны были делать вид, что не слышим их просьб и жалоб».

Отношение к своим в критический момент, конечно, определяло отношение и к чужим — здесь уже не было места чувству жалости и сострадания. Месть, только месть — и часто «по необходимости» . . .

Человек, не зараженный предрассудками эгоистического национального себялюбия, может быть об'ективным и он с меньшей строгостью отнесется к тому, кто в данный момент находится в страдательном положении. Такое именно положение занимала в данный момент французская армия. Вероятно, при отступлении происходили много раз те случаи, которые отмечает в своих записках Ф. Н. Глинка под 26 октября: французы «прикалывают наших пленных и расстреливают крестьян». Эти случаи лишь в слабой степени повторяют картины, описанные под Гжатском Сегюром и Роосом.

Быть может, отдельные аналогичные факты бывали и раньше. По крайней мере так свидетельствует в письме к Вязьмитинову 30-го октября Ростопчин, сам проявивший редкое бессердечие по отношению к пленным и раненым врагам. Он рассказывает о многих зверствах французов во время их пребывания в Москве: в Бородине — заподозренного в убийстве французского солдата «сожгли посреди города, надев рубашку в масло обмакнутую». «У многих женщин, имевших на пальцах кольца, — продолжает он — рубили пальцы».

Допустим, что в многотысячной и разношерстной наполеоновской армии могли происходить и происходили самые грубые насильственные выходки [1]). В этой разноплеменной армии не было и не могло быть той солидарности, той удивительной дисциплины, которая всегда отличала победоносные наполеоновские полки — его знаменитых гренадеров старой гвардии. Уже при вступлении в Россию мы видим зачатки будущей дезорганизации, почти неизбежной при условиях плохого оборудования интендантских частей. Армия подчас голодает с первых же пор, она принуждена довольствоваться грабительскими реквизициями, т.-е. мародерством; это, по общему голосу всех современников, и вносило дезорганизацию в ее среду. Дисциплину вначале поддерживали строгими мерами. Солдат, которые, по замечанию Рооса, «должны были поддерживать свою жизнь воровством и грабежами» подвергали расстрелам. Роос

---

[1]) Случай, рассказанный Ростопчиным, повидимому, в действительности имел место, хотя он и рассказан с значительным преувеличением. По словам Гриуа, ген. Фридерикс в Верее приказал заколоть трех крестьян и бросить в подожженную избушку. Цитируемый мемуарист передает, что Фридерикс выделялся своей жестокостью — это был своего рода французский Фигнер.

под Вильно видел четырех солдат, приговоренных военном судом за насилия к смертной казни, которые сами себе перед смертью вырывали могилу. Это ли не «холодный ужас» войны? [1]).

В Москве при еще худших условиях, после пожара, который уничтожил обильные припасы, хранившиеся в столице, дезорганизация в армии усилилась. И грабежи, и насилия несомненно имели место. Иначе и не могло быть. С ними также боролись, хотя иногда и бесплодно. И любопытно, что почти все очевидцы пребывания наполеоновской армии в Москве выделяют в данном случае французские элементы, которые до последнего момента сохранили бо́льшую моральную устойчивость: «Французы настоящие добрые: ведь у них по мундиру и по разговору узнаешь, редко кого обидят; зато уж эти новобранцы всякие у них, да немчура никуда не годилась. И не нужно им, да они грабят, да крещеный народ обижают» — рассказывает соймоновская крепостная. Французы (простые солдаты) нередко защищают местное оставшееся население от грабительских инстинктов, разыгравшихся в их сотоварищах по походу, от насилий и банд русских грабителей.

Таких фактов, иногда даже трогательных, можно было бы привести достаточное число. Историки любят описывать разнузданность дезорганизованной армии. Но в действительности, если были грабежи, насилия и обманы в полупокинутом завоеванном городе со стороны армии, у которой подчас бывали в изобилии прекрасные ликеры, но не хватало хлеба, то решительно никаких «ужасов» отмечать не приходится. Ужас был один — это та знаменитая сцена расстрела поджигателей, которая так ярко изображена Толстым и запечатлена на картине Верещагина.

Французский врач одинаково, насколько может, несет помощь и своему, и чужому раненому. Он стоит на высоте требования человечности. У нас есть в данном случае драгоценное свидетельство лица, самого испытавшего гуманность обращения с ранеными. Мы имеем в виду А. С. Норова, современника, впоследствии с такой резкостью протестовавшего против «цинических слов» Толстого во имя «оскорбленного патриотического чувства». Раненый под Бородиным и оставленный в Москве он испытал на себе и дружелюбие французского «мародера» и всю тщательную заботливость врача барона Ларрея.

Но вот ушли французы, оставив вместе с русскими и своих раненых. В Москву вступают казаки. Авторитетное вмешательство Норова спасает французских раненых, сделавшихся уже пленниками.

Уже совсем иную картину мы видим в Воспитательном доме, где также лежат и французские и русские раненые. Озверевшие казаки, грабившие и своих, и чужих, жестоко расправились с теми из раненых пленных, которые попытались с оружием в руках защищаться: они были «изрублены». Здесь не помогла попытка охранить несчастных от безумной мести. Та же судьба постигла раненых и на частных квартирах, где не нашлось достаточно авторитетного вмешательства. Быть может, другого и нельзя было требовать от грубого донского казака, для которого каждый француз был «душегубец».

Но на сцену вскоре выступают другие общественные элементы. Перед

[1]) О таком же факте расстрела дезертиров передает Куанье. Около Вильно было расстреляно 62 испанских стрелка.

нами просвещенный яко-бы русский писатель, московский генерал-губернатор гр. Ростопчин.

Казалось бы, от него можно было требовать проявления некоторой гуманности к безоружному раненому врагу. Но вы у него не встретите этой гуманности. Свое свидание с пленным Газо, начальником обоза главной квартиры Наполеона, «русский барин» закончит «неприличной бранью». Он велит поместить французских раненых в подземелье и оставить на попечение французских врачей. Никто не позаботится о жизненных припасах и медикаментах для больных. И в этом «подземельи» от лишений будет умирать по 30 человек в день. Никто не помешает однако гр. Ростопчину в официальных письмах рассказывать, как плохо приходилось французским раненым, когда Наполеон был в Москве. Эти раненые «по четыре дня бывали без пищи и так много мерли, что из 3000 лежавших в Воспитательном доме . . . погребено, или лучше сказать выброшено 2500. Смотрения за больными никакого не было и к ранам прикладывают жеваный хлеб».

С уходом французов положение раненых настолько ухудшилось, что все они, по словам Боволье, «погибли от ран». Выздоровевших Ростопчин прикажет частью отправить в Тверь. Их будут конвоировать те самые крестьяне, которых систематически натравливал на французов Ростопчин. И все они погибнут, по словам Водонкура, «от холода и нищеты» или будут удушены конвойными с целью воспользоваться одеждами убитых. Остальных заставят работать по очищению Москвы от трупов. И друг Ростопчина, его правая рука Булгаков не найдет ничего лучшего сказать: «Пусть околевают негодяи или искупают свою жизнь тяжкой и нездоровой работой». В своем патриотическом ослеплении он с каким-то животным злорадством будет констатировать: «Воспитательный дом цел; там околевает ежедневно человек по пятидесяти французов».

Эти «патриоты» не понимают гуманного обращения с неприятелем. Друг Булгакова Оденталь в своих письмах удивляется, что «французов берут живых в плен. Это сущая зараза, которую вводят внутрь России . . . Изверги сии напитаны таким духом, что их больше еще должно опасаться пленных, нежели сражаясь с ними». — Понятно, что Оденталь будет в восторге, когда получатся сведения о подвигах казаков Платова. «Платов, — пишет он 29 октября, — со всеми казаками преследует его (т.-е. Наполеона) по пятам, бьет, колет, топчет, засекает нагайками вся сволочь, которая не может уносить ног. Мало берет в плен, ибо некуда деваться при быстром движении с поганью».

Так было в мирной уже Москве. Так было нередко и в других местах. Перенесемся в Тамбов — город далекий от театра военных действий. Здесь нет той ненависти, которая вызывается непосредственным соприкосновением с врагом. И что же пишет в частном письме Волкова 18-го ноября: ежедневно проводят пленных, они «крайне дерзки», так что губернатор «человек очень порядочный обращается с ними, как с *собаками*». Вероятно, положение пленных действительно было ужасно, если пришлось вмешаться в дело Кутузову и предлагать изменить систему обращения с пленными, ибо «жестокое обращение с безоружным врагом не согласно с русским характером».

К сожалению, последняя красивая фраза далеко не всегда найдет себе подтверждение. Недаром французским военачальникам не раз приходилось жаловаться самому Кутузову на варварское обращение с пленными, нарушав-

шее военные традиции. Передают и слова, сказанные Кутузовым в ответ: он не в силах сдержать ожесточение русского народа. Однако, как мы видели, это ожесточение проявляется не только на театре военных действий и не только со стороны темной крестьянской массы, но и среди яко-бы просвещенных представителей общества; там, где бесчеловечность, по справедливому замечанию Сегюра, не могла оправдаться «крайнею вынужденностью».

На войне всякая жестокость находила себе оправдание в целесообразности. Такой гуманный в сущности человек, как Винцегероде, о котором декабрист кн. С. Г. Волконский в своих записках дал самый лучший отзыв, и тот сгоряча мог воскликнуть, что Наполеон не взорвет Москвы: «я дал ему знать, что если хоть одна церковь взлетит в воздух, то все попавшиеся нам в плен французы будут повешены». Конечно, вспыльчивый, но справедливый Винцегероде, никогда бы в действительности не допустил этой жестокой расправы над лицами, неповинными в распоряжениях Наполеона; он не допустил бы этой бессмысленной мести. То была лишь угроза с целью воздействовать на противника. Но можно не сомневаться, что будь на месте Винцегероде Фигнер, все подобные угрозы были бы осуществлены на деле. Партизан Давыдов передает характерный разговор, происшедший у него при свидании с Фигнером. «Едва узнал он (Фигнер) о моих пленных — рассказывает Давыдов — как поспешил ко мне с просьбой дозволить *растерзать*(?) их каким то *новым* казакам, еще, по его мнению, не *натравленным*. Давыдов не согласился, высказав пожелание, чтобы в русской армии было бы побольше славных, но великодушных воинов. «Разве ты не расстреливаешь?» — возразил Фигнер.— «Да, расстрелял двух изменников отечества, из которых один был грабитель храма Божьего».—«Ведь ты расстреливал пленных?» — «Никогда, вели хоть тайно расспросить о том моих казаков». — «Ну так походим вместе, и ты, верно, бросишь эти *предрассудки*». Итак «предрассудки». Прочтем дальше рассказ Давыдова и мы увидим, как сам Давыдов приказывает сжечь сарай, где заперлась сотня французов. И этот сарай сжигается вместе с французами.

Историки, рассказывая о зверских жестокостях войны двенадцатого года, любят ссылаться на «грубость и фанатизм народа», в борьбе с которым были бессильны и Александр и Кутузов.

Генерал Вильсон, видя, как пленных раздевают до нага, заставляют итти в таком виде колоннами или оставляют на произвол и забаву крестьянам, обратился к самому императору с просьбой принять какие-либо меры к облегчению участи несчастных. Это обращение не принесло реальных результатов. Вильсон сам видел, как вел. кн. Константин нанес смертельный удар голому пленнику по его собственной просьбе. Доктор Руа, взятый в плен при Березине, рисует не менее жестокую картину. Он рассказывает, как пленных ведут при 28° мороза, не заходя в деревни из боязни заразить больничной лихорадкой. Эти полуодетые пленные на бивуаках «примерзали к земле». Половина их гибла на дороге. Их трупы сжигали и при этом иногда случалось, что «в огонь бросали людей еще не испустивших последнего дыхания. Оживая на мгновение от неимоверной боли, эти несчастные, заживо сжигаемые, оканчивали свою агонию в невероятных криках»...

Такую же картину рисует де-Саранг. Он видел близ Дубровны огромные костры, на которых сжигали французские трупы. «Меня толпа донесла до самого здания, где помещались трупы. Во внутренней комнате я увидел несколько сот мертвых французских солдат, которые стояли тесно прижатые

друг к другу с обрывками мундиров на плечах; многие из них были с открытыми глазами, и судорожно искривленные физиономии говорили об испытанных ими в момент смерти мучениях. Это была плотно склеенная масса замороженных тел. Ноги их переплелись и руки стискивали порою тело соседа; это в значительной степени увеличивало труд рабочих, занятых растаскиванием на части этой компактной груды; рычагами служили им железные ломы, так что падению отколотого тела всегда предшествовал треск ломающихся костей.

Один местный помещик рассказал нам, при каких обстоятельствах французские солдаты нашли эту ужасную смерть. В Дубровну прибыла партия пленников, приблизительно, в тысячу человек. Первую ночь их оставили ночевать среди того самого поля, где сжигали теперь их останки. Близость деревни позволила некоторым из них бежать, и тогда конвойные решили запереть остальных. Так как мороз доходил в эту ночь до 18°, то около 150 человек оказалось уже мертвыми, и их оставили лежать на земле, а остальных 800 втиснули в помещение, в котором могла бы лежа поместиться едва четвертая часть этого количества. Чтобы загнать их в эту ужасную тюрьму, казаки приставляли им к груди острия пик и без пощады теснили друг на друга; в заключение их натискали даже в амбразуру дверей, как бы нарочно, чтобы увеличить давление, от которого большинство должно было задохнуться через несколько часов. Кто вначале держал руку опущенною или поднятой, принужден был сохранять эту позу до самой смерти, не имея возможности уклоняться от укусов товарищей, от голоду хватавших их тело зубами, так как никому никакой пищи оставлено не было. Крики отчаяния неслись от места заключения на далекое пространство и только к концу третьего дня окончательно смолкли. Мертвое молчание воцарилось тогда над этой могилой.

Пока стояли морозы о мертвых как бы забыли, но когда наступила оттепель, русские власти, боясь заражения воздуха такой массой разлагающихся трупов, решили увезти их с места происшествия и сжечь» . . .

У Саранга можно заимствовать еще один рассказ о партии пленных, переправляемых из Ковно в Поволожье.

Партия эта все ночи проводила под открытым небом, на мерзлой земле, без постели и крова; раз в день им выдавали паек черного ржаного или овсяного хлеба, покрытого плесенью и кусочками соломы, да и эта жалкая пища получалась далеко не регулярно; для удовлетворения жажды они не смели рассчитывать даже на воду и ели грязный снег и лед, по которому шли, что причиняло им ужасные желудочные боли.

Из тысячи человек, вышедших из Ковно, уже на восьмой день осталось не более 600. Тех, которые по слабости, болезни или окоченевши от голода отставали, били прикладами или на смерть кололи штыками. Конец для большинства был трагичен. Солдаты заперли их в дом, обложили его вязанками хвороста и дровами и с разных сторон подожгли этот огромный костер.

В период всего отступления наибольшие жестокости совершали казаки: они нападали на отставших, безоружных и раненых, внушая панический ужас всем тем, которые выбились из рядов армии. Сегюр, Марбо, Де-ла Флиз, жена Домерга и все, кто только писал свои воспоминания о 1812 годе, рисуют грубые сцены убийства казаками раненых и пленных прежде всего с целью

грабежа. Их привлекали и брошенные повозки, и грязные лохмотья умирающих французов. Они раздевали отсталых и пленных и заставляли их голыми итти по снегу.

И не только французы, но русские очевидцы передают аналогичные сцены. Рассказывая об ужасах при Березине, адмирал Чичагов говорит в своих записках: «потрясающая картина бедствий неприятеля не производила большого впечатления на наших казаков, которые только и думали как бы воспользоваться случаем поживиться... Мои казаки вытаскивали из реки тела и обирали платье их, часы и кошельки. Так как этот промысел не казался им довольно выгодным, то они снимали платье с оставшихся в живых французов».

«В сущности, эти импровизированные, жаждавшие грабежа войска — замечает про казаков Трион — не представляли ничего опасного, так как малейшее сопротивление их останавливало и обращало в бегство, а целью их была не борьба, а только добыча».

VI.

Однако, может быть, довольно всех этих ужасов.

Историк, изображающий эпоху, описывающий Отечественную войну, не может обойти их молчанием. Вот почему гениальная по художественным своим достоинствам эпопея Толстого не может быть точным отражением тогдашней действительности.

Вероятно, в нашем изложении краски иногда сгущены. Черная траурная рама смягчится, когда мы на ряду со всеми жестокостями войны, отметим и другие черты, проявленные тем же самым народом, когда мы постараемся отыскать об'яснение для всех тех фактов, которые как бы оправдывают заключение Сегюра: «Русский народ... не мог отомстить благородно за свою родину».

Толстой, не остановившийся на описании отрицательных сторон народной войны, поскольку они были связаны с издевательствами и жестокостями над безоружным врагом, дал зато замечательные картины незлобивости, которая гораздо более присуща народной массе, если последняя не инспирируется внешней агитацией. У кого не запечатлелся рассказ об отношении русских солдат к больному пленному французскому офицеру Рамбалю и его деньщику Морелю. Припомните то добродушие, с которым встречаются эти полузамерзшие, ослабевшие враги; заботливость и жалость, проявленные солдатами пятой роты; упреки за неуместную шутку одного из товарищей над несчастными пленниками. Припомните «радостные улыбки», когда голодный Морель принимался за третий котелок каши; припомните «грубый, радостный хохот», когда шутник песенник сумел уловить мотив французской песни, затянутой Морелем.

Не стоит ли однако эта столь жизненная картина в каком-то роковом и непонятном противоречии со всеми теми фактами ужасов, которые заполняли предшествовавшие страницы? Если у Толстого нет противоречия, то потому только, что им затушеваны отрицательные стороны движения, сделав-

шего 1812 г. «великой страницей народной гордости». И тем не менее картина, нарисованная Толстым, глубоко жизненна и правдива.

С чувством глубокого удовлетворения и облегчения останавливаешься на фактах, поистине являющихся светлыми пятнами на мрачном фоне крови и жестокости войны.

Хочется подчеркнуть рассказы, которые ослабляют впечатления ужаса и раскрывают лучшие стороны человеческой души. Эти светлые пятна были и при отступлении наполеоновской армии. Возьмем хотя бы рассказ полковника Комба. Войдя в крестьянскую избу, он наталкивается на мать с ребенком. Комб вспоминает своего маленького сына, оставленного на далекой родине. С нежностью ласкает он ребенка, пробуждая сочувствие в материнском сердце.

В это время в деревне появляются казаки. Неужели мать отдаст на растерзание озверелым казакам того, кто с такой душевностью и ласкою подошел к ее ребенку? О, нет! Она спасает Комба и его товарищей. И с точки зрения многих совершает, вероятно, антипатриотический поступок. Можно привести и другие аналогичные факты доброго отношения к раненым пленным и особенно там, где война не затрагивала непосредственно интересов населения.

Французские пленные свидетельствуют, что внутри страны они встречали гораздо больше сердечной мягкости со стороны местных крестьян. Доктор Руа рассказывает: те, которые «приближались к нашим бивуакам, высказывают часто нам сочувствие, а иногда даже проявляют свое расположение более реально: простые крестьянки приносили нам свое платье, доставляли пищу и даже водку». «В Сердобске с нами обращались скорее, как с земляками или друзьями, но не как с пленными».

Эти факты показывают, что народная масса подчас проявляла несравненно большую гуманность и сердечность к врагу, переставшему быть таковым, чем некоторые представители тогдашнего образованного общества.

На деятельность людей, подобных Ростопчину, Булгакову и всем тем, которые в своем «патриотизме» забывали законы человеческой совести и морали, должна быть перенесена ответственность за эти бесславные страницы жестокостей, которые внесла народная эпопея 1812 года в летописи русской истории. Эти деятели эпохи не понимали, что здоровый патриотизм заложен в народной крови и не нуждается в искусственных прививках. Не веря в патриотизм массы, они считали нужным возбудить его, действуя на суеверные чувства, на предрассудки — одним словом «шарлатанством», как метко выразился сам Ростопчин. Для них патриотизм был синонимом ненависти к иностранцам. Ее-то они и старались пробудить. Та «народная война», которой впоследствии было приписано спасение отечества, возбуждала на первых порах большое сомнение: ее боялись — боялись «развязать руки», как говорит современник. Боялись, что крепостная масса восстанет против господ.

Опасность социальной революции, как показывают крестьянские волнения в период отечественной войны и в последующие годы, несомненно была. Раб всегда ненавидел своего господина. И крестьяне, столь бесчеловечно справлявшиеся с врагом, с таким же ожесточением разграбляли помещичьи усадьбы, когда представлялась к тому возможность. Они же, не менее наполе-

оновской армии, содействовали и разграблению Москвы, что засвидетельствовано достаточным числом показаний русских современников.

Эти разгромы и грабежи однако не были связаны с пресловутыми наполеоновскими прокламациями, которых в действительности никогда и не было.

Наполеон с полным правом мог сказать в речи, обращенной к французскому сенату 20 декабря 1812 года: «Я мог бы вооружить против нее (России) наибольшую часть ее собственного народонаселения, провозгласив свободу рабов. Но когда я узнал, в какой загрубелости пребывает этот многочисленный класс русского народа, я отказался от этой меры, которою столь многие семейства обрекались на смерть и на самые жестокие мучения». Быть может, только в последний момент пребывания в Москве Наполеон искал, как передают некоторые из мемуаристов (напр. Изарн), прокламаций Пугачева, чтобы обратиться с призывом к населению. Это было последнее, запоздалое средство. Призрак «Наполеона-Пугачева», мерещившийся русскому дворянству в эпоху Отечественной войны, не имел под собой реального основания. У Наполеона не было намерения «вызвать востание народа против дворянства». «Подобный образ действий шел слишком в разрез с его личными интересами и с деспотической системой правления» — говорит барон Дедем. «Наполеон должен был слишком часто подтверждать монархическую систему во Франции, чтобы приготовлять революцию в России». Наполеон не был более генералом Бонапартом, предводителем республиканских войск: «Император Франции вел войну с императором России».

Дедем в своем замечании в значительной степени глубоко прав, что не трудно было бы подтвердить многочисленными фактами [1]). Но русское дворянство боялось этого постоянно висевшего над ним празрака Пугачева. Этого призрака боялось в 1812 году и русское правительство.

Все меры принимаются к тому, чтобы «восстановить умы» против Наполеона и тем «охранить чернь, которая всегда легкомысленна», как заметила в одном из своих писем Волкова. Одинаково и церковь, и правительство, и дворянские публицисты ставят единственной своей целью взвинтить народное настроение, действуя на суеверные чувства; возбудить бессознательную ненависть к французам и тем подвинуть народ на «патриотические» подвиги. В 1812 году это входит в такую моду, что находится даже ученый, дерптский профессор Гецель, который истолковал два места в Апокалипсисе и в числе зверином открыл имя антихриста — Наполеона. Свое изыскание он предлагал Барклаю распечатать в армии «для усугубления бодрости духа русского воинства».

Синод, об'являя Наполеона антихристом, следовал по тому же пути; в том же духе действует и гр. Ростопчин, старавшийся своими крикливыми афишами, написанными, по выражению Толстого, на «ерническом языке», возбудить человеконенавистнические чувства в низах московского населения. Саморекламная деятельность гр. Ростопчина, об'явившего впоследствии себя «спасителем отечества», наиболее, пожалуй, характерна в данном случае. Гр.

---

[1]) Любопытно, что в Витебске французы посылали даже летучие карательные отряды для усмирения крестьянских беспорядков. Местный интендант маркиз Пасторе весьма жаловался на агентов революции, подстрекавших к бунту.

Ростопчин, по словам современника Рунича, «спас Россию от ига Наполеона»: он «разжег народную ненависть теми ужасами, которые он приписывал иностранцам». Утешая себя и других тем, что «вольности у нас никто не хочет», что о «вольности лишь изредка толкуют пьяницы», Ростопчин однако весьма не доверял «верным и добрым подданным». Взяв на себя миссию демагога, толкуя о том, что он с «молодцами московскими» защитит столицу от Наполеона, Ростопчин более всех боялся вооруженного народа. «Русскому барину» повсюду мерещится революция и бунт крепостных.

Московское население на первых порах отнюдь не проявляет того «патриотизма», который хотелось бы видеть московскому властелину, поставленному в Москве со специальным назначением возбудить патриотический дух. Для него патриотизм должен проявляться в ненависти ко всему иностранному. Низы московского населения стояли в этом отношении гораздо выше своего руководителя. Народная масса инстинктивно угадывала всю фальшь ростопчинской демагогии. И когда Ростопчин возбуждал пыл народный своими афишами и грубыми юмористическими лубками, то, по словам одного из наблюдателей, возбуждал лишь «презрение» к себе: «чернь неизвестно за что питала к нему величайшую ненависть». Когда Ростопчин натравливал население на мирных иностранцев в Москве, он не достигал цели. Факты показывают нам, что народная масса отличалась бо́льшим психологическим чутьем, и «нелепые прокламации, в которых французы представлялись людоедами» мало способствовали возбуждению черни, которой так боялся гр. Ростопчин. Ростопчин бессилен был пробудить «патриотизм» (тот, который он желал видеть) в то время, когда неприятель непосредственно не сталкивался с населением, не затрагивал его интересов, и, как метко охарактеризовал Толстой, он напоминал собою мальчика, который «старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его власть с собой народного потока». Три месяца «спаситель отечества» подготовлял народное вооружение, возбуждая в населении «патриотическую ненависть» к французам. И все его грубые выходки и издевательства над мирными иностранцами возбуждали в массе только чувство недоумения и неодобрения.

Л. Н. Толстой нарисовал замечательную картину того чувства, которое вызвало в московском населении зрелище торговой казни, которой подверг Ростопчин своего повара, — француза: «J'ai fait naturaliser russe mon chef de cuisine» — грубо острил по этому поводу московский балагур. И когда по окончании экзекуции толстый человек с рыжими бакенбардами, в синих чулках и зеленом камзоле вдруг заплакал, «толпа громко заговорила, как показалось Пьеру для того, чтобы заглушить в самой себе чувство жалости». Один лишь сморщенный приказный попробовал с'острить. «Приказный оглянулся вокруг себя, видимо, ожидая оценки своей шутки. Некоторые засмеялись, некоторые испуганно продолжали смотреть на палача, который раздевал другого».

Это слово «испуг», пожалуй, лучше всего может охарактеризовать впечатление от ростопчинских экзекуций.

Ростопчин не мог оказать влияния на народное чувство, потому что, скажем вновь словами Толстого, «не имел ни малейшего понятия о том народе, которым думал управлять. Ему лишь казалось, что он руководил настроени-

ем жителей, посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ерническим языком, который в своей среде презирает народ и который он не понимает, когда слышит его сверху».

Ростопчин был бессилен поднять «патриотизм», который он видел только в человеконенавистничестве. Результат всей его демагогической деятельности мог проявиться единственно лишь в той разнузданности полупьяной толпы, на половину состоявшей из колодников, которой ознаменованы последние часы в Москве перед вступлением в нее наполеоновской армии. Наэлектризованная ожиданием и уверениями, что «злодей» никогда не вступит в Москву, эта толпа явилась на ростопчинский двор с призывом к ответу московского главнокомандующего. И тот, трусливо спасаясь с заднего крыльца, отдал на растерзание пьяной толпы невинного Верещагина, как изменника родины, проведшего наполеоновские полчища к стенам первопрестольной столицы. Толпа, возбужденная еще больше произведенным неистовством, или устремляется в Кремль к арсеналу, чтобы здесь с оружием в руках встретить неприятеля, или обращается на грабеж оставленных домов.

Вот все, чего достиг Ростопчин. Но, чего не сделал Ростопчин, сделал московский пожар. Он придал, как замечает Домерг, войне «характер народный и религиозный» . «Вся Россия — говорит тот же мемуарист — казалось, почерпнула в этой великой катастрофе новую энергию». С этого момента растет ненависть к французам, поправшим как бы все лучшие народные чувства. «Пламя и пепел Москвы, по словам ген. Ланжерона, воспламенили жаждой мщения все сердца. Это и убеждало русских, что Наполеон хотел уничтожить их отечество и веру». Пожар Москвы — «постыдные и хищные дела презренных зажигателей», — сделался главным агитационным средством для возбуждения народной ненависти. И, вероятно, когда Денис Давыдов, давал «наставление» крестьянам, как обращаться с «врагами Христовой Церкви», «чадами Антихриста», которых «Бог повелел» истреблять; когда Ростопчин призывал к тому же беспощадному истреблению «гадины заморской» и советовал валить «живых и мертвецов в могилу глубокую», когда Ростопчин грозил, что «душе» всякого не исполнившего этого «быть в аду» с злодеями и гореть в огне — вероятно в темной невежественной среде подобные варварские призывы должны были находить отклик. Какие слухи распространялись в народе о французах мы можем видеть, между прочим, из любопытных в этом отношении воспоминаний «Очевидца о пребывании французов в Москве (Москва 1862). «Мое юное, фантастическое воображение — рассказывает этот очевидец — рисовало французов не людьми, а какими-то чудовищами с широкой пастью, огромным клювом... Говорили, что французы, предавшись Антихристу, избрали себе в полководцы сына его Аполлиона—волшебника... Этот чародей Аполлион имеет жену колдунью, которая заговаривает огнестрельные орудия» и т. д. [1]).

---

[1]) Офицер великой армии Ложье в своем дневнике записывает характерный эпизод во время пребывания армии в Москве. В одну из поездок за фуражем он наткнулся в лесу на священника с группой крестьян, весьма подозрительно отнесшихся к итальянцу, но отношение изменилось, когда христиане узнали, что Ложье христианин, и, в конце концов, они посоветовали Ложье скорее уехать, так как в окрестности находятся казаки Иловайского. Аналогичные факты можно отметить

И мы видим, как действительные факты, описанные выше, как бы до точности воспроизводят совет просвещенных «патриотов». Именно их проповедь, их личные примеры превращали людей в каких-то остервенелых зверей.

Но крестьяне убивали не только «идолопоклонников», надругавшихся над религиозными святынями, убивали не только «детей Антихриста», они убивали в то же время «миродеров», как, по словам С. Н. Глинки, крестьяне называли французских мародеров.

Быть может, в значительной степени прав был Рунич, записавший в своих воспоминаниях: «русский народ воевал для того, чтобы истребить хищных зверей, пришедших пожрать его овец и кур, опустошить его поля и житницы». Надо помнить, что отступление Наполеона далеко не походило на первый период войны. Тогда боролись с мародерством, пытались в завоеванных областях ввести организацию, охранить интересы крестьянства. Не то уже было при отступлении. «Злодеи, — говорит в своих записках Золотухина — к выступлению из Москвы сделались еще злее, истребляли огнем все попадавшиеся им на пути деревни и города». Повинна в этом была не только дезорганизация, охватившая армию, но и бессмысленная месть, столь пагубно отозвавшаяся на самой армии.

«Отныне — говорит Сегюр — все, что оставалось позади французов, должно предаваться огню. В качестве завоевателя Наполеон сохранял все; отступая он будет уничтожать все: из необходимости ли, пользуясь которой он разорял неприятеля и замедлял его движения, или из возмездия».

Это озлобление на «мародерство», т.-е. материальные интересы, должны были играть важную роль в интенсивности народной войны. И должно отметить, что жестокости были только там, где приходилось становиться лицом к лицу к врагу, опустошавшему «поля и житницы».

Угар мести должен был однако пройти. Совершенные зверства должны были мучить совесть: француз, хоть и «враг», но «все же человек». У нас есть замечательный рассказ современника, говорящий об этих мучениях совести в той некультурной, суеверной массе, которую «натравливали» на врагов, рисуя их людоедами, убийцами, дикими зверями.

Крестьянин, рассказывая проезжему чиновнику на постоялом дворе, как в деревне они зарывали в яму живых французов, все время допытывался: можно ли было в действительности убивать французов: «оно точно того, если бы он на тебя с ножем лез, ничего бы».

У крепостного раба пробуждалось чувство человечности, неудовлетворенности и сожаления за все те зверства, которые были совершены в период войны. Но это чувство не пробуждалось у таких «патриотов», как граф Ростопчин.

По возвращении своем в Москву, он собирал портреты подмосковных крестьян, которые больше всех убили неприятелей. На память потомству Ро-

---

и при отступлении. Это дает повод Де-ла Флизу сказать: „народ бежал от нас потому что никто не умел обойтись с ним“ (мало, конечно, помогали ручные словари, бывшие в употреблении у армии, в которых говорилось, с какими словами надо обращаться к населению: напр.: „Господин мужик, я алкаю“). В отряде Де-ла Флиза был поляк, знавший русский язык, при помощи которого удалось переговорить с крестьянами и получить пищу.

стопчин мечтал запечатлеть в картине свои подвиги, и знаменитому Витбергу чуть не пришлось сделаться выполнителем этой мысли.[1]) Но этот памятник, был бы только памятником «подвигов» гр. Ростопчина, — памятником его «патриотизма», памятником того, что он «вписал несколько страниц ненужных жестокостей в русскую историю».

Народная память не будет гордиться подобными подвигами. Историк снимет с ее совести это пятно.

---

[1]) „Вернувшись в Москву после ухода Наполеона, — пишет Рунич, — Ростопчин в своем нравственном бездействии впал во всевозможные невоздержанности; он придумал гравировать портреты подмосковных крестьян, которые больше всех убили неприятелей, мародеров... Он обратился к Академии Художеств с просьбою прислать в Москву художника, способного передать его мысль на полотно. Академия поспешила прислать графу одного из своих лучших питомцев, молодого художника исторической живописи Витбера".

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ [1]

1812 год ознаменовался под'емом патриотических чувствований и настроений.

Современная литература, привыкшие к официальному виршеству стихотворцы, правительственные манифесты — наперерыв превозносили доблести и героизм русского народа, проявленные в период Отечественной войны. Неудержимый поток восторга, самого грубого шовинистического задора, издевательства над неудачей врага — вот что характеризует нам господствующий тон общественного настроения после двенадцатого года. Патриотические манифесты, составляемые Шишковым, провозглашали дифирамбы «верности и любви к отечеству, какие одному только русскому народу свойственны» (манифест 3 ноября 1812 года). «Войска, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом все государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, толикоже пылающую любовь к отечеству, колико любовью к Богу» — гласил манифест, подписанный Александром в Вильно 25 декабря 1812 г. За манифестами то же повторит и ранний историк: «Россия не во все времена от всех народов отличались любовью и привязанностью к престолу своих государей: но в Бонапартовскую войну . . . все стремились с неописанной ревностью на истребление врагов своих, нарушивших спокойствие их отечества» [2]). Те же мотивы, как мы знаем, звучат и в «бешеных» статьях «Сына Отечества», и в благодарственных одах и патриотических песнях 1813 г. «Русский Сцевола» — одна из любимых тем карикатуристов. Этому восторгу отдает дань и будущий певец гражданственности, семнадцатилетний юноша Рылеев: «Низойдите тени героев, тени Владимира, Святослава, Пожарского!... Оставьте на время райские обители! — Зрите и дивитесь славе нашей» . . . «Возвысьте гласы свои, Барды. Воспойте неимоверную храбрость боев русских! Девы прекрасные, стройте сладкозвучные арфы свои: да живут герои в песнях ваших» . . .

---

[1]) Напечатано в издании „Отечественная война и русское общество". Там статья эта была как бы вводной частью к заключительному очерку „Правительство и общество после войны" (помещена ниже). В отдельном издании казалось более логичным поместить эту часть в виде заключения к очеркам, посвященным 1812 г.; тем более, что в ней характеризуется, хотя и бегло, последний этап деятельности Ростопчина.

[2]) Жизнь военная и политические деяния Кутузова-Смоленского. Спб. 1813.

Всякое виршество страдает преувеличением, и особенно виршество начала XIX века, привыкшее воспевать героев в выспренных формах ложного классицизма. Но, повидимому, и в жизни каждый русский гражданин готов был себя считать спасителем отечества. «Всякий малодушный дворянин, — писал Ростопчин Александру 14 декабря 1812 г., — всякий бежавший из столицы купец и беглый поп считает себя, не шутя, Пожарским, Мининым и Палицыным, потому что один из них дал несколько крестьян, а другой несколько грошей, чтобы спасти этим все свое имущество».

«Тупую гордость во всех сословиях», «в каждом сознание, что без него государство погибло» — отмечает тот же Ростопчин в письме к Воронцову в начале 1813 года.

Упрекавший других в патриотическом самообольщении в действительности более всех страдал этим сам Ростопчин, еще в 1812 г. об'явивший себя спасителем отечества. Он разрушил козни Наполеона и по своему возвращению в Москву «спас всех от голода, холода и нищеты» [1].

Действительность, конечно, была очень далека от этого апофеоза деяниям героев 1812 года. «Кто не испытывал того скрытого неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-ом годе» — написал Л. Н. Толстой в наброске предисловия, которое хотел предпослать своему роману. Жизнь есть проза, где эгоистические побуждения и материальные расчеты играют так часто первенствующую роль, где примеры бескорыстного идейного служения являются скорее исключением. И патриотизм в эпоху Отечественной войны, патриотизм естественный и в значительной степени эгоистический, как отметил Ростопчин в процитированном письме к Александру, далеко не всегда был окрашен тем розовым цветом, в каком пытается его обрисовать патриотическая историография вплоть до наших дней.

Истинный патриотизм выражается «не фразами, не убийством детей для спасения отечества и тому подобными неестественными действиями», а «незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты». Правдивость этого замечания Толстого в «Войне и Мире» может быть легко подтверждена фактами. Крикливые шовинисты 1812 г. в действительности менее всего были способны к самопожертвованию. Пушкин в своем «Рославлеве» дал самую ядовитую и злую характеристику тем «заступникам отечества», патриотизм которых проявлялся лишь в «пошлых обвинениях в французомании», — в «грозных выходках против Кузнецкого моста». «Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществе решительный верх и гостиные наполнились патриотами. Кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр; кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все заклялись говорить по-французски; все заговорили о Пожарском и Минине и стали проповедывать народную войну, собираясь на долгих отправиться в Саратовские деревни».

В этом внешнем патриотизме было в действительности очень мало глубокого чувства, зато много искусственности и сентиментализма, довольно ярко очерченных в воспоминаниях о Москве Хомутовой. Когда не верилось еще в возможность появления Наполеона под стенами Москвы, все пылали патри-

---

[1]) Письмо к Воронцову 28 апреля 1814 г.

отизмом: молодые девушки воображали себя «то амазонками, то странницами, то сестрами милосердия» и примеривали на себе соответствующие костюмы. Тогда играли в патриотизм, и кн. Вяземский вербовал полк из женщин, давая пароль: «aimer toujour». Так было 22-го июля. А уже 10-го августа эти горячие патриоты «с видом отчаяния», «думали только о бегстве и о том, чтобы увезти свое добро или зарыть его в землю, либо замуравить в стену». «Бледные и трепещущие они покрывали стены постоялых дворов чувствительными надписями: «Le mot adieu, ce mot terrible» . . . «je vous salue, o lieux charmants, quittés avec tant de tristesse» . . .

Но и это чисто внешнее возбуждение далеко не простиралось на в с ю Россию. «В Тамбове, — пишет Волкова 30 сентября, — все тихо, и если бы не вести московских беглецов, да не французские пленные, мы бы забыли, что живем во время войны». В то время, как «вся Россия в трауре и слезах», в Петербурге веселятся и салонный патриотизм выражается лишь в том, что «в русский театр ездят более, чем когда-либо».

Недаром молодой Никитенко в свой дневник записал: «общество наше поражало невозмутимым отношением к беде, грозившей России».

Когда от слов приходилось переходить к делу, патриотический мираж тускнел.

И это прежде всего приходится сказать про то дворянство, которое в изображении манифеста 1814 г. представляло «ум и душу» народа, которому достались наиболее лестные отзывы (напр., в речи Александра в Москве 16 августа 1816 г.), которое, по проекту Шишковского манифеста, должно было стоять на первом плане и деятельность которого в то же время у некоторых современников находила совсем иную оценку. Каким диссонансом зазвучит знаменитый ответ кн. С. Г. Волконского на вопрос Александра, каков «дух народный». «Вы должны гордиться им: каждый крестьянин — герой, преданный отечеству и Вам». — «А дворянство?» — «Стыжусь, что принадлежу к нему, было много слов, а на деле ничего». Чем же об'яснить этот суровый отзыв человека, принадлежавшего к самым привилегированным слоям аристократического общества и в то время еще не вкусившего запретного плода западноевропейского просвещения? Чем об'яснить позднейший отзыв о роли дворянства в 1812 г. «В годину испытания . . . не покрыло ли оно себя всеми красками чудовищнейшего корыстолюбия и бесчеловечия, расхищая все, что расхитить можно было, даже одежду, даже пищу, и ратников, и рекрутов, и пленных, несмотря на прославленный газетами патриотизм, которого, действительно, не было ни искры, чтобы ни говорили о некоторых утешительных исключениях» [1]).

История дворянских ополчений (к сожалению, еще так мало разработанная), пожалуй, дает уже ответ на поставленный вопрос. Когда дворяне жертвовали «всем», как выражался в своих «письмах» офицер Ф. Н. Глинка, когда калужское губернское дворянское собрание постановляло: «Не щадить в случае сем не только своего достояния, но даже жизни до последней каждой капли крови», оно в действительности никогда не забывало своих интересов. «Общая необходимая защита своей собственности» [2]) побуждала к патриоти-

---

[1]) „Вест. Евр“. 1867, кн. 2, 197.

[2]) Так выражался впоследствии Казимирский в письмах к кн. Оболенскому 3 сентября 1859 г.

ческим действиям, к откликам на призыв правительства. Тем более, что призыв подчас высказывался в очень категорической форме как показывает, напр., дело о сборе с московских граждан 1.000.000 р. на покупку волов. По этому поводу в отношении Балашова к Ростопчину 6 июня весьма определенно говорилось, что государю угодно «составить или добровольным приношением или сбором посредством общей раскладки сумму миллион рублей». Общая раскладка эта уже относится к области принуждения, а не добровольной дачи. Любопытно, что на призыв 18 июля о добровольных приношениях из числа именитых граждан откликнулось только трое иностранцев. Также не удалось собрать добровольных приношений и со стороны дворянства, на которое пала половина нужной суммы, и пришлось прибегнуть к раскладке по числу ревизских душ. Ополчения носили тот же характер общей раскладки.

Это — любопытная черта для характеристики патриотического движения в так называемую Отечественную войну. Правительство Александра, при своей всегдашней подозрительности к дворянству из за боязни проявления самодеятельности в этой олигархической среде, всемерно противилось даже в эпоху народной войны инициативе, исходившей не из кругов правительства. Всякаго рода пожертвования рассматривались не как патриотический долг, а как правительственная обязанность. Яркое подтверждение можно найти в истории рязанской депутации, отправленной в Москву с предложением дать 60.000 работников. Министр полиции Балашов очень резко принял эту депутацию и немедленно предложил ей выехать обратно. Нужно было дожидаться момента, когда правительство само запросит дворянство. И понятно, что при таких условиях многие из якобы добровольных пожертвований попросту не поступали фактически в кассу.[1]). Приходилось обращаться к системе пени за недоимки, т. е. к системе, обычной при взимании каких либо налогов и податей.

Организуя ополчения, помещики весьма тщательно наблюдали свои выгоды[2]), сдавая в ополчения ненужные или вредные элементы крепостной деревни, в уверенности по примеру милиции 1806 г., что за этих ополченцев они получат рекрутские квитанции, или перенося всю тяжесть на зажиточных крестьян, которые должны вместо себя ставить ополченцев. При таких условиях уже à priori можно было бы заподозрить полную правдивость правительственного извещения (манифест 3 ноября 1812 г.), что крестьяне «охотно и добровольно» вступали в ополчения. Хомутова в своих воспоминаниях свидетельствует, что сдача в ополченцы «на каждом шагу» сопровождалась «раздирательными сценами». Она говорит это про Москву. Но и в Симбирске ей пришлось быть очевидицей таких же сцен. По «тогдашнему обыкновению», замечает другой неизвестный нам современник, отдача в рекруты в 1812 году «обязательно сопровождалась воем и плачем»[3]). Эту обыден-

---

[1]) См. напр., „О пожертвованиях на ярославское ополчение". Щукинский сборник. VII.

[2]) „Конечно, всякий старался соблюсти свои выгоды"— замечает Свербеев; „отдавались люди пожилых лет, не отличного поведения и с телесныии недостатками, допускаемыми, как исключения, для этого времени в самых правилах о наборе ополченцев".

[3]) Бумаги по „Отеч. Войне" Щукина. III.

ность мы и встречаем в год исключительного под'ема патриотизма, когда, по словам Вигеля, «прекратились все ссоры, составилось общее братство».

Несомненно, в эту годину были примеры самого горячего юношеского энтузиазма: 16-летний мальчик, будущий декабрист Никита Муравьев, скрывается из дому, чтобы принять участие в борьбе с французами. Будущий же декабрист Лунин просит послать себя парламентером, чтобы, как говорит Н. Н. Муравьев, «всадить ему (Наполеону) в бок кинжал» [1]) и т. д. Можно привести и другие примеры такого юношеского воодушевления. Но вряд ли от этого изменится картина общей обыденщины, той жизненной прозы, которая очень и очень была далека от воспетого в лирико-эпических произведениях современников.

Беспристрастие скорее заставит согласиться с той же Хомутовой, которая так охарактеризовала общественные настроения в 1812 году: «Одни готовы были все принесть в жертву отечеству; другие желали бы спасти его, не слишком вредя собственному благосостоянию; некоторые полагали, что все эти жертвы бесполезны». С такой оценкой в сущности соглашаются и те современники, которые на словах умели проявлять наиболее крикливое «патриотическое» воодушевление, и между ними, конечно, на первом месте стоит гр. Ростопчин, приписавший себе честь обращения русской знати на истинный путь патриотического бескорыстия. За это на первых порах его многие из современников готовы были возвести на высокий пьедестал. «Я могу сравнить вас, — писал Ростопчину С. Р. Воронцов 7 марта 1813 г., — только с князем Пожарским; но ваше призвание было труднее его задачи . . . наше ложное образование, развиваемое нашим правительством . . . уже давно успело бы затушить в нас всякую искру патриотизма (так же как она затушена у других народов), если бы наш патриотизм не восторжествовал над угнетающей его силою, так сказать, вопреки правительству». «Ты не знаешь, что было в Москве с конца июля, — пишет Волкова своей корреспондентке 11 ноября 1812 г. — Лишь человек, подобный Ростопчину, мог разумно управлять умами, находившимися в брожении, и тем предупредить вредные и непоправимые поступки» [2]).

Цитируя этих современников, мы входим вновь в сферу «пошлых обвинений», т.-е. шаблонных памфлетических нападков на галломанию общества. «Патриоты» за исключением, быть-может, наивного Сергея Глинки и недалекого старца Шишкова, как мы уже знаем, отличались в сущности сами в большой степени тем «нелепым пристрастием» к внешнему лоску утонченной французской культуры, за которое обвиняли других. К ним почти ко всем применима остроумная басня Измайлова, «Шут в парике» (1811 г.), в которой метко вышучивались модные обличительно-патриотические нападки: шут нападает на одежду и, когда его уличают в ношении французского парика, кричит: «Безбожник, изменник, фармасон. Сжечь надобно его, на веру нападает».

Националисты торжествовали в 1812 г., когда вдруг в русском обществе проявилось желание говорить и писать на родном языке, когда «офранцузив-

---

1) Муравьев думает, что Лунин это делает „не из любви к отечеству, а с целью приобрести историческую известность“. Зная прямоту Лунина, вряд ли приходится, однако, сомневаться в его искреннем энтузиазме.

2) См. также вышеприведенные отзывы Рунича и Вигеля в очерке о Ростопчине.

шаяся» знать в виде протеста скидывает французские платья и заменяет роброны русскими сарафанами (Вигель), когда Гнедич приходил в ужас, услыхав, как молили «Бога о спасении отечества, языком врагов Бога и отечества, сохраняя выговор во всем совершенстве». Ростопчин, вероятно, сам молившийся Богу на французском языке и не могший обойтись без французского повара, с удовольствием констатировал в 1813 г. в «Русском Вестнике», что Кузнецкий мост обрусел, и вместо «Викторины Пешь, Антуанетты, Лапотер и лавок à la Corbeille, Au Temple du bon gout торгуют Карп Майков, Доброхотов, Абрам Григорьев, Иван Пузырев». Даже такой умный человек, как Мордвинов, и тот поддается общему шаблону; и он пишет из Пензы в ноябре 1812 г. Кутлубицкому: «Благословенное время доброго начала ... все злые духи бегут по всем дорогам из городов наших; исчадия адские — французское учение ... французские прихоти ... французские книги»[1]).

Недолго, однако, продолжался и этот налет чисто внешнего патриотизма. Ушел враг, и жизнь быстро вернулась в свое старое русло. Прежняя «галломания» захватывает широкие круги дворянства еще в большей степени. Бывало прежде — иронизирует Ростопчин — «приедет француз с виселицы, все его на перехват, а он еще ломается». Но теперь так легко приобщиться к заманчивым благам утонченной французской культуры — к ее внешнему лоску. Теперь так легко и дешево получить французского «учителя» из числа оставшихся в России прежних врагов. Эти «выморозки» рассыпались во внутренние губернии. Каждый мелкопоместный дворянин может теперь тягаться со знатнейшими домами, имея «своего» француза. И каждый «порядочный дом», по словам Гнедича, действительно, считает своим долгом держать отныне французского учителя.

После 1812 г., свидетельствует нам Жихарев, французский язык распространяется еще больше. Лишь только «п р о н о н с к а я гнусливость» несколько изменилась: стали «держаться чего-то среднего между горловым и гнусливым»[2]). Сам Ростопчин должен уже в мае 1813 г. признать в письме к издателю «Русского Вестника», что пристрастие к французам не исчезло, «но еще усилилось от учтивого какого-то сострадания к несчастным». «Русское дворянство — пишет он Александру 24 сентября 1813 г., — за исключением весьма немногих личностей, самое глупое, самое легковерное и наиболее расположенное в пользу французов». Так как 1812 г. не излечил русских от «нелепого пристрастия к этому проклятому отродью», то Ростопчин советует «серьезно приняться за уничтожение этих восторженных поклонников»[3]). Ему попрежнему мерещится революция там, где ее не было и не могло быть.

В сущности вся деятельность Ростопчина в возобновленной из пепелища Москве проникнута сыском к обнаружению тех, которые в 1812 г. не проявили должного патриотизма, т.-е. стояли в стороне от той крикливой шумихи, в которой выражался в значительной степени общественный патриотизм Отечественной войны.

---

1) Любопытно, что совершенно аналогичное явление мы, современники второй „великой европейской войны“ наблюдали через 100 лет. Так устойчива в сущности общественная психология.

2) Из записок Макарова „О времени обедов, ужинов и с'ездов в Москве“. Бум. Щук., т. II.

3) Письмо 19 янв. 1814 г.

Первым распоряжением московского генерал-губернатора было предписание (13 октября) московскому обер-полицмейстеру Ивашкину «удостовериться путем опроса, кто помогал французам»[1]). Начинается «ловля» тех, кто участвовал в муниципалитете, составляются особые списки «колодников», находившихся на службе у французов[2]), и, наконец, производятся опросы отдельных лиц, провинившихся, по мнению Ростопчина. Ростопчин долгое время, как мы знаем, задерживавший выезд из Москвы населения, теперь готов зачислить в число изменников всех тех, кто остался в Москве. Этих лиц и призывают к ответу и, повидимому, ото всех получалось довольно стереотипное об'яснение. Некто титулярный советник[3]) на вопрос, почему он остался в Москве, отвечает: «Его сиятельству угодно было обнадежить московских жителей, чтобы они ничего не боялись и что французы отнюдь сюда впущены не будут». На тот же вопрос, по словам М. И. Димитриева, не без остроумия и язвительности отвечает кн. Шаликов: «Ваше сиятельство об'явили, что будете защищать Москву... со всем московским дворянством... Я явился вооруженный, но никого не застал».

К таким же «якобинцам» был отнесен и дворянин Вишневский, пытавшийся, по словам Ростопчина, убедить дворян остаться в Москве (письмо Александру 17 марта 1813 г.).

Не оставляются в покое и старый Новиков и враг Ростопчина Ключарев. До Ростопчина доходит слух, что Новиков принимал больных из неприятельской армии. Для «патриота» Ростопчина, столь жестоко расправившегося по приезде в Москву с пленными больными французами, была органически непонятна возможность филантропии к врагу. И бронницкому исправнику Давыдову отдается 15 октября предписание узнать в соседних селениях: «какие сношения имели с неприятелем в с. Авдотьине Новиков и в с. Валовом Ключарев». Таким путем Ростопчин обнаружил целый ряд «изменников». «С одними он расправлялся сам[4]), других, по предписанию Александра, сажал в кибитки и отправлял в Петербург. В начале сыск, повидимому, не давал больших результатов. «До сих пор, — пишет Булгаков, — нам удалось арестовать только двух подьячих, которых граф тотчас отдал в солдаты». Затем последовали «иностранцы», «купцы-раскольники», «мартинисты», «якобинцы». В целях более успешного сыска, «для удаления неподходящего элемента», Ростопчиным принимаются соответствующие меры учета населения.

Но не один гр. Ростопчин разбрасывает обвинения в измене. Все те, кто из страха бежали перед неприятелем, готовы были представлять теперь свои поступки героическим самопожертвованием и обвиняют всех тех, кто не последовал их примеру. «Горько было от неприятелей, — записывает Н. Н. Мурзакевич, — но горше пришлось терпеть оставшимся в городе (Смоленске) жителям от своих приезжих соотечественников. В чем только несчастных ни укоряли: и в измене, и грабительстве, и перемене веры».

Однако все те, кто считали себя спасителями отечества, Миниными и Пожарскими, по мере того, как жизнь входила в свое старое русло, начинали

---

[1]) Было обнаружено 21 русских и 37 иностранцев.
[2]) Насчитано 17.
[3]) Вероятно — Поспелов; см. дальше.
[4]) „Вольнодумец" тит. советн. Поспелов был посажен в „железе", других отдавали в солдаты.

подумывать о восполнении того, что было принесено вольно или невольно в годину бедствий на алтарь отечества. В данном случае чрезвычайно характерны те прошения и ходатайства, с которыми многие представители московского общества обращались к правительству в целях возмещения понесенных убытков от московского пожара. Когда была открыта эта запись в книгу «явочных просьб», мы встречаемся на ряду с заявлениями претензий со стороны беднейших слоев населения прошения и от богатейших представителей московской аристократии. Если одни это делают в целях только довести как бы до сведения правительства о понесенных убытках, то другие пред'являют весьма часто необоснованные претензии. Среди заявивших претензию на возмещение убытков мы видим представителей самых знатных фамилий: гр. А. Г. Головин — на 229.000 р.; гр. И. А. Толстой — 200.000 р., и дальше кн. Засекина, кн. А. И. Трубецкой и т. д.

Потерянные вещи перечисляются до смешных мелочей; напр., в реестре кн. Засекиной мы встречаем 4 кувшина для сливок, 2 масляницы, чашка для бульона; дочь бригадира Артамонова перечисляет новые чулки и шемизетки. Одна дама, по свидетельству Ростопчина (письмо к Александру 2 декабря), «поставила в счет 380 р. за сгоревших канареек»; кн. Голицын пред'являет претензии за убытки, понесенные в его деревнях, и т. д.

Поток прошений был так велик, отыскание похищенных вещей — часто московскими жителями, подмосковными крестьянами и дворовыми,—было так затруднительно, что довольно скоро пришлось ликвидировать деятельность по возмещению убытков, понесенных в год нашествия врага и год величайшего патриотического воодушевления.

Таким образом, эгоизм, житейские расчеты всецело торжествуют над идеальными чувствами патриотического воодушевления, торжественно провозглашаемыми в напыщенных одах и официальных реляциях. «При свете ламп и люстр приметно начинал гаснуть огонь патриотического энтузиазма нашего» — замечает Вигель. Эти житейские соображения, в конце-концов, развенчивают в московских гостиных и ореол минутного героизма, которым на первых порах окружается имя Ростопчина — спасителя отечества.

Если Ростопчину еще не приписывается определенно инициатива пожара, то обвинение это уже носится в воздухе. Это действительно обвинение, потому что современники вовсе уже не склонны по подсчету убытков превозносить «патриотическую» жертву. Во всяком случае нераспорядительность Ростопчина, его нелепые меры защиты столицы, уверения в полной безопасности оставляемого в Москве имущества содействовали увеличению понесенных убытков.

На этой почве постепенно и возрастало недовольство Ростопчиным.

Постоянный корреспондент С. Р. Воронцова, Логинов, в письме от 12 февраля 1813 г. с «великим изумлением» уже отмечает, что «так громко воспевают в Англии великие деяния гр. Ростопчина». «Мнение общества теперь таково, — пишет Логинов, — что все окончательно изверились в него настолько же, насколько раньше верили в его бахвальство». Логинов, и прежде не одобрявший склонность Ростопчина к «ремеслу писаки», передает теперь как бы общее осуждение его литературной деятельности: «Он до сих пор продолжает писать прокламации, вызывающие смех своим слогом и подчас странным содержанием». Итак, Ростопчин возбуждает «почти общий ропот»

(слова Штейнгеля). Против него в Москве крепнет оппозиция, во главе которой стоит начальник кремлевской экспедиции П. С. Валуев. Разочаровываются в Ростопчине подчас и наиболее горячие его адепты, как известная нам Волкова. «Я отказываюсь,—пишет она 18 ноября,—от многого сказанного мной о Ростопчине... он вовсе не так безукоризнен, как я полагала... Ему особенно повредила его полиция, которая, выйдя из города в величайшем беспорядке, грабила во всех деревнях, лежащих между Москвой и Владимиром». «Я решительно отказываюсь от моих похвал Ростопчину», — добавляет Волкова через месяц. Причиной этого решительного отказа послужила история с магазином Обер-Шальме. Получив приказание от Александра продать с аукциона магазин Шальме, где было товара на 600.000 р., и раздать деньги бедным, Ростопчин, по словам Волковой, разделил деньги между полицией [1]). По словам Булгакова, дело обстояло следующим образом: «Так как мы (полиция) лишились всего, то он (Ростопчин) об'явил нам, что мы в праве взять из магазина Шальме все, что только нам заблагорассудится. Для самого себя граф возьмет (Булгаков писал за несколько дней до «разграбления») столовый сервиз, так как его собственный сервиз похищен» [2]).

Все это вместе взятое, с возмущением по делу Верещагина, с возмущением по поводу всегдашнего произвола московского генерал-губернатора не могло не вызывать, действительно, всеобщего осуждения Ростопчина. Тот, кто приписывал почти исключительно себе лавры победителя, не встречал и поддержки со стороны Александра, который, почти по общему признанию, очень не любил властного «московского барина». Ростопчин чувствовал, что дни его господства сочтены. Он силен был лишь тогда, когда мог устрашать правительство возможностью революции. Но теперь в «бахвальство» уже не верили. «Я более ничего не хочу принимать на свою ответственность. Кроме того, трудно приучиться к тому, — пишет он почти единственному верному своему поклоннику Воронцову 1 ноября 1812 г., — что с тобой обходятся хорошо, когда в тебе нуждаются, и тебя выдают, как дикого зверя, когда опасность миновала».

Он о том же жалуется Глинке: «Меня обдают здесь пересудами; гоняют сквозь строй языками; меня тормошат за то, что я клялся жизнью, что Москва не будет сдана». Но Ростопчин и здесь не может стушеваться без позы. «Москва — заявляет он — была сдана за Россию, а не сдана на условиях. Неприятель не вошел в Москву, он был в нее пущен — на пагубу свою»...

Он грозит, что уедет во Францию, в Париж и оставит «почетное место», которое занимает, потому что «устал от равнодушия правительства к городу, который был убежищем для его государей et le grand ressor их могущества над подданными» (письмо Воронцову 26 янв. 1813 г.).

Ростопчинская отставка последовала в июле 1814 г. по возвращении Александра в Россию: «третьего дня совершился мой развод в Москве» — писал он жене 1 сентября. Первый в России «патриот», в то время неоценен-

---

[1]) Волкова знала это от своего двоюродного брата, служившего в московской полиции и отказавшегося от своей доли, равно как московский комендант Спиридонов и Б. А. Голицын.

[2]) Любопытно, что других грабителей Ростопчин наказывал весьма строго: напр., дворовый помещика Власова был прогнан 3 раза шпицрутенами через 1000 человек.

ный, утешался тем, что в «немецкой земле» ему «делают почести и признают главным орудием гибели Наполеона». «По крайней мере, когда своим не угодил, то чужие спасибо скажут». «Как отнеслось московское общество к своему разводу с Ростопчиным?» «Москва в восторге от отставки Ростопчина» — пишет Кристин Туркестановой 3 сентября. — «Рассказывают, будто он написал жене: «Наконец, Его Величество оказал мне милость, избавив меня от управления этой мошенницей. Не ручаюсь за подлинность фразы, во всяком случае могу вас уверить, что мошенница в долгу у него не остается и платит ему той же монетой».

Вождь официального патриотизма 1812 г. велел сделать надпись на своем надмогильном памятнике: «Среди моих детей покоюсь от людей». Но мы знаем теперь, что если люди после 1812 г. не оценили сразу патриотических подвигов Ростопчина, то впоследствии потомство не по заслугам пыталось возвеличить эти несуществующие подвиги и не только Ростопчина, но и всех, иже с ним сущих.

В ГОДЫ МИСТИЦИЗМА

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОБЩЕСТВО ПОСЛЕ ВОЙНЫ [1]

1. ЛИКВИДАЦИЯ ВОЙНЫ

Московский «патриот» гр. Ростопчин, попадая в оппозицию, как мы уже видели, становился неудержим в критике и, разнося всех, восхваляя только себя, иногда метко отмечает больные места современности [2]). Так было с Ростопчиным и при оставлении «почетного» поста московского генерал-губернатора. Отмечая «тупую гордость во всех сословиях и в каждом сознание, что без него государство погибло», Ростопчин свидетельствует горькую правду в письме к Воронцову 26 января 1813 г. — ничего не делают для народа, который более всех пострадал в годину бедствий. «Все только слова, слова без действий, — пишет он. — Что народу памятник из пушек и храм Христа Спасителя. До сего времени нет ни копейки для бедных и, если бы не остатки чрезвычайных сумм и мои собственные деньги (?!), верных пять тысяч человек умерло бы от голода и нищеты».

Конечно, Ростопчин пишет это для того, чтобы еще раз подчеркнуть свои заслуги, свою мудрость и оправдать свою вынужденную отставку. И тем не менее в его словах кроется глубокая истина, — в сознании гордости и самодовольства тонут прежние опасения, которые заставляли в 1812 году дворянство из чувства самосохранения заговорить другим языком со своими крепостными, ибо в ту пору «решительный язык власти и барства более не годился и был опасен», свидетельствует один наблюдательный современник. Хотя «Русский Вестник» и уверял своих читателей, что «наглые французские рассыльщики» не в состоянии будут «завести бунт в России, так как одно дуновение правительства вырвет с корнем все их злоумышления», тем не менее дворяне видели во французах врагов своих прав и освободителей их рабов, мало полагаясь на отличительные свойства «души русского народа», руководствующейся «верою и нравственностью», не способной к бунтовщическим деяниям. Опасения были так сильны, что Ростопчину приходилось убеждать крестьян: «Не слушайте пустых слов. Почитайте начальников и помещиков, они ваши защитники, помощники, готовы вас одеть, обуть, кормить и поить». «Вы будете припеваючи жить по-старому», —вряд ли, конечно, подобное убеждение могло возыметь должную силу. Жить «по-старому», это значит вернуться под крепостное ярмо. Крестьянские волнения 1812 г. еще

---

[1]) Напечатано: „Отечественная Война и Русское Общество“.

[2]) Напр., в своей критике русской армии после оставления Москвы. См. выше „Вожди русской армии“.

раз показали тяжесть этого ярма. И о нем приходилось подумать: народная война ставила как бы ребром вопрос о крепостном праве. Вы постоянно встретите на это указание у современников. 1812 год связан с определенными ожиданиями, с темными и неясными слухами, широко распространяющимися в народной массе.

Полковник Бискупский рассказывает, что уже при отступлении от Смоленска до Бородина говорили, что «офицерам и нижним чинам будут даны в награду земли при благополучном окончании войны». Среди крестьян распространялось отчасти убеждение, что попавший в ополчение получит волю. Не даром Ростопчин писал Александру 26 октября еще 1812 г.: «Умоляю ваше величество распустить ополчение последнего набора». Мы знаем, как боялись на первых порах народной войны, которой потом воскуривали фимиам. Боялись и после вооруженного крестьянина, вероятно, потому, что «пребывание французских войск поселило во многих местах буйство и непослушание», как писал Ростопчин Вязьмитинову 27 октября 1812 г. Мы страшились последствий войны, — откровенно писал Ал. Тургенев Вяземскому в конце 1812 г. Страшились, что нарушатся отношения помещиков и крестьян — «необходимое условие нашего теперешнего гражданского благоустройства». Тургенев считал, что эти отношения «не только не разорваны, но еще более утвердились», но правительство оставалось в страхе.

Прежде всего стараются обезоружить население. Некоторые историки распоряжения о приобретении и отобрании оружия у народонаселения в ноябре 1812 года хотят об'яснить недостатком вооружения у войска, как об'ясняло это и правительственное «об'явление для чтения в церквах». Оно гласило: «Православный народ! городские и сельские жители, мещанство и крестьяне! — Враг наш прогнан... Вы показали пример верности и храбрости, свойственной русскому народу. Вы отнимали оружие из рук неприятеля, ополчались против него и, помогая войскам нашим, повсюду истребляли и поражали шатающихся грабителей и злодеев. Вы достохвально исполняли долг свой... Ныне время брани миновало... Вы не имеете больше нужды в оружии, но имеет еще надобность в оном победоносное наше воинство... Итак, совершив дело свое и, оставаясь попрежнему мирными поселянами, отдайте не нужное вам оружие». А дальше говорится о царской милости, о выдаче в награждение за пушку пятьдесят рублей, за солдатское ружье и пару пистолетов по пяти рублей. Оружие предлагается «снести в храм Божий». Неужели не ясна вся искусственность этой официальной версии? Сопоставляя с теми опасениями, которые в правительственных кругах вызывала народная война, можно только прийти к убеждению, что здесь фигурировала скорее боязнь, а вовсе не нужда в вооружении.

Но так или иначе приходилось ликвидировать наследие двенадцатого года и ответить на ожидания, как в низах, так и в прогрессивных кругах тогдашнего общества.

Заграничные походы отвлекали, однако, внимание от внутренней политики и отлагали под благовидным предлогом ликвидацию как бы принятых обязательств. Проходя под флагом освобождения народов от деспотизма узурпатора, от «рабства» — заграничные походы с энтузиазмом встречаются молодежью. Выслушивая слова приказа 25 декабря 1812 г.: «Вы идете доставлять себе спокойствие и им (землям соседей) свободу и независимость»; видя энтузиазм, который вызывает «магическое слово вольность» в Германии, ар-

мия преисполнилась гордостью и сознанием величия исполнения принятой миссии. Вероятно, многие искренно верили в то, что для Александра, как выразился Вигель, было «забавой ума его». «Свободу проповедывали нам и манифесты, и воззвания и приказы! Нас манили, и мы, добрые сердцем, поверили, не щадили ни крови своей, ни имущества» — вспоминал впоследствии, Каховский в письме из крепости. Успех союзников, в конце-концов, примирил с заграничными походами и реакционные круги, которые далеко не сочувственно отнеслись к ним на первых порах.

Боязнь новых пожертвований, а главное, неудач, — вот что страшило представителей правящего класса. То, что Наполеон, после разгрома в России, «выказал себя мастером военного дела»[1]), то, что он и после неудач сохранял «грозный вид», заставляло многих беспокоиться за исход кампании, по меньшей мере «сомнительной». Бывший с армией Шишков не выдержал и во Франкфурте на-Майне 6 ноября 1813 г. представил даже Александру целое «рассуждение о нынешнем положении нашем»: «Почему же во Франции не может случиться то же, что случилось в России» и «есть ли (чего, Боже сохрани) союзные войска потерпят во Франции такое же или подобное поражение, какое французы потерпели в России, тогда Европа упадет снова под иго их, опаснейшее и крепчайшее прежде». Других беспокоило внутреннее состояние России, то брожение, которое замечалось повсюду. Надо «подумать, — писал Ростопчин Александру, — о мерах борьбы внутри государства с врагами вашими и отечества». И только успех союзников успокоил сомнения [2])...

«Наполеон низринут!» свергнут тот, кто в глазах правящего класса являлся порождением столь ненавистного революционного духа. И понятно, что при таких условиях торжествующий Александр встречается по возвращении из Парижа с восторгом: для одних он усмиритель революционной гидры, для других освободитель Европы от порабощения деспотизма. И те и другие с восторгом следят за «победоносным христиански-рыцарским» шествием Александра от Немана до Парижа. Можно вполне поверить молодому Свербееву, что «радостная весть о вступлении в Париж союзных войск» произвела «всеобщий восторг, небывалый, нелицемерный». «Даже незнакомые, встречаясь на улицах, приветствовали друг друга лобызанием, как бы в Светлое Воскресение». В Москве идут торжества без «конца». «Народ в восхищении и боготворит его» — пишет в одном из неопубликованных еще его писем будущий декабрист А. Е. Оболенский, вспоминая пребывание Александра в Москве в августе 1816 г. «Он между приверженными к нему подданными современный отец. Так благосклонно его обращение, сколько свободен к нему доступ. Он обласкал дворянство и все состояния. Хотя в другой раз все готовы зажечь Москву без ропота[3]). Для него кажется нет им ничего невозмож-

---

[1]) Так выражался Жозеф де-Местр в своем донесении 2 июня 1813 г.

[2]) Правда, как только в Москву приходит известие о ста днях, здесь сейчас же приостанавливаются с новыми постройками, — таков был страх перед „счастливой звездой“ Наполеона.

[3]) Интересно сопоставить это свидетельство с показанием современника, которому в 1812 г. было порученно „бывать в обществе и опровергать нелепые слухи и клеветы“ на императора („Рус. Арх.“ 1887 II): „Дворянство громко винило Александра в государственном бедствии (оставление Москвы), так что в разговорах редко кто решался его извинять и оправдывать“.

ного». Это было время, когда князь П. А. Вяземский сочиняет свое четверостишие:

«Муж твердый в бедствиях и скромный победитель,
Какой венец ему? Какой ему алтарь?
Вселенная, пади пред ним; он твой Спаситель!
Россия, им гордись; он сын твой, он твой царь!»

Это было время, когда «имя русского народа — по словам С. Т. Аксакова — стояло на высшей степени славы». «Время незабвенное! — вспоминал Пушкин в «Метели». «Время славы и восторга! как сильно билось русское сердце при славе отечества! . . С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута» . «Имя императора Александра гремело во всем просвещенном мире, народы и государи, — записывает впоследствии свои юные воспоминания кн. С. П. Трубецкой, — пораженные его великодушием предавали судьбу свою его воле. Россия гордилась им и ожидала от него новой для себя судьбы». Она ожидала этой новой судьбы именно потому, что низвержение Наполеона, по замечанию Греча, произошло при восклицаниях: «Да здравствует независимость, свобода, благоденствие народов, владычество законов». «Настал вожделенный мир», писал декабрист Штейнгель Николаю из тюрьмы, рассказывая о своем настроении в эту радостную, казалось, эпоху. «Монарх от всех благословенный возвратился ко всеобщей радости. Все, казалось, обещало эпоху, от которой начнется период внутреннего благоустройства». Все это «казалось» потому, что «правительство не шло в разрез с общественным мнением; напротив, оно показывало, что его симпатии на стороне здравомыслящей и просвещенной части населения». Эта фраза принадлежит Н. И. Тургеневу.

Обманчивый мираж скоро рассеялся перед современниками.

«Умиротворитель вселенной», увенчанный Синодом, Сенатом и Государственным Советом от имени народа титулом «Благословенного», прославляемый в либеральном парижском салоне г-жи Сталь и в салонах мистиков, с восторгом встреченный при своем возвращении в Россию, — Александр I должен был как-нибудь ответить на те ожидания, которые возлагались на него в русском обществе. Хотя Александр и покинул, по словам Шильдера, Францию «с глубоким убеждением, что на развалинах революции нельзя основать прочного порядка», тем не менее в атмосфере дипломатических интриг, балов и шумных празднеств, таинственных соприкосновений с пиэтистами, мистиками-спиритуалистами и ясновидцами, Александр чувствовал себя очень хорошо. Его мелкому тщеславию льстили и поэтические вирши современников. «Новым Агамемноном» провозглашал его Lebrun-Tossa (Allmanach des Muses 1815). «Ta gloire fille des vertus» — воспевел Vieillard в лирических стансах, посвященных «блестящему метеору севера».

«Кроткий ангел, луч сердец», как именовал Державин Александра в кантате по случаю возвращения его из Парижа, не мог не чувствовать некоторого затруднения, когда приходилось слова и обещания переводить на конкретный язык фактов. Отныне образ «Александра-Освободителя», пророчествовал Штиллинг, должен «стоять перед глазами каждого христианина». Но «народ,

давший возможность к славе»[1]), вероятно, очень мало интересовался «апофеозом русской славы между иноплеменниками» (слова Александра), насколько эта слава выражалась в торжественном молебне 29 марта 1814 года в Париже; — интересовали более жизненные, более близкие и больные вопросы повседневного существования. Еще указ Правительствующему Сенату 30 марта 1813 г. о роспуске смоленского и московского ополчения, из'являя монаршее «благоволение и признательность», гласил: «Да обратится каждый из храброго воина паки в трудолюбивого земледельца, и да наслаждается посреди родины и семейства своего приобретенными им честью, спокойствием и славою». Быть-может, еще с большей определенностью подчеркивал ту же мысль приказ войскам по поводу заключения мира с Францией: «Совершена война для свободы народов и царства под'ятая... Вы снискали право на благодарность отечества, именем отечества ее об'являю». Все надежды сосредоточиваются на одном, как показывает характерное письмо Ростопчина Александру 21 февраля 1814 г. о распространенности слухов по поводу освобождения крестьян: «Некий Каразин, по словам филантроп, а в душе еврей, говорит, что в Петербурге заседает, под председательством Кочубея, по этому поводу комитет». Быть-может, чувствуя трудность удовлетворить всеобщим ожиданиям при крепостнических тенденциях большинства правящего класса и вспоминая свои громкие обещания в либеральных парижских салонах, Александр и уклоняется на первых порах от каких-либо торжественных встреч, ограничиваясь несколько туманными обещаниями по устроении внешних дел, приняться за «внутренние».

30 августа 1814 года появился манифест, провозглашавший благодарность всем сословиям русского народа за участие в истекшую войну, об'являвший «о разных льготах и милостях». Вместе с тем следовали милостивые рескрипты и в том числе Аракчееву за «многополезные содействия»... «во всех подвигах и делах, в нынешнюю знаменитую войну происходивших». Устанавливая ежегодные торжественные празднования избавления России от «лютого» врага, «в прославление в роде родов сего совершившегося над Нами промысла и милости Божией», и медали в память прошедших событий, об'являя прощение всем тем, которые «пристали к неправой, Богу и людям ненавистной стороне злонамеренных врагов», отменяя на ближайшее время рекрутские наборы, прощая недоимки, манифест в сущности очень мало давал конкретного, так как основным его положением являлся пункт: «верный наш народ да получит мзду свою от Бога». Зато достаточно определенно говорилось о самом существенном — о ликвидации крепостного права. Это был ответ в духе ростопчинских об'явлений московским крестьянам после войны. «Мы уверены, — гласил манифест, — что забота Наша о их благосостоянии предупредится попечением о них господ их. Существующая издавна между ими русским нравам и добродетелям свойственная, прежде и ныне многими опытами взаимного их друг к другу усердия и общей любви к отечеству ознаменованная, (?) не оставляет в Нас ни малого сомнения, что, с одной стороны, помещики отечески о них, яко о чадах своих, заботою, а с другой — они, яко усердные домочадцы, исполнением сыновных обязанностей и долга, приведут себя в то счастливое состояние, в каком процветают добронравные и благополучные семейства». Эта фальшь патриархальной теории крепостного права еще более резко

[1]) Каховский в письме к Николаю.

была подчеркнута в проекте манифеста, составленного Шишковым. В нем говорилось о связи, «на обоюдной пользе» основанной. По словам Шишкова, именно эта фраза вызвала резкое возражение со стороны Александра: «Я не могу подписывать того, что противно моей совести и с чем я нимало не согласен», сказал Шишкову Александр и вычеркнул слова «на обоюдной пользе основанные». Но, конечно, суть дела мало изменилась от этого смягчения. Зато Александр в отделе о воинстве прибавил слова, которые как бы давали обещания реализировать более осязательно благодарность воинству: «также надеемся, — гласил манифест, — что продолжение мира и тишины подаст Нам способ не токмо содержание воинов привести в лучшее и обильнейшее прежнего, но даже дать им оседлость и присоединить к ним их семейства». Это было обещание будущих военных поселений.

Таким образом вся благодарность непосредственно за 1812 годом свелась к пышным словам, к установлению медалей и крестов и к раздаче нескольких миллионов городам, пострадавшим во время неприятельского нашествия. И то по этому поводу В. И. Штейнгель впоследствии в письме к Николаю имел полное право сказать: «Но сим пособием воспользовались не столько совершенно разорившиеся, сколько имущие, ибо оно раздавалось в виде ссуды под залог недвижимости».

Вопрос о нравственных обязательствах, принятых в 1812 году, следовательно оставался открытым. Мы имеем право употребить этот термин. Недаром современники отмечают нам рост народного самосознания в эпоху наполеоновского нашествия: «Молот войны, — говорит в своих письмах Ф. Н. Глинка, — пробуждает дух народов, а также ускоряет зрелость». Народная война, по словам Розена, вызвала «такую уверенность в народной силе и в патриотической восторженности, о каких до того времени никакого понятия, никакого предчувствия не имели».

Мнение этих современников разойдется с убеждениями масона крепостника Поздеева, который в своих «Мыслях противодарования простому народу так называемой гражданской свободы» и в частных письмах будет доказывать, что «Россия все еще татарщина». Но во всяком случае тот, кто хотел и мог хоть на минуту забыть своекорыстные расчеты, должен был присоединиться к словам Кутузова, которые передает Ф. Н. Глинка: «Люди, освободившие отечество, заслуживают «уважения».

Но новые пиэтические настроения, возобладавшие в правительственных кругах после Отечественной войны, упрощенно разрешили все эти сложные вопросы морального обязательства. Божественное Провидение, перст Божий руководит событиями. Человеческое хотение должно умолкнуть перед волею Всевышнего. Эта воля ниспосылает испытания народам, эта воля и вознаграждает заслуженных.

И с этой точки зрения все события 1812 и последующих годов получали иную, более возвышенную окраску.

Уже в манифесте 25 декабря 1812 года Шишков писал: «Да познаем в великом деле сем Промысел Божий, и видя ясно руку Его, поправшую гордых и злочестивых, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями, непохожими на сих отпавших от веры осквернителей храмов Божиих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищею псам и вранам». Сочинив этот манифест, Шишков отправился с Алек-

сандром в заграничные странствования. Здесь «в промежутках коротких переездов, имея довольно свободного времени», он углубляет мысли, высказанные в манифесте 25 декабря. «Занимался я чтением Священных книг, — рассказывает он в своих кратких записках, — и находя в них разные описания и выражения весьма сходные с нынешнею нашею войною, стал я, не переменяя и не прибавляя к ним ни слова, только выписывать и сближать их одно с другим. Из сего вышло полное и как бы точное о наших военных действиях сделанное повествование. Для любопытного читателя я здесь оное прилагаю». Отсылаем интересующихся «пророчеством» Шишкова к подлиннику, где при помощи своеобразных этимологических экскурсов «Сор» превращался в «Росс», то-есть Россиянин [1]). Вывод из всех этих размышлений был один: Россия и в частности Александр являлись «избранным орудием» Божества, призванным покарать «проклятую Францию».

Для реакционных кругов это означало борьбу с ненавистными просветительными идеями Запада, со всеми «адскими изрыгнутыми в книгах . . . лжемудрованиями». Это означало восстановление попранной революционной диктатурой идеи законной наследственной монархии Божьей милостью, восстановление авторитета религии, подточенного критикой разума, а вместе с тем возрождение социальных перегородок старого порядка. И все это вместе отвечало крепостническому настроению большинства той среды, которая, по характеристике правительственного акта 30 августа 1814 г., представляла собой «ум и душу народа».

Реакционная политика борьбы с либеральными общественными стремлениями прикрывается флагом христианской любви под эгидой Священного Союза. Начала «святой веры» являются самым лучшим средством для борьбы с свободным и опасным просвещением, «коего неизбежные следствия, по мнению Ростопчина, — гибель закона и царей», с требованиями разума и социальной правды.

Но прежде, чем пиэтическая реакция вылилась в конкретных формах, на новых настроениях смиренномудрия и преклонения перед высшей волей Провидения, окрепло представление о пережитой эпохе, как испытания, ниспосланного народам. «Не нам, не нам, а имени Твоему» — было выбито на медали в память «незабвенного» 1812 года.

«Гнев Божий,—говорит современник, — за преумножение наших грехов навел на нас сию горькую годину искушения, дабы мы восчувствовали руку Божию, могущую сокрушить нас подобно тростнику, но всегда готовую и сохранить призывающих имя Его святое». Но если война явилась как бы испытанием, ниспосланным свыше, то кто же, кроме Бога, может воздать должное в сем тленном мире, после «толиких чудесных событий».

И новый манифест 1 января 1816 г., — тот самый, который давно уже был заготовлен Шишковым, обозревая происшедшие события, давал уже очень определенное указание, что народ, избранный Самим Богом для выполнения высокой миссии несения правды в мире, не должен ждать никаких благодарностей.

---

[1]) Эти экскурсы были в моде в эпоху наполеоновского нашествия, при содействии их Наполеон превращался в апокалипсического ангела бед — Аполлиона и т. д. (Напр., у свящ. Левитского).

«Мы, — гласит манифест 1 января 1816 г., — после толиких происшествий и подвигов, обращая взор свой на все состояния верноподданного нам народа, недоумеваем в из'явлении ему нашей благодарности. Мы видим твердость его в вере, видим верность к престолу, усердие к отечеству, неутомимость в трудах, терпение в бедах, мужество в бранях. Наконец видим совершившуюся на нем Божескую благодать; видим и с нами видит вся вселенная. Кто, кроме Бога, кто из владык земных, и что может ему воздать? Награда ему — дела его, которым свидетели небо и земля. Нам же, преисполненным любовью и радостью о толиком народе, остается токмо во всегдашних к Богу молениях наших призывать на него вся благая». Да и что нужно, наконец, избранному Богом народу? Правда, «мы претерпели болезненные раны; грады и села наши, подобно другим странам, пострадали», но зато ведь «Бог избрал нас совершить великое дело; Он праведный гнев свой на нас превратил в неизреченную милость. Мы спасли отечество, освободили Европу, низвергли чудовище, истребили яд его, водворили на земле мир и тишину . . . возвратили нравственному и естественному свету прежнее его блаженство и бытие, но самая великость дел сих показывает, что не мы то сделали. Бог для совершения сего нашими руками дал слабости нашей Свою силу, простоте нашей — Свою мудрость, слепости нашей — Свое всевидящее око». Итак, Россия вознесена на верх славы. «Что изберем, — спрашивал манифест: — гордость или смирение? Гордость наша будет несправедлива, не благодарна перед Тем, Кто излиял на нас толикие щедроты. . . Смирение наше исправит наши нравы, загладит вину нашу перед Богом, принесет нам честь, славу».

Только что процитированный исторический документ дает довольно яркую характеристику той правительственной философии, которая, расширяясь и углубляясь под влиянием текущих событий, привела Россию в тупик самой мрачной реакции. Нужна ли реформа в том государстве, благоденствие которого как бы отмечено печатью Божественного Провидения. Народ, совершивший «великое дело», не может быть недоволен своим социальным и политическим укладом, ибо этот уклад является продуктом высшей политической мудрости. Народ, констатирует Карамзин, «привязан душою к образу своего существования и находит в нем свое счастье». Разве не доказали это «нам и целой Европе» последние события? Отсюда проповедь смирения или, другими словами, общественного квиэтизма.

И такая психология действительно упрощенно разрешала важнейшие государственные вопросы, остро поставленные в период Отечественной войны. К тому же подобная психология вполне гармонировала с настроениями императора Александра и придавала особо возвышенный характер осуществлению его давнишних мечтаний и стремлений.

Отныне его «великие подвиги» не связаны с «тщетной славой» и ознаменовываются «покровительством Всевышнего Промысла». И храм Христа Спасителя, заложенный в 1817 г. в Москве в память Отечественной войны, как бы должен свидетельствовать об этой особой милости Всевышнего.

Отныне же ликвидировались и все ожидания и реформы молодых прогрессивных слоев русского общества. Не даром Лагарп по поводу манифеста 1816 г. сказал, что существует «заговор против славы, приобретенной в 1814 г.» И когда архиепископ московский Августин приветствовал Александра в Москве в 1816 г. речью: «Тебе победителю нечестия и неправды вопием: осанна в

Вышних!» — он приветствовал новую ярко реакционную полосу александровского царствования без либеральных колебаний, ту полосу, которая далеко несправедливо получила наименование в истории «аракчеевщины».

2. МИСТИЦИЗМ

Мистика и реакция эпохи Александра стояли в неразрывной связи с «благотворными идеями» Священного Союза, которым харьковский проф. Надлер написал апофеоз в пяти томах.

Для того, чтобы международные отношения приобрели действительную силу непоколебимости, надо и во внутреннем управлении придерживаться тех же начал. «Отныне поданными своими государи будут управлять как отцы семейств», гласил акт Священного Союза. Чтобы упрочить учреждения, созданные людьми, их надо исправить, обосновав на началах, завещанных Спасителем. Надо перевоспитать людей, чтобы они восприняли благодатные действия Св. Писания; чтобы они твердо усвоили себе вечные религиозные истины. В связи с этой задачей стояла, конечно, прежде всего реформа образования, за которую вскоре и взялись мистики и реакционеры. Просвещение надо было основать на религиозных началах.

Первым следствием, извлеченным из практической программы Священного Союза, было развитие библейских обществ, при помощи которых можно было бороться с «мнимо просвещенным врагом», как определил князь А. Н. Голицын в 1816 г. задачи библейских обществ. Первое библейское общество возникает еще в 1812 г. в Петербурге по инициативе члена британского общества распространения Библии Патерсона. Его задачей является распространение Библии в обществе и народе.

Деятельность библейских обществ, в связи с развитием деятельности всевозможных христианских миссионерских обществ, в это время широко распространилась по Западной Европе (первое библейское общество было учреждено в 1804 г.). В сущности в филантропических и просветительных целях этих обществ определенно звучали и реакционные мотивы, так как влияние Библии противополагалось как бы влиянию идей французской революции. «Опыт научает нас, — говорилось в проекте учреждения Петербургского библейского общества, — что повсюду, где Св. Писание всеми читается, оное сильно способствует к преуспеванию в добродетели, направляет человеческие страсти к лучшей цели». По отношению к России Библия, кроме того, должна служить «утешением в горестях» населению, пострадавшему от неприятельского нашествия. Правящие круги охотно взялись за мысль дать после 1812 г. «утешение» народу в Библии (с таким же восторгом в придворной среде принимается и манифест Священного Союза).

Но Библия сама по себе — обоюдоострое оружие; знакомство с ней приводит подчас совсем к другим результатам, чем какие хотят получить. Примером может служить русское сектанство, обосновывавшее нередко даже свои социалистического характера учения библейскими текстами. В деятельности библейского общества с самого начала его было одно несомненно крупное положительное значение, вопреки помыслам его учредителей. Ведь для того, чтобы «бедные соотечественники, потерпевшие в последнюю войну разорение»,

могли найти действительное утешение в Библии и поучаться ей, чтобы Библия могла служить противовесом тлетворным идеям разума, читатель ее должен был прежде всего быть грамотным. И таким образом библейское общество должно было явиться рассадником просвещения, которое всегда за собой влечет пробуждение того общественного самосознания, которое думали заглушить темнотой библейских текстов. То, что у просвещенных людей затемняло сознание, то для непросвещенных являлось пробуждением (Библия притом стала издаваться на русском языке). Библейское общество вместе со Священным Писанием раздавало и азбуку; оно должно было признать необходимым учреждение сельских библейских школ. В связи с деятельностью библейских обществ явились в России под влиянием квакеров и так называемые ланкастерские школы или школы взаимного обучения. При помощи этих школ также надеялись воспитать весь народ в религиозно-нравственном направлении . . . Но как раз здесь то и началась революционная пропаганда.

С.-Петербургское библейское общество, переименованное по высочайшему повелению в 1814 г. в «Российское», открыло целый ряд отделений своих в губернских и уездных городах.

В члены попадает немалое число чиновной знати — «по долгу звания своего», чуть ли не все высшее духовенство — митрополиты и епископы. В провинции отделения организуются губернаторами, епископами, предводителями дворянства и другими лицами, занимающими такое же общественное положение и распространяющими идеи библейских обществ при содействии капитан-исправников, благочинных и т. д. Этих отделений уже скоро насчитывается до шести десятков, действующих весьма успешно. «Чтение Св. Писания, — констатирует отчет библейского общества за 1819 г., — распространяется у нас и между поселянами. Солдаты и матросы сами ищут себе пищи духовной. Во внутренности семейств Библия становится правилом жизни и ежедневным изучением. Но еще утешительнейшие виды представляются ныне для отечества нашего: в сообразность с волею монаршею вводится теперь чтение Св. Писания по всем учебным заведениям нашим, и таковое основание послужит непременно к насаждению благочестия в духе возрастающего поколения, к созиданию царства Христова на земле». И действительно, модные библейские общества учреждаются среди воспитанников различных учебных заведений, даже «дети» Ришельевского лицея предаются «благословенному подвигу», учреждают между собой библейское сотоварищество для снабжения сверстников книгами слова Божия . . .

Библейские общества распространяются, потому что им покровительствует высшее правительство. Президент общества — сам кн. Голицын, глава Министерства Народного Просвещения. Все спешат записываться в библейские общества, ибо тому, «кто не принадлежал к Обществу Библейскому» — тому «не было хода ни по службе, ни при дворе» (Греч).

Александр Тургенев, брат знаменитого Николая, один из главных помощников Голицына по министерству, человек в сущности безпринципнейший в своих убеждениях, может служить хорошей иллюстрацией для характеристики библиомании в тогдашнем обществе. Тщетно допрашивает его друг кн. Вяземский про библейские общества: «Кого здесь обманывают?» . . . «Отведи душу: скажи, на что тебе наша Библия?» Тургенев отвечает цинично шуткой: «монашеское шампанское не хуже военного». Фигура А. И. Тургенева наилучше

рисуется шуточным адресом одного из писем Вяземского, направленного туда, где Тургенев может отыскаться:

«За просвирой иль при котлете,
С красавицей или попом,
В храм Лютера или мечети!..»

Верную характеристику дал ему Греч: «добрый человек, но пустой, надменный, ветреный, конечно, ничему не веривший»... Жил в верхнем этаже министерского дома и над кабинетом гонителя наук и просвещения сочинял либеральные конституции, беседовал с единомышленником своего брата Николая и меланхолически писал в 1816 г. Вяземскому: «Наша российская жизнь есть смерть. Какая-то усыпательная мгла царствует в воздухе и мы дышим ничтожеством».

В насаждении этой атмосферы «ничтожества» принимал активное участие тем не менее сам автор этих строк.

Понятно, что библейские общества постепенно превратились в орудия насаждения популярного мистицизма и сделались центрами самого мрачного обскурантизма. Характерным образчиком может служить речь симбирского губернатора Магницкого при открытии местного отделения библейского общества. Эта речь — целая проповедь против человеческого разума, против мрака философии, затемняющего свет Христов, против «мудрости бесовския».

На ряду с покровительством библейским обществам стоит и покровительство мистике всех оттенков, ибо флаг христианской любви, великих моральных заветов, высоких идей человеческого перевоспитания самое лучшее средство для борьбы с либеральными течениями, для борьбы с свободным просвещением, требованиями разума и социальной правды: мистика всегда была в России враждебна либерализму. Это покровительство мистике неизбежно должно было привести к очень печальным результатам. Мистическое фантазерство очень легко превращается в шаблонное ханжество, в крайнюю религиозную экзальтацию самого дурного тона, т.-е. в изуверство и фанатизм. И эта мистика, действительно, весьма скоро получает самые уродливые формы проявления. При недостаточной культурности, «мистической вздорологии», по выражению Карамзина, легко приобрести адептов.

Сам Александр в своем пиэтическом настроении, как мы знаем легко поддается влиянию крайних мистиков обскурантов, которые окружают его за границей. «Мрачная пифия мистики и реакции» — баронесса Крюденер, напрасно пытавшаяся привлечь Наполеона и возненавидевшая его за это, пользуется на первых порах большим расположением Александра[1]). Крюденер, жена русского посла в Берлине, представляет довольно типичную фигуру религиозной ханжи. Эта прежде светская женщина с возрастом делается очень падкой до религиозной экзальтации, особенно после неудач на литературном поприще [2]). Быть-может, потому, что она честолюбива и хочет во что бы

[1]) Между „мистиками“ происходит своего рода соревнование во влиянии на Александра: противниками Крюденер приводится специально для откровения Александру ясновидица Мария Кумер.

[2]) Ее единственная заслуга в этой области, кажется, заключается в том, что, по мнению историков литературы, роман Крюденер, „Valerie“ (1803) оказал влияние на содержание парвоначального замысла „Дедов“ Мицкевича.

то ни стало играть роль. Тенета мистицизма увлекают ее, и трудно разобраться уже, где фальшь, где невежество, где искреннее увлечение и вера. Вместе с Штиллингом, перешедшим от философии Канта к «Духовидению», «помешавшаяся от святости», по выражению Греча, Крюденер вызывает духов, говорит с умершими, произносит назидательные проповеди, пророчествует не только о кончине мира и наступлении тысячелетнего царства Христова, но и на политические темы. В туманной неопределенности, как всегда, готовы увидать глубокий смысл.

Крюденер сумела сблизиться с фрейлиной Стурдзой, пишет ей пророчествующие письма об Александре и умеет хорошо польстить до болезненности самолюбивому императору: он для нее «белый ангел». Все эти «пророчества» удивительно совпадают с теми охранительными началами, которые ложатся во главу внешней и внутренней политики Александра.

За Александром идут и его друзья, как кн. А. Н. Голицын, человек неглубокого ума и весьма поверхностного образования, явившийся главным официальным насадителем мистицизма в России. Прежде «придворный ветреник», в юности прославившийся веселым нравом, талантом передразнивания, по отзыву Чарторижского и тем, что на пари дернул Павла I за косу во время обеда, потом «вольтерьянец» и поклонник идей «французских энциклопедистов», несколько неожиданно для себя сделавшийся в 1803 г. обер-прокурором Святейшего Синода, наконец мистик и религиозный ханжа, с 1817 г. доходивший до того, что даже нюхал табак из табакерки со священным изображением — мало того и его собачка ела из подобной же тарелки. Он сосредоточивал в себе заведывание и церковью и Министерством Народного Просвещения и при всем том, по выражению Вигеля, до конца оставшийся пустопорожней камергерской головой и любителем при всей своей набожности неприличных анекдотов (Воспоминания Сологуба).

При таком высоком покровительстве на ряду с Библией в обществе усиленно насаждается и мистическая литература, та самая, которая до 1812 г. не только не находила оффициальной поддержки, а скорее заподозревалась в тайных революционных целях, на сцену выступают те масоны-мистики, те «мартинисты», которых Ростопчин огулом зачислял в революционеры. В действительности эти ранние александровские мистики, принявшие наследие старого екатерининского масонства, были всегда политическими реакционерами. Проповедь их не заключала в себе оригинального зерна — она повторяла лишь учения немецких пиэтистов. И как у немецких мистиков чувство, не ограниченное требованием разума, легко вдавалось в безбрежную и ухищренную фантастику, так было и у русских их последователей.

Все нелепые увлечения немецкого розенкрейцерства с его поисками таинственных знаний, средневековой алхимией, кабалистикой и доходившей до добывания золота и «жизненного эликсира», с его таинственной обрядностью, магической терминологией и архимистическим созерцанием, — все это нашло себе отклик у масонов-мистиков.

В «Дружеском обществе» Шварца и Новикова это «алхимическое масонство» не затемняло, однако, основной идеи о нравственном и религиозном совершенствовании человека, не затемняло сознания человеческого достоинства. Широкая просветительная и благотворительная деятельность отличает знаменитый Новиковский кружок. Он не отрешается от общественных задач, ставя себе гуманитарные цели общественнного воспитания и обличая

социальные недуги страны. У Новиковского кружка идея внутреннего обновления человечества не шла до известной степени в разрез с практической работой, направленной на удовлетворение глубоких реальных потребностей жизни.

Старые традиции уцелели и в александровское время, но потеряли всякую общественную ценность. Эти традиции в первые годы александровского времени поддерживал младший сверстник Новикова сенатор Лопухин. Около него ютится небольшой кружок мистиков, его выучеников, который, воспользовавшись благоприятным временем, пытается вновь оживить мистическую литературу путем многочисленных переводов немецких пиэтистов.

Уже в своих ранних произведениях XVIII в., в «Рассуждении о злоупотреблении разума» Лопухин, развивая идеи истинно-христианского понимания вещей, т.-е. масонства, и отыскивая «натуру вещей», с большой резкостью выступал против европейского просвещения и равным образом против «французской революции с ее пагубными плодами»: «Равенство! Свобода буйная! — Мечты, порожденные чадом тусклого светильника лжемудрия, расположенные безумным писанием нечестивых татей», — так бичевал Лопухин Францию, это «исчадие папистического изучения и новой философии». Враг «разума», враг положительной науки, он искал тех таинственных знаний, которые раскрывались людям, преданным теософическому экстазу. Друг «божественной алхимии и магии, вооружающих избранных сынов нетленными сокровищами натуры и провождающих их в обетованную землю — в райские обители возобновленного эдема», Лопухин полное, так сказать, раскрытие таинств видел у немцев. Эккартсгаузен и затем Юнг Штиллинг — вот два величайших авторитета, которым раскрыты таинства природы. Вот два «величайших светила божественного просвещения», «проповедника истины и предвестника явления ее царства». Оба признанные оракулы мистицизма были в сущности крайние реакционеры, погрязшие в дебрях апокалиптических толкований и теософического тумана. Люди, в которых мистицизм убил всякую живую мысль, привел к полуболезненному состоянию видений и галлюцинаций: Юнг Штиллинг умер, повидимому, убежденный, что в нем воплотился Христос — «поборник престолов и алтарей».

За немецкими учителями следовали и русские ученики. Запутавшись в темнотах мистических алканий и верований в сверх'естественные начала, они являются такими же в сущности политическими реакционерами. Всякие мысли об освобождении принадлежат, по мнению Лопухина, европейской заразе: это «пустословы», т.-е. философы содействовали порождению «буйного стремления ко мнимому равенству и своеволию, в противность порядка небесного и земного благоустройства».

У Лопухина был ограниченный кружок сочувствующих, и это прежде всего его непосредственные ученики: Ковальков и Невзоров. В их деятельности мы не найдем в сущности ничего оригинального — это все вариации на те же темы об аскетизме, о создании церкви внутренней и царства света Божия, борьба с разумом и наукой, представляющими из себя «излияние духа нечистоты». Заглушать всякий «глас ума собственного», — вот основная задача мистиков. Таков был по преимуществу Ковальков, совсем юноша, доходивший до болезненного исступления в своем мрачном религиозном экстазе. Другой друг Лопухина — Максим Невзоров, выученик Новиковской семинарии, одно время страдавший психическим расстройством и содержавшийся

в Обуховской больнице,—не был в сущности глубоким и ревностным мистиком; в своей литературной работе он преследовал более морально-педагогические задачи. При содействии Лопухина он начал в 1807 г. издавать журнал «Друг юношества», где, на ряду с проповедыванием нравственно-христианских целей, борется с французским влиянием. К этому кружку относился и другой чрезвычайно плодовитый выученик старого масонства — глава петербургских мистиков, А. Ф. Лабзин, директор департамента военно-морских дел, начавший издавать в 1806 г. специальный христианский журнал «Сионский Вестник». Но тогда еще мистика не получила официальной санкции[1]), и Лабзин вскоре должен был прекратить издание до более благоприятного времени. Направление «Сионского Вестника» в сущности не выходило из общих мистических контуров. Это все та же «мистическая» ненависть к французской революции, к буйству разума и проповедь внутреннего общения и соединения человека с Богом для достижения высших моральных целей.

И в конце-концов, в этой мистической литературе, действительно, было очень мало оригинального. Эккартсгаузен и Юнг Штиллинг — это были настоящие вдохновители тех, кто принял на себя наследие Новиковского кружка. Их проповедь, их морально-педагогическая деятельность в сущности никакой положительной ценности в общественном отношении не имела. Их религиозные искания заводили в лабиринт самого ухищренного мистицизма, который в лучшем случае должен был вести к полному квиэтизму, к отрешению от общественных задач. Это отрешение и является характерной чертой мистицизма начала XIX в. Его представители так много говорили о христианской морали, о вреде гордости и любостяжания, и тем не менее проходили мимо того крепостного варварства, которое всегда останавливало на себе внимание их екатерининских предшественников. Они не доходили до идеи противоестественности рабства, убаюкивая себя тем, что их задача более существенная, чем думать о тленном мире—«свергнуть оковы не мнимые, оковы греха, смерти и ада». «Свобода — в добродетели», устанавливает Лабзин в первой книжке «Сионского Вестника». «Добродетельный, благочестивый муж и в цепях свободен, а злый и в чертогах и во славе раб». Самое большое, до чего доходили они в своих моральных проповедях, это сентенции, направленные по адресу помещиков и фабрикантов: не жадничать; быть гуманными и из «кровопийцев» делаться благодетелями трудящихся. Так писал, между прочим, Невзоров в 1809 г. в своем журнале. Но ведь эта проповедь человеческих отношений к крепостным была, в конце-концов, пустым местом, равно как и памфлетические нападки Невзорова на недостатки современного ему общества. Сатира Невзорова сводилась к шаблонным нападкам на галломанию, на поверхностное воспитание и т. п. Здесь много было правды, как была она и в XVIII в. Но эти нападки были лишены своего общественного значения, ибо оставляли в стороне ту социальную подкладку, которая питала крепостнические чувства и воспитывала в моральном варварстве все молодое дворянское поколение. Наоборот, боязнь положительных течений, шедших из Франции на Россию на ряду с модами, заставляла мистиков становиться всецело на защиту консерватизма: и не даром Лопухин — защитник крепостного права.

---

[1]) Мало того: Грабянка — глава мистического кружка „Новый Израиль“ был даже посажен в крепость, где и умер.

Если, таким образом, общественная ценность мистической литературы была весьма незначительная в смысле морального воспитания общества, то зато отрицательная ее сторона находила широкий отзвук в реакционных кругах: мистик и реакционер, в конце-концов, сливались в одно целое. Вражда к науке, к разуму, к просветительной философии, к идеям политической свободы и социальных реформ, которые несла с собой революция, и, наконец, вообще к Франции — все это об'единяло христианствующих литераторов и крепостников староверов в одну реакционную группу.

В сущности упомянутый кружок мистиков, примыкавший по своим воззрениям и традициям скорее к отошедшему уже веку, первоначально был довольно одинок. Как ни обильна была относительно сама по себе мистическая литература, писателей мистиков в действительности два-три. Всю первую книгу «Сионского Вестника» Лабзин написал один. Печатая в своем журнале назначительные отрывки творчества Лопухина, народного философа-мистика XVIII в., Сковороды и др., он преимущественно, однако, занимался переводом и переложением немецких оригиналов.

Эта мистика, будучи и в литературе одинока, не могла захватить широких слоев общества, не могла пустить глубоких корней. Аскетизм и мистицизм слишком далеки сами по себе от обыденной житейской обстановки, от того мещанства, которое все же является главным содержанием жизни общества при современной социальной структуре. И мистицизм, конечно, особенно мало подходил к дворянскому крепостному обществу.

Но те общественно-политические условия, которые создались после 1812 года, когда Россия как бы официально вступала на «путь апокалиптический», благоприятствовали распространению мистических исканий. Старые литературные авторитеты, однако, сошли уже со сцены. Новиков (+ 1818) вместе со своим другом «Божьим человеком» С. И. Гамалея (+ 1822) доживают век в с. Авдотьине под Москвой, совершенно отрешившись от общественной жизни. Лопухин тоже выходит в отставку после 1812 г. и поселяется в своем кромском имении. Живет здесь довольно одиноко, окруженный небольшой группой почитателей и учеников, проповедуя монашеский аскетизм, а в действительности предаваясь в своей крепостной деревне мистическим забавам. Он развел здесь сады, украсил их памятниками с причудливыми символами и в этом красивом уединении предавался самосозерцанию и мистическим размышлениям. Это был какой-то барский мистицизм, неизбежно в действительности очень далекий от основной проповеди: «Наипаче должно упражняться в люблении ближнего». Все любление ближнего сводилось к некоторому «нищелюбию», которым, по отзывам некоторых современников, отличался старый Лопухин.

Центральной фигурой становится Лабзин, возобновивший в 1817 г. свой журнал «Сионский Вестник» с посвящением его непосредственно Господу Иисусу Христу.

Лабзин издает свой журнал уже с «Высочайшего повеления» и получает даже 15.000 р. правительственной субсидии. Лабзин проповедует все те же старые мистические «истины», которые отзываются подчас тем же ребяческим легковерием. Этот «человек», признававший «науку», доходил до самых невозможных бредней. Химия — это «искусство, которым . . . просвещенные собственными очами созерцают таинства Иисуса, последствия Его страдания и в химических явлениях видят все происшествие и следствия Его воплоще-

ния»... Эта «теософическая химия» была, конечно, весьма своеобразной наукой.

Та же ухищренная мистика распространяется и через переводы Эккартсгаузена и Юнга Штиллинга. Возрождаются и старые масонские авторитеты: Арндт, Яков Бем, Фома Кемпийский, Таулер, Сен-Мартен, г-жа Гюйон и др., появляются всевозможные «Божественные философии», «Гармония мира», «Таинство Христа» и т. д. С 1813—1823 гг. вышло до 60 мистических сочинений. Если до такого понимания «науки» в духе самого старого «алхимического мистицизма» доходил Лабзин, то к каким результатам должна была приводить мистика, насаждаемая через литературу, библейские общества, масонские ложи, людей просто невежественных, но поддавшихся по тем или иным мотивам господствующему в правительственных сферах настроению? Она приводила к самому мрачному и грубому ханжеству.

В самом деле, всякого рода «пророки» пользуются необычайным успехом. Особенно экспансивны в этом отношении дамы высшего круга. В начале царствования Александра среди них успешно действовали патеры-иезуиты, теперь успех имеют всякие ясновидцы и тому подобные толкователи. Некоторых из этих дам идеи обновления человеческой жизни на религиозных началах захватывают настолько глубоко, что они бросаются в практическую деятельность. Такова была кн. Мещерская, пользовавшаяся большим уважением со стороны самого императора. Это была впоследствии большая любительница «собачек и воспитанниц», на обязанностях которых лежало изучение индивидуальных наклонностей тех «Мими и Жужу», которые окружали княгиню. С таким же рвением кн. Мещерская, в связи с деятельностью библейских обществ, предавалась созданию и распространению назидательной литературы, в виде религиозно-нравственных поучений. Другие с такой же страстью отдаются новому религиозному чувству — мистическим исканиям.

Для широких кругов общества того времени чрезвычайно характерно положение, которое занял в Петербурге знаменитый скопец Кондратий Селиванов. Это было время, когда расцвел «зеленый райский сад», как поют скопцы в своих песнях. В «Сионе-граде» жил «искупитель»; «приходили к нему царские роды, все со страхом покоряли сердца, прославляли искупителя-отца». Действительно, мистицизм Селиванова среди многих лиц должен был вызвать интерес. Один из мистиков, находившихся под влиянием Лабзина, Кошелева и др., камергер Елянский, сделался даже самым верным последователем Кондратия Селиванова. В царствование Павла последний находился в Обуховской больнице, главным врачом которой был мистик-масон Эллизен. После посещения в 1802 г. Александром I Обуховского дома Селиванов был переведен в богадельню при Смольном монастыре, а затем был передан на поруки Елянского. Селиванов поселился в доме петербургских купцов Ненастьевых. И очень скоро молва о «святом старце» распространилась по Петербургу.

Тогда уже дом Ненастьевых стали осаждать представительницы высшего света и купечества, желая получить благословение от праведника. Кондратий Селиванов и его последователи получили такую популярность, что Елянский, явно человек ненормальный и подверженный галлюцинациям, в 1804 г. представил даже императору Александру через Новосильцева целый план необходимых государственных преобразований «на прославление истины Господней и на возвышение возлюбленного отечества, Росс-Мосоха именуемого». Прав-

да, за мечты о «таинственной церкви», на фундаменте которой должно базироваться государственное устройство России, Елянский был отправлен в Суздальский монастырь; но это не помешало самому Александру посетить «искупителя» перед Аустерлицом. По преданиям, разговор зашел: начинать ли войну или нет? И будто бы Селиванов не советовал начинать войны «с проклятым французом»: «Не пришла еще пора твоя, побьет тебя и твое войско, придется бежать, куда ни попало». «Не даю благословения тебе, явному царю, не ходи ты на войну. Без тебя врага уйму». Во всяком случае, в Петербурге интерес к предсказателю от этого лишь усилился.

На вечерних собраниях у Ненастьевых можно было видеть немало представителей знатных петербургских фамилий. В 1817 г. Селиванов переселился уже в специальный дом, выстроенный для него купцом Солодовниковым — это был «дом Божий», «Горный Сион». Солодовников устроил все приспособления для жизни «второго Сына Божия» и для его проповеди. Сам «искупитель» восседал на троне, с которого можно было видеть танцующих и поющих во время молитвенных радений. К Селиванову ежедневно сходилось на радения от 200—300 человек: здесь бывали военные, дамы, купчихи, монахи, монахини, здесь бывали постоянно племянники петербургского генерал-губернатора Милорадовича, жена полковника Татаринова и др. «Днем, — рассказывает современник, — нередко несколько карет, заложенных по тогдашнему обыкновению четверкою и шестеркою лошадей, стояли в Баскове пер.», — это все приезжали к «известному старцу», — как именовался Селиванов в полуофициальной переписке, — чтобы познакомиться с таинственной проповедью нового христианства.

Только в 1820 г., когда проповедь Селиванова стала распространяться среди нижних чинов, проповедник вновь был отправлен в Суздальский монастырь. Отправлен был, впрочем, с почетом — в особой коляске, стоившей казне 1.700 р. Каждый мистик был любезен сердцу кн. Голицына.

Конечно, проповедь Селиванова могла заинтересовать, но не увлечь. Елянские считались единицами.

Одна из посетительниц еще Ненастьевских собраний Татаринова образовала свой кружок, получивший значительную популярность своими экзерцициями среди мистиков, не могших удовлетворить своих религиозных потребностей одними лишь немецкими умствованиями и самосозерцаниями. Татаринова представляла собой довольно заурядное явление, — это была женщина, впавшая в религиозность после семейного несчастья. Ненастьева во-время сумела подойти и воспользоваться ее настроением, окрепшим под влиянием небезызвестного рижского теософа действ. стат. совет. Гюне и его приятеля действ. стат. совет. Багинского. И весьма скоро Татаринова всецело уже отдается мистическому трансу, сама делается пророчицей, что и влечет к ней души и сердца других ищущих. В 1817 г. Татаринова образует свое собственное «Братство во Христе». К ней присоединяются многие из тех, которые бывали на радениях у Селиванова: мы видим на ее собраниях тех же гвардейских офицеров Д. и А. Г. Милорадовичей, знаменитого художника Боровиковского, Лабзина, Е. А. Головина, командира л.-гв. Терского полка, впоследствии главнокомандующего на Кавказе, министра народного просвещения кн. Голицына, тайного советника Попова, обер-гофмейстера Кошелева, вице-президента библейского общества и мн. др. Здесь и представительницы аристократической среды княгиня Енгалычева, и княжна Крапоткина, и свящ. Але-

ксей Малов, и монах Иов. Человек пятьдесят, по словам современников, собираются на молитвенные собрания Татариновой. Скоро эти молитвенные собрания превращаются в мистические радения со всеми их атрибутами. К ним члены татариновского кружка уже привыкли у Селиванова и «тоскуют» по ним. Надо ведь особо повышенное настроение, особое возбуждение, чтобы впасть в транс, чтобы «отверзлись уста» и начать пророчествовать. Как всегда, это возбуждение вызывается искусственным путем: путем пляски, быстрого верчения и т. д.

В сущности, трудно установить, что в действительности происходило на этих радениях. О них ходило по городу много сплетен, как всегда, быть-может, в значительной степени ложных. На собраниях одевали белую одежду, пели различные масонские, скопческие, хлыстовские песни, образовывали «круг» и предавались тем «телесным движениям», которые более возбуждали способность к пророчеству. Чем экзальтированнее была натура, тем большая проявлялась в ней способность к пророчеству. Первенствовала сама Татаринова. Один из участников «радений» рассказывает, как под влиянием пророческого слова Татариновой тайн. сов. Попов «начал кружиться невольным образом, сам испугавшись столь сильного над собой духовного влияния». Все это происходило, конечно, с «премудростью, всеведением и властью явно божественным». Вот эта «возможность обладать способностью говорить не по размышлению . . . а по вдохновению, в котором голова нисколько не участвует», и привлекала на радениях. «Подчинясь средству под названием радения, — рассказывает Головин, — я, отлагая и попирая ногами всю мудрость людскую с ее приличиями», низлагал «гордость естественного разума». Этот род движения, по словам того же Головина, производил такую «транспирацию», какой и самые земные поклоны «не производили». И после такой «транспирации» Головин чувствовал «себя каждый раз необыкновенно легким и свежим», что, как оказывается, имело благотворное влияние на его здоровье. Головин попросту в это время страдал истерическими припадками, которые сопровождались для него «сладостным чувством внутреннего блаженства», — явление, хорошо известное в психопатии. Участниками татариновского кружка и являлись в большинстве люди, которых мистика доводила почти до болезненного состояния. Люди с расшатанными нервами, как Головин[1]), экзальтированные фанатики, в роде Татариновой, ищущие мистики, заблудившиеся в дебрях своих исканий, в роде Лабзина, религиозные ханжи, в роде т. с. Попова, истязавшего свою дочь за то, что она чувствовала «отвращение» к обрядам татариновского кружка, — вот кто составляли центр, к которому притекало, вероятно, немало шарлатанствующей братии; к ним примыкали и другие религиозные ханжи, которых время плодило немало. Таков, например, подполковник Преображенского полка А. П. Дубовицкий, человек одержимый меланхолией, носивший вериги в 30 фунтов, секший себя кнутами и занимавшийся у себя в деревне миссионерством. Впоследствии этот Дубовицкий — богатый помещик — устроил у себя целое общежитие в 68 человек, щедро одаряя своих последователей. И, как обнаружило следствие в 1828 г., он и чужих и своих собственных детей изнурял голодом и побоями, каждодневно наказывал розгами и плетью, у которой концы были со смоляными шишками. Также до крови сек Дубовицкий и тех

[1]) У него к тому же перед этим был ещё апоплексический удар.

своих крепостных, которые недостаточно проникались его «миссионерством»[1]).

К такому религиозному изуверству, в конце-концов, приводили искания высшей религиозной истины.

Конечно, все подобные крайности были только единичными фактами. Не даром лишь татариновский кружок приобрел незаурядную историческую известность. Ни в Москве, ни в провинции в сущности нет ничего аналогичного.

Центром мистики является Петербург, вернее, даже петербургская аристократия, близкая к придворным кругам и очень чуткая ко всякого рода переменам в высших сферах. Мистика расцветает там, где ей особенно покровительствуют, где она будет заметна и угодна. И знаменательно, что о татариновском кружке не только знают, но определенно сочувствуют, как сочувствуют до времени и модному салону, где пророчествует явившаяся в Петербург г-жа Крюденер. Татаринова имеет свидание с императрицей Елисаветой Алексеевной, и последняя обещает ей свое покровительство. Сам император выражает ей одобрение: «Я вами очень доволен за учение ваше о Спасителе нашем». Сердце Александра пламенеет особой любовью к Спасителю, когда он читает в письмах Д. А. Кушелева о татариновском обществе. Имеется свидетельство, что Александр сам посетил татариновские радения. Характерно, что радения до 1821 г. происходят в Михайловском замке, где устроительница собраний живет, имея бесплатную квартиру. В 1821 г. Татаринову выселяют из Михайловского замка; причина та, что брат государя, Николай, просит замок под инженерное училище. Александру неловко отказать в просьбе брату, и он ассигнует по наитию «на молитве» специальные деньги (8000 р. ежегодно) Татариновой на «наем квартиры со всеми удобствами».

Чрезвычайно любопытны и сами мотивы этого покровительства, как видно из разговора Александра с Татариновой передаваемого довольно осведомленным о делах татариновского кружка ст. сов. Иоановым. «Продолжайте», сказал будто бы Алаксандр Татариновой. «Ныне распространяются на Западе карбонарии и проникли уже в мою державу».

Как и ранний мистицизм александровского времени, так и мистицизм, пышно расцветший после 1812 года, в действительности не пускал глубоких корней в русском обществе. В каждом обществе мы найдем, конечно, искренних мечтателей, не удовлетворенных жизнью, стремящихся понять ее смысл и разрешать сложные религиозно-философские вопросы; мы всегда найдем известное число надломленных натур, ищущих как бы самозабвения в мистических созерцаниях; мы найдем людей слабых волею, поддающихся метафизике. Модные течения подчас могут широко охватывать общество. Мистицизм «augmente journallement» сообщает австрийский посол в Петербурге Лебцельтерн своему шефу 26 мая 1817 г. И тут же делает попутно замечание об органе Лабзина: он столь мистичен, что его «мало кто понимает». Но именно вещи, которых не понимают, особенно затуманивают головы. Так было и с Александром, который, по собственному признанию, читал Лабзинские переводы и тщетно старался их понять.

---

[1]) Правда, официальным расследованиям вообще не приходится давать большой веры, но и решительно нет никаких оснований видеть в Дубовицком какого-то религиозного оригинального мыслителя.

Этим модным течениям в обществе поддается даже такая трезвая натура, как Сперанский, усиленно рекомендовавший своему другу приемы древних аскетов для достижения благодати: уединяться, смотреть в пуп и повторять: «Господи, помилуй», чтобы увидать «Фаворский» свет. В ссылке Сперанский занимается переводом «Подражания Христу» Фомы Кампийского, по поводу чего Вигель в своих записках замечает: «Я стараюсь уверить себя, что тут не было лицемерного желания сблизиться вновь с набожным императором». Во всяком случае, надо помнить, что Сперанскому перед возвращением из ссылки пришлось поклониться временщику Аракчееву и отказаться почти от всего того, что он говорил и делал во времена «либерального» правительственного курса. И то его возвращенье, по свидетельству Сипягина, произвело «почти такое же волнение в умах, как бегство Наполеона с острова Эльбы».

После 1812 года религиозные настроения несомненно должны были усилиться, как это почти всегда бывает после сильных общественных встрясок. Мы найдем подтверждение в словах об'ективного и спокойного современника будущего декабриста бар. Штейнгеля; он писал впоследствии: «Общее бедствие 1812 года наклонило ум и сердца к набожности. Отселе начинался период мистицизма». Но это еще не означает, что мистические настроения глубоко захватили общественное сознание. Если для одних, повторяем, здесь много было искреннего увлечения, для других это была своего рода вывеска — воспринималась внешняя оболочка модных течений. И остроумный александровский баснописец Измайлов дал меткую и злую характеристику распространившегося в обществе типа ханжи-мистика:

«Бездушин прежде пил, играл
И женщин и мужчин, как дьявол, соблазнял.
Ни чести, ни родства, ни Бога он не знал,
Но вдруг потом переменился,
И в землю все молился,
Ходить прилежно в церковь стал
А дома Библию да Штиллинга читал...
Пусть думают, что я ума рехнулся:
Поддел я славно сатану,
А уж людей теперь, конечно, обману...

Разве это, действительно, не жизненный тип для александровской эпохи? Разве не глядит на вас образ какого-нибудь генерала-майора Брискорна, который, по словам Греча, занимался попеременно пуншем и Библией?

«В этой стране — замечает французский посланник Лаферонэ по поводу увлечения мистицизмом — более чем где-либо подражают вкусам господина».

Еще раньше современник Екатерины и Павла Массон так характеризовал русского дворянина: «Вкус и характер он будет менять, так же легко, как моды и несомненно, эта физическая и умственная гибкость его отличительная черта». «Из русского—заметил еще Мирабо—можно выковать при желании что угодно».

Мистический уклон в обществе вполне гармонировал к тому же и с сентиментальным романтизмом, столь характерным для литературных течений первой четверти XIX века. Если одни «предаются мрачным рассуждениям о бренности жизни и проводят целые ночи, — как выразился Батюшков, — на гро-

бах и бедное человечество пугают приведениями, духами, страшным судом», то другие всецело находятся во власти самой «приторной слезливости»: кающийся грешник становится как бы особым типом в аристократическом русском обществе. И действительно, меланхолия очень близка мистицизму. Конечно, искренней эмоции здесь очень мало, это более искусственное или модное возбуждение. Нам уже приходилось отмечать любопытное явление, что именно наиболее рьяные крепостники любили настраивать себя на минорный лад и успокаивать, очевидно, свою совесть чтением «Сеятеля Благочестия», как Аракчеев. Этот сентиментализм был одной из опор реакции, идя в ногу с мистикой.

Сентименталисты в литературе любили восторгаться пастушескими идиллиями, воспевать «щастье крестьян», как Карамзин, и тем самым вместо того, чтобы будить общественное сознание, лишь убаюкивать его своими слезливыми излияниями. Русский мужик, правда, был весьма плохим об'ектом для идиллических мечтаний. Это чувствовала в сущности и слезоточивая романтика: «Известно, — писал Панаев, — каковы нынешние пастухи и земледельцы: продолжительное рабство сделало их грубыми и лукавыми». Грубость отвращала тонкие натуры от пастушеских идиллий, взятых из русской жизни, но отнюдь не побуждала к ослаблению «рабства».

Если люди, способные «по целым часам» сидеть в сентиментально-меланхолической задумчивости (как опять тот же Карамзин), не всегда увлекались мистикой, которую называли «вздорологией», то все же от сентиментализма до мистического ханжества оставался один шаг.

«Пустословие» удивительно легко увлекает людей. Примером могут служить массоны нового типа, расплодившиеся в александровское время.

3. МАСОНЫ

После 1812 г. масонство, как отмечает современник, в «большом ходу». И его развитие нельзя не сопоставить с усилением мистицизма, с которым оно в прежние годы было связано неразрывными узами. Старые масоны в значительной степени сливались с мистиками. И когда мистика получила правительственную санкцию, должно было развиться и масонство, которое было гораздо более по плечу светскому обществу, чем идеи какого бы то ни было религиозного аскетизма, искреннего или неискреннего ханжества: Мария Антоновна Нарышкина в свободное от романтических приключений время могла посетить ложу Грабянки, ибо увлечение «духоведением» было в моде в 1806—1807 гг. Но вся натура этой жизнерадостной великосветской львицы, конечно, была необычайно далека от мысли о житейской бренности и от каких-либо мистических умствований и чувствований. Старые масоны екатерининского и павловского времени по недоразумению были зачислены в ряды «иллюминатов», т.-е. людей неблагонамеренных, единомышленников западно-европейского иллюминатства, того масонского ордена, который был основан проф. Вейсгауптом в Баварии с целью противодействовать «всякаго рода деспотизму» [1]). Напр. масоны-мистики розенкрейцеры считали иллюминатов, по вы-

[1]) Как свидетельствует Бебер в своих „Заметках о масонстве в России“.

ражению Пыпина, скорее «извергами человеческого рода». Истинный масон, по мнению последователя розенкрейцерства Лопухина, автора «Катихизиса истинных франк-масонов», «должен царя чтить и во всяком страхе повиноваться ему, не токмо доброму и кроткому, но и строптивому». Эти политические в сущности реакционеры подверглись, однако, преследованиям.

Одновременно с возрождением мистицизма в первые годы александровского правления, когда, по словам одного из современников, в обществе стало замечаться движение «иного духа», т.-е. сознание о своевременности «критики в разум истины, искать царства Божия и правды ее» (что совпало, как мы знаем, и с националистическим течением в обществе) — возобновляются и масонские ложи. Так, под руководством масона директора кадетского корпуса в Петербурге Бебера, о котором молва говорила, что он обратил в масонство самого Александра, «весьма таинственно» начинает работать в 1805 г. ложа «Благотворительность к Пеликану». Есть свидетельство, что лопухинский кружок первоначально отнесся несочувственно к возобновлению деятельности масонских лож[1]). Но Невзоров и Лабзин уже деятельные масоны; последним в 1808 г. учреждена также таинственная ложа «Умирающего Сфинкса».

Несмотря на обвинение «мартинистов» во всяких злодеяниях и революционных помыслах со стороны реакционеров, подобных Ростопчину, правительство не видит уже в масонах ничего зловредного. Масоны, получив поощрение со стороны прусского короля во время пребывания его в 1807 г. в Петербурге, определенно борятся с «вольномыслием»: напр., ложа «Нептун» Голенищева-Кутузова занимается специальной скупкой либеральных книг. Подобно тому, как Мюрат в Неаполитанском королевстве легализирует карбонаризм в целях сыска, так и русское правительство пытается использовать масонские ложи в целях отвлечения общества от «вредных начал»—помешать организации каких-либо других обществ, основанных на этих началах. Министр полиции Балашов определенно заявляет Вилламову в 1810 г., что правительство имеет виды на масонство. В том же году[2]) Александру была представлена специальная записка о мерах «к устройству масонства». Записка рекомендует даже устроить «мать-ложу», создать особую организацию масонства для более удобного полицейского за ним наблюдения. И ложи в действительности получают полуоффициальное существование. Чиноначальники масонских лож были вызваны ген. Балашевым, получили от него особое руководство[3]) и были обязаны ежемесячно доставлять в министерство отчеты о собраниях, которые иногда посещал и сам Балашев. Эта практика продолжалась и при Вязьмитинове — преемнике Балашова и вплоть до закрытия масонских лож.

Мало того, в том же 1810 г. вступает в число членов ложи «Петра к истине» (подчиненной директориальной ложе «Владимира к порядку») сам де Санглен — директор особой канцелярии Министерства Полиции с целью «наблюдать, чтобы ложа соответствовала общей государственной цели — безопасности».

---

[1]) Бебер был противником розенкрейцеров, которых он в свою очередь зачислял в среду мартинистов.

[2]) К этому времени относит эту записку А. Н. Пыпин.

[3]) Терпимой была признана основная ложа „Владимира к порядку“ (мастером стула ее был Бебер), в управлении у которой находилось три ложи. В них числилось 114 человек, среди которых были семеновские и преображенские офицеры.

Естественно, что это полуоффициальное разрешение придавало ложам несколько иной характер, чем тот, который отличал тайные масонские ложи на Западе, и русские при их возникновении. Чиноначальники масонские: Бебер, позднее гр. Мусин-Пушкин, Брюс, Жеребцов строго соблюдали принятое обязательство. Жеребцов в своей ложе «Соединенных Друзей» установил строжайшую даже цензуру речей. Никто, кроме управляющего мастера, не имел права говорить, не подав своего «письменного слова» на одобрение Великого мастера. При открытии той или иной ложи всегда осведомлялись предварительно — будет ли пользоваться «доверием» правительства открываемая ложа. В 1817 г. центральные масонские ложи приняли постановление, что впредь ни одна ложа не будет законна, если не будет признана правительством и учреждена без ведома центральных.

Мало того, гр. Мусин-Пушкин в 1819 г. прямо обращается с просьбой к Вязьмитинову не дозволять существования лож, независящих от великих лож в Петербурге. Правительственный контроль был настолько силен, что даже для перехода из одной ложи в другую требовалось до некоторой степени разрешение администрации, хотя непосредственное наблюдение за ложами и было вскоре отменено. Отменено было потому, что правительство убедилось, как заявил 23 марта 1812 г. масону Элизену Вязьмитинов, что «ложи никак сомнительны быть не могут». И позднее в 1816 г. Александр то же самое сказал Тормасову при возникновении вопроса о разрешении открыть в Москве ложу «Александра тройственного спасения». «Я формально позволения на это не даю. У меня в Петербурге на это смотрят так (государь взглянул сквозь пальцы). Впрочем, опыт удостоверил, что тут зла никакого нет» (рассказ Штейнгеля)[1].

Насколько законопослушным является александровское масонство показывают переговоры, имевшие место в 1818 г. между руководителями русского масонства с Испанским Востоком. Для этих переговоров приезжал в Россию специальный делегат Дон-Жуан-ван-Халес. Союз между двумя капитулами не был принят русскими каменщиками в виду непрочности существования масонства в Испании, где последнее не пользовалось расположением правительства и где братья даже подвергались преследованиям.

Были, правда, и как бы тайные ложи, напр., Лабзина. В тайне продолжало работать и высшее масонское управление в России — так называемый Капитул Феникс. Этой высшей таинственной власти г-жа Соколовская придает большое значение. Между тем такое управление было в значительной степени фикцией. Это был лишь пережиток прошедшего времени. Любовь к таинственному у лиц, занимавших в масонстве высшие «должности», заставляла сохранять потерявший какой-либо реальный смысл пережиток XVIII столетия, когда русская масонская директория подчинялась формально Великому Мастеру IX Провинции, герцогу Карлу Зюдермандланскому шведскому. И как первый высокопросвещенный префект Капитула Феникс в России кн. Г. П. Гагарин должен был охранять в тайне от масонской толпы учреждение Капитула, так и высокопросвещенный префект александровского времени Управляющий Великой Директориальной Ложей Бебер в роли «Викария Соломона» должен был малозначущую тайну охранять от проникновения в нее так назы-

[2]) Не все одобряли такую правительственную политику. Напр., Дибич, указывавший, что пропаганда масонства подрывает уважение к собственности.

ваемых профанов. И когда Ланской, открывая ложи, говорил: «велено нам собираться и научиться», это было лишь формой, которую так любили соблюдать и охранять вожди современного масонства.

Общее масонское постановление, однако гласило: «не иметь никаких таинств перед правительством». В жизни такое правило было единственно реальным.

При таких условиях масонские ложи постепенно преобразовывались в своеобразные общественные клубы, где вся фантастика и символистика становилась лишь модным придатком.

В этих масонских клубах постепенно исчезли и те крайние черты символистики, которые отличали старое масонство. Новое масонство, более подходящее для широких кругов, в данном случае подчинялось и новым течениям, получавшим преобладание в Германии. Отсюда распространялась новая масонская система Шредера, отвергающая высшие степени, как отжившую «нелепость», и распространенная в России масоном Фесслером, одно время призванным читать лекции по еврейскому языку и философии в петербургской духовной академии[1]). Это вводило некоторое упрощение в сложный масонский ритуал, — упрощение, более подходящее к клубной обстановке. «Уложение» Астреи — получившего вскоре преобладание союза масонских лож — определенно уже говорит: «не иметь в предмете работ изыскания сверхестественных таинств, не следовать правилам так называемых иллюминатов и мистиков, тоже алхимистов, убегать всех подобных несообразностей с естественным и положительным законом».

Старое масонство отличалось причудливою обрядностью с своеобразной терминологией, преисполненной таинственной символистики и аллегории. Заимствованные из Швеции, Англии, Германии и Франции масонские системы представляли собой сложную иерархическую организацию (низшие степени, шотландские братья, теоретические братья), которая обязывала младших братьев строгому послушанию просвещенным братьям высших степеней. Иногда масонский орден имел целых 32 степени. Посвящаемый связывался строгим обетом молчания. Истинные масонские цели знали лишь члены высших степеней — свободные каменщики. В жизни обычного масонства эта таинственность превращалась в смешную игру титулов . . . Против этого ненужного балласта и раздался протест среди возобновивших свою деятельность масонских лож не только в России, но и в Польше[2]).

Под влиянием Фесслера известный и, повидимому, искренний масон англичанин Элизен, доктор Обуховской больницы, открыто выступил против бессмыслицы высших степеней. Возникшие несогласия закончились учреждением новой великой масонской ложи имени богини правосудия — Астреи; отвергая иерархию, новый союз выставлял выборное начало и принцип равноправности членов[3]).

---

[1]) За что Фесслер и был отнесен старыми масонами к числу „иллюминаторов" т. е. революционеров с точки зрения правоверного розенкрейцерства.

[2]) В последней против обрядности выступал проф. Шимкевич, член одной из литовских лож.

[3]) Этот союз, как упрощенный, привлек наибольшее число: в то время как, по исчислению В. И. Семевского, в „Великой провинциальной ложе" числилось пять лож при 397 членах; в Астрее в 1817 г. было 12 лож при 910 членах. В 1818 г. Астрея насчитывает уже 24 ложи, 1300 человек, из коих 882 приходятся на Петербург.

В 1817 г. обе великие ложи на Востоке в С.-Петербурге (Астрея и Великая Провинциальная или Директориальная, признававшая высшие степени), заключили между собой братский конкордат, определивший их взаимные отношения. Большинство этих лож работало в Петербурге, были ложи в Москве и провинции: в Ревеле, Митаве, Кронштадте, Варшаве, Киеве, Симбирске, Тамбове, Ярославле и др. Некоторые из них работали на французском, польском языке, большинство на немецком и русском.

Ложи по старому носили самые причудливые наименования «Александра тройственного спасения», «Трех венчанных мечей», «Умирающего сфинкса», «Ключа к добродетели», «Александра к коронованному пеликану», «Нептуна в надежде» и т. д.

Несмотря на упрощение в масонской обрядности, последняя все же переполнена аллегориями, символами, туманным языком, которым любят из'ясняться свободные каменщики. Вся эта обрядность, конечно, не имела никакого глубокого значения. Да и большинство масонов, мечтавших о каком-то «всемирном гражданстве», говоривших, что «вселенная есть отечество каменщиков», даже гросмейстеры были в сущности весьма плохо осведомлены о задачах деятельности своих европейских братьев. На заседаниях повторялись заученные фразы, написанные в капитулах и уложениях. Да, это была в действительности игра «больших детей», игра в духе того времени, отвечающем вкусам общества к ритуалам и театральным церемониям. Недаром масонскому ритуалу подражают и клубы. Пародируют эту обрядность даже такие литературные организации, как «Арзамас». Шуточная обрядность повсюду процветает вплоть до пирушек в аристократической среде, где входит в обычай, как рассказывает Стогов в своих воспоминаниях, пьяных хоронить со свечами и другими аксессуарами погребального ритуала.

Теоретически масонство ставит себе высокие цели: внутренно переродить человечество; изгладить между людьми предрассудки каст, уничтожить фанатизм и суеверие, бедствия войны. Одним словом, преобразовать «весь мир в единое непоколебимое святилище добродетели и человеколюбия»; образовать из сего человечества одно семейство братьев, связанных узами любви, познания и труда. Создать «царство-равенство», — такова высокая задача, которую теоретически ставило себе масонство, как целое. Вольные каменщики не признают никакого другого различия, кроме производимого добродетелью: порода, чин и богатство — отметаются:

«Здесь вольность и равенство
Воздвигли вечный трон,
На них у нас основан
Полезный наш закон».

И символически ватерпас в ложе изображает это всеобщее уравнение. «Мы все одной природы, следовательно, и равны между собой». «У нас и царь со всеми равен, и нет ласкающих рабов»; поется в масонской песне.

Так было только в «песне»; в действительности масон Поздеев и теоретически считал недопустимым, чтобы «масоны» называли «братьями царей». И в теории было несомненное противоречие: недаром в десятую степень просветленного капитула Феникса могли быть приняты только в теории лишь те дворяне, которые насчитывали не менее четырех поколений предков дворян.

Но от этой идеологии ничего не останется, как только мы спустимся с заоблачных высот к реальной жизни. Правда, нарисовать какую-нибудь единую характеристику общественного и политического миросозерцания масонов совершенно невозможно: в масонских ложах, как мы увидим, сходились люди самых различных миросозерцаний и положений: здесь были заядлые крепостники, самые ухищренные мистики, люди прогрессивного образа мнений и, наконец, самые безразличные.

Было бы глубочайшей ошибкой утверждать, что между вольтерьянцем и свободным борцом — декабристом, стоял «сантиментально настроенный идеалист, друг человечества и просветителей — свободный каменщик». С этим положением мы очень часто можем встретиться в современной литературе, рисующей себе тип «свободного каменщика» по известному экспромту — воспоминанию Пушкина о Кишиневской масонской ложе.

Самый искренний масон был скорее политическим консерватором: ведь он в поисках истины и света работал «над созданием храма внутренней жизни». Он думал о самоусовершенствовании путем обновления «изнутри», путем нравственного возрождения отдельной личности. Он мирился с существующим строем, следовательно, его идеология в лучшем случае, как мы указывали, приводит к общественному квиэтизму, а по большей части к оправданию этого несовершенного существующего общественного строя. Всякую перемену он признавал «гибельным лжемудрствованием, проявлением пагубного буйства», ведущего свое начало от французской революции. Эти речи мы очень часто слышим в масонских ложах. «Простолюдины, — сообщает один из видных современных масонов гр. Виельгорский в своих «Беседах», — не имея никакого понятия о существе нашего ордена, весьма его любили, предполагая по названию свободных каменщиков, что наше братство старается их сделать вольными, в чем они весьма ошибаются, ибо мы стремимся свергнуть с себя оковы не мнимые, поистине тяжкие, а именно оковы греха, смерти и ада». Не прав был разве декабрист бар. Штейнгель, разделивший при таких условиях всех масонов на два рода людей — обманывающих и обманываемых.

Свобода человека — «свобода сил его внутренних»: «человек человеку может быть братом во Христе, а телом быть ему робом». Но это положение противоречило и теории масонской: крепостной не мог быть членом ложи, его можно было употреблять лишь для услужения. Масонство и в теории, как мы видим на примере Невзорова, не возвышалось далее призыва фабриканта и помещика стать «благодетельным, милостивым христианином» — быть «кротчайшим господином», как говорил масонский устав.

Итак, масоны не поднимали вопроса об уничтожении крепостного права. Но часто за крепостное право они говорили много. Самым настоящим крепостником был также знаменитый масон, последователь розенкрейцерства — Поздеев . Тот, кто хлопочет об освобождении крестьян, — писал он в 1817 г. С. С. Ланскому, — тот хочет Россию «в корень разорить». «Если дастся воля, это значит, —воля делать всякие беспорядки, грабежи, убийства» и т. д.; за три года перед тем Поздеев представил специальную записку: «Мысли противодарования простому народу так называемой гражданской свободы». Поздеев — защитник дворянских привилегий: «дворяне в государстве так, как пальцы у рук». Поздеев вовсе не представлял собой какого-либо исключения. Огромное большинство братьев масонских лож, одинакового с ним социаль-

ного положения, были такими же крепостниками. Возьмем масона Сафонова[1]) друга Лопухина. Это был «пышный степной барин», крепостник, как называет его Свербеев в своих воспоминаниях, который проповедует, что крестьян надо «постоянно держать в черном теле»—они лучше тогда работают, лучше повинуются. И масон Кречетов и все другие считают невозможным давать свободу «невеждам».

Идеология масонов приводила также и к политическому консерватизму: «Россия все еще татарщина, в которой должен быть государь самодержавный, подкрепляемый множеством дворян», — писал Поздеев Разумовскому 27 сентября 1816 г. А пока эта татарщина под влиянием внутреннего света, несомого масонством, не переродится, надо сохранять status quo. И поэтому в «законах» масонских лож особенно старательно подчеркивается политическая благонадежность масонов. По уложению Астреи члены союза обязаны были «непоколебимой верностью государю и отечеству» и строгим исполнением существующих в государстве законов. На мастере ложи «Елизаветы от добродетели» лежит обязанность следить, чтобы в речах не упоминаемо было о политических происшествиях. Исключения делались лишь для тех торжественных случаев, когда заседания происходили «в честь монарха» и когда «усладительно» было говорить «о достоинстве и качествах, украшающих возлюбленного... государя». И это вовсе не было уставным только требованием, т.-е. требованием формального характера, вытекающим из того полуоффициального положения, которое заняли после 1810 г. масонские клубы. Это требование вытекало по существу из всей консервативной идеологии масонства.

Поэтому, если брать масонство в чистом его виде, то вопреки мнению некоторых современных исследователей (напр., г-жи Соколовской) решительно приходится отрицать за ним какое-либо общественное значение. Во всяком случае, если и можно вообще говорить о каком-нибудь моральном влиянии самого масонства, то оно было, как показывает В. И. Семевский, очень невелико.

Масонские требования быть «кротчайшим господином»; некоторые напоминания, хотя бы и словесные, в крепостнической среде о том, что и раб — человек, могло иметь свое гуманизирующее влияние — по крайней мере на отдельные личности это имело, как мы знаем, влияние[2]). Филантропическая деятельность масонов, хоть и в самых ограниченных размерах, клала начала некоторой общественной благотворительности. Но в общем даже те, кто считали себя «истинными масонами», неоднократно должны были засвидетельствовать, что «работа» масонов, в конце-концов, давала самые ничтожные реальные результаты. «Мы садимся, встаем, зажигаем и гасим свечи, слышим вопросы и ответы, мы баллотируем . . . и, наконец, мы собираем несколько рублей для бедных — вот для чего мы собираемся в ложи», — говорит один из членов ложи «Избранного Михаила».

Масон Римский-Корсаков в своих «Размышлениях о разности систем в масонстве» дал такую же убийственную критику тех лож, которые были лишены «истинного масонства». А таких было огромное большинство: есть ложи, в коих все масонство ограничивается искусством в праздновании . . . тор-

---

[1]) См. ниже „Один из русских розенкрейцеров“.

[2]) К таким же положительным явлениям, конечно, следует отнести, напр., ранние протесты Лопухина против смертной казни и против употребления пыток.

жественных лож[1]) и банкетов: «есть братья, коих прилежность доказывается тем только, что, будучи тунеядцы и празднолюбцы, они не пропускают собираться в назначенный день . . . поговорить о профанских материях и вместе посидеть у эконома; есть братья, коих стремление сделаться лучшими и совершеннейшими состоит в том, чтобы облечься многими безжизненными степенями; есть братья, коих усердие к распространению масонского света заключается в торговле оным . . . есть братья, коих связь и дружба имеют единственной целью получить в профанском быту чин или прибыточное место . . . »

Основываясь на приведенных словах современников, нетрудно определить причины успеха масонства. Огромное большинство ищет масонского «света» просто как лекарства от «скуки» (напр., Симанский по собственному признанию). «Бездействие искало убежища от скуки, и шампанское заставляло забыть ничтожество целей этих собраний». Последнее свидетельство Рунича отнюдь нельзя признать тенденциозным. «Бостон есть лучший опиум в той атмосфере, в котрой живет русское общество» — записывает Николай Тургенев в 1819 г. Если одни прилеплялись таким образом к карточной игре, другие исклали развлечения в масонских столовых ложах, где «пороховницы» (бутылки) всегда были полны и где часто «заряжали ружья порохом» (наполняли стаканы вином). Тем более, что некоторые «клубы» были обставлены роскошно: напр., в ложах «Елизавета к добродетели» был свой собственный хор братьев—«гармония». И действительно, «столовые ложи» наиболее популярны. Люди, слишком серьезно принимавшие масонскую мудрость, подают скорее повод к остроумию. Масоны, интересующиеся заседаниями «столовых лож», идут сюда как в клуб. И поэтому петербургская полиция имела полное право говорить, что масонские ложи «более могут быть уподоблены клубам нежели нравственным каким собраниям».

Масонство привлекает, как мы видели, и тем, что в ложах можно увидать многих лиц, занимающих видное государственное положение и сделаться их, по крайней мере, номинальными братьями. Одним словом, здесь играют роль соображения карьеры.

С другой стороны, если таинственность масонских лож отталкивает некоторых, как, напр., ген. А. П. Ермолова, то других она привлекает. Один современник рассказывает нам, как он решительно ничего не понимал при чтении мистической литературы, но это непонимание еще больше его подстрекало добиться смысла аллегории. Но, в конце концов, он так ничего и не понял [2]). Таинственность подчас привлекает и потому, что в обществе ходят, как всегда, различные преувеличенные слухи.

Отсюда создается мода, действующая заражающим образом. «Полагать должно, — говорит Вигель, — что в воздухе бывают и нравственные повальные болезни, даже меня самого в это время так и тянуло все к тайным обществам». Была м о д а на мистику, была мода и на масонство.

Немудрено, что масонов количественно становилось так много. Иностран-

---

[1]) Ложей называлось и самое учреждение и заседание.

[2]) Нельзя не припомнить по этому поводу проделку С. Т. Аксакова, который в юности написал, по его собственному выражению, „бессмыслицу и галиматью“, подделавшись под тон Эккартстгаузена, Штиллинга и Лабзина. Ему совершенно удалось одурачить своих друзей-мистиков, восторгавшихся глубокомыслием этой „галиматьи“.

ный наблюдатель, французский посланник Буальконд утверждает, что видел список петербургских масонов, который заключал в себе 10.000 человек.

Но именно то обстоятельство, что масонские ложи превращались в своего рода клубы, имело влияние на то, что масонство сыграло известную общественную роль, противоположную своим основным заданиям.

Прежде всего, как указывают многие современники, масонские ложи содействовали некоторой нивелировке общества. Ложи после 1815 г. несколько демократизуются: звание рыцаря может получить и брат «подлого состояния» (но, конечно, не крепостной). В ложах начинают появляться люди среднего класса: чиновники, купцы и отчасти представители зарождающейся разночинной интеллигенции.

Если одни ложи носят характер аристократический, напр., «Елизавета к добродетели», другие — военный («Соединенных друзей»), то в третьих играет роль интеллигенция («Избранного Михаила»), в четвертых, наконец, как бы сосредоточиваются люди «подлого состояния» («Александра — к коронованному пеликану»). Определенного разграничения все же нет, и это содействует некоторому смешению. В ложах собирались таким образом люди самого разнообразного общественного положения и настроения: масоном вплоть до запрещения был вел. кн. Константин Павлович, приобретшие столь печальную известность в николаевское время, Бенкендорф и Дубельт, Сперанский, художник Ф. Толстой, гравер Уткин, офицеры, купцы, актеры, лютеранские пасторы, некоторые из будущих декабристов и т. д.

В одной и той же ложе («Александра тройственного спасения») встречались в качестве сочленов московский полицмейстер Бибиков, ректор университета Гейм, будущие декабристы Фон-Визин и А. Н. Муравьев. «Почти все образованное население, — говорит в своих воспоминаниях Пржецлавский — все непрестарелые лица высшего и среднего общества принадлежали к ложам . . . В их стенах сглаживались так резко выдающиеся иерархические и сословные различия. Нередко плебей восседал в ложе выше светлейшего князя».

То же самое говорит в своих воспоминаниях и ген. Михайловский-Данилевский, автор столь патриотической истории 1812 года, принятый в масонство в период заграничного пребывания: «масонство, сближавшее особ различного состояния, было в сем отношении благодетельно для России, где разделение гражданских сословий отменно много препятствует развитию просвещения». Эта демократизация лож, то, что в них, по выражению современника, допускается «всякая сволочь», т.-е. люди «подлого состояния», по другой терминологии, отвлекает от лож внимание представителей великосветского общества. Михайловский-Данилевский в процитированном выше отрывке своих воспоминаний говорит: «Знатные люди у нас редко были масонами; ложи были обыкновенно наполнены людьми среднего состояния, офицерами, гражданскими чиновниками, весьма редко купцами, а более всего литераторами». Знать, однако, на первых порах принимала довольно живое участие в масонских ложах. В. И. Семевский указывает, что в разное время принадлежали, между прочим, к масонским ложам многие из членов Государственного Совета: Лопухин II, Куракин, Мордвинов, Кочубей, Гурьев, Ланской, Голицын, Потоцкий, Сперанский, Кампенгаузен.

Все они отстраняются от масонства, когда в клубах начинают проявляться до некоторой степени новые либеральные течения, когда и правительство начинает с подозрением смотреть на развитие масонства и ставит препятствия для

его дальнейшего распространения. Так, в марте 1819 г. по распоряжению Александра закрывается полтавская ложа «Любви к истине», входившая в союз Астреи. Те же препятствия чинят маркиз Паулучи, враг масонства, в Риге и Магницкий в Симбирске. И уже руководителю «Астреи» гр. Мусину-Пушкину-Брюсу приходится в оффициальном прошении констатировать: «ныне масонство не имеет уже счастья пользоваться покровительством правительства». Вместе с утерей этого «покровительства» начинается выход многих членов из чиновной аристократии.

Предусмотрительный полицейский ум де-Санглена, того самого, который сделался масоном со специальной целью сыска, еще в 1813 г. предостерегал об опасности масонства. «Должно бы, кажется, избегнуть,—писал он,—ошибки тех правительств, которые, пренебрегая такими обществами, полагая, что они собираются единственно для увеселения, раскаялись в легковерии, но поздно».

И действительно, масонством заинтересовались те, кто думал о нестроениях родины и мечтал о преобразованиях, постепенно совершенно забытых правительством. Многие из будущих декабристов прошли масонскую школу. Многих влекла сюда романтическая таинственность союза, служащего яко бы добродетели, справедливости и человеческому достоинству. Многие из них искренно желали на первых порах познать и распространять масонский свет —это были люди с «пламенным воображением», по характеристике декабриста Трубецкого, видевшие в масонстве «какое-то совершенство ума».

Многие из них сделались масонами за границей, где они видели в ложах на ряду с весельем и проявление серьезной политической мысли. В самом масонстве с его бессмыслицей, по выражению Якушкина, «игрушками» (Пестель) — такие члены масонских лож быстро разочаровались. Но ведь масонские ложи были едиственными общественными организациями, где могла проявляться общественная инициатива в дни наступающей реакции. Многие из декабристов нам говорят (А. Н. Муравьев), что хотели воспользоваться ложами для прикрытия политических целей, для вербовки членов в зародившиеся политические организации. С этой именно целью, по свидетельству Муравьева, директор канцелярии кн. Репнин-Новиков организовал в Полтаве ложу — как бы подготовительную стадию для перехода в Союз Благоденствия. Новиков — утверждал Ф. Глинка на допросе — в ложе «Избранного Михаила» говорил, что в масонстве только теория, есть другое общество практической благотворительности. Конечно, масонство, вследствие именно пестроты своего состава, могло давать подходящий материал для вербовки членов тайных обществ. В клубах масонских, несмотря на запрещение, почти неизбежно должны были подниматься разговоры о «политических делах».

Не даром мистик Лабзин, руководитель т а й н о й ложи, уже в мае 1816 г. доносил Голицыну: «есть управляющие ложами люди весьма вредные, не только не верующие, но и не скрывающие своего неверия». (Лабзин просил кстати министра просвещения сделать государю представление о ложах, проповедующих вольномыслие). По тем же причинам некоторым современникам казалось, что масонство «не могло не быть привлекательным в тогдашней душной атмосфере аракчеевского времени»; по словам Пржецлавского, «ложи были как бы нейтральные территории, как бы оазисы среди всеобщего оффициального застоя»; масонство «составляло едва ли не единственную стихию движения в прозябательной жизни того времени, едва ли не единственный центр сближения между личностями даже одинакового общественного положения». Так

казалось недостаточно осведомленному современнику. В действительности же центр общения перенесен был в другое место — в тайные политические организации.

Про масонские ложи, как таковые, Н. И. Тургенев писал 11 февраля 1818 г. по поводу открытия в Симбирске кн. Баратаевым ложи своему брату: «ключ добродетели масонства у нас процветать теперь не может». Сообщая, что он не бывает в петербургских ложах, Тургенев добавляет: «да они того в теперешнем их церемониальном ничтожестве и не стоят». «В оном (масонстве) — показывал Чаадаев в 1826 г. — ничего не заключается, могущего удовлетворить честного и рассудительного человека». От масонства в новых тайных обществах оставался лишь придаток в виде привычки к соблюдению известных обрядов. Быть-может, это дань моде, так как даже в литературных обществах распространялись масонские обычаи: напр., в «Вольном обществе премудрости и словесности» С. Д. Пономаревой при приеме членов практиковались вопросы и ответы масонского характера, или в Петрозаводском обществе «Французский парламент», основанном в 1821 г. губ. регист. Марьяновым. Эта форма, отчасти введенная в Союз Спасения, как заметил Трубецкой, была «в противность с характером большей части членов». И, быть-может, в этой привычке сказывалась не столько, пожалуй, мода, как сознательный умысел: по словам Трубецкого, А. Н. Муравьев доказывал, что тайное общество только и может существовать под видом масонской ложи. А ведь далеко не все члены первых тайных политических обществ могут быть зачислены в группу сознательных: первые общества в значительной степени были лишь подготовительной ступенью. Здесь шла еще только пропаганда.

4. НАЧАЛО ЛИБЕРАЛИЗМА

Тот дух, который проявляется в некоторых масонских ложах, так же тесно связан был с двенадцатым годом, как и мистика, получившая столь большое значение в жизни. Мистические бредни не могли заглушить порывов «лжеименного разума» у небольшой просвещенной части русского общества. Если одних двенадцатый год заводил в реакционный тупик, то других Отечественная война и особенно пребывание русских войск за границей вели на другой путь—путь пробуждения интересов к общественными политическим вопросам. «Наполеон вторгся в Россию, — писал впоследствии из крепости императору Николаю А. А. Бестужев, — и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу . . . Вот начало свободомыслия в России».

Целый ряд декабристов свидетельствуют нам, что их заграничные впечатления пробудили чувства гражданственности. Наблюдая западно-европейскую жизнь, деятельность законодательных учреждений, знакомясь с литературой и с некоторыми представителями общественной мысли, в наиболее мыслящем офицерстве русской армии зрела мысль, что «гражданину свойственна обязанность», а не только слепое повиновение, как выразился в своих воспоминаниях кн. С. Г. Волконский. С другой стороны, то, что даже «мельком» приходилось видеть в Европе, порождало чувство, что «Россия в общественном, внутреннем и политическом быте весьма отстала». «Естественно» напрашивалось «сравнение со своим», поднимался вопрос: «Почему же не так у нас?» Являлось, на-

конец, желание, чтобы и Россия пользовалась той же образованностью, той же свободой, теми же правами, «какими пользовались некоторые из европейских наций» (Беляев). «Французским ядом» заражались не только офицеры, но и солдаты. Последние как бы предчувствуя, что то обхождение, к какому они привыкли во Франции и какого желали для себя, по словам Розена, и в России, столкнется с находящейся в фаворе «шагистикой, часто предпочитают остаться за границей». По этому поводу Ростопчин писал своей жене в 1814 г.: «Суди сама, до какого падения дошла наша армия, если старшие унтер-офицеры и простые солдаты остаются во Франции, а из конно-гвардейского полка в одну ночь дезертировало 60 человек с оружием и лошадьми. Они уходят к фермерам, которые не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей», и понятно, что при таких условиях корпус Воронцова за «либерализм», как выразился Завалишин, по возвращении из Франции поспешили раскассировать. Во всяком случае Н. И. Тургенев был прав, записав 25 апреля 1814 г. в свой дневник: «Теперь возвратятся в Россию много таких русских, которые видели, что без рабства может существовать гражданский порядок и могут процветать царства».

И контингент «таких русских» мог пополняться не только из среды армии, но и тех, которые после 1812 г. устремляются за границу, «в отпертую им со всех сторон Европу». Это, по замечанию Вигеля, «совершенно походило на эмиграцию». Во всяком случае, непосредственное знакомство с Европой могло дать гораздо больше действительно полезных сведений русскому дворянину, чем их давали сомнительные французские и немецкие учителя из «егерей». Это новое явление в петербургском обществе отмечает и Фадей Булгарин: «В Петербурге все занимаются политикой, говорят чрезвычайно смело, рассуждают о конституциях, об образе правления, свойственном России . . . Этого прежде вовсе не было, когда я оставил Россию в 1809 г. . . . Я видел ясно, что посещение Франции русской армией, прокламации союзных против Франции держав, наполненные обещаниями возвратить народу свободу . . . . . произвели сей переворот в умах» . . . Но Булгарин в самой России не видел пищи для «поддержания пламени», а так как пламя продолжало гореть, то он «сейчас» же догадался, что здесь должен быть «foyers»—намек на австрийского посла Лебцельтерна, ведущего раволюционную пропаганду, так как Австрия боялась Россия. Видок Фиглярин не мог заметить, что очаг был совсем иной.

Новая просвещенная часть русской молодежи принимается за чтение научных книг. Молодых людей, по словам декабриста Крюкова, охватывает страсть к занятиям, начинают изучать, поскольку возможно, прошлое родины, а главное знакомиться с действительностью, которая с каждым днем в связи с настроением в правительственных сферах становится все неприглядднее. Они еще питают надежды на реформы вплоть до 1820 г., вплоть до тех пор, когда правительственный курс определился уже слишком ярко. За эти годы нет недостатка в проектах и подчас наивных напоминаниях, с которыми обращается к Александру, например, надворный советник Д. И. Извольский[1]).

В 1815 г. составил свою записку «о постепенном уничтожении рабства в России» П. Д. Киселев. Но социальный вопрос, т.-е. разрешение вопроса о ликвидации крепостного права, не найдет себе еще в первые годы более или

---

[1]) См. главу Александр I.

менее определенной постановки уже потому, что те, которые поставят его так остро в конце царствования Александра или еще слишком молоды, или недостаточно себе выяснили всю сущность сложной проблемы, хотя Н. И. Тургеневу и казалось в 1814 г., что после 1812 года, «после того, что русский народ сделал, что сделал государь, что случилось в Европе, освобождение крестьян» — дело весьма легкое, но это дело затрогивало слишком близко дворянские интересы. Против него об'единялась вся реакционная клика, для которой малейшая попытка проведения социальной реформы вызывала тень подавленной революции.

Но зато подчас консерваторы в крестьянском вопросе, как, например, Мордвинов, были склонны к политическому либерализму; поэтому о конституции довольно много говорили в первые годы сгущавшейся постепенно реакции. Продолжая старые традиции дворянства, часто будут говорить нам современники об увенчании государственного здания собранием дворянских депутатов. Эту мысль выскажет крепостник, калужский предводитель дворянства кн. Н. Г. Вяземский, ее же будет проводить в 1818 г. в целях прекращения «беспорядочного управления» лифляндский дворянин Бок, те же определенно аристократические тенденции скажутся и в «пунктах» гр. Димитриева-Мамонова; отдаст дань увлечению «пэрством» Н. И. Тургенев и др. Конституционные разговоры найдут отклики и в периодической печати, и в «Духе Журналов», и в «Вестнике Европы», и в «Сыне Отечества».

Все эти рассуждения будут стоять в связи с намеками о возможности введения конституционных учреждений в России, которые от времени до времени делает Александр, до Троппальского конгресса все еще игравший в Западной Европе либеральную роль. Эта либеральная нота прозвучит и в нравоучительной ноте испанскому правительству: «правители народов должны добровольно ими данными постановлениями предварять постановления насильственные»; но особенно отчетливо в варшавской речи императора при открытии польского сейма 15 марта 1818 года. Эта речь произвела действительно на многих очень сильное впечатление. Непосредственный ее слушатель будущий декабрист Лорер плачет от умиления или восторга; такое же сильное впечатление производит речь и на Волконского: «с этой поры, — говорит он, — думы мои приняли другое направление».

«Вестник Европы», издаваемый теперь уже проф. Качановским, помещает отзывы заграничной печати об этой «превосходной речи». Все как бы заговорило после этой речи «языком законосвободным» «Ножницы представительства народного — писал Вяземский —придите к нам на помощь». «Пора, пора приставить к нему (правительству) в дядьки представительство народное — замечал тот же Вяземский в письме к Тургеневу 17 марта 1817 года, — пусть дядька будет глуповат, но все дитя будет немного посмирнее. Беда только, как дядька не забудет, что он из рабов и станет на все говорить: «Ваша господская воля». «В Иркутске вряд нам увидаться — пишет он Сперанскому: разве восторжествует св. инквизиция; а бедных отправят для исправления под вашу державу». Но «оппозиция наша — добавляет Уваров — более скучная, нежели злая, а либерализм так рассеян и слаб, что и опасаться их нельзя».

В то время еще либеральному попечителю петербургского учебного округа гр. Уварову также мерещится, что «по примеру Европы начинаем помышлять о свободных понятиях».

Но напрасно «разгорячились головы». Александр, как мы знаем, был очень недоволен тем, что Козодавлев разрешил напечатать варшавскую речь в оффициальной «Северной Почте». Желчный Ростопчин, сидя в полуизгнании в Париже, не без злорадства по поводу этого писал своему верному собеседнику С. Р. Воронцову: «Все это кончится ссылкою дюжины болтунов»[1]).

Так почти и было в действительности.

Многие из вдумчивых наблюдателей-современников не обманывались уже в искренности либеральных намерений монарха-реформатора; во всяком случае, они видели, что из всех многочисленных обещаний и разговоров решительно ничего не выйдет.

Не верил «сказкам» и Пестель, воспользовавшийся речью Александра, как целесообразным средством пропаганды в обществе, еще не умевшем достаточно критически разбираться в речах императора, которые, по меткому выражению современника, представляли в то время «смесь либеральных идей с Библией». Но, можно сказать, с каждым днем разочарование в Александре растет в либеральных кругах, до последнего времени все еще надеявшихся, что почин реформаторских начинаний будет положен самой верховной властью.

Для тех, кто слишком верил в Александра, разочарование было болезнено; приходилось прощаться со старыми утопическими мечтами, взлелеянными юностью. Поэтому мы и встречаемся с таким личным враждебным настроением у многих из декабристов по отношению к Александру. Раздражало то, что он был в России, «не только жестоким, но, что хуже того, бессмысленным деспотом». Эту окончательную перемену во взглядах Александра или, вернее, в тоне правительственной политики Якушкин относит ко врмени истории в Семеновском полку. Но «бесстрастная история», которая, как мечтал Штейнгель, «может-быть, об'яснит, к изумлению грядущих веков», непостижимые противоречия в блестящем царствовании Александра, должна отнести начало определенной реакционной политики еще к более раннему времени.

5. РЕАКЦИЯ

Уже в 1819 г. перед нами раскрывается картина полной реакционной вакханалии, являвшейся прямым отзвуком той общеевропейской реакции, которая охватила и правительства и господствующие классы, вышедшие победителями в борьбе с революционными началами.

В Европе Священный Союз уже выродился в «меттерниховскую систему», проявившуюся во всей своей силе после знаменитого «Вартбургского праздника» (1817) и убийства Коцебу (1819). Как в Европе, стремление основать просвещение на благочестии в целях укрепления национального духа и основ монархизма в действительности приводило к борьбе с просвещением, так было и в России, когда открылась эра «министерства затмения», как выразился консерватор Карамзин, и когда руководителем народного просве-

---

[1]) Все подобные факты собраны с исчерпывающей полнотой у В. И. Семевского: „Политические и общественные идеи декабристов".

щения сделался тот, кто «с сокрушением и благочестием» слушал пророческие слова Татариновой — кн. А. Н. Голицын. Мистическая «комедия» превратилась, по словам Греча, в «трагедию». И вот почему она уже не была «смешна».

Когда Карамзин прочитал манифест 24 октября 1817 г. о преобразовании министерства народного просвещения в министерство духовных дел и народного просвещения, то тогда же в письме к Димитриеву он отметил, что попытка «мирское просвещение сделать христианским» лишь умножит «число лицемеров». Он был пророком. Лицемерие и обскурантизм свили себе особенно прочное гнездо в главном правлении училища, которое состояло из главарей библейского общества, крайних мистиков и пиэтистов, враждебных, как мы видели, в сущности всякой науке[1]).

Уже в инструкции, данной главным правлением 5 августа 1818 г. ученому комитету[2]), основанной на крайне реакционной «Записке о современном положении Германии» члена правления камер-юнкера Стурдзы, в сущности определенно об'являлся поход против науки. Инструкция говорила, напр., о том, что надо в книгах естественных устранять «все пустые и бесплодные предположения о происхождении и изменении земного шара». В медицинские науки «не должно быть внесено ничего такого, что унижает духовную природу человека, его внутреннюю свободу и божественное предопределение». Ясно, что при таких условиях медицинские науки не далеко могли уйти от теософической химии Лабзина.

Напор мистики и реакции сказался прежде всего на рассадниках высшего просвещения — университетах, которые издавна были поставлены мистиками под подозрение. Еще Невзоров в 1790 г. при путешествии в Германии называл знаменитый Геттингенский университет «первейшим орудием, рассадником и распространителем всякого разврата и безбожия». Новые мистики, дававшие в своем обскурантизме много очков вперед Невзорову, с самого начала принялись за реформирование университетов. В 1816 г. в Харькове происходит уже торжественное сожжение сочинений проф. Шада, после чего автор высылается «за границу» за приверженность к Шеллингу, который своими сочинениями «дерзко» подрывал «основы св. писания». Затем в этот молодой университет попечителем назначается мистик, товарищ президента петербургского библейского общества З. Я. Карнеев, человек, хотя и бывший учеником самого Сен-Мартена и главою ложи «теоретического градуса», но тем не менее уверенный, что молния падает в виде треугольника в ознаменование троичности Божества. Легко себе представить, в каком духе должно было итти с тех пор научное преподавание в Харьковском университете.

Наиболее ярким применением на практике торжествуюшей системы обскурантизма было знаменитое обревизование и реформирование Казанского университета, произведенные Магницким, бывшим соратником Сперанского, бывшим обожателем Александра, как конституционного монарха, столь ярым

---

[1]) Ближайшим помощником Голицына явилея т. с. Попов — один из наиболее рьяных, как мы видели, членов татариновского кружка; другим был А. И. Тургенев.

[2]) Это учреждение возникло в то время для рассмотрения книг, с целью водворения в обществе „постоянного и спасительного согласия между верою, ведением и властью“.

либералом, что носил даже «якобинскую дубинку» с серебряной бляхой: «Droits de l'homme», сделавшимся теперь верным адептом новых настроений в правительственных сферах. После внимательного розыскания и труда нескольких лет Магницкий, как он рассказывает о себе, был поражен открывшейся ему глубокой истиной: все дело в воспитании, которое должно быть основано на вере. «Кровавыми литерами читаю, что сказала история: поколебалась вера... потом взволновались мнения... и тысячелетний трон древних государей взорван». Все тайные общества «начинали всегда с потайного действия на воспитание». Вот к чему приводит «неверие философии». Дух нашего времени либералов «карбонариев», суеверов, всегда один и тот же дух иллюминатов. И со страстью Магницкий в качестве попечителя Казанского округа стал уничтожать «неверие» и насаждать «веру». Магницкий в ужас пришел от Казанского университета, зараженного духом «вольнодумства и лжемудрия». Магницкий требовал «публичного разрушения университета». Но ему поручили его «исправить». И вот Магницкий приступил к преобразованию университета «на началах Священного союза». Изгнав всех зловредных профессоров, Магницкий в 1821 г. издал характернейшую инструкцию, определившую дух и направление, которым профессора обязаны были следовать в преподавании наук философских, политических, медицинских и т. д. По этой инструкции, которую дерптский профессор Паррот назвал «бесконечной фразелогией, где невежество облекается мантией знания», ректор университета обязан был присутствовать на лекциях, просматривать тетради студентов и наблюдать, «чтобы дух вольности ни открыто, ни скрыто не ослаблял учения Церкви в преследовании наук философских и исторических» . Как же шло новое преподавание? Философия должна была руководиться исключительно посланиями апостола Павла и доказывать преимущество Священного Писания над наукой; начала политических наук должны быть извлекаемы из творений Моисея, Давида и Соломона. Наука естественного права, как «мнимая наука» подверглась полнейшему остракизму. На профессоров всеобщей истории возлагалась обязанность показать слушателям, «как от одной пары все человечество развелось», преподавание новейшей истории — виновницы всех смут, было также безповоротно запрещено. Русский историк должен был выяснить, что при Владимире Мономахе русское государство «упреждало все прочие государства на пути просвещения»; русская словесность превращалась в историю духовного красноречия. Математик, в свою очередь, должен был строить свою науку на принципах нравственности и доказывать, что «математика вовсе не содействует развитию вольнодумства. Математика лишь подтверждает высочайшие истоки веры, ее закон совершенно согласен с истоками христианской религии». «Причиною вольнодумства» — не математика (которая требует «на все доказательств самых строгих»), а господствующий дух времени, доказывает ректор университета проф. Никольский. «В математике содержатся превосходные пособия священных истин. Напр., как числа без единиц быть не может, так и вселенная, яко множество, без Единого владыки существовать не может... Две линии, крестообразно пересекающиеся под прямыми углами, могут быть прекраснейшим иероглифом любви и правосудия... Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира, правосудия и любви, через ходатая Бога и человеков, соединившего горнее с дольним, небесное с земным»... Проф. Фукс с таким же успехом показывал,

что «цель анатомии находить в строении человеческого тела премудрость Творца»... и т. д. Таким путем опровергался «гибельный материализм», таким путем устранялись «разрушительные начала» и основывалось просвещение «на началах христианской религии». Только тот профессор удовлетворял своему назначению, который расточал «похвалы магии и кабалистике» в духе старого масонства; и немудрено, что в профессора по античной словесности начинают попадать «за благочестивый образ мыслей».

В духе господствующего религиозного мистицизма преобразовывалась и жизнь студентов университета. Их жизнь наполнялась всевозможными упражнениями в благочестии. «Порченые студенты» в наказание помещались в комнату уединения в лаптях и крестьянском армяке — они должны были перед распятием и картиной страшного суда сокрушаться в своих грехах... Пока происходил этот искус, товарищи грешника молились за него перед лекциями, а сам грешник по раскаянии исповедывался и причащался. Неисправимых грешников Магницкий отдавал в солдаты...

Вот что делали «злые невежды из религии христианской», как выразился Н. И. Тургенев. Но еще хуже приходилось науке в «блистательную эпоху преобразования совершенно обновленного Казанского университета», когда щит «благочестия и страха Божия» оградил профессоров и воспитанников от яда вольнодумства и лжеименного разума. Магницкий констатировал в торжественной речи на акте, что «в то самое время, как лжеименная философия бунтует умы на Бога и людей, в университете нашем самый яд сей претворяется в целительное средство против буйной гордости разума». Магницкий восторгался тем, что «в Житиях Святых исчезла тень Брутов» и что блестяще доказана «нелепость естественного права».

За Казанским университетом наступила очередь Петербургского, где в качестве попечителя округа действовал «подражатель и карикатура Магницкого», по отзыву Греча, Д. П. Рунич и его помощник директор Педагогического института Д. А. Кавелин. Рунич также открыл поход против всех наук политических и философских. Он обвинил четырех самых «благонамереннейших» преподавателей (Галича, Германа, Раупаха и Арсеньева) в том, что они стремятся к «ниспровержению всех связей семейственных» и государственных, в том, что они предпочитают Канта — Христу, а Шеллинга — Духу Святому и т. д.

Преобразование Петербургского университета шло так успешно, что казанский ректор уже поздравлял «петербургскую обитель благочестия и просвещения», каковой сделался университет после удаления из преподавания «всех вредных доктрин». В университетах насаждаются всякого рода библейские сотоварищества, явившиеся «во время всеобщего брожения» оплотом против безверия Вольтеров, Дидротов, Даламберов, против «лжемудрия германских и английских философов», против «лжесвятости и кощунства латинских папежников». Новое просвещение внедряется с таким успехом, что Магницкий, а вслед за ним и один из петербургских профессоров, могли с гордостью констатировать, что «развитие нечестия и опасность, грозившая цивилизации, общественному порядку и правительству, остановлены союзом, открывшим истинный свет». Но новая цивилизация такого рода, что Карамзину оставалось лишь скромно выражать надежду, что «Россия не погрязнет в невежестве».

К школьной борьбе против просвещения тесно примыкала и деятельность цензуры, направленной на устранение в книгах всего того, что, по мнению господствующего обскурантизма, подрывало основы веры и государства: «благоразумная цензура, соединенная с утверждением народного воспитания на вере, по мнению Магницкого, есть единый оплот бездны, затопляющей Европу неверием и развратом». Легко себе представить, какие требования должна была пред'являть эта «благоразумная» цензура.

Цензура во все царствование Александра искореняла более или менее твердо «неверные мысли», которые определялись направлением правительственной политики в тот или иной момент.

В течение всего царствования и в особенности в 1813—14 гг. действовали черные кабинеты, занимавшиеся перлюстрацией частной переписки.

В 1812 г. Комитет Министров разрешил брать из иностранных газет только известия «до России не касающиеся, а имеющие некоторую связь с нынешним нашим политическим положением заимствовать единственно из «С. Пет. Вед.», издаваемых под ближайшим надзором правительства. То был, правда, период войны. Но в действительности «у нас про домашнее всегда говорится не дома» — замечал кн. Вяземский по поводу статьи о семеновской истории в «Варш. Вед.»

Как всегда, цензура была непоследовательна и, как всегда, при самых строгих «шлагбаумах мысли» в журналах подчас проходили статьи, не отвечавшие видам правительственной политики. И не даром Штейнгель в письме к императору Николаю впоследствии удивлялся, что цензура придиралась к слову «рок» и пропускала Рылеевскую поэму «Исповедь Наливайки». Так бывает всегда.

В период так называемой реакции цензура довольно бдительно смотрела однако за тем, чтобы журналы не высказывали мнений, не подлежащих ведению журналистов, как выражался Алексей Разумовский по поводу напечатания в 1816 г. в «Духе журналов» отрывка из Бентама «О запрещении мануфактур».

Дело шло не только о конституциях, а вообще о вопросах, до правительства касающихся, или содержащих «опровержение правил, принятых правительством». Когда журнал «Невский Зритель» в 1820 г. поместил статью «О влиянии правительства на промышленность», Голицын написал 22 августа строгий выговор Уварову: «такое смелое присвоение частными людьми себе права критиковать и наставлять правительство ни в коем случае не может быть позволено» . В экономической литературе в это время идет полемика между протекционистами и фритредерами. Голицын и этим недоволен и фритредеровский орган «Дух Журналов» получает строгое предостережение. «Дух Журналов», — писал Голицын 6 октября 1820 г. петербургскому попечителю округа, — позволял себе восставать на распоряжения правительства по части мануфактурной, когда не позволен был ввоз в Россию чужестранных произведений; когда последовало по новому тарифу разрешение, осмелился критиковать». Явно отсюда, что задача журнала «представлять все действия правительства не обдуманными». Это говорилось про журнал, который в 1816 г. по поводу либерального тарифа писал: «Да здравствует мудрое благодетельное правительство». По мнению Голицына, «одному правительству может быть известно, что . . . прилично сообщать публике»!

И, конечно, тщательнее всего охраняется священная старина крепостного права. Журналистике скоро совсем запретили касаться крестьянского вопроса, что вызвало горькую реплику Н. И. Тургенева в письме к Вяземскому: «когда-то нам запретят не быть хамами и прикажут быть порядочными людьми».

Такая же судьба постигла и все другие вопросы политического характера, дабы не подавать «повода к разным заключениям и толкам».

Замечено — предписывает Голицын попечителю петербургского округа в мае 1818 г.,—что издатель «Духа Журналов» помещает статьи, содержащие рассуждения о вольности и рабстве крестьян, о действиях правительства и другие неприличности: «А так как только одному правительству может быть известным, что из таких материй прилично сообщать публике, то повелевается отныне не писать даже в подкрепление какой либо из подобных предметов мысли, ни против оной: то и другое нередко равно вредно поданием повода к разным заключениям и толкам». Тщетны, конечно, указания в ответ, что сама «Северная Почта» — орган министерства — говорит о пользе свободного книгопечатания.

Лебединой песнью «Духа Журналов» была статья «Чего требует дух времени» (в начале 1819 г.), явившаяся откликом на варшавскую речь Александра. В этой статье дух времени определяется как желание «владычества законов на незыблемом основании». В 1821 г. журнал — орган землевладельческого сословия, консервативный по своему направлению, был закрыт.

В практику жизни постепенно все более и более входило предписание Голицына 4 апреля 1818 г.; не допускать «никаких мыслей и правил, нетерпимых ныне правительством». Цензура должна была следить, чтобы не обнаружился «дух, противный религии христианской», «своевольство революционной необузданности, мечтательного философствования или опорочивания догматов православной церкви».

Началось с уничтожения намеков на свободомыслие. Пострадал, даже Ал. Тургенев у которого цензура «вымарала английскую свободу в библейской речи». «Скоро ее, вероятно, и в лексиконе не останется» — замечает он в письме к Вяземскому 30 октября 1818 г. Также слово «liberté» цензор уничтожил у Михайловского-Данилевского. Что же удивительного, если профессору цензуры Тимковскому даже слово «втащиться» кажется мятежным словом. Здесь не спасало и высокое положение автора.

Постепенно изменяются старые книги, еще свободно обращающиеся. Так, напр., по требованию Филарета, бывшего в 1819 г. членом Главного Правления Училищ, уничтожается изданная в 1783 г. книга «О должностях человека и гражданина», ибо должности в ней «изложены по философским началам, всегда слабым». До какой абсурдности стала вскоре доходить цензура, в каких пределах стала уничтожать она дух «вольнодумства, безбожничества, неверия и неблагочестия», показывает начавшаяся в 1821 г. деятельность знаменитого цензора Красовского, обессмертившего себя в истории.

Этот ханжа, любивший раздавать духовно-назидательные книжечки, усердно клавший земные поклоны в церквах, чувствовал омерзение ко всему иностраному — «смердящему гноищу, распространяющему душегубительную

зловонь», особенно к Парижу — «любимому месту пребывания дьявола»; испытывал, впрочем, такое чувство он больше потому, что, как «казенный человек», твердо следовал за правительственной политикой. И он запрещал статьи «О вредности грибов», ибо «грибы — постная пища православных, и писать о вредности их значит подрывать веру и распространять неверие», равно как запрещал поэтам воспевать любовь в недели поста. В знаменитых примечаниях к стихам Олина «Стансы Элизы», которые Красовский не решился пропустить «без особого разрешения министра духовных дел и народного просвещения», сказалась особенно ярко уродливость того положения, когда писатель попадает в зависимость от религиозного ханжи и невежды.

«Что в мнении мне людей? Один твой нежный взгляд
Дороже для меня вниманья всей вселенной» . . . писал поэт.

«Сильно сказано, — делал примечание Красовский, — к тому же во вселенной есть и цари и законные власти, вниманием коих дорожить должно» . . .

«Дыханье каждое и каждое мгновенье
И сердцем близ тебя, друг милый, обновясь» . . .

«Все эти мысли противны духу христианства, ибо в Евангелии сказано: кто любит отца своего или мать паче Мене, тот несть Мене достоин» . . .

Невольно припоминается позднейший отзыв николаевского министра Уварова: «Красовский у меня, как цепная собака, за которой я сплю спокойно».

Мы коснулись той области, где реакционная тупость неизбежно должна была проявляться особенно ярко, так как здесь она боролась непосредственно с просвещением. Она сказывалась и в других областях жизни. Общественный и политический обскурантизм об'единял самые разнородные элементы, насколько дело шло о защите дворянско-крепостнических традиций и о борьбе с «софизмами новой философии», которые «привели к гибельным переворотам французского королевства». Патриот Трощинский яро возражает против реформы гражданского уложения в 1815 г., против кодекса Наполеона: «Как можно заимствовать законы от ужасной революционной пропаганды». Против всяких реформ и идеолог консервативно-дворянской партии — Карамзин, враг мистики. Как ни враждебна карамзинистам староверческая партия Шишкова, готовая видеть в Карамзине якобница, сеющего вольнодумство и материализм, и она сольется в общих постулатах реакции. «Опора и надежда дворянства — престол, а ограда и твердость престола — дворянство», как метко охарактеризовал в 1818 г. калужский предводитель дворянства князь Вяземский солидарность интересов монархии и дворянства: истекшие «события научают паче всякого умствования: во Франции не стало дворянства — она пала; в России оно было, и Россия восстала (против Наполеона), восторжествовала и блаженствует» . . . Неученый истинно-русский дворянин Аракчеев будет в том же лагере патриотов, масонов, пиэтистов, мистиков, которые будут восхвалять «божественную поэзию» Священного Союза [1]) и тот государственный институт, которому Россия обя-

---

[1]) „Священный Союз, — писал Рунич в своих воспоминаниях, — был современным замыслом прекрасной души Александра. Это была божественная поэзия, которую профаны не могли оценить“.

зана своим «величием и благосостоянием», т.-е. монархию. Только «народы дикие не любят порядка, а нет порядка без власти самодержавной», будет доказывать Карамзин, «республиканец по чувствам». «Самодержавие есть душа, жизнь» России.

В этом лагере будет и Каразин, восхвалявший в записке 1820 г. «начала христианско-монархического правления»; и трезвый реакционер, Жозеф де-Местр, покровитель иезуитов, враг «трансцендентального христианства» — Священного Союза. Их всех об'единит одно — защита необходимости крепостного права. И эти настойчивые заявления о рабовладельческих правах ликвидируют совершенно к 1820 году крестьянский вопрос, выдвинутый Отечественной войной, когда чувство самосохранения заставило дворянство заговорить в 1812 г. языком человеческим с своими рабами. Но протекали годы и крепли исконные традиции тех, кто был для своих рабов вместо «отцов» (Поздеев), кто «в малом своем круге» «представлял лицо своего монарха», как изображал помещика-полицмейстера Каразин в «Мнении украинского помещика» по поводу освобождения крестьян в Лифляндии. Эти патриархальные теории любили развивать сентиментальные писатели александровской эпохи. Убеждали в том же и такие умные реакционеры, как Жозеф-де-Местр, писавший в 1815 г., что крепостное право «совсем не то, каким его всегда себе представляют». Нетрудно показать фактами, что крепостное право в эту пору было «именно тем, чем его всегда себе представляли».

В 1824 г. в курском губернском правлении рассматривается громкое дело о «невероятных действиях» помещиков супружеской четы Денисьевых, изысканным способом мучивших своих «Богом и государем данных подданных». Разве это был единичный случай в 20 гг.? Нет! Крепостное состояние, свидетельствует Якушкин, «у нас обозначалось на каждом шагу отвратительными своими последствиями. Беспрестанно доходили до меня слухи о неистовых поступках помещиков, моих соседей»[1]). «Ужасы» крепостного права становятся одной из основных причин развития вольномыслия. Пусть у некоторых в данном случае говорит не только чувство нравственного возмущения, что русский народ является «рухлядью господ», что людьми торгуют, «как скотом», но и теоретические соображения государственной безопасности и собственной помещичьей пользы. Важно, что крестьянский вопрос во всей своей силе и важности становится в общественном сознании прогрессивных слоев: «Угнетение одного класса другим не может быть залогом благосостояния великого ... народа», пишет молодой смитианец Н. И. Тургенев в знаменитом своем труде «Опыт теории налогов» (1818 г.). Но в то именно время, когда начинается теоретическая и практическая разработка

---

[1]) Характерный образец крепостнической психологии можно найти в ответе Дм. Мамонова 23 февраля 1825 г. по поводу проекта учреждения над ним опеки. Он заявляет кн. Д. В. Голицыну, что по иному „как палками и плетьми и сажанием в холодную и кандалы", своих крепостных не наказывает, что и впредь не перестанет наказывать, ибо это право „неразрывно сопряжено с политическим и частным домостроительством Российского Государства".

„Я исповедую, — добавлял Мамонов, — и это политическое правило, что правительство не может нас лишить сего права без общего и нарочитого нашего согласия". В то же время Мамонов считает „подлостью" жаловаться на своего „раба" в полицию. Это нарушает патриархальные начала.

крестьянского вопроса, он окончательно из'емлется из сферы открытого обсуждения. Поводом послужила напечатанная в 1818 г. в «Духе Журналов» довольно консервативная в сущности речь малороссийского генерал-губернатора кн. Н. Г. Репнина о том, что дворянское сословие в виду собственных интересов должно позаботиться о благосостоянии крепостных крестьян: «обеспечить их благосостояние и на грядущие времена, определив обязанности их». «Связь, существующая между помещиками и крестьянами, есть отличительная черта русского народа. У иноземцев часто владелец помышляет только о доходе, а нисколько о тех, которые ему оный доставили. Но сколько пагубны были от сего последствия! Пришли враги, и за родину никто не принес себя в жертву. Меняли царей, опровергали древние законы и обычаи, ко всему были равнодушны». Напечатание этой речи вызвало большой переполох в цензуре и в лагере тех, кто был глубоко доволен мирным исходом Отечественной войны. Голицын немедленно указал попечителю С.-Петербургского учебного округа на «неприличности», допущенные в журнале, т.-е. помещение статей, содержащих рассуждения о «вольности и рабстве крестьян» и о «действиях правительства». Напрасно редактор в сущности крепостнического журнала оправдывался тем, что в речи кн. Репнина «нет ничего ни о рабстве, ни о свободе крестьян, а только самое мягкое и осторожное напоминовение об улучшении участи крестьян». Но зачем улучшать участь тех крестьян, которые в куплетах для «сельской комедии» русского Тита-Ливия (так именует Карамзина Воейков в «Доме сумасшедших») воспевали своих благодетелей помещиков: «Как не петь нам? Мы щастливы! Славим барина-отца».

Вопрос об освобождении крестьян, из'ятый из сферы гласного обсуждения в печати, в сущности совершенно ускользает из поля зрения правительства. Основной предпосылкой становится тезис, заимствованный из кодекса реакционного мировоззрения Жозефа-де-Местра: «император не может царствовать» без крепостного права. Ростопчин поясняет причину этой новозможности: «освобождение крестьян противно желанию дворянства». Отсюда становится «правилом», что «бедным народом легче и надежнее управлять, нежели . . . в добродетели живущим». Этого правила и держится правительство в последние годы царствования Александра, как поясняет Штейнгель в письме из крепости императору Николаю. А для назидания тех, кто выходит из повиновения «боярам», приказывается наказывать «публично», а не «в частях на с'езжих», как поясняет С. Т. Аксаков в письме к детям из Москвы 17 июля 1818 г. И понятно, что «столетний старовер» (так именует Шишкова А. Ф. Воейков в своем «Доме сумасшедших») встречает большое сочувствие в Государственном Совете в 1820 г., когда возражает против проекта запрещения продажи людей без земли. Проект не получил законодательной санкции, хотя касался самой возмутительной стороны крепостного права. Иного и нельзя было ожидать от «автоматов, составленных из грязи, из пудры, из галунов и одушевленных подлостью, глупостью, эгоизмом», как выражался Н. Тургенев в своем дневнике.

Единственным результатом обсуждения в Государственном Совете «непристойности, с какой продаются люди в России» (выражение Якушкина), было то, что «об'явления в газетах о продаже людей заменились другими»: прежде en toutes lettres печаталось, что рабы продаются на ряду с «домашним скарбом», как-то: перинами, кроватями, попугаями, моськами, малосоль-

ной осетриной, сивыми меринами и т. д.; теперь продажа заменяется словами «отпускаются в услужение», что «значило», говорит И. Д. Якушкин, «продавались».

Напрасно в 1823 г. бар. Штейнгель с некоторой наивностью убеждает Александра в письме, что Россия «несет еще праведную укорзину от всей просвещенной Европы за постыдную перепродажу людей, в ней существующую». Этим письмам уже не внимают («многие, очень многие писали, но не внимали им», должен засвидетельствовать Каховский во время суда над декабристами). Мы уже знаем, что непрошенные напоминатели подчас встречаются с резким окликом: «Дурак! не в свое дело вмешался»...

Французский пленный, доктор Руа, наблюдавший русскую помещичью жизнь в течение двух лет после Отечественной войны, с полным правом мог говорить лишь о «мнимом смягчении злоупотреблений крепостным правом».

Рассказывая о случаях жестоких наказаний крепостных, которые пришлось наблюдать мемуаристу в поместье, принадлежавшем лицу, известному «своей мягкостью и гуманностью», Руа добавляет: «И пусть не думают, что факты, только что мною рассказанные, случаются редко; напротив — они до того каждодневны, и сами русские до того к ним привыкли, что даже не обращают на них совершенно внимания... Мне приходилось по целым дням слышать раздирающие душу крики несчастных жертв. Эти нечеловеческие крики преследовали меня повсюду, даже во сне, и меня охватывал ужас при мысли о стране, где управляют народом при помощи таких варварских средств». «Далеко еще русским, — меланхолически заключает Руа, — до истинной цивилизации, несмотря на весь блеск лакировки, приобретаемой отдельными представителями из числа привилегированных классов».

Во второй половине царствования Александра крестьянский вопрос в сущности не подвинулся вперед, и мечты Массона видеть 30 мил. крепостных, освобожденными по мановению молодого царя, оказались эфемерными. И с полным правом в одном из писем к А. Тургеневу Вяземский мог спрашивать: «Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел?»

Но ужасы крепостного права бледнеют перед тем кошмарным явлением александровского царствования, каким сделались военные поселения, осуществлявшие обещания 1814 года дать войскам оседлость и присоединить к ним их семейства. Это был мрачный эпилог «блестящего» царствования, венец реакции, последовавшей за Отечественной войной.

6. ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Хотя идея учреждения военных поселений, как говорят историки, была не нова [1] — она бродила и у императора Павла, высказывалась польским

---

[1] „Военные поселения" существовали еще в XVII в., — говорит полковник А. С. Лыкошин, — для защиты пограничных областей от набегов кочевников на южных и восточных окраинах России. В XVIII в. были организованы военные поселения во внутренних губерниях из нижних чинов, уволенных в отставку за ранами, болезнями и старостью (Лыкошин „Военные поселения", во II т. „Великой Реформы"). Но едва ли военные поселения александровского времени имели даже по идее что либо общее с поселениями на сторожевых постах XVII в. Сам Александр видел начало военных поселений у римлян.

публицистом Сташицем, находила себе некоторое осуществление в устройстве австрийской военной границы и т. д., тем не менее, по всей справедливости, это «небывалое великое государственное предприятие» должно быть всецело отнесено на долю личного творчества императора Александра I.

Родилась ли эта «счастливая мысль» во «всеоб'емлющем уме» Александра, как об'являл в одном из своих приказов 1826 г. Аракчеев, или она пришла ему при чтении статьи профессора Сервана Sur les forses frontières des états, как думал Шильдер, при знакомстве ли с ландверной системой Шарнгорста (мнение А. Н. Петрова), — во всяком случае Аракчеев имел право в цитируемом приказе сказать, что «сие новое, никогда, нигде на принятых основаниях небывалое великое государственное предприятие, справедливо обратившее на себя внимание целой Европы, обязано своим началом и осуществлением величайшему из царей». Генерал Маевский, служивший в военных поселениях, свидетельствует, что он вместе с Аракчеевым читал проект их учреждения, собственноручно написанный императором. И другой сослуживец Аракчеева, Мартос, тоже подтверждает, что Аракчеев выставлял себя только исполнителем воли монарха. Но как бы то ни было, именно Аракчеев явился главным проводником в жизнь идеи императора, и 29 июня 1810 г., получив уведомление, что военные поселения поручают его ведению и заботам, он в таких восторженных словах благодарил за оказанную милость: «Я не имею столько ни разума ни слов, чтобы из'яснить, батюшка ваше величество, всей моей благодарности». Аракчеев и испортил, по мнению Свербеева, «благую мысль» Александра.

«Благая мысль» заключалась в том, чтобы не отрывать крестьян в мирное время от земледельческих занятий, а вместе с тем облегчать государственный бюджет по содержанию армии. Первый опыт был сделан в 1810 г., когда поселен был Елецкий мушкатерский полк в Климовицком уезде Могилевской губ. И первый уже опыт мог быть зловещим предзнаменованием того, как в жизни будет осуществляться «великодушное побуждение». При осуществлении великого замысла на первых же порах не считали нужным учитывать интересы тех, кого хотели облагодетельствовать. Судьба несчастных крестьян Могилевской губ., выселенных в Харьковскую, чтобы очистить место для первых военных поселенцев, в этом отношении удивительно характерна: по словам современника лишь «немногие достигли» места своего нового жительства, — большинство умерло «от голода».

События 1812 г. приостановили развитие военных поселений. Зато теперь, с 1816 г., принялись за них с еще большей энергией, так как для развития их явился новый повод: благодарность армии за славу, данную России и ее государю.

«В награду» давалась оседлость, которая должна была содействовать «улучшению состояния воинов». «Желая, с одной стороны, из'явить особенное внимание к заслугам победоносных наших воинов, — гласила грамота, данная 21 марта 1821 г. Украинскому Уланскому полку и перечислявшая все преимущества военных поселений, — с другой отвратить всю тягость, сопряженную для любезноверных подданных наших с ныне существующею рекрутскую повинностью, по коей поступившие на службу должны находиться в отдалении от своей родины, в разлуке с своими семействами и родными, что естественно устрашает их при самом вступлении в службу, и с тоскою по своей родине ослабляет их силы, и новое их состояние делает им

несносным. С отеческим попечением занимаясь средствами сделать переход сих людей в военное состояние нечувствительным и самую службу менее тягостною, мы положили в основание сему, то правило, чтобы в мирное время солдат, служа отечеству, не был отдален от своей родины, и посему мы приняли непреложное намерение дать каждому полку свою оседлость в известном округе землею и определить на укомплектование оного единственно самих жителей сего округа». В такую форму вылилась идея военных поселений, и когда они «окончательно устроятся», тогда в России «не будет рекрутских наборов», как, по словам Якушкина, заявил Александр П. Д. Киселеву, не сочувствовавшему любимой идее императора. Эту идею создания «военной касты с оружием в руках и не имеющей ничего общего с остальным народонаселением», Якушкин называет не только вредной, но и бессмысленной. В действительности за официальными грамотами, в которых рисовались идиллические картины будущего благополучия воинских чинов, скрывалась и другая мысль, которую верно отметил А. Н. Пыпин. «Учреждения военных поселений надо поставить в связь с европейской политикой Александра: это была попытка создать огромную армию, которая обеспечивала бы влияние России и спокойствие Европы». Утопичность этой мечты была официально засвидетельствована уже при преемнике Александра.

На первых порах для военных поселений не было выработано какой-либо одной определенной системы. Они развивались на опыте и регулировались отдельными мерами, которые затем становились общей нормой[1]). Общее положение заключалось в том, что солдат одновременно должен был сделаться и земледельцем. Первоначально коренные жители местности, избранной для учреждения военных поселений, переселялись в другой край. Но солдаты, отвыкшие от сельского хозяйства, оказались плохими хлебопашцами, поэтому, при дальнейшем развитии военных поселений, коренные жители местности, назначенной для учреждения военного поселения, также зачислялись в военные поселяне. Из этих коренных жителей, женатых и отличавшихся «совершенно беспорочным поведением», выбирались «хозяева, получавшие земельный надел». В эту привилегированную группу попадали и лучшие нижние чины поселяемого полка. Другие местные жители, годные к военной службе, зачислялись в помощники хозяев, жили у последних, работая на них и имели надежду впоследствии самим сделаться хозяевами «посредством женитьбы с коренными жителями и помещения у бездетных, по их согласию, избранных ими себе в наследники». Эти помощники числились в действующих частях полка. Воинские чины поселенных частей, т.-е. поселяне-хозяева «избавляются навсегда от похода и от необходимости переносить разные неизбежные с тем неудобства и недостатки, но будут жить в своих домах неразлучно со своими семействами, иметь всегда свежую и здоровую пищу и другие удовольствия жизни и обращая в свою собственность все то, что от самих их зависит приобресть рачительным возделыванием земли и разведением скота, умножать тем, год от года, состояние свое и упрочить оное своим детям» — так определяются выгоды оседлости в «правилах», разработанных Аракчеевым и Высочайше утвержденных 13 июля 1818 года. Чины действующих частей «в мирное время также станут жить в домах со-

[1]) Общие правила получили утверждение лишь 23 мая 1820 г.

товарищей своих, чинов поселенных... и разделяя с ними упражнения их, пользоваться тою пищею, какую сами они употребляют, а выступая в поход, не будут уже заботиться об участи жен и детей своих и о целости своего имущества, потому что все сие в поселенных эскадронах будет и без них призренно, успокоено и сбережено их товарищами, так точно как бы самими ими».

Исключительно из военных поселян должен был комплектоваться полк; все остальные жители уездов, где учреждены были поселения, освобождались в мирное время от рекрутских наборов и за это несли лишь в усиленных размерах другие повинности. Всех военных поселян одели в форменную одежду и обязали до 45 лет одновременно выполнять и фронтовые занятия и земледельческие работы, т.-е. действительно «хлебопашца принудили взяться за ружье, а воина за соху». Воин должен был проникнуться мыслью, что «земледельческие и все прочие по хозяйству занятия по важности и ответственности равны как бы по службе во фронте». Хлебопашец должен был иметь «твердое знание всего касающегося до военной экзерциции», — так гласили цитированные выше правила.

После 45-летнего возраста военный поселянин попадал в число «инвалидов», употребляемых уже для других хозяйственных надобностей. Дети военных поселенцев, зачисляемые в кантонисты с семи лет, обмундированные в форменную одежду также «принадлежали полку». До 12 лет оставаясь при родителях, они обучались в школе; от 12 до 18 лет приучались к хозяйству, помогая родителям, и занимались фронтовой службой. Далее из способных к службе комплектовались действующие части поселенного полка, остальными замещались нестроевые должности (правила 11 мая 1817 г.)

Такова в общих чертах была организация военных поселений. Волость с военными поселениями была изъята из ведения гражданского начальства (земская полиция имела право въезжать в волость «не иначе, как и тогда только, как батальонный командир признает нужным»). Всей хозяйственной частью в военных поселениях распоряжался также полковой комитет. Вся эта организация создалась попечениями гр. Аракчеева, который имел «главные заботы» о Высоцкой волости, Новгородской губ., где был поселен в 1816 г. 2-й батальон гренадерского имени его полка. Устройство этих поселений должно было служить «образцом для прочих поселений», как сообщает Аракчеев в докладе, представленном императору 11 января 1817 г. [1]).

Теоретическая бессмыслица получает характер чего-то ужасающего, потому что Высоцкая волость до точности воспроизводит порядки, царившие в грузинской вотчине графа Аракчеева. А так как по всей России военные поселения осуществляются по однообразному плану, то эти знаменитые порядки распространяются повсюду, где возникают военные поселения. Грузинская вотчина имела блестящий вид: повсюду чистота и как будто бы довольство. Всюду проведены шоссейные дороги, устроены прекрасные строения и даже «мирские банки» и т. д. Впечатление от благоустройства такое, что Александр при посещении Грузина в 1810 г. не мог не удержаться от благодарственного рескрипта образцовому хозяину: «Быв личным свидетелем, —

---

[1]) Все эти правила, доклады и т. д. приведены в приложениях к очерку А. Н. Петрова „Исторический обзор устройства и управления военных поселений" в книге, изданной „Русской Стариной" в 1877 г. „Гр. Аракчеев и военные поселения".

пишет Александр 21 июля, — того обилия и устройства, которое в краткое время, без принуждения (?!) одним умеренным и правильным распределением крестьянских повинностей и тщательным ко всем нуждам их вниманием успели ввести в ваших селениях, я поспешаю из'явить вам истинную мою признательность за удовольствие, которые вы мне сим доставили, когда с деятельною государственною службою сопрягается пример частного доброго хозяйства, тогда и служба и хозяйство получают новую цену и уважение». Александр ошибся, однако, в том, что блестящее состояние грузинской вотчины было достигнуто «без принуждения». Письменные приказы грузинского грансеньера, регламентирующие до мелочей жизнь его верноподданных рабов, опровергают в достаточной мере необоснованное суждение аракчеевского друга. Эти приказы и целые даже «положения» о метелках, при посредстве которых наводится блеск и чистота, вмешиваются в самые интимные семейные дела. Что может быть характернее знаменитого приказа Аракчеева о рождении детей. «У меня всякая баба должна каждый год рожать и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штраф. Если родится мертвый ребенок или выкинет баба — тоже штраф. А в какой год не родит, то представь десять аршин точива». Аракчеев по списку определял: кому на ком жениться, но и после женитьбы не оставлял своих подданных в покое. Им издаются даже «краткие правила для матерей-крестьянок грузинской вотчины» о кормлении грудных младенцев.

Таков был попечительный грузинский помещик, но у него была и другая черта, за которую Вигель называл Аракчеева «раз'яренным бульдогом», а именно жестокость. Нарушение всех многочисленных приказов в грузинской вотчине влекло самое строгое наказание: у каждого крестьянина в кармане должна была находиться особая «винная книжка», также велись и особые журналы наказаний. Если Аракчеев «с нижними чинами поступал совершенно по-собачьи», то еще меньше он стеснялся со своими личными рабами. «Я имел случай узнать всю его (Аракчеева) коварность и злость, — пишет сослуживец графа Мартос, — превышающую понятие всякого человека, образ домашней жизни, беспрестанное сечение дворовых людей и мужиков, у коих по окончании всякой экзекуции сам всегда осматривает спины». Для наказания своих «добрых крестьян», которых Аракчеев любит «как детей» (о чем свидетельствует он в 1812 г. в письме к новгородскому губернатору Сумарокову), в Грузинской вотчине существовала сложная система. Так, на женщин надевались рогатки и в таком виде заставляли их в праздник молиться в соборе. В графском арсенале всегда стояли в то же время и кадки с рассолом, в которых мокли орудия сечения. За первую вину граф сек своих дворовых на конюшне, за вторую отправлял в Преображенский полк, где виновных наказывали особо толстыми палками — аракчеевскими; по третьей вине экзекуция совершалась при помощи специалистов-палачей из Преображенского полка уже в грузинском дворце, перед кабинетом или в той библиотеке, в которой наряду с порнографическими произведениями было так много книг благочестивого и сентиментального свойства. Так как граф имел обыкновение лично осматривать — должным ли образом наказаны виновные, то, во избежание повторения экзекуции, наказанные нередко кровью животных покрывали рубцы на исполосованной спине. В усадьбе была и своя домашняя подземная тюрьма, изысканно именуемая «Эдикул», где не-

делями и месяцами сидели нарушившие хозяйственные «приказы» грузинского вотчинника. Не уступала в своих зверских инстинктах Аракчееву его домоправительница и любовница Анастасия Минкина — эта «великомученица» (по отзыву арх. Фотия), убитая крепостными. Она, как и ее возлюбленный, вырывала кусками мясо, и особенно у тех дворовых девушек, до которых был так падок ее сластолюбивый повелитель, упивавшийся чтением книг о ласках любовников. Любитель «благочестия», как и подобало, после зверского истязания любил прочитать «презренному преступнику» назидательное нравоучение. Иногда для большей изысканности или благочестия наказуемые поролись при пении хором красивых девушек: «Со святыми упокой, Господи». Вот что из себя представляла грузинская вотчина графа Аракчеева, достойная, по мнению Александра, особенного уважения.

То же самое было осуществлено и в военных поселениях. Здесь было еще хуже, потому что к ужасам крепостного права прибавлялись еще и ужасы тогдашней военной дисциплины, того тиранства, которое делало военную службу, по выражению Якушкина, почти «каторгой». Там, где господствовала аракчеевская палка, жестокости должны были удесетеряться тем более, что и состав офицерства в военных поселениях был самый низкий, так как служба здесь вызывала у большинства в буквальном смысле слова «омерзение». И при таких условиях звучало большой иронией требование, чтобы поселенный офицер «был кроток, терпелив, справедлив и человеколюбив». На военных поселениях муштровка не только не уступала общеармейской дисциплине, но, пожалуй, даже превосходила ее. Не даром такой любитель солдатчины, как известный уже в то время «за жестокое обращение с офицерами и солдатами, за беспрерывные мелочные придирки по службе»,— великий кн. Николай Павлович, осматривавший новгородские военные поселения вместе с братом, утверждал, что он в гвардии никогда не видел таких учений. О том же фронтовом совершенстве, не раз засвидетельствованном оффициально, говорит нам и другой современник, гр. Чернышев.

Нетрудно себе теперь представить, как жилось тем, которые должны были соединить соху с обучением ружейным приемам и другим всевозможным военным экзерцициям. Военное поселение это — в сущности полковой лагерь, где повседневная жизнь регламентируется уставами и соответствующими предписаниями начальства. И по внешней форме военное поселение напоминает, как бы постоянно правильно распланированный лагерь: впереди — дорожка для начальствующих лиц, сзади — для поселян. В новгородских поселениях все дома выстроены по одному образцу, каждый для четырех поселян-хозяев. На внешнее оборудование «образцовых» поселений затрачиваются огромные деньги, дабы все отличалось той аккуратностью и единообразием, которые так любил и в своем личном поместье гр. Аракчеев. Уничтожаются все препятствия, мешающие однообразию, хотя эта пунктуальность в распланировке подчас стоит колоссальных сумм: считают, что на организацию военных поселений затрачено более 100 мил. руб. Аракчеев вообще любил строить, отчасти, как оказывается, из честолюбивых замыслов: «надо строить и строить, ибо строения после нашей смерти некоторое хотя время напоминают о нас; а без того со смертью нашею и самое имя наше пропадет». Аракчеев ошибался, дела его не забыты потомством и, вероятно, никогда не будут забыты: строения же военных поселений давно уже разрушились. Быть-может, только в заштатном городе Чугу-

еве, Волчанского уезда, Харьковской губ., сохранилась архитектурная особенность, говорящая, что здесь некогда было учреждение — пока еще единственное в мировой истории. И Аракчеев строил и достигал успеха «в той мере, какую только позволяли все усилия человеческие (его собственное выражение в докладе императору 4 ноября 1818 г.). В военных поселениях «все» было «придумано ко благу человека» — как выражался Маевский: «самые отхожие места — все царские». И чего только не было в военных поселениях: чистые шоссированные улицы на несколько верст, освещенные ночью фонарями, бульвары, госпитали, богадельни, школы, заводы, заемные банки, прекрасные дома (в которых жители, однако, зимой мерзли), в окнах занавески, на заслонках печей — амуры, родильные с ваннами и повивальными бабками; при штабе военных поселений существуют литографии (в то время еще большая новость), издается даже свой собственный журнал: «Семидневный листок военного поселения учебного батальона гренадерского графа Аракчеева полка». Не было только одного — человеческого отношения к тем, которых хотели облагодетельствовать столь оригинальным образом.

Жизнь в военных поселениях идет по раз заведенному масштабу, с соблюдением всех предписаний воинских уставов. Хозяйственные работы производятся ротами под наблюдением офицеров; отлучка на ночь допускается лишь с разрешения ротного командира. Женитьба и замужество совершаются также по приказу начальства, хотя оффициально в «положениях» и говорится, что «брачные союзы совершаются не иначе, как по обоюдному, не принужденному, добровольному на то согласию жениха и невесты». В действительности вопрос о брачных союзах разрешался проще, именно так, как это практиковалось исстари в грузинской вотчине. Составляются списки тем, кому пришла пора жениться или выходить замуж. В назначенный день собирают кандидатов для брачного союза и по жребию намечают пары. А дальше — тоже, что и в грузинской вотчине. Вигель имел полное право сказать про военные поселения: «женщины не смели родить дома: чувствуя приближение родов, они должны были являться в штаб».

Одним словом, регламентируются все семейные отношения, все подробности обыденной жизни. Особенное внимание обращается на нравственность поселян, которым предписывается быть «попечительным отцом», «добрым мужем», «надежным другом и товарищем» (последнее при развитой и усиленно покровительствуемой системе доносов). «Добронравное обхождение в кругу своего семейства, — гласит «правило», — является «как бы порукою по себе начальству в хороших качествах»... Весьма скоро, как оффициально констатировал Аракчеев, военные поселения крестьянам «очень полюбились». Дети и взрослые «приняли свойственный солдату вид», изучив солдатскую муштру, по доброй их воле без принуждения — «можно сказать играючи». Также процветали и хозяйственные работы. Во время оффициальных обозрений военных поселений Аракчеев получал со всех сторон восторженные отзывы: «Все торжественно говорят, что совершенства в них по части фронтовой, так и экономической, превосходят всякое воображение», замечает современник. Все почетные гости — иностранные принцы и посланники считают своей обязанностью с'ездить на Волхов и осмотреть это «удивительное чудо». Чудо удивительное в действительности: «там, где за восемь лет были непроходимые болота, видишь сады и огороды», писал в 1825 г. Карамзин.

«Кроме похвалы, никто из моего рта другого не слыхал», сообщает Александр верному исполнителю своих идей после осмотра новгородских поселений в 1822 году; «чудесными военными поселениями» восторгается в 1825 г. Сперанский, выставлявший в своей брошюре о военных поселениях в их пользу те самые аргументы, которые ложились в основу их при учреждении: неудобство и тяжесть рекрутчины, уменьшение государственных расходов на армию при новых условиях ее комплектования и, наконец, что особенно важно, наделение в собственность земли крестьянам-воинам.

Аракчеевские льстецы не останавливались ни перед какими похвалами военным поселениям, «основанным на истинном человеколюбии и выгодах общественных». Вот что писал, напр., о преимуществах военных поселений неизвестный нам, довольно чувствительный автор одной из записок поданных Аракчееву: «Что может быть ужаснее зрелища для каждого, имеющего хоть малейшее сострадательное сердце, с понятием о человечестве, как производство рекрутских наборов в России»... Человек, определенный «в почетное звание солдата, не сделав еще никакого преступления, везется для отдачи на военную службу, как преступник под звуком кандалов» . . . «В казенных имениях, а наиболее в помещичьих, стараются сбыть в службу развращенных и порочных людей и там почтенное звание солдат делают наказательным». Военные поселения имеют перед рекрутством огромное преимущество уже потому, что сыновья «родятся в военном звании, всасывают в себя с молоком матери дух воинственный». Кроме того, военные поселения «доставляют способы открывать природные способности: из сего класса людей могут выходить великие люди, как были примеры в России Ломоносовых, кн. Меньшиковых и пр., и природой дарованные гении не будут исчезать под сохою». Как же после этого не считать военные поселения не только полезным, но «даже необходимым для Российского Государства?»

Удачное начало заставляло развивать военные поселения, число округов которых с каждым годом растет. В 1825 г. население округов военных поселений составляло уже 374.480 человек. Помимо новгородских поселений на Волхове и близ Старой Руссы, имеются таковые в Петербургской, Могилевской, Слободско-Украинской, Херсонской и Екатеринославской губерниях. Но в действительности, несмотря на внешнее процветание, как должны были признать и современники, основные цели военных поселений не достигались. На это указывал уже Барклай-де-Толли: «вместо чаемого благоденствия» поселенец подпадает «отягощению в несколько раз большему и несноснейшему, чем самый беднейший помещичий крестьянин», и тем самым уничтожается даже и мечтательное утешение военного поселянина на будущее его благосостояние». «Нельзя ожидать, — говорил правдивый генерал, — ни успокоения воинов, ни улучшения их состояния, а в противоположность должно даже опасаться упадка военного духа в солдатах и жалобного ропота от коренных жителей».

Эта «ужасная система» (по выражению Карамзина), ошибочная в своем основании, не могла иметь никаких положительных результатов уже потому, что хозяйство в военных поселениях велось в действительности самым безобразным образом: оно не облегчало казны и разоряло крестьян. По словам Брадке, богатый крестьянин делался бедным после «приписки к военным поселениям». Иначе и не могло быть при аракчеевской системе, руко-

водившейся, по словам Маевского, правилом: «нет ничего опаснее богатого поселянина. Он тотчас возмечтает о свободе и не захочет быть поселянином». Несмотря на огромные затраты на организацию поселений, несмотря на то, что с каждым годом росли капиталы[1]) военных поселений, (из которых даже субсидировалось военное министерство), получавших все новые и новые льготы, население в такой же пропорции беднело. «Обиравшиеся со всех сторон поселяне-хозяева с трудом могли прокормить себя, а между тем, — говорит А. Н. Петров, — они обязаны были постоянно даром кормить своих постояльцев[2]) из солдат поселенных войск, доставлять овес и сено для полковых конных заводов и исполнять четыре дня в неделю казенную работу, а за поденную плату получать по 10 коп. в день».

В теории через три года по образованию округа военных поселений все войска, находившиеся в поселении, должны были находиться на полном содержании поселян без всяких расходов из казны. Поэтому постепенно уничтожались все привилегии, даруемые коренным жителям при переходе на поселение, прекращалась и выдача казенного провианта в виду того, что «теперь хозяева настолько обжились, что не только в том не нуждаются, но даже отказываются, и подобные выдачи только идут на пирушку». Данные о жизни военных поселян, собранные в 1821 г. полуофициальным путем, показывают довольно ярко, какую нужду испытывали в действительности военные поселяне: при официальных осмотрах фигурировал жареный поросенок, который из одной избы переносился в другую, в обычное же время у поселян мяса «никогда не было, соли не бывает» «часто дней по 10-ти». «Роты обыкновенно собираются в батальонной штаб на трое суток для учения, ходят всегда на таковые с одним только хлебом, без всякого приварка». При такой еде фронтовые занятия происходят от 6 часов утра до 11 ч. и от 2 после обеда до 10 ч., при чем «между учением метут тротуары и чистят канавы перед строением», «праздничных дней» во все летнее время не имеют... «заставляют ночью плести лапти к будущему дню» и т. д. Не мудрено, что при таких условиях «все поселяне изнурены так, что похожи больше на тени, нежели людей». При таком усердии благосостояние крестьян-воинов должно было быть нищенским еще и потому, что хозяйственные распоряжения военного начальства были весьма нецелесообразны. План летних хозяйственных работ, определяемый Аракчеевым, можно характеризовать одним примером из 1825 года: «люди, живущие за 80 верст, — рассказывает Маевский, — должны были, подобно волне, сменять одна другую, не оставаясь дома и двух часов». Конечно, это грозило полным разорением для поселян, но тем не менее пунктуальный Аракчеев ни за что не соглашался отменить свой несуразный план: «Печатного моего приказа ни за что не переменю прежде двух лет, — заявил он Маевскому. — А ты сделай, как хочешь, чтобы и волки были сыты, и овцы целы»... «Бережливость и чистота погребли пользу всего учреждения». И это, пожалуй, до некоторой степени верно. Когда нужно было белить избу или нечто подобное, то все уже отступало на задний план. Пусть сыплется рожь —прежде всего гигиена. В конце-концов, какова была действительность, указывает тот факт,

1) Капиталы эти Аракчеев в 1823 г. исчислял в 17.639.392 р.; А. С. Лыкошин исчисляет эти капиталы к концу царствования Александра в 32 мил.

2) Трех или четырех, а наиболее достаточные хозяева 7—9.

что число рождавшихся (о чем весьма, как мы знаем, заботился Аракчеев) в военных поселениях было значительно меньше умиравших. «При десятой доле умирающих, — рассказывает служивший в военных поселениях инженер Панаев, — смертность не считалась большой; когда умирало ⅛, тогда производилось следствие». Отсюда «надежды на избавление губернии от рекрутской повинности сделались пустою мечтою» — оффициально признавалось в 1826 г.: «ясно видно, что едва ли 6-я часть убыли может быть пополнена кантонистами».

Такова была оборотная сторона военных поселений, оффициально до 1826 г. процветавших и пользовавшихся любовью облагодетельствованных крестьян. Много раз поселенцы молят о защите «крестьянского народа от Аракчеева». В военных поселениях замечается эпидемия самоубийств, происходящих «по неизвестной причине», которая заключается в «невыносимости здешней жизни». За мольбами идут протесты и волнения (они систематически происходят и при самом водворении военных поселений [1]), которые в сущности с самого начала вводятся насильственно. В 1817 г. происходит бунт в округе Новгородских военных поселений; в 1819 г. взбунтовались поселяне в Чугуеве, заявив: «не хотим военного поселения — это служба Аракчееву, а не государю». За бунтами следуют жестокие кары. Самые видные волнения были в Чугуеве, где было арестовано 2000 человек; 275 человек были приговорены военным судом «к лишению живота». 235 человек было отослано в Оренбург, при чем не избегли наказания розгами и женщины. «Чувствительная душа» (выражение Александра I) Аракчеева смягчила наказание приговоренных судом к смертной казни: их было приказано наказать шпицрутенами, прогнав каждого через тысячу человек. Нескольким десяткам было дано от 3000 до 12.000 ударов. В действительности наказание шпицрутеном было жестокой смертной казнью: припомним, что шпицрутен это — гибкий, гладкий лозовый прут в диаметре несколько менее вершка, в длину — сажень . . .

Живого человека «рубили как мясо». Сам Аракчеев должен был признаться в письме к императору Александру, что «несколько преступников, самых злых, после наказания, законами определенного, умерли», и несмотря на такое жестокое истязательство, никто из истязуемых не принес повинной. Понятно, что на мыслящих современников, на всех тех, кого нельзя было зачислить в группу «паяцев самодержавия» (Н. Тургенев), истинное положение вещей в военных поселениях производило кошмарное впечатление. «Права собственности, права человечества — забыты», восклицал Н. И. Тургенев еще в 1817 г.

Фактические осуществители идеи военных поселений, по словам Трубецкого, делались «предметами всеобщего омерзения, и имя самого императора не осталось без нарекания», и действительно, именно под влиянием известий о том, что происходит в военных поселениях, у И. Д. Якушкина появляется даже мысль о цареубийстве . . . До Александра, конечно, доходили слухи о «петербургских праздноглаголаниях», как выражался Аракчеев. Но он считал военные поселения «одним из величайших дел своего царствования», считал их таковыми, вероятно, из обычного своего упрямства — ведь это была

[1]) Это, право, с „непривычки“, по мнению Аракчеева; или из „упрямства“ по мнению Александра.

его мысль, его идея. «Военные поселения будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова»... Действительность была не далеко от этого, но об этой действительности «по воле государя» в 1825 г. было запрещено что-либо сообщать в печати. Поистине, военные поселения были венцом реакции. Они были введены во имя благодарности за вечно незабвенную Отечественную войну; таковы, следовательно, были и окончательные итоги войны: это были «цветущие поля» и «блуждающие тени», — самое несчастливейшее зрелище, по оффициальным отзывам 1826 г. «Если сличить одно с другим, — заключает историк военных поселений А. Н. Петров свой очерк, — то эти цветущие поля, со всей справедливостью, можно было бы назвать землею крови и скорби»..

Некоторые из будущих декабристов думали, что «образование военных поселений должно послужить одной из причин «переворота». И эти предположения нашли себе отклик в оффициальной записке 1826 года, представившей самую строгую критику опасности существования в государстве «нестерпимого порабощения». «Можно ли, — писал автор этой записки, по поручению императора Николая собиравший сведения о положении военных поселений, — при настоящем брожении умов и при явно вероломных покушениях на ниспровержение престолов, равнодушно видеть целые селения вооруженные, состоянием своим недовольные и под командою офицеров угнетенных — видеть все сие у ворот, так сказать столицы, и спать спокойно». Автор приходил к выводу, что военные поселения «в политическом отношении» есть «предприятие... опасное». Военные поселения еще продолжали существовать; в них происходили бунты, усмиряемые с неменьшей жестокостью[1]), но самая идея военных поселений была подорвана.

7. „АРАКЧЕЕВЩИНА“

Устроитель военных поселений, «чародей», умевший превращать «болота» в «цветущие поля», давнишний друг императора, гр. Аракчеев, казалось, был в зените славы и влияния. «Аракчеев есть первый человек в государстве», говорил он сам о себе Мартосу. Казалось, ничто не препятствовало временщику, а тем более мистика, сокрушавшаяся о грехах, проповедывавшая христианские заветы любви и морали, а в действительности прекрасно уживавшаяся с самыми жестокими проявлениями реакции. Среди мистиков мы не слышим протестов ни против военных поселений, ни против ужасов крепостного права. При «набожном мистике», петербургском митрополите Михаиле, по высочайшему приказанию стали даже «поминать на ектении в церквах поселенные войска всех округов военного поселения».

Но при всем своем влиянии Аракчеев был завистлив и, по выражению Греча, «издавна со всею злобою зависти смотрел на успех и распространение силы Голицына». Взирая «со скотским благоговением злого пса» на верховную власть, и он подлаживался под господствующую мистику. Но вместе с тем он покровительствует той ортодоксальной реакции, которая подкапы-

[1]) При Новгородском бунте 1831 г. было осуждено до 3000 человек, из которых 7% умерло под кнутом во время экзекуции.

вается под мистику, заподозривая и в ней политическую неблагонадежность. Среди врагов мистики прежде всего оффициальная церковь. Правда, мистика увлекла в начале и некоторых из церковных деятелей, например, митрополита Михаила, архиепископа Иннокентия, архимандрита Филарета (впоследствии известного московского митрополита), который был одним из деятельных участников Библейского Общества[1]). Но огромное большинство деятелей оффициальной церкви, развивавших в проповедях положения Священного Союза (они вывешены были в церквах), как это было приказано из центра, участвовавших в библейских обществах, однако, далеко не склонно было с одобрением смотреть на возрастающее влияние мистиков и пиэтистов. «Не странны ли, — писал Шишков, — даже не смешны ли в библейских обществах наши митрополиты и архиереи, заседающие вместе с лютеранами, католиками, кальвинами, квакерами, — словом, со всеми иноверцами».

Сам по себе уже интерес к мистике все-таки обозначал некоторые искания, некоторую неудовлетворенность, по крайней мере, оффициальной церковностью. Расцвет мистики обозначал известный упадок авторитета старого узкого богословия византийского типа, которое заменяла новая «транспирация» в духе татариновских радений. Деятели оффициальной церкви не могли смотреть одобрительно и на то влияние, которое получают всякого рода заезжие пасторы, несущие с собой протестантско-мистическое влияние. Оффициальная церковность была в сущности враждебна и распространению в широких массах Св. Писания, о чем заботились библейские общества (к библейским обществам несочувственно относилось и католичество), она была враждебна той проповеди, что внутреннее откровение выше слова внешнего, которая раздавалось в устах мистиков. Она должна была протестовать против успеха, который имели в Петербурге квакеры (в 1818—19 гг.) и видеть в печатании и распространении их догматов (в лабзинском журнале) подрыв господствующей церкви, авторизированной и традициями и правительственной властью. Наконец космополитичность, заключавшаяся по идее в мистике и аналогичных течениях, вызывала протест как среди ортодоксов, так и шовинистов-патриотов типа Шишкова. Основатель «Сионской церкви» Лабзин говорил, что нет основания для разделения христиан на различные исповедания. Мистики мечтают о соединении церквей. Библейское Общество в своих идеальных мечтаниях также должно соединить все народы земного шара в одну христианскую семью. Недаром Михаил Орлов в речи, произнесенной в

---

[1]) Одним из „мистиков" в среде православного духовенства был и балтовский (Подольской губ.) священник Феодосий Левицкий, сочинения которого изданы были Л. К. Бродским в 1911 году. Этот искренний, но далеко не оригинальный проповедник, видевший в „ужасном вольнодумстве Запада" проявление духа антихриста и усматривавший, что России предназначено сделаться лоном царства Божия, которое начнет осуществляться под мощною десницею „ангела"-императора Александра I (о чем и было им представлено особое пророчество), был за свою проповедь по поводу петербургского наводнения в 1824 г. отправлен под конвоем двух фельд'егерей в Коневский монастырь для усмирения. Его проповедь очень характерна для определения ценности мистицизма. „Страшное оное наводнение, — говорил Левицкий, — не простое и не слепое натуры действие было, но собственно удар праведного суда Божия, воздающего нам по делам нашим, как сие неоднократно мною же, убогим рабом Его, весьма чувствительно в сем храме предвозвещено и самому правительству представлено, но, к несчастью, вместо плодов покаяния и благого исправления, какие торжественно Богу обещаны были, явились в сем граде плоды совсем противные".

Библейском Обществе в Киеве, рассматривает последнее «в смысле либерального установления». Один ученый того времени изобретает даже «всеобщий язык», дабы привести все народы к братскому единству и таким путем образовать единую семью небесного Отца. Истины, провозглашенные Священным Союзом, также носят универсальный характер. Вселенная есть отечество и вольного каменщика. Масоны — всемирные граждане. Все это явно грозит государству, церкви и истинной религии опасностью. Бесспорно православных должны были смущать практиковавшиеся в некоторых масонских ложах обряды воспоминания тайной вечери. И вот против Голицына образуется довольно дружный союз из «богомольного» но «слабого верой» Аракчеева, митрополита петербургского Серафима и «полуфанатика, полуплута», по отзыву Пушкина, архимандрита Фотия. Неподвижность мысли, застой и верность традициям — единственно прочное основание для государственной мощи. С этим согласны многие реакционные староверы, как западно-европейские, так и русские. «Кажется очевидным, — писал покровитель иезуитов Жозеф-де-Местр, — что библейские общества орудие социнианское, выдвинутое для ниспровержения общества церковного». То же самое писал и Ростопчин еще 3 июля 1813 г. (в письме к Балашову): «В сем заведении (библейских обществах) я пользы никакой не предвижу». «Я тут нахожу новые затеи иллюминатов и мартинистов, кои из Библии сделали себе духовное маскарадное платье». Между мистикой и ортодоксией — «православной дружиной» идет с самого начала тайная борьба, полная интриг и клеветы и обвинений в неблагонадежности; не даром еще в 1813 г. современник, будущий министр народного просвещения Николая I и оплот тогдашней реакции, гр. Уваров отметил полную путаницу, которая господствует в представлениях правящих кругов. «Состояние умов теперь таково, — писал он, — что путаница мыслей не имеет пределов. Одни хотят просвещения безопасного, т.-е. огня, который бы не жег, другие (а их всего больше) кидают в одну кучу Наполеона и Монтескье, французские армии и французские книги, бредни Шишкова и открытия Лейбница; словом этот хаос криков, страстей, партий, ожесточенных одна против другой, всяких преувеличений, что долго присутствовать при этом зрелище невыносимо: религия в опасности, потрясение нравственности, поборник иностранных идей, иллюминат, философ, франк-масон, фанатик и т. п. Словом, полное безумие».

Уваров пишет это бар. Штейну по поводу «соблазнительного» пререкания, происшедшего между арх. Феофилактом и арх. Филаретом по поводу изданной первым книги с разрешения светской цензуры: «Эстетические рассуждения» Ансильона. В одном месте у автора говорилось, что «в большей части обществ новейших политическая свобода совершенно исчезла». Причиной исчезновения является то обстоятельство, что «один человек является, другие ничто иное суть, как послушные орудия, верные исполнители его повелений».

По этому поводу Филарет в своей критике восклицал: «Да услышат блюстители общественного благоустройства и спокойствия... как называется общество, в котором «один человек является»... Это монархия... Итак... политическая свобода исчезла потому, что правление есть монархическое? Итак, политическая свобода... только в мятежах и ужасах революции?»

Политический донос вызывает достойный ответ в опровержении Феофилакта: «Да услышат владыки земные, не республиканские ли подданным их

преподаются наставления, когда утверждается, что могут они пользоваться и политическою свободою... Между тем всякий верноподданный должен быть верным только исполнителем своего законодателя... «Всяка душа властем придержащим да повинуется»... Такие взаимные обвинения в иллюминатстве, т.-е. неблагонадежности были не редкость.

Любопытную и поучительную страницу этой действительной «путаницы» могла бы дать страница из истории тогдашней духовной цензуры, раскрытая в исследовании г. Котовича «Духовная цензура в России». Мистики преследуют все книги, направленные хотя бы косвенно против них. Но мистика главенствует, и духовная цензура ортодоксии применяет любопытные приемы молчаливой, пассивной оппозиции против книг мистического содержания, задерживая рассмотрение их по 3—4 гг., оттягивая свои ответы под всякими благовидными и неблаговидными предлогами.

Любопытно и то, что в противовес петербургским мистическим влияниям на первых порах именно в Москве создается центр той «православной дружины», которая, приобретя авторитетных покровителей, выступила, в конце-концов, открыто против мистики и сломила ее, доказав ее как бы политическую неблагонадежность.

В Москве возгорается небезынтересная даже литературная полемика: не имея возможности появиться в печати, она находит распространение в рукописном виде. С осуждением книг мистического содержания выступает в 1816 г. настоятель Симонова монастыря арх. Герасим, находивший все эти книги противными Священному Писанию. С реабилитацией мистики выступает старый лопухинский ученик Максим Невзоров, обрушившийся с резкой критикой против духовенства: «Нельзя, к сожалению, здесь пройти молчанием, что древле и ныне, по всей Европе и всем христианским государствам в свете и даже, наконец, у нас в России против истинно-христианских книг первые восстают духовные. Полвека у нас продолжается издание разных философских, к падению религии служащих, книг, вольтеровских и подобных, но я не слыхал, чтобы духовенство, движимо будучи ревностью к истинному христианству, решилось делать правительству против заразительных сих книг формальные представления. Но лишь только дается свобода выходить истинно-христианским сочинениям, оно первое начинает против них вопиять».

«Ругательные бумаги» Невзорова вызывают со стороны некоего кол. асессора Соколова жалобу в Синод, с предложением сжечь или остановить выпуск «несправедливо защищаемых» Невзоровым «нелепых книг». Некий другой губернский секретарь Смирнов в то же время непосредственно обращается к Александру по поводу книг, изданных в 1815—1816 гг., имеющих «благовидную наружность», но «гибельную внутренность», как «ведущих к потрясению христианства, престолов и к образованию тайных обществ, стремящихся владычествовать над миром».

Но московские ревнители веры, очевидно, в то время недостаточно еще ориентировались в положении дел: мистика казалась несокрушимой, и Синод лишь был молчаливым орудием в руках авторитетно стоящего кн. Голицына. В правительственном настроении чувствуется однако уже некоторый поворот не в пользу мистических исканий: «В лето 1822 благодатное» Фотий отмечает уже, что «участь Голицына становится все сомнительнее».

Чуткие люди даже из голицынских адептов стремятся уже повернуть фронт: едва ли ни первым был Магницкий, недавно еще столь ревностный насадитель библейских обществ. Магницкий — типичная фигура перебежчика. Ядовитейшую характеристику этого «святого человека» дал Воейков в своем «Доме сумасшедших»:

«Я, как дьявол, ненавижу
Бога, ближних и царя.
Зло им сделать сплю и вижу
В честь Христова алтаря!
Я за орден — христианин,
Я за деньги — мартинист,
Я за землю — мусульманин,
За аренду — атеист!»

Магницкий идет на поклонение в Мекку к «Змею-Горынычу», а за ним тянутся и другие. В антиголицынском лагере будет и директор его канцелярии Ширинский-Шихматов, представивший Александру целую записку «о крамолах врагов России», направленную против библейских обществ: он обличал здесь «хитрость врагов нашей церкви и отечества», заключавшуюся между прочим в том, что они, в намерении уронить достоинство священных книг, продавали их по самой низкой цене; а чтобы возвысить мнимое достоинство своих зловредных книг, продавали их очень дорогой ценою. В этом лагере обвинителей будет и «ревнитель веры» известный нам реакционер Стурдза, но все же истинной душой этого заговора является юрьевский архимандрит Фотий — самый типичный ортодоксальный фанатик и изувер.

Ничем не знаменитый Фотий, — грязный, цинический в манерах и выражениях самый дюжинный монах — так характеризует его Бороздина, сумел приобрести дамское расположение, и особенно в лице гр. Орловой, имевшей большие связи при дворе и сделавшейся самой верной последовательницей юрьевского архимандрита, его рабой, чуть ли не снимавшей с него сапоги. Через нее Фотий проникает к кн. Голицыну и к самому Александру; как хитрый лицемер, умеет их расположить в свою пользу и постепенно подготовить падение кн. Голицына, а вместе с ним и всей мистики, — этого «беззаконного сборища из всех сект». Недалекий, но в то же время и незлобивый князь Голицын легко поддался влиянию Фотия. В тот самый момент, когда Фотий записывает, что положение Голицына поколебалось (1822 г.), он доставляет своему врагу цветы, а тот называет Фотия «человеком необыкновенным», «разговор» с которым «имеет силу, которую один Господь может дать». Он обращается «с разрешения и благословения любезного нашего отца Фотия» к своему ярому врагу гр. Орловой с братским наименованием: «Сестра во Господе». Усыпляя бдительность Голицына, «отче преподобный Фотий» проникает во дворец, где в течение 1822—1824 гг. не раз беседует с царем «о делах веры и отечества». Все эти разговоры сводятся к одному: «Эта новая религия (т.-е. все лжеумствования о так называемой внутренней церкви, т.-е. никакой, как выражался по другому Шишков) есть вера в грядущего антихриста, дышащая единою революциею, жаждущая кровопролития, исполненная духа сатанина». Другими словами, «новая религия» подрывает основы веры, а вместе с тем и государства.

Все книги, изданные в период господства Голицына, содержат гибельную внутренность, ведущую к потрясению христианства, престолов и к образованию тайных обществ, стремящихся лишь к владычеству мира. Иезуиты, масоны, иллюминаты, якобинцы и все остальные заключили таинственный заговор, чтобы разрушить порядок и нравственность. Вся цель Голицына, — констатирует записка Фотия в 1824 г., — ниспровержение самодержавия и веры. Фотий готов утверждать даже, что мистики в 1817 г. хотели совершить покушение на Александра, и в частности в содействии этому обвиняет Лабзина.

«О сем опубликовано было, — замечает Фотий в своем «Историческом повествовании о делах Церкви Христовой и веры православной» (1824 г.), — в «Сионском Вестнике» следующими словами: «Той, кого нетерпеливость влечет, как Петра, ударить ножом, да молится: «Господи! Даруй сердцу моему терпение!» Будем, братья, ждать, пока Господь на то воззовет, как воззвал Илию на избиение Вааловых жрецов!»

Протестантские пасторы, в роде популярных Фесслера, Госнера, «хуже Пугачева», по мнению Фотия . . . Но не только они вредны: сам Греч ни более ни менее как «первый злодей, содействующий пагубе России». Для того, чтобы «остановить революцию», надо уничтожить министерство духовных дел, библейские общества и духовенству поручить надзор за просвещением. Так отвечает Фотий в письме на запрос Александра: что надо делать.

Пугачев и революция—вот два пугала, которыми можно было устрашить более всего и правительство и общество. Вероятно, находились наивные обыватели, которые, действительно, верили в существование какой-то тайной секты, стремящейся ниспровергнуть все основы государственные. По крайней мере, Сперанский в письме к Столыпину 22 февраля 1818 г. пишет: «Из письма вашего я вижу, что там еще ныне верят бытию мартинистов и иллюминатов. Старые бабьи сказки». Но эти старые сказки незадолго перед тем повторял никто иной, как Ростопчин в записке, представленной в 1811 г. великой кн. Екатерине Павловне по поводу мартинистов; запрещение масонства в 1799 г. он об'яснял тем, что масоны хотели убить Екатерину II, и что жребий даже пал будто бы на Лопухина[1]); тоже повторял позже «якобинец» Магницкий.

Вряд ли Александр I верил этим сказкам, усиленно распространяемым антимистиками. Но в этих сказках можно было найти опору для еще большего усиления реакции против возрастающей оппозиции в обществе и прежде всего для закрытия масонских лож, направление которых с точки зрения правительственной власти стало приобретать нежелательный характер.

Новые течения в масонах грозят сделать ложи гнездом иллюминатства и либерализма, докладывает в своей записке 1821 г. масон Кушелев, принявший должность великого мастера с согласия мин. вн. дел Кочубея исключительно в целях, чтобы «сие звание не впало в руки хищного волка или злоумышленного изверга». Ген.-губернаторы с «таким чутьем», как маркиз Паулуччи и кн. Волконский, уже в 1818—1819 гг. закрыли в своих губерниях масонские ложи. В 1821 г. закрыты все масонские ложи в Бессарабии в силу

---

[1]) Любопытно, что аббат Жоржель, приезжавший в Россию при Павле, обвинял самого Ростопчина в сношениях с иллюминатами. Действительно, полная неразбериха.

донесения о «кишеневских новостях» — в ланкастерских школах толкуют о каком-то просвещении. В то же время над всеми масонами было учреждено негласное наблюдение, запрещено было даже печатание масонских песен, а 1-го августа 1822 года масонские ложи были окончательно запрещены, равно как и все вообще «тайные общества». Мотивом были выставлены «беспорядки и соблазны, возникшие в других государствах от существования разных тайных обществ», ближайшим образом имелось в виду, как передает своему правительству Буальконт — направление польского франкмасонства. «Все без исключения тайные общества, доказывал маркиз Паулуччи[1]) в записке о масонских ложах в Остзейском крае, — принадлежат к числу средств, которыми пользуются для уничтожения всего существующего». Под личиной усердия и благочестия проскальзывают эмиссары новых учений — политических и религиозных. Паулуччи мог иметь в виду организации в Курляндии тайного общества «Вольных Садовников», поставивших себе целью, как утверждал в своих показаниях декабрист Бестужев-Рюмин, добиться присоединения своей родины к Польше в виду существования в последней конституционного образа правления[2]).

Конечно, масонство само по себе не играло здесь никакой роли. Не даром тот же сенатор, масон Кушелев — доброволец по политическому сыску — и тот должен признать в своем донесении 22 июля 1822 г., что например, тайная ложа Лабзина, членом коей он состоял «единственно по верноподданической приверженности», не заключала в себе ничего «необыкновенного и вредного». Не даром консервативный Михайловский-Данилевский, несведущий «в предметах, касающихся до политики», неодобрительно отнесся к закрытию масонских лож, не имевших «другой цели, кроме благотворения и приятного препровождения времени», на даром Ланской, управляющий союзом Великой Провинциальной Ложи, после закрытия лож считает нужным пояснить, что в ложах не допускались «никакие политические толки» и что членам «воспрещалось» иметь какие-либо «сношения» с другими тайными обществами.

Причина преследования тайных обществ заключалась не в масонстве, а в том, что после семеновской истории «прежний розовый цвет либерализма — как выражался Вигель — стал густеть и к осени переходить в кроваво-

---

1) Паулуччи в тех же козням заподозревал и бар. Крюденер, и Александру приходилось в 1818 г. убеждать в противном своего подозрительного администратора: “Pourquoi avoir troublé la tranquillité d'êtres, qui ne s'occupent, que de prières à l'Eternel et qui ne font de mal à personne“. Но оказалось что политическая пифия эпохи Священного Союза занималась не только небесным и божественным, и Александр сам удалил ее из Петербурга.

2) Ярким образцом этой реакционной оценки масонства может служить позднейший донос Магницкого об иллюминатах, поданный в 1831 г. Николаю I. Масоны это агенты „для разрушения не только алтарей и тронов, но и всех правительств, какого рода они ни были и даже оснований всякого гражданства и образованности“. Итак цель ордена иллюминатов: освобождение народов от государей, дворянства и духовенства. Магницкий далее поясняет название иллюминатов-мартинистов; последние тождественны масонам. С их деятельностью не совместима любовь к отечеству. С дьявольской хитростью, в целях пропаганды, они всех друзей трона выдают за иезуитов.... Около масонства об'единены заговорщики „берлинские, сенские, веймарские, готские, эрфуртские, брауншвейгские и шлезвигские“... Все данные общества зависят от всемирного братства иллюминатов и т. д.

красный», другими словами, по донесению Лафероннэ, Россия в силу распространения смелых теорий становилась менее других защищенной от бурь, которые угрожают Европе.

«Постыдное злоключение» в Семеновском полку было приписано Александром деятельности тайных обществ: «это вне сомнения действие подстрекательства офицеров». Аракчеев даже убийство своей свирепой любовницы об'ясняет в письме к императору тем же «посторонним влиянием». За армией устанавливается бдительный надзор; для выяснения ее настроения учреждается специальная полиция, на которую, по личному приказанию Александра «без всякой формальной бумаги» из министерства финансов отпускается 5 т. руб. Надо уменьшить число «негодяев и говорунов», соблюдая, однако, всю осторожность в «секретных делах полиции, дабы они не разглашались в публике», пишет П. М. Волконский Васильчикову из Троппау 24 ноября 1820 г. Чрезвычайно любопытен прием, к которому прибегают для открытия имени «болтунов»: помимо наблюдения за офицерами, ездящими в Кронштадт в масонскую ложу, Волконский распоряжается установить за солдатами Преображенского полка наблюдение «через девок, поименованных в записках». Через полгода из Лайбаха 17 апреля 1821 г. Волконский вновь пишет Васильчикову, что в виду неутешительных сведений о духе, господствующем среди молодежи, надо «заставить . . . молчать наибольших говорунов» (арестовать некоторых). «Дела в Италии и Пьемонте могут служить хорошим примером всем этим краснобаям». Все эти распоряжения отдаются по личной инициативе Александра в виду доходящих слухов, что в Преображенском полку разговаривают «насчет истории Семеновского полка и о том, что ежели не вернутся арестованные . . . то они докажут, что революция в Испании ничто в сравнении с тем, что они сделают». И эти опасения во всяком случае были небезосновательны: вспомним, что Н. И. Тургенев записал 13 февраля 1820 г.: «Слава тебе, слава тебе, армия гиспанская». Под таким же впечатлением полулиберал, полуконсерватор Вяземский восклицает (в письме к Тургеневу): «Когда скажу себе: в России русскому жить можно; он имеет в ней отечество».

Под влиянием именно этих настроений и происходит закрытие масонских лож, дабы никто не мог бы прикрывать дела политические праздными собраниями для «приятного времяпрепровождения». Правда, результаты будут иные, как предусмотрительно отмечала еще в 1819 г. петербургская полиция: в случае закрытия масонских лож, они все равно будут существовать — только останется в них одна «сволочь», которая превратит ложи «в сборища разврата». Правительство преувеличивало силы действительной оппозиции. По словам принца Вюртембергского, Константин Павлович рассказывал ужасы о мятежном настроении войск, и в особенности гвардии: «Стоит кинуть брандер в Преображенский полк, и все воспламенится». Но хотя «заражение умов» и было «генеральное», в среде либералов, конечно, было много «Рептиловых, фанфаронов, повторявших фразы людей с высшими взглядами» как выразился Греч. В обществе и на либерализм была мода: Вигель прямо был оглушен «новым непонятным сперва для меня языком, которым все вокруг меня заговорило» (после 1812). В это время (1820), по признанию Греча, и он сам был «от'явленным либералом». Но Греч с успехом может быть отнесен к числу тех, которые повторяли «фразы людей с высшими взглядами». Сознательных граждан было еще слишком мало.

И если бы Александр оценил действительное положение дел, то он, «может быть решился бы сыграть с вами плохую шутку», сказал ген. Ермолов Н. И. Тургеневу[1]).

Александр не знал однако истинной силы тайных обществ и боялся их. Боязнь вспышки на подобие Испании заставляла воздерживаться от активных выступлений, но в то же время усиливать реакцию: правительствам не дано усвоение истины, что реакция мало способствует успокоению революционных настроений, а лишь усиливает их.

«Общее мнение не батальон, ему не скажешь: смирно» сказал еще Греч. А это общее мнение, во всяком случае, решительно осуждало крайности реакции, затрагивавшей подчас своей неумеренностью и элементы не только благонамеренные, но по своему существу и реакционные. Так было и с мистикой, которой ортодоксальной реакции, действовавшей и по личным мотивам, удалось нанести окончательный удар и свалить в 1824 году. Это «лето» еще более «благодатное», чем предшествующие годы, обнаружило, что в Петербурге пользуется большим успехом проповедь двух заезжих католических пасторов Линдля и Госнера, которые, по словам Греча, «не отрекаясь от католицизма, проповедывали какой-то мистический протестантизм». Магницкий Рунич, Кавелин и все другие приспешники Голицына «окружали их кафедры, выворачивали глаза, вздыхали, плакали, становились на колени» (Греч).

Госнер написал особые толкования на Новый Завет, которые были переведены на русский язык и печатались с одобрения Голицына в типографии Безака и Греча, за что последний, очевидно, и попал в число первых злодеев в глазах Фотия. При содействии Магницкого и обер-полицмейстера Гладкова, числившегося также в «православной дружине», из типографии была выкрадена корректура части этой книги — «о Евангелии Матфея» «явно противной христианству» и препровождена к Аракчееву. Эта «безбожная и богохульная» книга и послужила поводом к ликвидации оффициальной мистики.

Шишков с друзьями, занявшись ее рассмотрением, нашел в ней явную и очевидную цель «под видом толкования евангельских текстов проповедывать ниспровержение всякой христианской веры». Но этого мало: книга представляет собой «позыв на восстание против всех первосвященников, всех вельмож и царей». Не безынтересно, быть-может, привести пример тех толкований, при помощи которых Шишков приходил к выводу о революционности книги.

Госнер писал: «Христианин не желает иного отечества, кроме обширного шара земного, принадлежащего Господу».

Шишков: «Не разврату ли, не сущу ли разрушению всех добродетелей, учит нас здесь проповедник?» Он «не велит иметь отечества, следовательно, ни алтаря ни государя».

— «Спаситель избавил народ Свой от грехов мучения и власти». Шишков: «темнота выражения сего смешивает адское мучение и дьявольскую власть с законною властью земных правителей».

В результате Госнер был выслан 25 апреля 1824 г. заграницу, а цензор

[1]) То же Ермолов говорил и Фонвизину: „Он (Александр) вас так боится“.

предан суду. 15 мая перестал быть министром и кн. Голицын, а его помощники сменены, при чем Попов также был предан уголовному суду.

«Избиение вааловых жрецов» произошло. «Несчастие пресеклось, — писал по этому поводу Фотий, — армия богохульная паде... общества все богопротивные, якоже ад, сокрушились». Кто же спас отечество от всех неисчислимых зол, которые ему грозили? «Молился об Аракчееве, — сообщает Фотий: — он явился раб Божий, за святую церковь и веру, яко Георгий Победоносец».

Радостью встречают весть об отставке Голицына и его присных московские патриоты, боровшиеся ревностно заодно с петербургской православной ратью: «Мартинисты — восклицает в письме известный нам Александр Булгаков — пора их всех истребить. Общее мнение столь поражено карбонарами, что все секты относятся к ним. По крайней мере сим обнаружен благонамеренный дух нашей столицы».

Министром на место Голицына сделался за «сочинение нелепого разбора» книги Госнера вождь литературных староверов, «выживший в то время из ума бестолковый Шишков». Если уже в 1820 г. Тургенев в тисках русской жизни восклицал с отчаянием: «Душно, душно!»... «Тут невежды со всех сторон ставят преграды просвещения, там усиливают шпионство»...

Что же приходилось сказать теперь, когда действительно «гас последний луч надежды». Ортодоксальная реакция была еще мрачнее мистической. Прежде всего естественно изгнана была мистика.

11 декабря 1824 г. митрополитом Серафимом под влиянием «православной дружины» была представлена Александру записка о необходимости закрыть библейские общества [1]), ибо «чтения священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и провести в нем междоусобие и бунт». Библейские общества придумали «хитрый и злодейский план»... Перевод Св. Писания на простое наречие одно из средств к поколебанию веры, ибо «если язык домашнего воспитания в законе Божием будет различен с языком служения в церкви, то из сего непременно долженствует произойти соблазн». Оставалось только ввести и в домашний обиход церковно-славянский язык. По словам Шишкова, Александр отклонил представление митрополита на том основании, что «правительству надлежит быть твердым в своих постановлениях». Тогда уже Шишков принимается за составление более сильной записки в доказательство вреда, могущего последовать от перемены «языка церкви на язык театра в священных книгах». Библейские общества имеют одно намерение «составить из всего рода человеческого одну какую-то общую республику и одну религию: мнение мечтательное, безрассудное, породившееся в головах или обманщиков или суемудрых людей». «Не странны ли — писал Шишков — даже не смешны ли в библейских обществах наши митрополиты и архиереи, заседающие вместе с лютеранами, католиками, кальвинами, квакерами, словом со всеми иноверцами».

---

[1]) Он также был деятельный до времени член библейских обществ и на заседаниях произносил громовые речи против вольнодумства и неверия, пробуждающих „самовольство, непокорение власти, Самим Богом для блага обществ установленной“. Все это от „врага рода человеческого“ — сатаны.

«Будь прямо, русский царь» — заключает Шишков свою записку. — «Возвысь дворян, ограду твоего престола! Будь отец народу, но не давай возмущать себя преждевременным внушением о вольности, вовлекающим его в своевольство... Одно слово твое, один взор рассеет в царстве твоем всех вольнодумцев»...

На ряду с библейскими обществами, конечно, подверглись опале все «богохульные книги», изданные за время господства мистицизма. С другой стороны, по мнению Магницкого, от книг русских профессоров пошло все новое вольнодумство в Европе; поэтому надо усилить цензуру. Шишков совершеннно согласен с таким положением. Еще в 1815 г., когда цензура искореняла довольно тщательно «затеи буйной философии», Шишков входил с представлением о слабости цензурной. Сделавшись министром, он находит необходимым «поскорее устроить цензуру, которая до сего времени, нужно сказать, не существовала». И 25 мая 1824 г. Шишков испрашивает Высочайшее позволение: «Сделать план, какие употребить способы к такому и скорому потушению того зла, которое, хотя и не носит у нас имени карбонарства, оно есть точно оное».

И начинается полное мракобесие, когда уже ничто не могло, по словам Фадея Булгарина, будущего шишковского продолжателя, защитить «бедную литературу от невежественных когтей цензора», когда даже филаретовский катихизис и тот был заподозрен чуть ли не в революционности.

Когда, никто иной как сам Магницкий, прислал под псевдонимом в цензурный комитет рукопись «нечто о конституции», где доказывал превосходство неограниченной монархии перед конституционной, то комитет ответил уже так, как в свое время Голицын ответил по поводу рассуждений о крепостном праве: комитет «не находит нужным, ни полезным в государстве с самодержавным образом правления публично рассуждать о конституциях». Да, «худая песня соловью в когтях у кошки» — заметил по этому поводу Крылов в соответствующей своей басне.

Весь александровский либерализм окончательно был похоронен.

Осуществляется целиком принцип Жозефа де-Местра: «Замедлять царство науки и присоединить к верховной власти могущественного союзника во власти церковной».

В период мистической реакции, пожалуй, была одна хорошая сторона — это некоторая веротерпимость. Теперь и в церковные дела проник дух «застенков и казарм» — Суздальская монастырская тюрьма становится уделом религиозных мыслителей, не подчинившихся увещаниям «отче преподобного» Фотия (есаул Колесников).

Реакция углубляется и во всех других сторонах жизни. Если административный произвол не редкость и в прежние годы (ссылка Лабзина в 1822 г., Пушкина и т. д.), то теперь он достигает циничной прямоты. Вместе с тем происходит полный развал государственного механизма. Высшие государственные учреждения теряют свой авторитет и над ними высится единоличная власть временщика. Допустим, что Аракчеев, сам называвший себя «пугалом мирским», действительно был человеком «большого природного ума» (мнение де-Местра), «необыкновенных способностей и дарований» (фон-Брадке), умевшим «расставить людей сообразно их способностям» (Батен-

ков), во всяком случае, «злодейские качества Аракчеева [1]), то исключительное положение, которое занял грузинский отшельник в управлении государством, когда «члены Государственного Совета и министры относились к нему по повелению императора в большей части случаев, где требовалось высочайшее разрешение» (Якушкин), делали совершенно несносным положение вещей: «все государство трепетало под железною рукою любимца-правителя». И «никто не смел жаловаться».

«Едва, возникал малейший ропот — вспоминал впоследствии Н. А. Бестужев — и на вечно исчезал в пустынях Сибири и в смрадных склепах крепостей». И тот же Бестужев отметил еще одну черту: «Где деспотизм управляет, там утеснения — закон». И действительно, состояние администрации во вторую половину царствования Александра I представляет самую «жалкую» картину. Уже сенаторские ревизии 1815—1816 гг. достаточно ярко показали, что «народ страждет от грабительств» чиновников. Честным людям не было места при Аракчееве; «для нынешней службы, — писал еще 7 апреля 1818 г. матери молодой Рылеев, — нужны подлецы». Каховский в таких словах охарактеризовал состояние России в последние дни, казалось, столь «блестящего» царствования: «У нас нет закона, нет денег, нет торговли, у нас внутренние враги терзают государство; у нас тяжкие налоги, повсеместная бедность».

Многим из современников казалось, что Россия пошла по такому пути потому, что Александр с каждым днем «все более и более отчуждался от России» (Якушкин), потому что Александр, «забыв все свои обязанности относительно России . . к концу своего царствования предоставил все дело управления страною известному Аракчееву» (А. Н. Муравьев). В другой статье мы уже указывали, что это была только иллюзия современников. Предоставляя Аракчееву за своей подписью бланки, «вследствие чего, — говорит В. И. Семевский, — он мог даже без доклада государю заключать в Шлиссельбургскую крепость вызвавших его гнев и ссылать в Сибирь», Александр, тем не менее, тщательно следит за всеми фазами внутреннего управления.

«Цари преступили клятвы свои» — писал Каховский по поводу Священного Союза. «Монархи лишь думали о удержании власти неограниченной, о поддержании расшатавшихся тронов своих, о погублении и последней искры свободы и просвещения». Но и в этом «монархи» были лишь отголосками той социальной среды, которая поддерживала их во имя борьбы с «преступной» революцией.

Мы только что видели результаты, к которым привела реакция в России, когда «исступленных любителей метафизики» сменили ортодоксальные

[1]) Чуть ли не все современники называют Аракчеева „злодеем“, даже „самые преданные государю люди“, напр., кн. П. М. Волконский и др. Они „открыто“, по словам Завалишина, толковали о необходимости положить конец влиянию Аракчеева. Но не следует слишком полагаться на этих „царедворцев“, завидовавших Аракчееву и тем не менее раболепствовавших перед временщиком и считавших, по словам декабриста Булатова, „за счастье целовать руки любимицы графа“, т.-е. Анастасии Минкиной. Образцом раболепия перед временщиком может служить герой 1812 года гр. Милорадович. О нем — писал С. Н. Глинка — „можно сказать Корнелиевым выражением: В Риме не было уже Рима. Он облек себя личиною лести. Раболепствовал перед Аракчеевым, толкаясь иногда по получасу в его приемной. И при появлении самого гр. Аракчеева гр. Милорадович изгибался в три погибели“.

изуверы и Скалозубы с их девизами в школах «лишь учить по-нашему: раз! два! а книги сохранять так, для больших оказий»; рвение к мистике в аристократическом обществе исчезло как «по сигналу» . И это более чем понятно: «Все зависело от двигателя, пускавшего в ход машину, — замечает в своих записках Рунич: — во время министерства Кочубея и его души — Сперанского все были ханжами. Во время милости Аракчеева все были льстецами» [1]).

Полуоффициальный мистицизм, так легко павший под ударами ортодоксальной реакции, еще раз показывал, как в сущности неглубоко захватывал он русское общество. Правда, это общее увлечение неизбежно должно было оказывать некоторое влияние на миросозерцание современников, окрашивать его известной долей религиозной мечтательности. Мы ее видим отчасти даже среди будущих декабристов. Но, конечно, эта мечтательность в своей сущности была очень далека от выше очерченного мистицизма, враждебного всему тому, что носило отпечаток научности. Мечтательность эта скорее приближалась к раннему философскому идеализму николаевского времени; она являлась скорее плодом реакции, когда люди вообще склонны уходить от мира реального в мир воображаемый. Если александровская мистика питалась в своей философской части от корней немецких, то из тех же источников шли и другие течения, развивавшиеся параллельно и в противовес мистике. Во имя позитивизма, во имя разума они поднимали знамя борьбы против всех иррациональных начал жизни. Не даром реакционер Рунич писал, что вся новая «немецкая философия . . . дерзко подрывает основы Священного Писания» . . .

Мистицизм не оказал никакого влияния на русскую литературу. И его одиночество показывает, что он был наносным явлением, не имевшим под собой реальной почвы. На смену слащавого и бессодержательного сентиментально-романтического направления начала александровских дней шел новый романтизм, полный гражданского гнева: поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. И эта гражданская поэзия Рылеева с ее смелым обращением «к временщику», с ее горячими призывами к борьбе за свободу родины и к самопожертвованию; вольнолюбивые произведения Пушкина — вполне гармонировали с теми карбонарскими настроениями, которые, действительно, а не только в воображении Шишковых растут в просвещенном русском обществе под влиянием роста реакции, а не той мистической, конечно, литературы, в связь с которой впоследствии в своих записках ставил Шишков события 14 декабря 1825 г.[2]).

Эти события были таким образом неизбежной развязкой царствования Александра. Стоит прочитать замечательное письмо Каховского из крепости 24 февраля 1826 года, чтобы понять психологию тех, кто вошел в историю с наименованием декабристов. «Народы, — писал Каховский, — постигли святую истину, что не они существуют для правительства, но правительства для них должны быть устроены. И вот причина борений во всех странах;

---

[1]) Эту характеристику уместно применить по отношению к самому Руничу.

[2]) Потрясена была „вера" всеми лжеумствованиями о так называемой внутренней церкви, т. е. никакой. Подобно Шишкову оценивал декабрьские события и обывательский мир: после 1825 г. тамбовские мещане писали царю Николаю: „мы за тебя, государь, стояли, хотим истребить масонов".

народы, почувствовав сладость просвещения и свободы, стремятся к ним; правительства же, огражденные миллионами штыков, силятся оттолкнуть народ в тьму невежества. Но тщетны их все усилия; впечатления, раз полученные, никогда не изглаживаются. Свобода есть светоч ума, теплотворная жизнь была всегда и везде достоянием народов, вышедших из грубого невежества».

В литературе не раз были совершены неудачные попытки представить декабрьское движение как движение дворянское. Но каковы бы ни были оттенки воззрений отдельных декабристов, все движение носило яркий отпечаток протеста во имя народных интересов. «Дворянство,—констатировал Бенкендорф в своей записке о тайных обществах в 1820 г., — по одной уже привязанности к личным своим видам, никогда не станет поддерживать какого-либо переворота». Или, вернее, поддержит его тогда, когда этот переворот не направлен против попрания сословных привилегий. Александр I не был антидворянским царем в первые годы своего царствования и был царем по преимуществу дворянским, начиная с 1812 года, хотя и не любил так дворянства. И дворянский публицист Ростопчин, в конце-концов, по своему верно определил характер движения 14 декабря 1825 года: обыкновенно сапожники хотят быть дворянами, а у нас дворяне захотели быть сапожниками.

ОДИН ИЗ РУССКИХ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ.[1])

Изданная Я. Л. Барсковым «Переписка московских масонов XVIII в.» очень убедительно подчеркивает высказанную уже не раз мысль, что русские масоны отнюдь не были передовыми борцами за культуру и за новые общественные идеалы. Даже в лице лучших своих представителей — розенкрейцеров новиковского кружка — старое русское масонство в сущности не шло далее проповеди обыденной житейской морали. Искания великих «масонских истин», идеи нравственного обновления человечества не преломлялись у наших теософов и мистиков в требования новой жизни — политические консерваторы, какими в действительности были страшные «фармазоны», всей своей сущностью в значительном большинстве прилеплялись к старому социальному и религиозному укладу.

Едва ли можно теперь поколебать эту бесспорную уже истину, долгое время затуманенную для исследователей масонства казовой стороной действительно гипнотизирующих ум и чувство таинственных заветов и традиций всечеловеческого равенства, которое несло с собой яко бы масонское братство. Поиски «истинного масонства» гипнотизировали и современников. Тщетно Новиков искал реального признака для безошибочного распознавания «истинного масонства от ложного». Это был призрак, постоянно ускользавший, по меткому выражению Я. Л. Барскова, от вопрошающего, и масоны в поисках незримого света, открывавшегося лишь посвященным на высших ступенях масонских знаний, в конце-концов запутывались в цепких тенетах мистицизма, теософии и кабалистики. За просветительной деятельностью новиковского кружка останутся, конечно, большие исторические заслуги, но эту плодотворную деятельность едва ли можно ставить в связь с увлечением масонством[2]). Не облекись в модную масонскую тогу деятельность просветителей XVIII в., она была бы гораздо более плодотворна для русской общественности и направилась бы в другую социальную среду. «Рабства враг» Радищев стоял бы не так одиноко на рубеже XIX века, если бы дебри розенкрейцерских премудростей не увлекли за собой таких выдающихся для своего времени людей, каким был Н. И. Новиков.

«Философия наделала им много вреда» — сказал Грановский по поводу гегелевских исканий Белинского и его друзей. И это была правда. Пожалуй, то же можно сказать и про новиковский кружок — масонство наделало им много вреда. Конечно, никакие алхимические и кабалистические вы-

---

[1]) Напечатано в „Голосе Минувшего“.
[2]) Новиков сделался масоном в 1775 г.

кладки не могли затушевать моральной ценности такой крупной индивидуальности, какою был в годы расцвета своей деятельности Новиков. Но не то обстоятельство, что Новиков был ритором «теоретического градуса соломоновых наук», поставило его в ряды родоначальников русской интеллигенции. Новиков-масон в истории русской мысли стоит где-то на втором плане, так как и само масонство оказалось явлением скорпреходящим, явлением наносным. Хотя русские — по отзыву известного масона бар. Шредера — и очень любили теософию и мистические книги, хотя увлечения мистикой много раз периодически возрождались с разными оттенками в известных слоях русского общества, — они никогда не делались господствующими умственными течениями. Если мистика в эпоху Александра I после отечественной войны и захватила широкие общественные круги, если на Штилингов. Эккартсгаузенов проявлялся необычайный спрос, то причины этого лежали в иной плоскости (социальной) — мистика не была той органической потребностью духа, которая делает жизненными идеи. Поэтому модное течение и оказалось столь мимолетным.

Но даже во времена наибольшей углубленности, искренних, быть может, исканий тех градусов познания, когда перед просветленным человеческим взором должны были открыться загадочные тайны природы; во времена, когда масонство ограничивалось узким кругом близких людей и не проникало еще в обывательскую среду, как это было позднее в александровское время — и тогда в небольшом новиковском кружке было очень немного лиц, на которых сказалось бы реально благотворное влияние масонского учения.

Если мы о вождях русских масонов XVIII в. в сущности знаем еще очень немного, то еще меньше знаем о тех, которые, не обладая творческой инициативой и не представляя собой крупной индивидуальности сами по себе, были как бы телом того всечеловеческого братства, которое должно было обновить мир. В этом отношении всегда интересно познакомиться с рядовым деятелем. Таким и был Петр Илларионович Сафонов, человек близкий Новикову и Гамалее, гвардии поручик при Екатерине, крупный ливенский помещик, посвященый в свое время во все «орденские обязанности», один из хранителей старых масонских традиций в александровское время.

Сафонов — типичный представитель того барственного русского масонства, наиболее ярким идейным выразителем которого был И. В. Лопухин, состоявший в дружественных отношениях с нашим масоном. Его фигура уже на склоне лет прекрасно зарисована в воспоминаниях Д. Н. Свербеева (Сафонов был его опекуном).

В «пышном степном барине», — пишет Свербеев, — «не сохранилось, кажется, и следов благотворного в некотором отношении масонского учения. Он был весь проникнут и пропитан своим полубарским достоинством: имел своих живописцев, музыкантов, певчих; лакеям у него не было числа; сад у него был стриженый. Стая борзых и гончих и полуголодные и полуодетые ловчие и доезжачие выбивали озимые зелени помещичьи, крестьянские и однодворческие без разбора; зато говорил он всегда пышно, красно, а при случае для приезжего издалека гостя, сколько-нибудь грамотного, не позабывал прочитать какую-то оду на Благовещение, когда-то им сочиненную по образцу Хераскова».

Счастливая случайность дает возможность добавить некоторые детали к небольшой, но выразительной характеристике Свербеева. Сохранились

груды дневников, писем и литературных произведений П. И. Сафонова (собрание бумаг П. В. Щапова в Румянцевском музее).

Пышный степной барин по образцу Хераскова, излюбленного масонского поэта и самого масона, сочинил не одну только оду на Благовещение, которую преподносил своим посетителям по примеру другого любителя просвещения екатерининских времен и бездарного поэта — известного Струйского. Деревенский досуг давал простор для обильного поэтического творчества. На песнях, элегиях, даже на комедиях («Опыт дружбы») испытывал терпение муз в деревенской тиши до последних дней своих один из немногих оставшихся розенкрейцеров.

В 1798 году в стихотворной форме Сафонов изобразил даже масонские «Правила Мудрости», которыми по его мнению, должен руководиться просветленный человек. Вот они эти своеобразные житейские постулаты, облеченные в формы, в сущности очень мало напоминающие стихи.

«Для выгод не люби и слаб не будь прощая.
Чуждайся подлости, вельможу почитая.
Без нужд о делах чужих знать не старайся.
И в собственных своих не всем ты открывайся.
С разбором дай взаймы, однак со всей охотой.
И бедным помогай по мере сил твоих.
Душевную печаль в себе одолевай.
Где нужно мстить, отмщай.
Во всяком звании ты человека чти.
Для денег не играй, а разве для забавы.
Люби и выиграть, люби и проиграть.
Начальству всякому покорен будь и верен.
Беги позорной мысли. Распутства удаляйся,
Будь добрый гражданин, законам покорись
И христианскую вкусити смерть потщись.

Любопытно, что эти плоские моральные сентеции, не всегда основанные даже на христианском смиренномудрии, сочинены Сафоновым в виде прописей для своего семилетнего сына.

О христианских чувствах Сафонов любил говорить много и часто на страницах своего дневника. Правда, у него углубленное понимание христианства приводило к весьма упрощенной формуле в прописях: «где нужно мстить, отмщай». Но надо сказать, что у огромного большинства екатерининских масонов идеи «внутреннего христианства» вообще были близки к традиционной церковности, т.-е. к своего рода начетчеству. От обычной церковности не ушел и сам идеолог «внутренней церкви» — Лопухин, как указывает на это определенно Н. К. Пиксанов. У людей, вервии ума которых были короче, мистика просто была ненужным, модным придатком. Таков именно и был Сафонов, пропитанный обычной суеверной религиозностью малокультурной помещичьей среды. Когда читаешь его переписку, то думаешь, что это письма священника, начетчика, а не «пышного степного барина». Сафонов, его дети, даже внуки все сплошь пишут проповедническим слогом, словами «богомудрого Апостола Христова Павла». Немало рассуждений на божественные темы, на темы христианской морали и тленности мирского бы-

тия и в дневниках Сафонова, начиная с 80 гг. XVIII в. и кончая годом его смерти (1829 г.) «Жизнь наша — записывает Сафонов 16 июля 1787 г. — в суете и кончится здесь ничем, о будущем попекись душа моя, чтобы могла ты жить, славя Отца, и Сына, и Св. Духа. Аминь».

Что такое время — рассуждает автор дневника 2 декабря 1820 г. в письме к сыну. «Единый миг — прошедшее уже нам не принадлежит, будущее неизвестно, одно настоящее наше, но и то мгновенно и сим-то мгновением мы должны воспользоваться и во времена и в вечность». Итак, ни одной живой мысли, — все трафарет: заговорит ли Сафонов об обязанностях истинного христианина или о том, что человек не должен давать воли страстям своим.

Очень любит Сафонов рассуждать на нравственно-религиозные и богословские темы в письмах к Гамалее. Но в письмах и видна разница в миросозерцании Гамалеи, этого по истине «Божьего человека», и «пышного степного барина», рассуждающего о религии по традиции и, как увидим, в значительной степени от скуки. Через богомолку — столь обычную принадлежность помещичьей семьи, — Сафонов отправляет Гамалее письмецо с рассуждением о человеческом знании. Человек, по падении своем, потеряв свет небесный, ищет его во тьме; он «мечтает знать натуру, себя и творца своего, священное писание толкует падшим разумом своим . . . . и таковых философов в нынешнем просвещенном веке много. По моему понятно — пишет Сафонов — истинных философов всегда было мало; полагаю того истинным философом, который в свете благодати соединяет себя с творцом своим и его божественною премудростью по духу, душе и телу, чтобы дух его обновлялся духом Божиим» . . . Отсюда вывод, обычный для масонов-мистиков: «знания наши без духа Христова воспламеняют одну гордость в нас». Это «разбойничье знание служит к большой пагубе» . . . Но для Гамалеи всякая нетерпимость противна христианству, и он безуспешно в этом убеждает своего корреспондента: не надо презирать «школьную философию», «все происходит от Бога, и Господь сказал: «не судите и не судимы будете» (3 сент. 1820 г.).

В одном из своих писем незлобивый Гамалея, далекий от каких-либо задних мыслей, давая Сафонову совет, что надо делать в жизни, попадает не в бровь, а прямо в глаз: «одно словесное обтесывание дикого камня — пишет он — бесполезно, а нужно самим делом исполнить оное» . . .

Сафонов был очень далек от дел, предписываемых постулатами христианской морали. Не достаточно ли просто сопоставить христианские рассуждения Сафонова с действительным образом жизни пышного степного барина, каким он представлен в изображении Свербеева? Дворня с собственными живописцами, музыкантами и певчими — все это в таком масштабе, что гостящему у деда-масона внуку казалось, что любовшинские шуты лучше, чем московские (под шутами подразумевается домашний театр) — едва ли могла содействовать обтесыванию дикого камня не только словесно, но и делом. «Прошедшее нам не принадлежит, будущее неизвестно». Отсюда надо думать только о настоящем — как мы знаем, это был девиз орловского барина в масонской тоге. Настоящее связано с крепостничеством. И последнее наилучшими образом уживается с масонской моралью братства и равенства. Ловчие и доезжачие Сафонова выбивают озимые крестьянские поля . . . . Помещик покупает и продает рабов; как на рынке торгуется в 1824 г. с генеральшей Игельстром, желая приобрести садовника с женой и сыном, за которых генеральша просит 1500 руб.; подвергает, когда нужно, своих «мужич-

ков» наказанию лозами, характерно выражаясь в письме к сыну: «попорол по сидению», отправляет «бунтовщиков» в город и т. д. Одним словом производит все неизбежные хозяйственные операции, не задумываясь даже о сущности крепостного права и его соответствии с требованиями орденских заветов.

Для оценки христианских добродетелей старого масона очень характерен инцидент, происшедший в его семье и связанный с правом помещика на человеческую душу. Старший сын Сафонова, Дмитрий, соблазнил чужую крепостную девку и добивается для нее вольной. Другой сын, Николай, тестю которого принадлежит соблазненная девка, пишет об этом отцу. Ответ следует любопытный (5 февраля 1817 г.): «Шалости брата твоего Дмитрия очень неприятны мне, и я не согласился бы за таковую выслугу девок отпускать на волю; таким образом не останется ни одной девки не довольно на дворе, ниже в деревне, и честность их лишь на то устремится, чтобы соблазнять бояр.... Сия же Наташка прежде Дмитрия волочилась с Семкою. Попроси от меня Николая Дмитриевича, чтобы он не прежде дал ей отпускную, когда она найдет себе жениха, а иначе согрешим, ежели заставим ее непотребничать в Москве и может в Петербурге... Ты пишешь, что не мог не уважать сей.... добродетели и благородства в Дмитрии. Как ты ошибаешься в сем! Не благородная добродетель действует в нем, а самодур, исполненный страстей, которые его братию заставляют иногда распутных девок делать их женами. Берегись, чтобы Наташка не была твоей невесткой. Я узнал, что план сей быть вольной Наташкин, и его она проповедовала еще тогда, когда Екатерина Дмитриевна жива была».

Но, пожалуй, наиболее характерное для масона, познавшего все высшие «орденские обязанности», это самый дневник Сафонова, дневник, котрый он вел из года в год, изо дня в день...

Казалось бы, какой кладезь должен представлять для истории масонства подобный дневник. Но здесь постигает нас глубочайшее разочарование. Из всех этих толстых тетрадей получишь представление разве только о погоде и о помещичьей охоте, которая заполняет все время орловского масона.

Систематически, с 80 гг. XVIII в., когда поручик измайловского гвардейского полка переехал в деревню и сделался ливенским предводителем дворянства, в дневник заносятся данные о травле зайцев и прочей живности, находящейся в изобилии в полях и лесах сафоновских угодий. Каждый день происходит псовая охота с большей или меньшей удачей. Мы узнаем, напр., что 31 августа 1803 г. Сафонов со своими ловчими и доезжачими затравил 5 волков, 3 лисицы, 29 русаков. Охота 31 октября еще более успешна; трофеи Сафонова выразились в 5 волках, 14 лисицах, 107 русаках. В дни таких удач Сафонов весел и не думает о бренности житейской—ему некогда предаваться навевающей грусть мистике. Надо сказать, что зверя, повидимому, в те времена в ливенском уезде водилось много, и охотничьи выезды Сафонова почти всегда происходят под счастливой звездой. И очень редко в дневнике попадаются лаконические записи: «Ездил с собаками, ничего не затравил». Так было, напр., 30 сентября 1812 года. Когда судьба сталкивает Сафонова с такими днями, тотчас же его охватывает тоска... Последняя гложет ливенского охотника особенно в тех случаях, когда вовсе нельзя ехать на охоту. «Хотел было ехать с собаками — записывает Сафонов в 1799 г. — ибо время прекрасное для езды, но вдруг десять ссбак взбесилось».... Что же тут де-

лать? «После обеда — продолжает свою запись автор дневника — часа два спал. Тетушка возвратилась от Самойловых. Мне очень скучно и не знаю тому причин, но знаю, что страдаю, тело не болит». В такие-то дни, неудачливые для охоты, когда от праздности Сафонов не знал, что с собой делать, на сцену и выступает мистика. В такие-то скучные дни и начинается чтение произведений г-жи Гюйон или книг, в роде «Иисус Утешитель». Тогда то в дневнике и появляются евангельские цитаты или краткие рассуждения о смирении, об обязанностях истинных христиан, о вечности и т. п.

Иногда с этой беспросветной скуки начинается день: «Куда ни пойду, что ни делаю, все мне скучно» — записывает Сафонов 21 августа 1812 г. Пусть не подумает читатель, что скука охватила ливенского помещика от сознания своей бездеятельности в тяжелую годину внешнего испытания, когда на войне находится его сын Дмитрий. Нет, ларчик открывается просто, и легко усмотреть истинную причину скуки степного барина. Плохая погода лишает всякой надежды на возможность охоты в этот день. Не утешает и г-жа Гюйон, ибо мистика может утешить лишь на очень короткое время борзятника. Но счастье и здесь улыбнулось. После обеда погода раз'ясняется. Брошены рассуждения о вечности, о бренности жизни — Сафонов вновь скачет со своими полуодетыми и полуголодными ловчими и доезжачими, со сворами своих сытых гончих и борзых, вновь улюлюкает по озимым крестьянским полям и травит лисиц и зайцев. Скука, как рукой, снята, и уже нет вечных, неразрешенных вопросов, нет уже более и «досады на себя»...

Дневники показывают, как в сущности мало интересов у передового, казалось бы, человека для той эпохи, у масона, в свое время окунувшегося в самые глубокие мистические познания. Перед ним текут события общегосударственной важности, и они даже не отмечаются в каждодневной записи, куда заносятся тщательнейшим образом сведения о затравленном на охоте звере и пр. Умирает император Павел, более, чем кто-либо из царей, связанный невидимыми нитями с масонством. Ливенский предводитель дворянства вставит в дневник лишь несколько слов: «23 марта 1801 г. — получил известие, что скончался император Павел: царствовал 4 года, 4 месяца и 6 дней». 1812 год — удивительно, что и здесь даже за целый год попадается одна только запись: «Дмитрий мой перешел в полк Рахманова». Больше ничего об отечественной войне — все остальное заполнено собаками, затравленными зайцами и обедами. Впрочем, есть еще одна заметка о том, что надо отдать в рекруты крестьянина, находящегося в тюрьме.

Неожиданно, однако, и этот скудный по содержанию дневник за 1812 г. приобретает некоторую ценность историческую, а именно для истории отечественной войны. У Сафонова был хороший обычай записывать каждый день погоду. Это делалось, конечно, не с научными целями, не для потомства, а потому что это, быть может, важно было для охотничьих и помещичьих наблюдений; да и повелось уже так издавна — авторы подобных дневников всегда записывают о погоде; это самое важное для них: да и что записывать при безделии? Но эти записи, больше от нечего делать, могут быть использованы для истории. Известно, какое большое значение имела погода при отступлении наполеоновской армии. Сколько копий в былые годы было сломано историками в спорах о роли морозов, оттепелей и пр. в неудаче великой армии. Липранди написал даже целую книгу с почтенной целью доказать, что Наполеона сломали не мороз и голод армии, а патриотическое

воодушевление русского народа. Слишком унизительным казалось патриотической историографии приписать лишь силам природы, климатическим и географическим условиям изгнание из пределов отечества врага. Как бы то ни было, спор этот о влиянии погоды на стратегию не разрешен и поныне. Мемуары участников великой армии в один голос говорят о пагубном влиянии на ход дела наступивших преждевременно морозов, а еще более непостоянства погоды — смены сильнейших морозов, мятелью, оттепелью. Отечественная историография пытается доказать, что погода в 1812 г. была обычная и преждевременных холодов не наступало. Дневник Сафонова в этом отношении показателен. Вот некоторые метеорологические записи из его дневника за октябрь и ноябрь 1812 года. 19 октября — мороз большой и солнце. 26 — мятель большая, 27 — мятель и ветер при добром морозе, 28 — мятель продолжается[1]), 29 — мятель утихла, но мороз, 2 ноября — мятель продолжается, 10 — тепло, 12 — мороз добрый, 27 — мороз 28^{0}, 28 — мятель большая. 7 декабря — мороз 30^{0}.

Во всяком случае приведенные данные свидетельствуют, что зима, по крайней мере, в Орловской губ. была исключительно суровая, и притом действительно ранняя. Хорошо, что по крайней мере хоть в одном отношении из долголетнего труда Сафонова по ведению дневника можно извлечь крупицу пользы. Иначе вчуже становится жаль труда над бесплодными записями о затравленных зайцах.

В период своего наибольшего масонства, живого общения с главарями русского розенкрейцерства, Сафонов однажды подвел итог того, что сделано за истекший год, 31 декабря 1787 г. он записал: «сей протекший год проведен большую половину во сне, третья часть в бездельи, а последняя почти вся в удовольствии плоти, весь же год в скверных помыслах». Под влиянием угрызения совести о безвозвратно потерянном годе он и напишет свою оду на Благовещение и в назидание будет заставлять каждого посетителя выслушивать свои плохие стихи. Но далее этого угрызения совести не пойдут.

Год течет за годом. Стареет поручик измайловского полка. Наступает время большого думания о греховности мира и своей личной. Но Сафонову в сущности и некогда даже углубиться в самоанализ. Барственный житейский обиход сам по себе отвлекает от излишнего и вредного для хорошего самочувствия углубления в моралистику. Да и посторонние причины этому мешают. Только что Сафонов, «вошедши в кабинет» 28 декабря 1822 г. займется «размышлениями, до какой бедности дошел человек падением своим, он плачет, но не о потере блаженства своего, а о лишении чего-либо ему приятного» (эти глубокие мысли Сафонов стал записывать по поводу плачущего об от'езде отца внука), — как христианские размышления прерываются действительностью, житейской прозой: Сафонову подают бумагу с вызовом явиться лично или через управляющего для об'яснения о «неподаче об'явления об урожае хлеба» и несообщении книг «о заведении магазинов». «Пышный степной барин», как и большинство помещиков, оказывается, избегал выполнения невыгодных для себя обязательств по отношению к своему крепостному люду: он, подобно Поздееву—другому представителю крепостнического масонства, был совершенно убежден, что необходимо «постоянно держать

---

[1]) Это как раз те три дня, которые нанесли Наполеоновской армии страшный ущерб — падеж лошадей.

их (т.-е. крестьян) в черном теле»—тогда они лучше работают и лучше повинуются. И приходится ли после этого удивляться, что у богатого черноземного помещика-масона, окруженного многолюдной дворней, травящего своими сворами поля крестьянские даже в июне, когда не убран хлеб, народ бедствует во время голода. И наш мистик лишь с сентиментальной горечью запишет в 1815 г. в письме к своему брату: «мужички мои умирают и мне горе большое тем делают». Это горе вызывается лишь расстройством хозяйства, о благополучии которого всегда помышляет степной барин, не дошедший еще однако до сознания истины, воспринятой уже другими более прозорливыми хозяевами: благосостояние помещика зиждется на благосостоянии крестьянина; крепостной труд непригоден в интенсивном хозяйстве.

Экономические интересы всегда на первом плане настроенного по временам на мистический лад орловского барина. Он даже не поедет на свадьбу сына — это может нанести ущерб хозяйству. А убыток — не по нутру рассчетливому хозяину. Впрочем, для внешнего оправдания нежелания ехать на свадьбу сына будет выдвинута более сильная аргументация, чем мотивы житейского свойства. Это, конечно, аргумент от религии: брак — «греховное дело».

Высшие соображения христианской морали всегда играют роль успокоительных таранов против неприятностей. Привезли Сафонову в 1817 г. покупки из города, а вместе с тем письмо, извещающее о смерти друга юности Д. А. Хотяинцева. «Он рос — пишет старик сыну своему Николаю, — в моих глазах, с ним провел я дни моей молодости, был некогда уважаем им и любил его, как родного брата, да и до конца жизни любить не перестану». Но в момент получения письма о смерти друга хозяину нужно рассмотреть привезенные из города покупки. Отсюда коллизия между чувством и делом. Опять на помощь является мистика. «Но так как сей путь (т.-е. смерть) необходима всем нам, то, пожелав ему благополучной вечности, принялся — заканчивает свою мораль Сафонов — рассматривать покупки». И смерть друга таким образом лишь «немного потревожила» умудренного житейским опытом мыслителя, пребывающего в думах лишь о вечности и презирающего все бренное.

Действительно большим спокойствием и житейской мудростью веет от этих былых записей. Здесь можно научиться, как надо сочетать познание великих истин самоуглубленного понимания мироздания с жизненным обиходом самоуслаждающегося барства. Недаром покорный сын екатерининского масона, Николай, переплел после смерти отца его писания в сафьяновый переплет с трогательной надписью: «Письма покойного моего Ангела Папиньки».



ПРИЛОЖЕНИЕ

РОМАН МЕРЕЖКОВСКОГО „АЛЕКСАНДР I“.[1])

I.

Эпоха, которой посвящен исторический роман г. Мережковского, представляет такую интересную страницу в истории, об этом произведении романиста так много говорили, что и теперь нелишним будет его рассмотрение под углом исторической критики. Исторический роман читают широкие общественные круги, для которых не всегда возможна критическая оценка произведения с точки зрения его достоверности. По роману истории, конечно, не изучают, но тем не менее всякое беллетристическое произведение содействует распространению и утверждению известных представлений об эпохе, раз оно написано крупным писателем и основано как бы на прочной базе изучения воспроизводимого в художественной форме прошлого.

Мы не будем касаться здесь вопроса о художественных достоинствах или недостатках романа Мережковского — это дело литературной критики, тем более, что «Александр I» вызвал уже немало критических замечаний. Правда, когда приходится говорить об историческом романе, почти невозможно иногда отрешиться от литературной оценки произведения. Если «история есть воскрешение мертвых», по словам г. Мережковского, то именно по отношению к роману это наиболее применимо. И когда перед нами открывается «музей восковых исторических фигур» вместо действующих лиц, как выразился критик «Киевской Мысли» г. Войтоловский про роман Мережковского, то в значительной степени теряется смысл *художественного* воспроизведения прошлого.

Однако исторический роман и без больших художественных достоинств может представлять большой интерес и не только, как одна из форм популяризации исторических сведений. Повторим слова В. О. Ключевского в его известной речи о Пушкине: «большая находка, когда между собой и мемуаристом он (историк) встречает художника». И эту самоценность художественного произведения для историка отнюдь нельзя ограничить произведением современника, как показывает бессмертный роман Толстого «Война и Мир». Поэтому считать роман, как форму творчества, допускающую вымысел, несовместимым с исторической правдой, на страже которой должен стоять историк, нельзя: историк не может игнорировать и эту форму исторического повествования.

---

[1]) Напечатано в „Голосе Минувшего“.

Конечно, «эстетическое» наслаждение от художественного произведения может оставлять иногда «слишком мало места для исторической критики», но тогда в сущности роман и не является историческим произведением: остается только внешняя форма. Идеалом, однако, является сочетание художественной формы с исторической правдой.

Естественно, что нельзя написать романа без вымысла. Подлинной правдой может быть лишь автобиография, обработанная в художественной форме, как, напр., замечательные «Записки современника» В. Г. Короленко. В историческом романе все дело заключается, как верно заметил А. К. Бороздин в своей статье «Исторический элемент в романе «Война и Мир» (*«Минувш. Годы»* 1908 г. кн. 10, с. 72), в гармонии «между вымыслом и тем материалом, который установлен историческим изысканием». Легко себе представить прекраснейший исторический роман, который верно до мелочей обрисует эпоху, даст яркую бытовую и психологическую картину и не назовет ни одного исторического лица, т.-е. будет оперировать с анонимами, под которыми могут скрываться вполне реальные личности. И нет тогда дела историку, какими словами говорят действующие лица, чьи подлинники вложены в уста героев. Пусть будет это только правдоподобно.

Дело другое, когда в историческом романе фигурируют определенные исторические деятели, жизненные перипетии которых достаточно выяснены научным изысканием. Здесь художник, желающий быть правдивым, обязан, поскольку это возможно, следовать подлиннику и не ставить своих героев в положения, в которых они не были и не могли быть, не вкладывать в их уста слов, которые, как мы хорошо знаем, произносили другие. Иначе получится своего рода фальсификация истории. Есть, наконец, в истории святые имена, к которым следует относиться с большой осторожностью, и которые, по нашему мнению, художник не имеет морального права привлекать, как простую декорацию для своего произведения, как заманчивую приманку, потакающую вкусам широкой публики, любящей, как известно, чтение «исторических романов». Эта бьющая в глаза фальшь должна быть отнесена к дурным приемам, практикующимся дурными романистами.

К сожалению, однако, у нас в моде и у хороших беллетристов подобная декорация. И разве не шокирует читателя, когда он встречает в фантастических произведениях г. Сологуба в качестве действующих лиц представителей различных политических течений в России? Мы полагаем, что г. Сологуб мог бы переносить своего Триродова в «Навьих чарах» в какие угодно надзвездные сферы, окружать его всевозможными «тихими мальчиками» и оставить совершенно в стороне русские политические партии и другие общественные организации. В данном случае мы видим грубую профанацию жизни, — в других случаях будет такая же профанация истории.

Для художника, желающего взять определенных исторических лиц, остается большой простор для необходимой романисту фантазии в тех случаях, когда те или иные отношения между лицами остаются нам неизвестными или невыясненными. Здесь вымысел служит как бы дополнением и своего рода связующим элементом. И опять вопрос будет лишь в гармонии между вымыслом и действительным историческим материалом, т.-е. в правдоподобии, устанавливаемом художественным чутьем беллетриста. Такими именно принципами руководился Толстой при создании «Войны и Мира», на что он потратил, по собственным словам, «пять лет непрестанного и исключительного

труда». Статьи К. В. Покровского[1]) достаточно отчетливо вскрывают приемы этой работы. Мы видим у Толстого и буквальное пользование источниками, и пользование ими с некоторым изменением, заимствование схем и эпизодов и т. д. Если Толстому для всестороннего об'ективного изложения эпохи, поскольку в его распоряжении было тогда достаточно материала, мешало то обстоятельство, что писатель-моралист постоянно вторгался в сферу писателя-художника и что писатель-художник смотрел на прошлое под углом тогдашнего своего общественного миросозерцания (см. статью Т. И. Полнера в том же сборнике), то Толстой сам писал, что «везде, где . . . говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал». И это именно придавало роману большую историческую ценность.

Конечно, в беллетристическом произведении неизбежны отступления от исторической действительности, поскольку этим не нарушается «высшая художественная правда». Пред'являть художнику требование точного соблюдения деталей, хронологических дат, не имеющих существенного значения, едва ли правильно. Ученая педантичность в данном случае может лишь ослабить силу художественной передачи исторического события. Для нас важно одно: сохранение «характерных черт» эпохи.

Сделанные предварительные замечания необходимы, как отправные точки зрения при оценке исторического элемента в романе Мережковского.

Этот роман не может не привлечь к себе внимания историка уже потому, что в нем затрогивается любопытнейшая страница нашего прошлого — история декабристов, и притом затрогивается почти впервые. Попытка Мережковского тем более интересна для историка, что роман захватывает в сущности ту же эпоху, что и великое произведение Толстого, примыкает к эпилогу знаменитого романа и продолжает как бы то, от изображения чего отказался Толстой. Роман Мережковского из эпохи Александра I приобретает особый интерес и потому, что в свое время автор выступил с довольно резкой, хотя и мимолетной, критикой Толстого, как исторического романиста. Конечно, Мережковский по своим прежним произведениям уже ясно вырисовался, как исторический романист. И для сравнения, и для ответа на положения, им выдвинутые в критике Толстого, он дал уже достаточно материала. Но когда новый роман соприкасается с эпохой, затронутой Толстым, особенно рельефно выступают требования, выставленные Мережковским в книге «Толстой и Достоевский».

Так как замечания Мережковского были уже более или менее детально разобраны в упомянутой статье проф. Бороздина, мы скажем о них в двух словах. Мережковский, как известно, признал роман Толстого неисторичным: в романе нет того «исторического запаха», который составляет «дух истории, дух времени»; мы видим «остов истории», но не чувствуем «духа жива». В романе нет необходимой для историчности «культурно-бытовой окраски»; нет и «умственной и нравственной атмосферы» эпохи . . .

И Мережковский доказал, что легче быть критиком, чем художественным выполнителем своей идеи. Едва ли большинство критиков не сошлось на том, что на романе «Александр I» лежит «печать искусственной выдумки», что в

---

[1]) Статьи „История работ Л. Н. Толстого над романом „Война и Мир“ и „Источники романа „Война и Мир“ в сборнике „Война и Мир. Памяти Толстого“, Изд. „Задруга“, 1912.

нем фигурируют не живые лица. Некоторые склонны были об'яснять это природным дарованием автора. Мережковский — писал г. Войтоловский — «умный, внимательный и знающий исследователь, но совершенно лишенный воображения и драматического таланта . . . герои романа Мережковского все отзываются той почвой, откуда они добыты — архивом». Таков приговор литературного критика. У нас есть другой отзыв о романе Мережковского, отзыв историка — А. А. Корнилова («Современник» 1913, II). Историк также не вполне доволен романом. Отзыв г. Корнилова для нас настолько интересен, что мы позволим себе остановиться на нем несколько подробнее. «Обширный исторический материал положен Д. С. Мережковским в основу его нового произведения»,—пишет г. Корнилов. «Стремление же к полной исторической точности изображения общества избранной им эпохи доходит у него до того, что он выводит всех многочисленных действующих лиц своего романа — вплоть до третьестепенных и самых малозначительных персонажей — под их собственными именами и старается при этом как можно вернее изобразить и всю обстановку, не нарушая, по возможности, точных дат всех происходивших в действительной жизни и перенесенных в его роман событий. Все это чрезвычайно приближает этот роман, по крайней мере по внешности, к типу художественно написанных исторических монографий. Именно по поводу такого произведения может, я думаю, у иного читателя возникнуть даже сомнение *есть ли в действительности черта, которая отделяет такой исторический роман от художественно составленной исторической монографии»* (курс. наш).

Г. Корнилов не одобряет «метода создания исторического романа», который ведет «к замене свободного творчества искусственной компилляцией». Но при всем том в его словах заключается огромная похвала труду г. Мережковского. Хотя вы видите в романе не живых людей, а «каких-то кукол и манекенов», все же г. Мережковский создал крупную вещь, как историк-бытописатель. Немного непонятно, правда, каким образом куклы и манекены, носящие исторические прозвища и говорящие словами исторических документов, могут дать нам историческое воспроизведение эпохи, т.-е. ее умственную и нравственную атмосферу. Неужели историк, нагромоздивший цитаты и не осмысливший их, даст историческое изображение эпохи? Ведь таким образом история превращается в описательную археологию и только. Но это вопрос второстепенный.

Нас донельзя смутило такое признание за романом Мережковского исторической подлинности. Дело в том, что это какое-то глубочайшее заблуждение. И мы очень боимся, что читатель, поверивший компетентным суждениям историков, в действительности подумает, что факты, изложенные Мережковским, соответствуют действительности; мы боимся, что кто-либо по «художественно составленной исторической монографии» начнет изучать историю декабристов, которым в значительной степени посвящен роман. Он будет читать дневник главного героя Мережковского, кн. Валериана Голицына, и будет думать, что этот дневник, если не целиком, то в значительной своей части заимствован из подлинного дневника князя Голицына. И не следует ли предостеречь поскорее читателя, что весь этот дневник, конечно, только измышления г. Мережковского, плод его художественного творчества, имеющий весьма малое историческое правдоподобие. Читая дневник императрицы Елисаветы Алексеевны, да не подумает читатель, что он видит перед

собой воспроизведение каких-либо исторических фрагментов. Это тоже «художественный вымысел», весьма в небольших дозах основанный на подлинных исторических документах и имеющий весьма малое историческое правдоподобие. Когда перед читателями будут проходить фигуры выдающихся представителей декабристов, пусть он не обольщается обилием цитат: в этих цитатах полная путаница, лишающая характеристку декабристов в романе какого-либо исторического правдоподобия. Роман Мережковского весьма мало напоминает хорошую научную компилляцию. Эту оговорку следует сделать с самого начала, дабы ослабить впечатление от столь категорического признания, что роман Мережковского отзывается кабинетом «литературного архивариуса», следовательно, своего рода исторической подлинностью. Еще понятней будет необходимость такой оговорки, если мы прислушаемся к дальнейшим критическим замечаниям, вышедшим из лагеря историков.

Признавая роман г. Мережковского добросовестной научной компилляцией, г. Корнилов, напр., несогласен лишь с трактовкой отдельных вопросов, как то: неверное изображение кн. А. Н. Голицына, который не мог быть в 1824 г. расслабленным старичком с морщинистым круглым бабьим лицом, потому что александровскому министру духовных дел в то время было не более 50 лет, а лицо его было сухое и продолговатое; не согласится г. Корнилов с несколько карикатурным изображением приема членов в Северное Общество, отмечен будет шарж в изображении некоторых членов общества Соединенных Славян, напоминающих «каких-то «максималистов» или «большевиков» в самые бурные моменты 1905 г.», и т. д. Отмечены будут такие неточности, как именование Голицыных Гедеминовичами, тогда как они Рюриковичи. Другой критик Мережковского, напечатавший статью в «Северных Записках» под сильным заглавием «Оклеветанные Тени», г. Садовский, сделавший, как мы увидим, весьма и весьма существенные замечания по поводу романа, пополнит ряд ошибок, допущенных Мережковским: баснописец Крылов изображен со звездой, тогда как звезда им получена лишь в 1838 году, поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого Мережковский ошибочно именует князем, а М. Е. Лобанова именует Михаилом Евграфовичем, в то время, как в действительности Лобанова звали Евстафьевич; императрица Елисавета Алексеевна называет Жуковского «Ваше превосходительство», тогда как титул этот получен поэтом значительно позже. Упоминание в исторической критике романа таких в сущности мелочей имеет за собой некоторое основание, так как в соблюдении мелочей сам автор романа едва ли не видит один из самых существенных признаков историчности художественного произведения. Правда, от того, что неправильно названо отчество Лобанова, нисколько не может измениться правильность в обрисовке культурно-бытовой обстановки, правда и то, что мелочные неточности охотно можно простить романисту и потому, что в мелочах легко погрешить и историку. Мережковского, пожалуй, приходится даже в некоторых случаях взять под защиту от обвинения в искажении мелочей. Конечно, неточностей у Мережковского можно найти бесконечное число. Но ведь это пустяки. Но когда внимание критиков останавливается на этих пустяках, когда эти пустяки становятся под перьями критиков одним из наиболее уязвимых мест в романе с точки зрения его историчности, тогда каждый читатель имеет полное основание предположить, что все остальное в «художественно написанной исторической монографии» г. Мережковского вполне отвечает исторической истине. А между тем в

романе, помимо совершенно неприемлемой с исторической точки зрения его общей концепции, помимо неверности характеристики действующих лиц, вытекающей из предвзятых точек зрения романиста и неправильных приемов пользования теми историческами материалами, которые легли в основу романа, есть неточности, иногда мелочные, но которые совершенно искажают действительность.

Остановимся прежде на одном из главных героев романа — князе Валериане Голицыне. Как-то странно, что до сих пор нигде не было указано, что почти все, что о нем говорит г. Мережковский, должно быть относимо за счет «художественного вымысла». Отметить это представляется чрезвычайно важным уже потому, что от имени кн. Валериана говорит сам Мережковский. Голицын является проповедником идей Мережковского, словами Голицына автор романа оценивает декабристов, определяет сущность их идейных стремлений. О Голицыне мы знаем очень немного. Он был молод и не был видным декабристом. Почти никто из его товарищей о нем не вспоминает. Главным источником для характеристики деятельности Голицына являются показания Поджио и следственное дело о декабристах — показания некоторых подсудимых и, наконец, показания самого Голицына. Но эти показания были впервые опубликованы в № 2 «Голоса Минувшего» за 1913 г. (Дело о декабристе камер-юнкере кн. Вал. Голицыне). И что же мы знаем в конце-концов о кн. Валериане Голицыне? Ему в 1826 г. было 23 года, был принят в члены тайного общества в 1823 г. А. В. Поджио. Был принят одновременно с К. Ф. Рылеевым. Был сторонником уничтожения крепостного права и введения конституционного управления в государстве[1]). Может быть, склонялся к республике и «однажды» на квартире у кн. Оболенского в 1823 г., по словам Поджио, согласился с мнением о цареубийстве (что, впрочем, сам Голицын отвергал). Мы знаем, наконец, что «свободный образ мыслей» кн. Голицын заимствовал «от *чтения* жарких прений в парламентах тех народов, кои имеют конституцию, а также от чтения французских, немецких и итальянских публицистов». Несомненен еще один факт: Голицын был племянником кн. А. Н. Голицына[2]). Но была ли между ними тесная связь, сказать трудно: в своих показаниях Вал. Голицын упоминает лишь другого своего дядю гр. Остермана. Еще более несомненны биографические данные о Голицыне: кончил пажеский корпус в 1820 г., три года служил в Преображенском полку, вышел в отставку, определился в департамент внутренней торговли и в 1825 г. получил звание камер-юнкера.

Те, кто читал роман Мережковского, сразу увидят, что между подлинным Голицыным и Голицыным, изображенным в романе, нет ничего общего. Взять главным своим героем лицо, о котором мы почти ничего не знаем, быть может, удобнее всего романисту: здесь, по крайней мере, можно отдаться художественному творчеству, не входя в коллизию с исторически установленными фактами; здесь легче достигнуть той гармонии между вымыслом и историей, которая необходима для исторического романа. Но, к сожалению, у Мережковского полное отсутствие этой гармонии, неточности, которые иска-

---

[1]) Никаких записок об освобождении крестьян и о конституции в 1822 г. не подавал и не мог подавать.

[2]) Дочь Александра от Нарышкиной, которая выведена романистом, как лицо близкое Голицыну, умерла 18 сентября 1810 г.

жают и культурно-бытовую обстановку и внутренний смысл событий. Голицын у Мержковского, пожалуй, наиболее определенно очерченная фигура, и понятно — Голицын в действительности как бы является проповедником идей Мережковского: без религии не может быть революции. «Без освобождения религиозного, без реформации нет России путей к освобождению политическому», — говорит Мережковский в статье «В защиту Александра I». Голицын в изображении Мережковского один из немногих действительно умных, наблюдательных, образованных, идейных и благородных декабристов. Перед нами вдумчивый критик тогдашней русской действительности, мистик под влиянием «парижских бесед с Чаадаевым о противоположном подобии двух вечных двойников, — русского царя и римского первосвященника». У декабристов перед Голицыным раскрывается нечто «тайное, страшное, что давно уже мучило его, как бред». Это страшное, конечно, революция через Бога, сознание, что «без Бога нет свободы». То, что Голицын увидал у декабристов, его совершенно разочаровывает: там все более фразы, детское фанфаронство или честолюбивые помыслы. Разочаровавшись, Голицын уходит от тех, кто затем получает название декабристов. Мережковский ведет своего героя на мистические собрания скопцов, Татариновой и т. д. — для того, чтобы вновь привести к декабристам. Зачем? Да потому, что «все-таки правда Божья у них» . . . Для того, чтобы перенести свою личную публицистику в александровское время, Мережковскому volens-nolens приходится искажать и подтасовывать исторические факты. Религиозность некоторых декабристов могла как будто бы дать хороший материал для Мережковского. Но дело в том, что эта религиозность иного типа, чем неопределенные и крайне туманные мистические концепции Мережковского. Ему приходится вытаскивать на сцену Чаадаева и заставлять его действовать через Голицына. Но так как Чаадаев в данном случае абсолютно не при чем, то получается существенная неточность, искажающая правильное понимание духовной атмосферы, в которой вращались люди 20-х годов. Мережковский весьма неудачно берет кн. Вал. Голицына в роли проводника чаадаевских идей. Здесь уже неточность более существенная, чем именование Жуковского не принадлежащим ему генеральским титулом. В 1814 г. кн. Голицын, бывший в то время в действительности 11-летним ребенком и воспитанником пажеского корпуса, знакомится, по-Мережковскому, с вольнодумным философом-мистиком, которому самому-то в это время едва 20 лет. Чаадаев-мистик никакого влияния на декабристов не оказал. У Мережковского кн. Голицын зрелый человек, который не раз хлопочет вместе с Александром Тургеневым и Вяземским за ссыльного поэта Пушкина, он старый знакомый Рылеева по масонской ложе Пламенеющей Звезды и т. д. Одним словом, мы видим сочетание таких хронологических несообразностей, которые, само собой, недопустимы в исторической монографии, но недопустимы и в историческом романе, так как дают возможность автору рисовать иную психологию героев, чем это могло быть в действительности.

Мережковскому во имя предвзятой идеи надо изобразить их в определенном свете. Отсюда является *сознательное* уклонение от истины, уклонение, независящее от освоения с материалом, каким пользуется автор при изображении декабристов. Это сознательное уклонение от истины так очевидно, что А. А. Кизеветтер, выступавший одним из оппонентов на докладе г. Корнилова в Москве, посвященном роману Мережковского, решительно от-

казывался найти что-либо историческое в романе, — такова в устах столь компетентного историка оценка художественно написанной исторической монографии г. Мережковского. У Мережковского в действительности история принесена в жертву специфической публицистике. Это вовсе не значит только, что некоторые факты искажены, а другие измышлены. В сущности на исторической канве, т.-е. на внешнем фоне нашего прошлого, расшиты цветы публицистики Мережковского, — этим и определяется значение исторического романа «Александра I».

Две идеи проходят через роман, служащий лишь конкретной иллюстрацией к выдвинутым Мережковским положениям. Во-первых, без религии не может быть плодоносной революции; во-вторых, нельзя перешагнуть через кровь безнаказанно. Впрочем, относительно второй идеи следует сделать оговорку. Отношение автора к этой центральной идее романа не всегда ясно: освящает ли религия кровавое действие, произведенное во имя высших соображений морали и правды?

Безрелигиозное убийство становится ужасным кошмаром на всю жизнь, отравляет существование, мучает совесть. Вот почему бесплодны все благие намерения Александра I: они разбиваются о воспоминание об 11 марта 1801 года. То же самое происходит и с декабристами. Перед нами люди с развинченными нервами, которых мучат угрызения совести (в этой категории находится и Пестель), которые колеблятся между двумя решениями, не осознав еще то чувство высшей религиозности, которое одно может дать удовлетворение или оправдание. Перед нами или юнцы, не понимающие, что они делают и смотрящие на участие в тайном обществе, как на забаву, или честолюбивые неудачники, упивающиеся кровавым смехом. Так как идеи Мережковского не были известны декабристам, то естественно, что в общем романист дает отрицательную характеристику деятелей тайных обществ александровского времени.

Автор упомянутой выше критической статьи о романе, г. Корнилов, отмечая некоторые крайности в изображении Мережковским тайных обществ, напр., в изображении заседаний Южного Общества, напоминающих заседания каких-нибудь максималистов в 1905 г., считает это изображение в общем удачным и говорит, что в данном случае много помогли автору его наблюдения во время различных собраний 1905 года. Сомнительно однако, чтобы по собраниям 1905 г. можно было бы охарактеризовать политические собрания 20-х гг. без существенных искажений психики действующих лиц, а в романе ведь это едва ли не самое главное. Когда читаешь главы романа, посвященные заседаниям тайных обществ, о них действительно выносишь самое отрицательное впечатление. Читатель поражен той беспричинной кровожадностью, которая проявляется на этих заседаниях, беспринципностью, отсутствием элементарных чувств морали, проявляемых наиболее видными деятелями, и ничтожностью рядовой массы.

Центром всех разговоров на заседаниях тайных обществ является только одно цареубийство. Когда читаешь соответствующие главы Мережковского, нельзя себе даже представить, что эти члены тайных обществ являются сливками русской интеллигенции того времени. Мы хорошо знаем, что это были люди, болевшие всеми невзгодами России — и не только на словах, но и на деле изучавшие условия русской жизни, думавшие и разрабатывавшие основы необходимых реформ. Для многих из них заседания обществ были

своего рода школой самообразования. Вот, напр., показание второстепенного члена Южного Общества Комарова: Пестель старался внушить каждому, что «наш долг есть необходимо стремиться к пользе». Для этого надо ускорить «нравственное образование ума и чувствований, чтобы уметь приложить их со временем на общеполезное». Он советывал подготовлять себя чтением Беккария, Макиавелли, Вольтера, Гельвеция, Сея, Смита . . . и внушал, что «без этих понятий и сведений не достигнешь быть полезным ни себе, ни обществу, ни отечеству». Тщетно искать у Мережковского изображения этой школы для подготовки к будущему общественному служению. В душной атмосфере вопроса о цареубийстве вертятся все главнейшие споры и текут все другие идейные беседы. Здесь Мережковский последовал за следственной комиссией, для которой этот вопрос был наиглавнейшим, так как определял наибольшую вину. И естественно, что комиссия занималась гораздо больше выслеживанием преступных слов, когда-либо произнесенных, намеков и замечаний, без связи с общей коньюнктурой, чем выяснением реальной деятельности декабристов, их идей и преобразовательных планов. Совершенно то же делает и Мережковский в своем романе. Можно было бы предположить, что донесение следственной комиссии оказало на Мережковского столь большое влияние, что он не смог освободиться от него даже после пристального изучения материала, относящегося к эпохе. Но это, повидимому, не так. Мережковский сознательно и тенденциозно подбирал то, что ему надо было для проведения в романе своих излюбленных идей. Что же касается исторических декабристов, то это лишь красивый фон, обрамляющая рамка, — и автору весьма мало дела до того, что его изложение не сходится с историей. Тенденциозность Мережковского выступит совершенно определенно, если мы познакомимся с источниками, на основании которых написан роман.

II.

В критике до сих пор высказывались мнения (даже со стороны резких порицателей романа), что Мережковский произвел огромную работу — чуть ли не архивную. С точки зрения некоторых критиков это именно и помешало Мережковскому дать истинно-художественное произведение. Все герои Мережковского отзываются архивом: Мережковский долго прожил в близком общений с материалами александровской эпохи. Эту «обширность исторического материала», привлеченного к работе Мережковским, как мы знаем, признает и А. А. Корнилов, который считает роман «Александр I» «весьма добросовестной компилляцией» — почти художественно написанной исторической монографией. Для историка особенно привлекательно то обстоятельство, что точность доведена до таких пределов, что лица выведены под собственными именами, что герои романа говорят подлинными историческими словами и т. д. Но в этом-то и горе Мережковского: получилась ужасающая неразбериха, от которой историк в действительности должен приходить в полное отчаяние.

Вопреки высказанным суждениям, приходится решительно и твердо подчеркнуть, что на работе Мережковского не видно ни знакомства Мережковского с делом декабристов, ни с мемуарной литературой. Наоборот, при самом беглом чтении романа ясно видно, что Мережковский, вероятно, работал

над эпохой очень немного, что роман основывается в значительной своей части на весьма скудных пособиях, и первоисточников в руках Мережковского не было или он не сумел ими воспользоваться.

Без опасения впасть в преувеличение, можно смело утверждать, что для изображения декабристов едва ли не *единственным* и во всяком случае главнейшим источником для Мережковского послужили книги проф. Довнара-Запольского «Тайное общество декабристов» и «Идеалы декабристов». Както даже странно, что известный писатель, столь строгий критик Толстого, принимаясь за такую ответственную тему, с таким необычайным легкомыслием отнесся к своей работе. В романе не видно следа какого-либо знакомства с обильной мемуарной литературой декабристов, не пользуясь которой едва ли можно дать их изображение. Нельзя же основываться только на докладе следственной комиссии и на показаниях декабристов, данных на суде и требующих особо осмотрительного к себе отношения!

Тот, кто хочет писать о декабристах, будь то ученый или беллетрист, прежде всего должен *изучить* почти исчерпывающую книгу В. И. Семевского «Политические и общественные идеи декабристов». Без нее нельзя теперь ступить шагу. Но г. Мережковского идеи не интересуют, его интересуют факты и мысли, в сущности органически не входящие в мышление людей, им изображаемых. Этим, вероятно, и об'ясняется упрощенная работа романиста над материалом.

Каждую почти цитату в романе можно отыскать на той или другой странице в упомянутых книгах Довнара-Запольского;если у Довнара цитаты приведены не целиком, то в таком же неполном виде они фигурируют и у Мережковского. Впрочем, Мережковский, как увидим ниже, не усвоил и того, что имеется у Довнара, или сознательно уклонился от текста цитируемых книг в целях достижения своих публицистических задач. Иногда текст Довнара воспринимается Мережковским самым упрощенным образом. Так, у Довнара на стр. 71 («Тайные общества») имеется неудачная фраза, что цареубийство было «целью Южного Общества», вернее воспроизводится неудачное выражение Поджио. Мережковский расцвечиват эту «цель», хотя совершенно ясно, что цареубийство никогда не было «целью», а было лишь средством, с точки зрения многих нежелательным, но казавшимся неизбежным в видах достижения цели тайных обществ — освобождения России от пут политических и социальных.

Действительно, герои Мережковского говорят очень часто подлинными словами декабристов, вернее цитатами из книг Довнара-Запольского. Конечно, если бы Мережковскому удалось воплотить текст Довнара в художественную форму, — это одно было бы весьма почтенной задачей, против которой нечего было бы возражать. Но у Мережковского это художественное перевоплощение выразилось в том, что, перепутав и перетасовав выписанные цитаты, Мережковский добавил к ним собственное, не имеющее уже под собой никакого реального основания, но дающее действующим лицам подчас весьма специфическую окраску. Странно, что критика до сих пор этого не отметила. Это собственное Мережковского и дает основание изображение Мережковским декабристов назвать «оклеветанными тенями», хотя в конце-концов Мережковский доброжелательно относится к декабристам: ведь это в огромном большинстве «милые дети», играющие в политику и даже в цареубийство. Такой своеобразной доброжелательностью и отличается изобра-

жение Мережковского от изображения декабристов в донесении следственной комиссии. Последняя знала, что мечты отличаются от реальной действительности, что, говоря словами из показания Пестеля, «большая разница между понятием о необходимости поступка и решимостью оный совершить», и тем не менее поставила в вину каждое слово, каждую обмолвку, каждый частный разговор: каждый штрих явился отягчающим вину. У Мережковского слова остаются словами; читатель видит, что эти слова своего рода ухарство, пустые разговоры, и только. Было в моде одно время с легкой руки столь распространенного в былые годы литографированного курса Ключевского, изображать декабристов беспочвенными мечтателями, не знавшими русской действительности. После опубликования в 1905 году целого ряда записок и показаний декабристов, после выхода книги В. И. Семевского, давшей полный свод и анализ преобразовательных планов декабристов, неосновательность старой точки зрения само собой выяснилась. Модна стала другая теория, изображавшая декабристов в виде сознательных носителей классовых дворянских интересов. У Мережковского ни то, ни другое: прежние Чацкие в значительной степени превращаются в Репетиловых. Эту мысль Мережковский вкладывает в уста Пущина на одном из собраний тайного общества: «Да, есть таки у нас во всех эта дрянь». Бесспорно, что Репетиловы были среди декабристов, что неизбежно в каждом общественном движении, выходящем из узкого товарищеского круга. Были среди них и хуже Репетиловых. Если к числу декабристов относить вообще членов тайных обществ, то ведь к этому числу придется отнести и известного обер-сыщика николаевского времени Липранди и многих других.

Но не репетиловщина составляла основное ядро будущих декабристов; не отсюда черпалось идейное содержание и благородные порывы тех, кто мечтал освободить Россию от деспотизма и социального рабства. Как раз те, кто может быть отнесен к числу Репетиловых, не попали в поле зрения Мережковского. Но зато «репетиловщина» в известной дозе введена в характеристику почти каждого декабриста. Вот это от *себя* внес Мережковский в почерпнутые для романа материалы. Во всем остальном декабристы говорят подлинными словами документов. Эти слова и должны характеризовать нам людей.

Конечно, слова не всегда характеризуют людей, особенно из числа принадлежащих к типу Репетиловых. Но надо помнить, что слова, которые произносятся на собраниях тайных обществ у Мережковского, это не подлинные слова того или другого лица. Это показания, данные во время следствия в 1826 году; показания подсудимых, свидетелей, показания очных ставок. Подобный материал подлежит строжайшей критике и сопоставлениям. Перенести все эти яко бы подлинные слова из зала заседаний следственной комиссии в собрания тайных обществ само по себе еще не значит удовлетворить требованиям исторической правдивости. Эти слова, установленные свидетельскими показаниями и сказанные, быть может, иногда в задушевной беседе, никогда не были бы произнесены на собрании. Слова, выражавшие иногда то или иное сомнение, может быть, мимолетное колебание, мгновенное движение души или мысли, зарегистрированные в протоколах следственной комиссии и перенесенные в публичные собрания, становятся фактами. Правильно ли это? Думается, что нет. По крайней мере, это так в многочисленных случаях. Часто показания свидетелей, как все показания очевидцев,

весьма приблизительны и характеризуют не лицо, к которому относятся показания, а тот угол зрения, под которым воспринимались в свое время слова, а еще более психику свидетеля в данный момент. А не естественно ли, что психика в 1824 году, в момент работы, ожиданий, неосуществленной мечты была совсем иной, чем в 1826 году, в момент разочарования, подавленного состояния духа и т. д.? Известно также, что многие показания декабристов на суде давались под влиянием тех уловок, к которым прибегала следственная комиссия. Иногда прежние друзья, уловленные комиссией или негодующие на показания друга, начинали сами преувеличивать то или иное. Правда, откровенность и подчас излишняя искренность на суде дают возможность историку заглянуть в психику декабристов и довериться многим их показаниям, сопоставленным и проверенным друг с другом. Но при всем том осторожность должна быть. Написать историю декабристов на основании одних показаний, да еще без всякого критического отношения к ним нельзя. И не только нельзя написать историю, но нельзя и написать романа, дабы не погрешить против истины. Мережковский же это сделал, и то только воспользовавшись теми показаниями, которые приведены в книге Довнара-Запольского. Более всего удивительно, что это сделал беллетрист, художественное чувство которого, казалось бы, должно было подсказать, что для обрисовки человека, его чувств и мысли, для изображения его психологии недостаточно такого одностороннего материала.

Мало того, что Мережковский для обрисовки декабристов воспользовался только их показаниями, он их перепутал, а главное об'единил весьма разнородные элементы в одну общую картину. К сожалению, декабристы, оставившие так много писаного о себе материала, так много говорившие о своих целях, намерениях, мечтах, очень мало говорят о своей обыденной работе, на основании чего можно было бы изобразить повседневную жизнь тайных обществ, что является канвой для романа Мережковского. Восстановить до некоторой степени эту повседневную жизнь можно было бы, лишь произведя огромную работу, привлекая большой мемуарный материал. И если при таких условиях работы и не была бы соблюдена полная точность в цитатах, то были бы более или менее верно переданы мысль, дух и настроение, т.-е., в конце-концов, самое главное; Мережковский же пытается воспроизвести повседневную жизнь почти только на основании показаний во время следствия. Даже записки Горбачевского, единственные записки, дающие подробное изложение изо-дня в день истории слияния Южного Общества с Обществом Соединенных Славян и восстания на юге, и те использованы Мережковским лишь очень поверхностно.

Взяв различные штрихи, отмеченные для 1821—1825 гг., взяв отдельные слова, фразы, разговоры, произнесенные в этот период времени, в определенной коньюнктуре лиц, обстоятельств, и об'единив их, Мережковский втиснул их в рассказ о нескольких заседаниях Тайных Обществ 1824 года (заседаниях Северного Общества). Естественно, что при таких условиях получилась сгущенная картина, очень далекая от того, что было в действительности, и от того, что могло быть. Отсюда пострадала не только историческая правда, но и художественная. Вот почему в романе нет живых лиц, а все ходульные фигуры с явно утрированными чертами. Эту неизбежную в таких условиях утрировку Мережковский, как романист и художник, не только не смягчил, но еще более усилил внесенною им специфическою отсебятиной.

Как ни ценны подлинные слова, думается, они имеют значение только тогда, когда они вложены в уста лиц, их произносивших, или тех, кому они приписываются. Когда же одно лицо говорит, подлинными словами другого, то значение подлинности уже исчезает. Допустим, что в романе такое отступление возможно в тех случаях, когда произнесенные слова могли бы соответствовать психическому складу и образу лица, которому они приписаны. Критику пришлось бы в таком случае определять: могло ли то или иное лицо при данных обстоятельствах говорить эту речь. Работа для историка неблагодарная и бесплодная по отношению к роману Мережковского, где нет ни одного лица с подлинными историческими чертами. Что, напр., общего в темпераментах южной крови (итальянца по происхождению) А. В. Поджио и трезвого, холодного Пестеля? У Мережковского чуть ли не все говорят чужими словами: Рылеев словами С. И. Муравьева или Трубецкого (лишь вскользь упоминаемого в романе), Пестель словами Барятинского или Поджио, Каховский — Якубовича, даже ген. П. Д. Киселев с императрицей Елисаветой Алексеевной беседует подлинными словами Каховского (из писем его 1826 г.) и т. д.

Разбирать весь роман Мережковского с исторической точки зрения, особенно со стороны тех деталей, которым сам Мережковский придает такое большое значение, нет возможности. Пришлось бы написать едва ли не больше страниц, чем их имеется в романе, ибо ошибка громоздится над ошибкой. Чтобы не быть, однако, голословным и показать образец исторической работы Мережковского, остановимся несколько подробнее на рассмотрении изображения Мережковским заседаний Северного Общества в 1824 году. Здесь и прием творчества Мережковского и значение его художественно написанной монографии с исторической точки зрения выступают довольно ярко.

III.

Действия Северного Общества, описанные в романе, отнесены автором к первой половине 1824 г. Правда, Мережковский, за редким исключением, не указывает хронологических дат. Но так должно быть по *смыслу* романа. Однако, не так должно быть по смыслу *действительности*. Мы вовсе не склонны требовать от романиста точного соблюдения хронологии. Да это часто и неважно, напр., не имеет значения, что известный указ Александра I—1803 г., предписывавший солдатам делать шаг в аршин по 75 шагов в минуту, перенесен Мережковским в 1824 год. Указ чрезвычайно характерен для начала либерального царствования императора, но он столь же характерен и для солдатчины второй половины царствования. Не имеет большого значения, что хронологические даты знакомства Александра с Фотием не верны у Мережковского (их первое свидание было 5 июля 1822 г.), хотя, конечно, по существу для характеристика Александра это важно. Но для характеристики идеологии декабристов хронологические даты подчас имеют громадное значение. Впрочем, не столько для идеологии, сколько для настроения, что Мережковский абсолютно не различает. А настроения менялись очень сильно под влиянием текущей жизни. Та общая атмосфера, которую пытается изобразить Мережковский, зарождается в Северном Обществе в 1825 г. и

идет crescendo вплоть до 14 декабря, вплоть до знаменитого собрания у Рылеева накануне восстания. В 1825 г. появляются в Петербурге Якубович и Каховский, эти цареубийцы par excellence по Мережковскому. В это именно время Кондратий Рылеев, на которого оказал огромное влияние своим холодным энтузиазмом и решимостью приезжавший осенью 1824 г. в Петербург Пестель, становится членом С. Думы на место уехавшего в Киев кн. Трубецкого . . .

Однако остановимся прежде всего на тексте Мережковского.

———

«Быть или не быть России, вот о чем дело идет» — первое, что услышал Вал. Голицын, входя в квартиру одного из директоров Тайного Общества Рылеева[1]). Так начинается у Мережковского глава, посвященная декабристам. Затем автор образно описывает житейскую обстановку главного вдохновителя Северного Общества — это то, что мы называем типичной мещанской обстановкой, типичным мещанским семейным счастьем. Вероятно, где-нибудь Мережковский прочитал цитату из отрывков воспоминаний М. А. Бестужева, напечатанных в «Русской Старине», о том, что у Рылеева происходили литературные собрания — так называемые «русские завтраки». «Завтрак — рассказывает Бестужев — состоял неизменно из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба. Да не покажется странной такая спартанская обстановка завтрака, если взять в соображение, во-первых, потребность натуры моего брата Александра, требовавшей кислой пищи . . ., а во-вторых, что эта потребность гармонировала со всегдашней наклонностью Рылеева налагать печать руссицизма на свою жизнь». Эта любовь к руссицизму в изображении Мережковского приобретает крайне комический характер. По воскресеньям — русские завтраки, весь столовый обиход русский (вплоть до деревянных ложек) и блюда все русские: водка, квас, кислая капуста. «Все это было знамением древней российской вольности» — заявляет романист. И идеи Рылеева отзываются комизмом. Их выражает в разговоре простодушная провинциалка жена Рылеева, Наталия Михайловна: республика с царской фамилией. Главнейшим источником для рассуждений Мережковского о политическом миросозерцании Рылеева послужила следующая фраза Довнара: «От Пестеля и С. Муравьева Рылеев отличался бо́льшим стремлением к реставрации национальных учреждений» (Т. О. 261). Мережковский вслед за своим источником подчеркивает везде неопределенность политических воззрений человека, который считал невозможным навязывать народу ту или иную форму конституции и говорил, что «великий собор народных представителей из всех сословий народа» должен решить вопрос о форме государственного устройства. У Рылеева были большие колебания, но колебания не означают еще сами по себе неопределенность политических воззрений, как мы теперь понимаем этот термин. Но едва ли возможно переносить наши современные представления в эпоху формирования миросозерцания русской интеллигенции,

[1]) Директором в то время не был, был принят в Общество одновременно с Голицыным.

когда неопределенность формы далеко неравнозначуща была неопределенности мировоззрения. И во всяком случае нет тех комических черт в «республике с императором», усиленно подчеркиваемых Мережковским. Колеблясь между осуществимостью проекта монархической конституции Н. Муравьева и республикой Пестеля, Рылеев говорил Штейнгелю: «мы желаем монархии ограниченной, только с тем,чтобы разделить Россию на области, подобные Северо-Американским Штатам» . . . Нет в сущности комизма в показании Рылеева, что он «всегда» говорил, что «вместо президента для России нужен император».

С уверенностью можно сказать, что лично Рылеев, человек несомненно демократических убеждений, всецело склонялся к республике: здесь сказалось сильное влияние на него Пестеля. «В монархии — говорил Рылеев, согласно показаниям Батенькова в следственной комиссии — не может быть ни великих характеров, ни истинных добродетелей . . . одни американцы поняли всю важность сей истины . . . в Европе даже и Англия пребывает в тяжком рабстве от аристократии . . . она освободится после всех, а прочие должны ждать всего от России». Но «я всегда был того мнения — показывал сам Рылеев на следствии, — что Россия еще не созрела для республиканского правления, а потому в то время всегда защищал ограниченную монархию, хотя душевно и предпочитал ей образ правления Северо-Американских Соединенных Штатов, предполагая, что образ правления сей республики есть самый удобный для России по обширности ее и разноплеменности населяющих ее народов, о чем говорил я многим членам и, между прочим, Никите Муравьеву, склоняя его сделать в написанной им конституции изменения, придерживаясь устава Соединенных Штатов, оставив одну форму монархии. Вообще о преобразовании правления в России, как на совещаниях, так и в частных беседах с разными членами с самого вступления моего в Общество по 14 декабря, я говорил одно: что никакое общество не имеет права вводить насильно в своем отечестве нового образа правления, сколько бы оный ни казался превосходным; что это должно предоставить выборным от народа представителям, решению коих повиноваться беспрекословно есть обязанность каждого»[1]) . . . Мысль Рылеева таким образом совершенно ясна, и только, вероятно, одному Мережковскому могла показаться та полукомическая туманность, которую он желает внедрить в вольнолюбивые помыслы поэта-гражданина.

Но оставим пока хозяина в его мечтах о республике с царем во главе и о перстне в награду за стихотворение среди окружающей его мещанской обстановки. Яркая фигура нашего поэта гражданской скорби и гнева, с горечью сознававшего, что он на своем пути встречает лишь «трупы холодные», на редкость не удалась автору, который, повидимому, незнаком даже с работой Н. А. Котляревского о Рылееве[2]).

Для читателя романа Мережковского будет совершенно непонятно, как Рылеев мог возбуждать такой восторг и обожание среди друзей. Вдохновенный энтузиазм Рылеева заражал других. Вот как описывает нам М. А. Бестужев Рылеева на собрании накануне 14 декабря . . . «как прекрасен был в

---

[1]) См. В. И. Маслов. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева, Киев, стр. 100

[2]) Цитированная книга Маслова появилась в 1912 г., когда уже началось печатание романа Мережковского.

этот вечер Рылеев. Он был нехорош собой, говорил просто, но не гладко, но когда он попадал на свою любимую тему — на любовь к родине, физиономия его оживлялась, черные, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь его текла плавно, как огненная лава, и тогда бывало не устанешь любоваться им... Его лик, как луна, бледный, но озаренный каким-то сверх'естественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего различными страстями и побуждениями».

Этот образ, вылившийся из-под пера современника мемуариста, так и запечатлевается в памяти. И насколько он ярче и правдивее изображения беллетриста-художника... Но оставим все-таки Рылеева и познакомимся с теми, которые его окружают.

Думаю, что у читателя должны были отлиться наиболее отчетливо две фигуры — Якубовича и Каховского. Они очерчены у Мережковского наиболее резкими чертами. Это не расплывчатый Пестель, не бледный Рылеев, это — яркие фигуры, но как они далеки от того, что мы о них знаем. На их изображении проявилась вся историчность Мережковского.

В укромном уголке беседуют капитан Якубович и провинциальная девица Тевяшева, приехавшая в Петербург поискать женихов. «Якубович «храбрый кавказец» ранен был в голову, рана давно зажила, но он продолжал носить на лбу черную повязку, щеголяя ею, как орденской лентой. Славился сердечными победами и поединками... Лицо бледное, роковое, уже с печатью байронства, хотя никогда не читал Байрона и едва слышал о нем»... «Храбрый кавказец» рассказывает провинциальной барышне: «Да, поела-таки сабля моя живого мяса... я с восхищением вонзал шашку в сердце его (врага) и вытирал кровавую полосу о гриву коня». — «Эх, какой безжалостный» — млела провинциальная девица... Таков «вся надежда Рылеева», «главный тирано-убийца», который всегда обижался «умным разговорам» и только и знал, что с неестественным жаром, неестественно вращая глазами, делал «роковое» лицо и выкрикивал, как о кавказских подвигах, что прежде всего «истребить надо»[1]).

Едва ли может получиться двойственное впечатление от подобного изображения: «за то, что чином обошли, крестика не дали, готов царей низвергнуть с престолов» — так Одоевский у Мережковского характеризует новичку Голицыну Якубовича. Мы не будем здесь давать, конечно, характеристики Якубовича в противовес облику, начерченному Мережковским, приведем лишь некоторые данные, упущенные романистом. Прежде всего о театральной внешности Якубовича, в которой и император Николай находил «что-то особенно отвратительное». Мережковский для того, чтобы подчеркнуть «чухломское байронство» заставляет Якубовича носить черную повязку, хотя рана «давно зажила». Это неверно и является в значительной степени личным измышлением Мережковского. Якубович все время страдал от раны, полученной в августе 1823 г., и ему, по свидетельству Каратыгина, (*Р. Ст.* 1875, V, 731) два раза делали трепанацию черепа. Если некоторым из

---

[1]) Якубович в изображении Довнара-Запольского иронически относился к заговору; в силу этого и не оказывал ему поддержку. Предложение его цареубийства своего рода тактический шаг. Когда все промолчали на это предложение, и Якубович заявил, что он не способен к такому акту.

декабристов и казался Якубович (как раз тем, которые его не знали, как напр., Одоевский) лишь «великим хвастуном»[1]), не имеющим «никакого политического убеждения», то мы, наряду с такими отзывами, имеем целый ряд иных свидетельств: так высоко ценил храбрость[2]) и личность Якубовича А. П. Ермолов, знавший его по Кавказу; о «нескрываемых прогрессивных убеждениях» Якубовича говорит кн. С. Г. Волконский. Но у нас есть и более осязательные свидетельства, чем личные впечатления, всегда, конечно, суб'ективные и часто неверные. Это записки и письма Якубовича из крепости имп. Николаю, того самого Якубовича, который, по словам Мережковского, всегда обижался, когда при нем вели умные разговоры. В этих писаных заметках Якубович делает весьма ценные замечания о положении сословий в России, о налогах и т. д. И если бы Мережковский потрудился хотя более внимательно перелистать книгу В. И. Семевского, заглянуть в эти письма Якубовича, напечатанные А. К. Бороздиным в очень известной и доступной книге «Из писем и показаний декабристов» (Спб. 1906 г.), то, вероятно, фигура Якубовича получилась бы иная, если только Мережковский вообще хотел в своем романе приблизиться к исторической правде. Материал для своей характеристики Якубовича Мережковский нашел у Довнара (Т. О. стр. 267—271), материал очень недостаточный. Но и здесь автор ввел свое специфическое, почему «Демосфен военного красноречия», как называл Каратыгин Якубовича, человек «громко прославленный во многих кругах — по словам Оболенского — за смелый и отважный характер и за многие доблестные качества» превратился в носителя «чухломского байронства». В общем характеристика Мережковским Якубовича скорее напоминает шутливое замечание Пушкина в письме к А. А. Бестужеву 30 ноября 1825 г.: «когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним (т.-е. Якубовичем) разбойничал на Кавказе»...

За Якубовичем выступает тирано-убийца № 2 — Каховский, не более удачно изображенный Мережковским. Становится даже обидно за беллетриста, который, изображая одного из интереснейших декабристов, так мало проявил чуткости в характеристике лица, который по своей оригинальности, по всему складу своего облика мог бы дать огромный материал для романиста. Мережковский ограничился пересказом по-своему тех фактов, которые он нашел у Довнара на стр. 275—280. Он не потрудился даже заглянуть в специальный очерк о Каховском, напечатанный П. Е. Щеголевым в «Былом» (1906 г.). И что же получилось в результате? Вместо удивительно оригинальной и яркой фигуры революционера-романтика, «второго Занда», по словам кн. Оболенского, вдумчивого наблюдателя жизни, человека широко образованного, хорошо знакомого с экономическими науками, написавшего из крепости замечательные письма имп. Николаю, человека, воспламененного героями древности, с юности мечтавшего о служении обществу и народу, — получился не «то театральный разбойник, не то фортепианный настройщик», как по внешности характеризует романист Каховского. Тем более это странно, что у источника исторических познаний Мережковского имеется ма-

---

[1]) О „хвастливых возгласах" Якубовича на знаменитом собрании Рылеева накануне 14 декабря 1825 г. говорит в своих воспоминаниях М. А. Бестужев.

[2]) Декабрист Розен, побывав впоследствии на Кавказе, говорит, что линейные казаки помнили „удалые подвиги" Якубовича.

териал и для другой характеристики. Мережковский, конечно, не разобрался и в отношениях Каховского к Рылееву (Корнилов почему-то считает эти отношения очерченными правильно), осложнившихся *в конце* 1825 г. в душной атмосфере разговоров о цареубийстве, в нервном напряжении, в котором находились оба. Мережковский, перенеся все это хронологически раньше, не дает этой атмосферы, почему порывы энтузиазма превращаются в порывы обозленного, голодного человека, каким представляется в романе Каховский. В сущности Мережковский, как художник, оказался совсем не на высоте при характеристике Каховского, — получился чрезвычайно неясный облик. С одной стороны, здесь упомянут Занд, Плутарх и древние писатели, с другой — жажда славы, отсутствующей у обездоленного, прожившегося смоленского помещика, какой-то неутомимый пыл к убийству всех и восторг перед великой идеей Священного Союза, «изгаженного мерзавцами»... Заканчивает Мережковский свою характеристику Каховского картиной расстрела царей, учиненного Каховским над бутылками... «И долго еще длилась эта невинная забава — бутылочный расстрел»... Эффектный конец, достойный пера художника, но надо ли говорить, что это и есть та «отсебятина», которой сдабривает Мережковский небольшой материал, почерпнутый им из прочитанных книг...

Среди этих тирано-убийц №№ 1 и 2, как «взрослый между детьми», выделяется Батеньков, изображенный, по мнению г. Корнилова, недурно. Не знаю в данном случае, откуда черпал материал Мережковский для характеристики Батенькова, фигуры довольно определенной. Это человек умный, образованный, спокойный, мечтавший о свободных идеях еще в 1811 г. в корпусе совместно с В. Ф. Раевским, проникнутый жаждою политической свободы, но тем не менее человек умеренный в своих политических воззрениях, впервые столкнувшийся с Тайным Обществом летом 1825 года. Батеньков был человек религиозный, но он сам признает, что, эта религиозность была заглушена в первое время: «впечатление младенчества установилось и не *возмутило рассудка,* но оставалось и крепло со временем, хотя и *казалось заглушенным в волнах жизни*.... Оно возымело полное действие уже в мужеский возраст, когда житейское бедствие обрушилось надо мной»... У Мережковского Батеньков превращен в какого-то проповедника весьма туманных à la Мережковский идей. У Мережковского Батеньков рассуждает не о конституционной монархии, поклонником которой он был, а о чем-то весьма странном. Самодержец, помазанник Божий — это идеал. Но в России его нет; самодержавия в России нет, нет русского царя, а есть император немецкий. Русский царь — отец, а немец — враг народа. Посему Батеньков и полагает, что этот порядок «прикончить пора», — за немцами пойдут жиды... Какая-то удивительная неразбериха, не имеющая абсолютно ничего общего с записками Батенькова, из которых вытекают его политические воззрения: он сторонник английского государственного строя.

Приведенную уже коллекцию портретов декабристов надо пополнить изображением Ал. Бестужева, человека «решительного, но беззаботного», по характеристике проф. Довнара. У Мережковского эта «беззаботность», конечно, утрируется, подчеркивается до шаржа. По внешности это молодой человек с обыкновенным приятным лицом, о котором барышни на Невском говорят: «Ах, душка гвардеец». В заговор попал, как кур во щи, из маль-

чишеского ухарства, байронства, из-за подражания Якубовичу[1]). (Если мы припомним, что в 1825 г. Бестужев был одним из директоров Тайного Общества, то поймем, какие несуразицы получаются у Мережковского от игнорирования хронологии и сведения разных данных в одну картину). Но Бестужев начинал понимать, что игра становится опасной, и все чаще подумывал, как бы, не изменяя слову, выйти из общества. Последнее взято из показания самого Бестужева (у Довнара Т. О. стр. 294). У Мережковского это не показание на следствии, а задняя мысль в то самое время, когда Бестужев с «особенным жаром» утверждает, что «пора начинать» и всех глупо заподазривает в шпионстве. Быть может, нюанс хронологический и небольшой, но весьма существенный: читатель согласится, что облик должен получиться при такой хронологической перестановке совсем иной. Но Бестужев не только намеревается выйти из Общества, он озабочен полным уничтожением Общества и орудием для выполнения этой цели выбирает того же Каховского. Так Мережковский об'ясняет разговор, имевшийся в действительности в конце 1825 г. между Каховским и Бестужевым, согласно их показаниям. (У Довнара Т. О. стр. 280). Сделаем выписку из книги Довнара-Запольского для сопоставления с текстом Мережковского, т.-е. источника с романом. Однажды осенью во время прогулки Бестужев открыл Каховскому, что, по мнению Рылеева, «найдутся люди, которые не только решатся собой пожертвовать для цели Общества, но самую честь принесут в жертву. Цареубийце Общество дает все средства бежать из России, но, если он не успеет, то не должен своего дела связывать с делом Общества». Этим сообщением Бестужева было задето самолюбие Каховского, и между *друзьями* (Рылеевым и Каховским) произошла размолвка. И Каховский на суде показывал, что «Рылеев, видя во мне страстную любовь к родине и свободе, пылкость и решительность характера, стал действовать так, чтобы приготовить меня быть кинжалом в руках его». Мережковский не только все это целиком принимает на веру, но еще и усугубляет. Бестужев идет к Каховскому и говорит ему, что «никакой Думы нет, вся она — в одном Рылееве» (это кстати, говорил как раз сам обозленный Каховский) и что Рылеев всех обманывает, что «он приготовил вас (т.-е. Каховского) быть ножом в его руках. Вы — лицо отверженное, низкое орудие убийства, жертва обреченная... Все эти невидимые братья (к ним относится Рылеев)... чужими руками жар загребают... кровь падет на вашу голову, а они умоют руки и вас же первые выдадут. Якубовича, того берегут, для украшения Общества, кавказский герой. Ну, а вы... Рылеев полагает, что Вы у него на жаловании — деньги берете... наемный убийца»... Вот как сумел расцветить романист не совсем понятную беседу Бестужева с Каховским. Романист не только расцветил эту беседу, придав ей такой некрасивый с моральной стороны облик, но в соответствии со словами Бестужева и рисует подлинные отношения Каховского и Рылеева. Последний смотрел на первого, «как точильщик, который пробует нож: остер ли?» Это уже не шарж, не утрировка, а возмутительная клевета и на того, и на другого; клевета и на Бестужева, быть может, и легкомысленного, но горячего и решительного, с искренним энтузиазмом проповедывавшего необходимость поднять восстание

---

[1]) Между прочим Ал. Бестужев наиболее отрицательно относился к Якубовичу как это видно из воспоминаний его брата Михаила, в свое время напечатанных Шиманом.

«для истории»: в реальный успех он не верил. И опять приходится лишь удивляться, как мало чуткости у г. Мережковского, столь необходимой художнику пера. Только абсолютное незнакомство с вопросом или грубая тенденция могла позволить дать такое изображение отношений Каховского и Рылеева, действительно старых друзей: Каховскому Рылеев посвящал свои стихи и, по словам кн. Оболенского, «высоко ценил его душевные качества». Незнание и нежелание познакомиться и вникнуть в материалы делают то, что шутки превращаются у Мережковского в нечто серьезное. Бестужев на суде показывал, что в шутку говорил, что Каховский оспаривает первенство у Якубовича в тираноубийстве. Для Мережковского это уже совершенно серьезно . . .

Но почему Бестужев вел, однако, упомянутый разговор с Каховским? Источник г. Мережковского говорит: «Трудно понять цель этого вмешательства. Конечно, на следствии Бестужев об'яснял свое вмешательство тем, что он хотел предотвратить неизбежность удара. Но, может быть, это было следствием известной «болтливости» Бестужева, а может быть он испытывал Каховского или неудачно выполнял щекотливое поручение Рылеева». Мережковский, не заглянув в те книги, на которые ссылается его источник, произвольно разрешает вопрос, затруднявший исследователя. «Бестужев предлагает Каховскому уничтожить старое Общество и начать все сызнова, создать новое Общество, в котором Каховский-де был бы главным директором, но тайная его мысль была в действительности — не создать новое, а уничтожить старое и сделать Каховского своим орудием для достижения цели». Заканчивается эта интимная беседа у Мережковского тем, что Бестужев под винными парами заплетающимся языком рассказывает Каховскому о своих любовных похождениях, о том, как дамы чуть не изнасиловали его. После ухода этого «шалопая» Каховский и устраивает свой бутылочный расстрел царской фамилии . . .

Можно сказать в заключение лишь одно: у Мережковского не было никаких данных для подобных выводов и характеристик.

Таков персонаж в обрисовке Мережковского, с которым встречается впервые кн. Вал. Голицын на собрании членов Тайного Общества у Рылеева. Все остальные присутствующие обрисованы лишь несколькими штрихами, как кн. Трубецкой, Пущин и немного более Одоевский, представленный увлекающимся идеями Чаадаева на тему о том, что без Бога нет свободы. Словами самих действующих лиц Мережковский подводит итоги того впечатления, которое производит на новичка эта разношерстная компания. «Детки шалят, деток — розгою» — говорит Рылеев, «играющий в парламент» и чувствующий большое самоудовлетворение, что у него на квартире заседают члены Тайного Общества за столом, покрытым зеленым сукном. «Болтуны, сочинители, Репетиловы» — уже более резко подчеркивает Пущин. А вот и другое самопризнание Рылеева: «и сам — подлец! за жену, за дочку, за теплый угол, да за звучный стих отдам все — все свободы» . . . «щелкоперы, свистуны, фанфаронишки, наговорим с три короба, а только цыкни, — и хвост подожмем» . . Как известно, однако, Рылеев не отдал всех свобод за теплый угол . . .

Во всяком случае эта характеристика товарищей, вложенная *до* 14 декабря в уста самого энергичного деятеля Северного Общества, неестественна. Она отзывается скорее ненужною пошлостью. Мережковский вообще не скупится, чтобы изобразить дело декабристов «детски беспомощным», напо-

добие того, как «детски беспомощно», словно у сорванца мальчишки в картузе, торчит хохол на затылке у Рылеева, когда он упрямо твердит: «вот вам крест — через два года революцию сделаем». Для усиления того же впечатления Мережковский вводит эпизод с зайчиком, принесенным Настеньке (дочери Рылеева) старостой Трофимычем из деревни: этот зайчик вырывается из кухни, производит переполох . . . и нарушает торжественные клятвы Рылеева о революции. То же самое подчеркивается автором в эпилоге наиболее важного заседания, на котором в присутствии Пестеля идет вопрос о соединении Северного и Южного Обществ, на котором диктаторские замашки Пестеля и его проекты возбуждают бурю негодования . . . Уходит Пестель, снимается, «чтобы не запачкать», «зеленое сукно, взятое на прокат из Русско-Американской Компании». Потушили свечи, зажгли пунш . . . Захлопали пробки, полилось шампанское . . . спорили о цыганках Фене и Малярке, кто лучше поет, спорили почти с таким же увлечением, как только что о республике и монархии . . . В этот самый момент неистовый Якубович произносит речь, что он жаждет мщения царю . . . . Здесь именно театрально срывается пресловутая черная повязка. Слова Якубовича — слова *подлинные*. Как историчен Мережковский! Эти подлинные слова Якубовича — показания Рылеева на суде. Допустим, что они были произнесены в той именно форме, которую передает Рылеев и которая произвела на него и на его товарищ сильное впечатление. Однако, и по свидетельству Рылеева, эти слова Якубовичем были произнесены директорам: Рылееву, Оболенскому, Бестужеву в частной дружеской беседе (Бестужев и Якубович — старые знакомые). Слова, перенесенные в общее собрание, со всей их театральностью дают совершенно иное впечатление. На Рылеева энтузиазм Якубовича произвел сильнейшее впечатление, у Мережковского эта театральная речь в момент попойки, разговоров о цыганках на присутствующих не производит никакого впечатления, на читателя же романа впечатление скорее отталкивающее. Присутствующие Якубовича выслушали молча и заговорили сейчас о другом, — ехать ли к «дамочкам» по соседству, в Фонарный. И вновь сами же декабристы у Мережковского подводят итоги: «Боже мой, как стыдно и гадко все . . . Ничего не будет . . . Болтуны мы несчастные» . . . (Одоевский). То же резюмирует и Рылеев, по какой-то случайности оказавшийся попутчиком Голицына, хотя заседание Общества происходило, по Мережковскому, у него на квартире . . .

Об этом эпилоге хочется сказать еще несколько слов. По мнению А. А. Корнилова, как мы уже указывали, Мережковскому в общем удалось хорошо изобразить все заседания тайных обществ, и автору в этом значительную помощь оказали наблюдения над собраниями 1905 года. Однако, очень сомнительно, чтобы какие-либо собрания, на которых дебатировался вопрос: «быть или не быть России», могли когда-либо заканчиваться подобным эпилогом, — все равно, было ли это в начале XIX века или в начале нынешнего столетия. От такой художественной правды веет самой антихудожественной искусственностью. Несомненно, чтобы изобразить подлинную жизнь, в которой всегда так много действительно прозы, нельзя останавливаться только на идейном содержании, приходится брать и то, что мы называем обывательщиной. Человек остается человеком со всеми своими достоинствами и недостатками, даже в тех случаях, когда горит энтузиазмом. Но художник-Мережковский, внимательный наблюдатель 1905 года, делает одну грубую психологическую ошибку. Он взял обывательщину, сгустил ее и ею закрасил все чистые

идейные порывы, т.-е. он впал в полную противоположность тому, что делает по неизбежности историк, желающий выяснить идейные течения общественности. И подобное изображение гораздо дальше от подлинной жизни, чем отвлеченное изображение историка и социолога. У последних выступает выпукло хотя бы одна сторона человеческого общежития, наиболее ценная — сторона идейная. У Мережковского нет ни подлинной жизни, ни идейного содержания. Замалчивая то, на что уполномочивала история, Мережковский зато предоставлял полный простор своей фантазии. Экскурсы Мережковского, неправдоподобные, по нашему мнению, для всех эпох, являются лживыми для тех отдельных эпох, когда пламя чистого энтузиазма во имя общественного блага горит особенно ярко. Такие эпохи бывают в истории — достаточно вспомнить наши 70-е годы. Конечно, это пламя горит в отдельных кружках. Обыватели продолжают оставаться мещанами. Но если идейный энтузиазм и не захватывает большинства, то он закрывает собой перед взором историка обывательскую тину. К таким именно эпохам принадлежат годы, связанные с именем декабристов. Вот почему эта эпоха окружена в наших глазах таким нимбом, котрый не могут уничтожить многочисленные попытки последних лет. Декабристы в своем большинстве остаются для нас представителями той внеклассовой интеллигенции, которая несет на своем знамени освобождение России. Вот почему так бережно приходится обходиться с некоторыми историческими именами и избегать той *обывательщины,* которую проявил Мережковский в их изображении.

IV.

Мережковский пользуется каждым удобным и неудобным случаем, чтобы подчеркнуть несерьезность членов Тайных Обществ. Можно подумать, что он поставил себе ту же задачу, которую яко-бы ставил себе Блудов при составлении текста правительственного «Донесения». Блудов позже рассказывал Бартеневу, что его целью было «изобразить участников мятежа несколько в смешном виде, как людей, не дававших себе отчета в своих поступках». Он хотел добиться яко-бы менее строгого наказания. Мережковский эту несерьезность декабристов прежде всего видит в приеме в члены Тайного Общества главного своего героя, кн. Вал. Голицына. Рылеев в восторге от того, что в Общество вступает десятый князь и революция будет восстанием варяжской крови на немецкую — Рюриковичей на Романовых (непонятно, почему «националисту» Рылееву так дорога варяжская кровь), и сразу без разговоров принимает Голицына в Общество. Лично по отношению к Голицыну, принятому в члены Тайного Общества одновременно с Рылеевым, это неверно. Но подобная вербовка членов не соответствовала вообще тому, что было в действительности. Принимали вовсе не всякого, приходящего с улицы; на заседаниях тайных обществ, где поднимался вопрос о цареубийстве, конечно, не бывали посторонние.

В среду этих «милых детей», неумело и неправильным путем ищущих правды, играющих в революцию и в парламент, в среду легкомысленных bon vivants, рыцарей без страха и упрека, театральных тирано-убийц и Репетиловых является лицо, руководительствующее другим тайным обществом, — Пе-

стель. Силы Мережковского при том небольшом запасе знаний, которым он обладает, оказались совершенно недостаточными для изображения этой выдающейся личности, производившей сильнейшее впечатление на всех окружавших и заметно влиявшей даже на лиц, неприязненно настроенных. Самый метод Мережковского — набор разнообразных цитат, часто противоречащих друг другу, — совершенно непригоден для художественнного воссоздания облика такого крупного человека александровской эпохи, каким был П. И. Пестель.

Пестеля, обладавшего огромной энергией и волей, стоявшего головой выше других современников, многие не любили. Во время следствия многие из членов Южного Общества старались спасти себя, говоря о гибельном влиянии Пестеля. Если вообще к показаниям декабристов следует относиться по указанным выше причинам с большой осторожностью, то еще более следует сказать это про многочисленные показания о Пестеле. Его наименее щадили и те, кто пал в бездну отчаяния, и те, кто разочаровывается после декабрьской неудачи, и те, кто попадал в сети интриг, расставленные следователями. Как раз этой осторожности требуют одни из центральных показаний, положенных в основу Мережковским, — показания А. В. Поджио, которому в следственной комиссии сумели внушить мысль, что в его лице Пестель готовил только орудие для выполнения своих целей.

То, что говорилось о Пестеле в 1826 году, далеко не равнозначуще впечатлениям и отношениям в 1824 году. Показания, данные на суде и передающие более или менее подлинные слова, сопровождаются иногда комментариями, весьма существенными. Например, в обвинительном акте говорилось, что Пестель «с хладнокровием исчислял всех ее (царской фамилии) членов, на жертву обреченных». Это попало в обвинительный акт из показаний Поджио, говорившего, что в сентябре 1824 г. между ним и Пестелем шла беседа о цареубийстве, и Пестель перечислял всех подлежащих убиению. Эта сцена целиком перенесена Мережковским в роман, — только беседа ведется уже не с Поджио, а с Рылеевым, т.-е. вместо друга и единомышленника, главного проводника идей Пестеля в Петербурге, перед нами человек, с которым Пестель видится первый раз и которого он еще испытывает. Перемена обстановки весьма существенная, так как она совершенно иначе характеризует Пестеля: одно — интимная беседа с единомышленником, другое — беседа с лицом новым. «Ужасный счет сей по пальцам» происходил, как подтвердил Пестель, но «без всех этих театральных движений». А в этом все, тем более, что Мережковскому именно нужна только театральность. Ради нее и введена вся сцена. И если бы Мережковский не ограничился только текстом книги проф. Довнара-Запольского, а заглянул бы и в сделанный Н. П. Павловым-Сильванским свод следственного дела («Пестель перед верховным тайным судом»), может быть, и у него бы пропала вера в непогрешимость обвинительного акта, составленного на основании случайно вырванных показаний без связи с общим контекстом. Обрисовать же Пестеля на основании показаний о нем, не приняв во внимание его личных об'яснений и ответов . . . — что в сущности можно сказать о таком методе работы?

Не затрогивая ни одним словом идеологии Пестеля, его оригинальных демократических убеждений, его проектов социальных реформ, Мережковский, как везде в романе, останавливает свое внимание только на революционном плане, делая его как бы самоцелью.

Нигде так ярко не проявились приемы пользования источниками Мережковского, как на изображении приезда Пестеля в Петербург для об'единения Северного и Южного Обществ. По Мережковскому, Пестель для всех в Петербурге новый человек. Тут Мережковский внимательно даже не посмотрел своего источника — соответствующей главы в работе г. Довнара «Пестель в Петербурге». В результате явилось бесчисленное количество ошибок. Совершенно непонятно, почему Мережковскому просто было не изложить ход дела в соответствии с фактическими данными, так как здесь искажения не вытекали из технических приемов работы. Исправлять Мережковского нам нет охоты и нужды, так как поправки здесь должны итти сплошь. Мережковский все смешал в кучу: отдельные беседы, заседания общества и т. д. И все это для того, чтобы в утрированном виде представить дело.

Начинается, как помнит читатель, беседой с Рылеевым. Пестель действительно виделся с Рылеевым один раз и произвел на него чрезвычайно сильное впечатление. Передавая беседу, Мережковский (что очень характерно) старательно умалчивает об идейном содержании разговора, например, о национализации земли, но зато вводит «ужасный счет по пальцам». Умалчивая о беседах с директорами Думы, Оболенским и Трубецким, Мережковский вводит Пестеля на то заседание Тайного Общества, которое, как мы знаем, заканчивается скандалом и . . . попойкой. Здесь Пестель говорит речь, сотканную из разных кусков, и своих и чужих. Так, может быть, сильнее, но и менее правдоподобно. Речь возбуждает негодование: предложение Пестеля — «это военные поселения, а не республика». Раздаются крики: «Долой диктатора! Долой Пестеля! Второго Бонапарта! Второго Самодержца, Павла Второго!» etc.[1]). Равным образом, у Мережковского превращается в крикливую театральность неодобрение северян сношений с поляками . . .

От количества цитат история в романе просто выпирает. Но здесь только кажущаяся историчность—просто-напросто перепутанные цитаты. Впрочем, в этих цитатах есть и творчество романиста, так, напр., почему-то слово «черта» заменено «знаком»; «везде» — «всюду», «произведенных» — «совершенных», «революционные мысли» — «мысли революционные». Это безобидное творчество, творчество неизвестно для каких целей, раз переписывается подлинная цитата. Но иногда стилистическое творчество Мережковского в пользовании цитатами носит уже и злостный характер. Начало речи Пестеля взято из показания его о причинах развития вольномыслия. Он говорит, что происшествия 1812—15 гг. показали «столько престолов низвергнутых, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных». Мережковский, переписывая эту цитату, выбрасывает слова «столько новых учрежденных». Для чего? Ему надо показать только разрушительные тенденции Пестеля, но этим самым он в корень искажает и мысль Пестеля . . .

В конце концов у Мережковского есть намеки на истину, есть верные факты, неверно освещенные, есть отдельные эпизоды, вставленные в неправильную рамку, в непонятную коньюнктуру.

Естественно, что и Пестель получился не исторический. Это лицо не живое, говорящее все цитатами, да еще подчас чужими. Но и эта фигура, взя-

---

[1]) Напомним, что „диктатор“ не хотел даже итти во временное правительство. Вот показание самого Пестеля: „Я никогда не требовал от северных членов слепого повиновения одному директору, а предлагал им составить одну общую директорию“.

тая на прокат из музея восковых кукол, подделанная под Наполеона, не обрисована определенными чертами. Это не якобинец по складу ума, фанатично преданный идее, человек огромной воли и холодного бесстрашия, отличавшийся «умом необыкновенным» и «редким даром слова, увлекательно действовавшим на того, кому он доверял свои задушевные мысли», это не «обаятельная личность» «приятной наружности», по отзыву кн. Оболенского, — это человек, на которого надета «мертвая маска», а внутри заложен сентиментализм, человек, теоретически мыслящий по математическим выкладкам, а в глубине страдающий от того, что у него нет «любви», человек, у которого по внешности «Град без Бога», а внутри — чувство бессознательной религиозности. Бесспорно, Пестель — натура сложная. Но ведь нельзя историю воспринимать только художественным чутьем. Допустим, что художник может быть провидцем — в этом его талант, но и провидцу необходимо считаться с фактами, а не измышлять их. Иначе получается предвидение à la баронессы Крюденер и подобных ей пророчиц.

Если мы от характеристики вождя южан перейдем к самому Обществу, то встретимся приблизительно с теми же самыми чертами, что и при характеристике северян — тот же метод работы, ту же перетасовку и подделку цитат. Правда, здесь дело обстоит несколько лучше. И за детским шутовством, за фанфаронством (на заседаниях Общества члены все только ссорятся из-за каких-то непонятных глупостей) все же чувствуется нечто и более глубокое. Повидимому, это следует отчасти об'яснить тем, что в изображении момента соединения южан со славянами центральной фигурой для автора является С. И. Муравьев-Апостол, проповедующий революцию через религию. Правда, здесь только кажущееся единство во взглядах, но тем не менее в изображение Муравьева Мережковский вкладывает значительную долю симпатии. Кроме того, Мережковский, помимо г. Довнара, пользовался в данном случае и другими материалами: ему знакомы несколько воспоминания Горбачевского не только по выдержкам в чужих работах, но и непосредственно. Но и здесь, конечно, Мережковский не освоил достаточно материала. И здесь много путаницы и тенденциозности; много того комического, что усиленно подчеркивает Мережковский. Достаточно припомнить шутовскую пропаганду Бестужева-Рюмина среди солдат. Мережковский нарочно превратил это в комедию. В Южном Обществе есть свой «сердитый пес», свой Якубович, — Кузьмин, очерченый с такой же подлинною историчностью, как и Якубович. Здесь так же, как и в Северном Обществе, происходит своего рода «растление детей». Саша Фролов и Миша Черноглазов идут на заседание славян, как «к мадамам». Явившись на заседание заговорщиков, ничего не думая о политике, они в восторге при виде такого большого количества начальства. Становится «и страшно и весело». Их, как новичков, спрашивают, в какое Общество они желают поступить: к славянам или в южное. Саша не знает, что ответить. «В Южное», — решает за него Черноглазов... Кроме исторических фамилий, здесь мало верного. В характеристике отдельных лиц столько же произвольности. Перед нами, для примера, Артамон Муравьев, на балу хвастающийся любовью к царю, а в заседании Тайного Общества бранящий его «пуще всех». Во всей наружности Артамона Муравьева что-то «фальшивое»

(кстати, Арт. Муравьев очень хорошо держался на суде). А. А. Корнилов одобрил изображение П. И. Борисова, сделанное в соответствии с историческими данными. Насколько это соответствует действительности, можно судить хотя бы по некоторым внешним чертам: он представлен молчаливым, косноязычным человеком, который пытается связать несколько слов, но не может. А между тем именно Борисов на собраниях главный оратор — это руководитель славян. Очевидно, оценка лиц весьма суб'ективна.

По мнению г. Корнилова, не удался Мережковскому Лунин. Но, пожалуй, из всех декабристов это наиболее яркая, наиболее определенно очерченная фигура и наиболее правдоподобная. Но и в этой характеристике Мережковский допускает полную несуразицу: делает Лунина каким-то агентом иезуитов, мстителем за Рим, за изгнание иезуитов. У Мережковского в главах, посвященных южанам, есть сильные сцены, отмечаемые г. Корниловым. Это те отдельные места, которые целиком, слово в слово, списаны из замечательных записок Горбачевского.

V.

Не достаточно ли приведенного, чтобы судить о правильности изображения декабристов Мережковским, чтобы ответить совершенно определенно на вопрос: похож ли роман Мережковского хоть сколько-нибудь на художественно написанную историческую монографию?

Сузив задачи и интересы декабристов, сосредоточив все их помышления на убийстве, Мережковский превратил их в каких-то неврастеников. В каждом из декабристов есть что-то «жалкое», какое-то, быть может, подсознательное чувство неудовлетворенности. Это почти детски «жалкое» есть у Пестеля, у Муравьева-Апостола, у Борисова и т. д. Впрочем, не только у декабристов мы встречаем таинственное «жалкое», оно едва ли не у всех героев романа: у Александра I, Елисаветы Алексеевны и даже у Фотия. Однообразный мотив, проходящий красной нитью через весь роман, нужен для Мережковского-публициста: все мучаются вопросом (даже те, которые изображены атеистами, как, напр., Борисов): «можно ли итти на кровь во имя Господа?» Отсюда, конечно, неврастеничность действующего персонажа.

Следуя исторической теории, придуманной Мережковским, в сущности последний и не мог изобразить декабристов, т.-е. изобразить их чувства и мысли, если даже у него и был бы достаточный запас фактического материала. «Знание есть любовь» — развивал Мережковский в статье, написанной уже после выхода романа и озаглавленной «В защиту Александра I». «Знать о предмете можно только, увидев его изнутри. Таким внутренним видением, ясновидением обладает сочувственный опыт, опыт любви. Сердце сердцу весть подает: сердце познаваемого сердцу познающего». Ясно, что в данном случае сердце познаваемого не могло откликаться на призывы сердца познающего. Мережковскому, однако, надо было найти такое созвучие между исследователем и исследуемым. Пришлось посмотреть на вопрос «изнутри» и найти хотя бы кажущееся созвучие. Мережковский нашел его, произведя неестественную операцию над фактами и успокаивая себя, следуя, очевидно,

теории Фрейда о подсознательном, тем, что «исторические документы доступны немногим». К числу этих немногих, очевидно, относится и сам Мережковский. Опыт применения новейших врачебных физиологических теорий к изучению истории оказался очень неудачным и показал, что в истории прежде всего требуется знание фактов.

Если для оправдания исторической теории Мережковского, декабристов приходилось приспособлять, подвергать своеобразной публицистической обработке, то можно было думать, что в других отделах романа, где легче найти созвучие между познаваемым и познающим, романист в роли историка окажется на должной высоте. Это созвучие должно было найти себе место в изображении Александра I, недаром Мережковский взял на себя неблагодарную задачу защищать тень Александра от нападков вел. кн. Николая Михайловича. По этому поводу и была написана цитируемая статья[1]). Однако, внутреннее рассмотрение фактов, без достаточного их освоения, привело к результатам, более или менее аналогичным с изображением декабристов.

Было бы слишком долго и утомительно подвергать все части романа подробному разбору — метод работы, примененный Мережковским к декабристам (им посвящена половина романа), остается по существу тот же на протяжении всего романа. Едва ли поэтому стоит исследовать источники других частей романа. Вне всякого сомнения, большого знакомства с эпохой у Мережковского нет, не видно даже более или менее пристального изучения того, что было под руками Мережковского, а тем более знакомства, выходящего из круга общих работ по данной эпохе. Пусть это уже делают те, которые считают, что Мережковский прожил долгое время в общении с архивом, собрал и изучил «изрядный материал»: «я не буду перечислять здесь, — говорит г. Корнилов, — всех источников, изученных (?!) Мережковским . . . но могу все же сказать, что взялся бы составить к этому роману подробный (?) комментарий, в котором *без особого труда* (курсив наш) мог бы указать в подстрочных примечаниях ко многим его страницам, откуда именно заимствован или на каких источниках основан напечатанный на них текст». Можно не сомневаться, что, вероятно, действительно без особого труда можно указать источники, откуда Мережковский заимствовал то или иное — источник иногда сам выпирает наружу, как мы видели на примере изображения декабристов. Он выпирает нередко и в других местах, где был применен тот же упрощенный метод, где источник (т.-е. источник в переносном смысле — источник для работ Мережковского) просто переписывался. Переписка понятна, когда цитируются мемуары или что-либо аналогичное, но когда цитируется обычное повествование исследователя, т. е. уже обработка материала, то эта переписка становится непонятной. А между тем Шильдер цитируется у Мережковского *буквально* целыми страницами, — конечно, в романе ссылок не полагается, как в любой добросовестной компилляции. Шильдер — один из основных источников Мережковского, и здесь в целом ряде мест можно поставить без опасения ссылки: Шильдер, т. IV, стр. 258, 336, 345 и т. д., и т. д. Если заняться теми подстрочными примечаниями, о которых говорит г. Корнилов, список сочинений, использованных Мережковским, окажется очень небольшим. Получится то же в значительной степени, что получилось с декабристами. На первый взгляд кажется (так, по крайней ме-

[1]) „В защиту Александра I". „Русская Молва" 1913.

ре, казалось г. Корнилову и некоторым другим критикам), что Мережковский привлек большое количество мемуаров, изучил даже *дело* декабристов, — это впечатление получилось от большого количества цитат: современники сплошь да рядом говорят своими словами, в действительности при ближайшем рассмотрении почти все свелось к одному Довнару-Запольскому. То же может произойти и при дальнейшем анализе. Можно сделать ряд ссылок, и затем найти их в той или иной работе, которою пользовался Мережковский. По правде сказать, слишком скучно расследовать вопрос, из какой компилляции черпал Мережковский материалы для характеристики, например, Фотия, но *одно несомненно* что в первоисточник, хотя и напечатанный, Мережковский не заглядывал: ни автобиографии Фотия, ни его писем и посланий Мережковский не использовал. И так почти в каждом отделе.

Для нас в сущности может представить теперь интерес только самая концепция романа или характеристика отдельных исторических личностей в обработке Мережковского или в соответствии с исторической подлинностью.

Однако, общая концепция трилогии настолько туманна, что мы не беремся о ней говорить. Как известно, это старая, весьма расплывчатая идея Мережковского, идея борьбы духа и плоти, Христа и антихриста. Мы лично совершенно убеждены, что для большинства читателей романа его концепция — пустое место. Интересует сюжет, обстановка, делающие роман популярным. Интересуют лица. Центром романа наряду с декабристами является Александр I.

Александр I Мережковского мало походит на действительного Александра, каким, по крайней мере, он рисуется в настоящее время большинству, в соответствии с новейшими данными; это признает даже А. А. Корнилов, сам склонный несколько к прежней идеализации загадочного сфинкса. Мережковский в сущности игнорирует всю новейшую литературу, хотя, повидимому, ее знает, по крайней мере, труд вел. кн. Николая Михайловича, с которым даже неудачно полемизирует. Хотя в характер Александра в романе введено Мережковским много «своего», тем не менее фигура Александра очень традиционна. Перед нами Александр конца царствования. Это человек, сотканный из противоречий. Он сын Павла, и ничего против наследственности не сделаешь. Человек слабовольный, благороднейших порывов, но человек, который ничего не может сделать и который сознает эту внутреннюю трагедию. Над ним тяготеет проклятие крови. И Александр представлен жалким, больным человеком. Он актер, он это чувствует, страдает, но ничего с собой не может сделать. Жизнь сделала его таким: она разбила все его былые мечты. Отсюда презрение к себе, а главное безотрадное чувство скуки, сознание, что, раз бессилен что-либо сделать, нечего и воротить кучу, — все равно будет по старому. Обстоятельства сильнее людей, над которыми тяготеет рок. «Они», т.-е. декабристы — этот другой кошмар Александра — хотели того же, о чем мечтал и он. «Они» — его дети, хотят его убить. Отсюда новое страдание у Александра. Так вертится жертва судьбы в заколдованном кругу страданий и кошмаров. Александр — без вины виноватый.

Александр хочет уйти от царствования и спрашивает своего друга А. Н. Голицына: «Мертвым притвориться, что ли? Или нищим странником уйти?» Мало того, Александр видит себя на яву в образе нищего странника Федора Кузьмича. В день и час смерти Александра Федор Кузьмич, наконец, выходит из Таганрога по большому почтовому екатерино-

славскому тракту. Это не Александр I, но, очевидно, его духовный двойник, связанный с ним какими-то таинственными нитями. Для мистика всякие превращения возможны, но разбор всего таинственного, сверхчеловеческого выходит уже за пределы исторического познания [1]). В сфере исторического ведения будет лишь конкретное изображение Александра.

Чтобы изобразить в таком свете Александра, Мережковскому пришлось вновь проделать некоторую неестественную операцию над историческими фактами.

Несомненно, перед 14 декабря 1825 года правительство было осведомлено довольно хорошо о целях и планах тайных обществ, а также и о составе обществ. У Мережковского все это вложено в записку Бенкендорфа 1821 года, когда в сущности и не было речи о «революции с цареубийством». Были проявления враждебного настроения, были порывы возмущения и готовность пожертвовать собой для устранения тирана, но не было какого-либо плана. Мережковскому такая неточность нужна для того, чтобы подчеркнуть, что Александр четыре года был детально осведомлен о всем происходящем, четыре года живет под Дамокловым мечем и ничего не принимает против тех, кого он считает своими детьми: четыре года донос лежит нетронутым, хотя Александр только о нем и думает — и на яву и во сне. Он тщательно записывает в свою записную книжку имя каждого нового заговорщика и носит на себе эту постыдную для себя «язву». Перед смертью он чувствует, что необходимо что-либо сделать с тайными обществами — нельзя оставлять России такое наследство. Но «казнить их — себя казнить». Он — отец; они — дети. И казнь их не будет казнью, а будет детоубийством. Отцеубийством началось, детоубийством кончилось. Взошел на престол через кровь и через кровь сойдет. 11 марта! Вот ужас Александра. Таковы его одинокие мысли 11 марта 1824 года. Однако, едва ли тот «ужас», который старается подчеркнуть Мережковский, существовал на деле. Несомненно, александровское правительство, зорко наблюдавшее за ростом общественного возбуждения и боровшееся с ним, могло бы принять и более решительные меры против членов тайных обществ; если этого не было, то причины лежат не в том благородном порыве чувств, что нельзя с моральной стороны уничтожать то, чему положено начало как бы самим правительством, причина скорее была более прозаическая — в значительной степени чувство неуверенности и страха перед неопределенным будущим. Александр переоценивал силу общественного протеста как мы указывали уже в предшествующих статьях.

Точка зрения Мережковского совсем не нова, но романист благородную позицию Александра облагораживает более всех своих предшественников: Александру предстоит даже свидание с декабристом кн. Вал. Голицыным, в

---

[1]) У Мережковского Александр, повидимому, умирает по настоящему. Так и было, конечно, в действительности. Все теперешние ухищрения придать легенде о Федоре Кузмиче какую-то историческую подлинность не имеют за собой никакой почвы. Кстати, некоторые критики Мережковского указывали на неточность, допущенную им: легенда появляется еще при жизни, между тем как она позднейшего происхождения. Конечно, так, как изобразил Мережковский — появление двойника, все это весьма фантастично, но несомненно, что „разные... слухи“ о смерти Александра ходили в Москве уже с самого начала, как отмечает А. Я. Булгаков в своем письме к брату 7 февраля 1836 г. Это весьма не мешало бы помнить.

котором он намеревается раскрыть взаимное непонимание. Александр был кем угодно, но только не тем страдальцем, которым представляет его Мережковский. За последние годы так много писалось об Александре, его личности и характере, что в данном случае, пожалуй, можно всего и не повторять: у Мережковского нет ни новых материалов, ни новых точек зрения, основанных на вдумчивом пересмотре старых материалов, которые могли бы поколебать устанавливающийся постепенно взгляд на личность «благословенного монарха». Психологическая же коньюктура, на которую опирается романист, не более, как фантазия Мережковского. Последняя сказывается и на изображении окружающих Александра лиц — в особенности на Аракчееве. Г. Корнилов ставит в заслугу Мережковскому, что он не следует шаблону в изображении Аракчеева. Аракчеев Мережковского — человек умный и незаурядный. Однако, приходится подождать, чтобы новым исследованием на эту тему А. А. Корнилов содействовал изменению шаблонного представления об Аракчееве. Последняя работа А. А. Кизеветтера, посвященная Александру и Аракчееву, не дает нового материала для пересмотра старых точек зрения. Единственная черта, которую верно подметил Мережковский в Аракчееве, это — хитрость и сентиментализм. Этот жестокий человек был действительно, как известно, очень сентиментален. Впрочем, таких сентиментальных отношений, которые рисует нам Мережковский, между Александром и Аракчеевым не было. Мережковский хочет показать, что измученная душа Александра находила успокоение на груди преданного Аракчеева: около него исчезал кошмарный ужас от 11 марта . . . В дружественно-искренних отношениях Александра и Аракчеева в действительности было много и неискренности и хитрости. Аракчеев, как мы знаем, был заслонкой для Александра.

Конечно, отдельные характеристики вообще спорны и вызывают разногласия. Например, Фотий у Мережковского представлен искренним фанатиком, воителем за правду Божию. Такое изображение «циничного и грязного монаха», по отзыву других современников, очень и очень сомнительно. Можно было бы привлечь значительный материал для иной характеристики этого печальной памяти простеца в веригах. Но там, где можно возражать, там, быть может, мы и не имеем права пред'являть к беллетристу каких-либо повышенных требований.

Дело другое, когда мы встречаемся с сознательным искажением во имя извне пришедшей идеи, как это мы видели при изображении Мережковским декабристов. Тут уже невольно вспоминаешь мораль самого Мережковского. В статье «В защиту Александра I» он возмущался, что люди о религии говорят слишком легко. «Надо говорить серьезно о серьезных вещах» — это по поводу отрицательного отношения к мистике «радикалов», в роде Пыпина, или, вернее, к тому «духовно-политическому сумбуру», который был отличительной чертой последних лет царствования Александра I. Как показывает роман Мережковского, он умеет разобраться в этом сумбуре — хвала ему и честь.

Правда, историки и после «исследования» Мережковского, за малым исключением, останутся при старых убеждениях. Но мораль Мережковского следует обратить к нему самому. У каждого есть свое святая святых. И мы с полным правом можем сказать г. Мережковскому: надо говорить серьезно о серьезных вещах. Романист не имеет права с кондачка решать столь

важные вопросы, как изображение в совершенно новом свете декабристов, недаром этому изображению уже было дано наименование: «оклеветанные тени». И хотя в романе Мережковского попадаются яркие страницы, весь роман может вызвать к себе только отрицательное отношение.

Про роман Толстого Мережковский сказал: «у него есть остов, но нет души». У Мережковского нет ни остова, ни души. Строгому критику Толстого не мешало бы вспомнить слова последнего: «Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить». Толстой ставил своей задачей из сухого материала творить живые образы. Мережковский также не только переписывал, но и творил, — творил не живые человеческие образы, а новые исторические легенды. «Пять лет непрестанного и исключительного труда» для Толстого были работой над эпохой, которая была совершенно еще неразработана, по которой было мало и материала, — беллетристу действительно приходилось исследовать первоисточники. У Мережковского в руках мог быть огромный материал и почти исчерпывающая характеристика, по крайней мере, идеологии декабристов в книге В. И. Семевского . . .

Да не подумает читатель, что мы сравниваем Толстого и Мережковского. Мы говорим только о методах работ. Великому художнику многое может проститься, но тем большие требования приходится пред'являть к историческому роману, который с художественной стороны вызывал до сих пор только отрицательные отзывы и который лишь по недоразумению может быть причислен к историческим монографиям, написанным в художественной форме. Мережковский к своему роману должен был бы взять по справедливости эпиграфом слова Хераскова в 1768 году в предисловии к его повести «Нума Помпилий»: она «не есть историческая истина: она украшена многими вымыслами».

КНИГИ:

В. Каррик. Сказки-картинки:

№ 1. Медведь и стариковы дочери.
№ 2. Колобок.
№ 3. Снегурочка. Козья смерть.
№ 4. Соломенный бычек.
№ 5. Воробей и былинка. Козлятки и волк.
№ 6. Красная Шапочка.

V. Karrick.

Russische Märchen (печатается).

П. Мельгунов.

Первые уроки истории. Древний восток (печатается).

Р. Бланк.

Иуда-Искариот в свете истории (печатается).

Пр. Эрисман.

Мыслящие животные (печатается).



